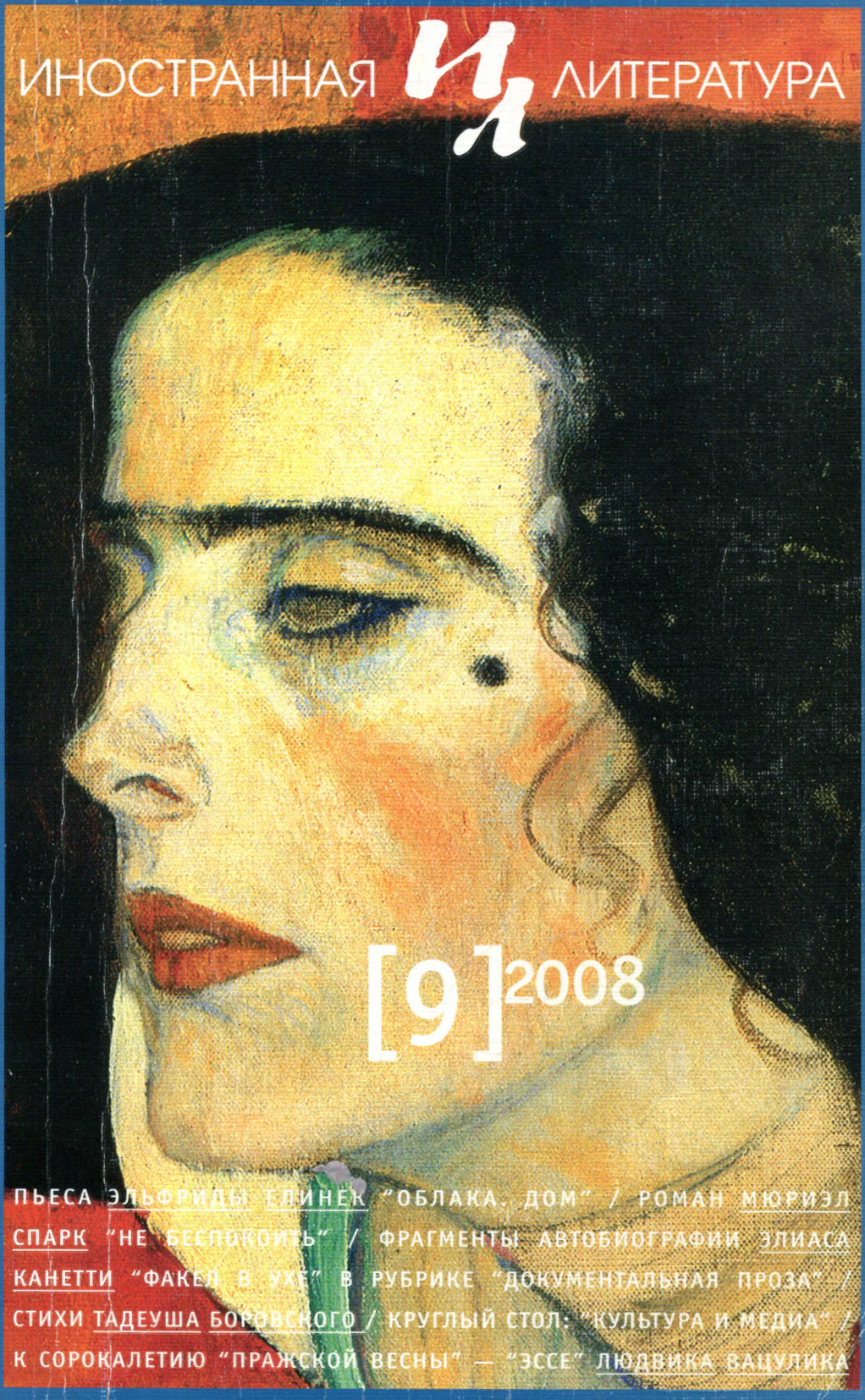
ISSN 0130-6545

# ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



[9] 2008

ПЬЕСА ЭЛЬФРИДЫ ЕЛИНЕК "ОБЛАКА. ДОМ" / РОМАН МЮРИЭЛ СПАРК "НЕ БЕСПОКОИТЬ" / ФРАГМЕНТЫ АВТОБИОГРАФИИ ЭЛИАСА КАНЕТТИ "ФАКЕЛ В УХЕ" В РУБРИКЕ "ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА" / СТИХИ ТАДЕУША БОРОВСКОГО / КРУГЛЫЙ СТОЛ: "КУЛЬТУРА И МЕДИА" / К СОРОКАЛЕТИЮ "ПРАЖСКОЙ ВЕСНЫ" — "ЭССЕ" ЛЮДВИКА ВАЦУЛИКА

Основан в 1891 году

# МОЯ ЛЮБИМАЯ КНИГА НЕМЕЦКОГО АВТОРА

Напишите, какая книга современного немецкого автора, созданная и опубликованная за последние 20 лет, понравилась Вам больше всего:

- **Как Вы узнали об этой книге? Почему Вы считаете ее своей «Любимой книгой немецкого автора»? Что Вам понравилось больше всего?**
- **Если Вы прочитали книгу в переводе на русский язык – что Вам больше всего понравилось в переводе?**

Вы можете выбрать произведение художественной литературы, а также научное издание или книгу для детей Важно: для участия в конкурсе не обязательно знать немецкий язык. В качестве «любимой книги» может быть избран перевод книги современного немецкого автора на русский язык!
Объем обоснования Вашего выбора не должен превышать 2 стр. по 1 800 знаков. Присланные обоснования должны быть написаны на русском языке.

Авторы двадцати лучших обоснований получат набор книг немецких авторов в переводе на русский язык. Авторы лучших обоснований своего выбора книги получат ценные призы и наборы книг.

Последний срок подачи материалов на конкурс:
**15 октября 2008 года**

**Документы, присылаемые на конкурс:**
- **Краткая автобиография в табличной форме**
- **Обоснование выбора книги**

**Документы на конкурс просьба присылать по электронной почте:**
**konkurs@moskau.goethe.org**
**Дополнительная информация: iwanowa@moskau.goethe.org**
**www.goethe.de/moskau**

**GOETHE-INSTITUT**
**RUSSLAND**

**"ИЛ" в 2009 году:**

**"Марш"** – роман автора знаменитого "Рэгтайма", американца ЭДГАРА ДОКТОРОУ, художественно-документальная хроника кровавых эпизодов Гражданской войны в США.

Роман крупнейшего (и совершенно неизвестного у нас) современного английского прозаика АДАМА ТОРПА **"Правила перспективы"** о последних месяцах Второй мировой войны, об искусстве и о том, как трудно оставаться человеком в бесчеловечные времена.

ШИКУ БУАРКИ – знаменитый, любимый бразильцами музыкант, певец, композитор, автор текстов популярнейших босса-нов. Герой его романа **"Будапешт"** – "гост-райтер" или литературный негр, чья книга, написанная им за другого, неожиданно становится бестселлером.

**"Долой Гёте! Объяснение в любви"** – телевизионное ток-шоу с участием публики, на которое приглашены и современники Гёте. Автор увлекательного историко-филологического эксперимента – известный немецкий поэт, живой классик современной немецкой поэзии ХАНС МАГНУС ЭНЦЕНСБЕРГЕР.

Роман американского прозаика ДОНА ДЕЛИЛО **"Падающий"** о событиях 11 сентября 2001 года и их последствиях; надолго поселившиеся в американском обществе страх и смятение представлены в сюрреалистических, запоминающихся образах.

Произведения великого австрийца ТОМАСА БЕРНХАРДА – поздний роман **"Конченый"**, отрывки из книги малой прозы **"Имитатор голосов"**, экспериментальная пьеса **"Знаменитые"** – позволит читателю открыть для себя новые грани его творчества.

Новый роман **"Бегуны"** польки ОЛЬГИ ТОКАРЧУК, отсылающий читателя к названию православной секты XVII века, рассказывает о "кочевой психологии" людей XXI века, которые вольно или невольно всегда в пути.

**"Собственная смерть"** – повесть известного венгерского писателя ПЕТЕРА НАДАША о пережитом инфаркте и клинической смерти. Это и отчет о "путешествии в мир иной", и философское сочинение, и своеобразная поэма в прозе.

Увидевшие свет во Франции лишь в 2007 году и сразу ставшие сенсацией тексты АНТУАНА ДЕ СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ – повесть **"Манон, танцовщица"** и любовные письма к Натали Палей, княгине из рода Романовых, манекенщице и актрисе.

Не публиковавшиеся в России прозаические тексты ГЕОРГА ГЕЙМА и ЭЛЬЗЫ ЛАСКЕР-ШЮЛЕР, **"Тубуч"** АЛЬБЕРТА ЭРЕНШТЕЙНА и **"Кокаин"** ВАЛЬТЕРА РАЙНЕРА, стихи АЛЬФРЕДА ЛИХТЕН-

ШТЕЙНА и ХАНСА АРПА, а также многое другое – в Литературном гиде **"Поэзия и проза немецкого экспрессионизма".**

Пьеса **"Желание, пойманное за хвост"**, написанная знаменитым художником в разгар Второй мировой войны, – новая, неожиданная грань таланта ПАБЛО ПИКАССО.

**"Ничего страшного"** – книга воспоминаний и философских раздумий замечательного английского писателя ДЖУЛИАНА БАРНСА, в которой с тонким юмором, но не без грусти рассказывается о семейных событиях – давних и недавних; писатель размышляет о силе искусства, страхе смерти, вере и безверии, самых важных для него книгах и многом другом.

**"Понаехали тут"** РОБЕРТА УАЙНДЕРА – историко-документальное повествование о том, как Англия встретила иммигрантов, прибывших в метрополию после распада британской колониальной системы.

Американский публицист ИОНА ЛЕРЕР об открытиях в области человеческой психики, сделанных Марселем Прустом, Гертрудой Стайн, Вирджинией Вулф и другими, в своей книге **"Пруст был психоневрологом"**.

Рассказ французского антрополога МИШЕЛЯ ПАСТУРО о символике синего цвета – о том, как менялось его восприятие от эпохи неолита до наших дней: **"Синий: история одного цвета"**.

Быт парижского литературного салона XVIII века, каким он предстает перед нами в письмах влиятельной маркизы ДЮ ДЕФФАН.

Специальные номера, посвященные литературе Индии, 20-летию падения Берлинской стены, проблемам коммерциализации литературы "Как наше слово продается", литературным играм постмодернизма "Повторение пройденного".

Литературные гиды "Начало Второй мировой: современная литература Германии о событиях осени и зимы 1939-го", "Страна льда и огня: литература Исландии сегодня", "Антология американского эссе – XXI век", "Грэм Грин – рассказы о жизни".

Новые выпуски постоянных рубрик журнала: "Путешествие по книге", "Carte blanche", "Писатель и общество", "Из будущей книги", "Зрительный зал", "Трибуна переводчика", "Вглубь стихотворения", "Ничего смешного", "Письма из-за рубежа" и новая рубрика "Антиперевод" – рецензии на худшие переводы зарубежной классической и современной литературы, а также многое другое.

[9]
2008

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ежемесячный
литературно-
художественный
журнал

5 Эльфрида Елинек *облака.дом.* Пьеса. Перевод с немецкого, вступление и комментарии Т. Баскаковой

38 Мюриэл Спарк *Не беспокоить.* Роман. Перевод с английского и вступление Е. Суриц

92 Тадеуш Боровский *Стихи.* Перевод с польского и вступление Анатолия Гелескула

Документальная проза

103 Элиас Канетти *Факел в ухе.* Фрагменты автобиографии. Перевод с немецкого и вступление Анны Шибаровой

Статьи, эссе

250 Людвик Вацулик *Эссе.* Переводы с чешского Нины Фальковской, Юзефа Преснякова. Вступление Сергея Скорвида

Круглый стол

262 *Культура и медиа*

Культурная инициатива

280 Наталья Мавлевич *Начало традиции*

Среди книг

286 Алекс Рапопорт *"Избранное" от избранных*

БиблиофИЛ

289 *У книжной витрины* с Михаилом Визелем

292 *Информация к размышлению. Non-fiction* с Алексеем Михеевым

296 *По материалам зарубежной прессы.* Подготовили А. Лешневская, И. Мокин

Авторы номера

300

© "Иностранная литература", 2008

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Журнал основан в 1891 г.
До 1943 г. выходил
под названиями "Вестник
иностранной литературы",
"Литература мировой
революции",
"Интернациональная
литература". С 1955 года –
"Иностранная литература".

Главный редактор

А. Я. Ливергант

Редакционная коллегия:

Л. Н. Васильева
*заведующая отделом художественной литературы*

Т. А. Ильинская
*ответственный секретарь*

Т. Я. Казавчинская
*заведующая отделом критики и публицистики*

Общественный
редакционный совет:

В. П. Аксенов
С. К. Апт
Л. Г. Беспалова
А. Г. Битов
Е. А. Бунимович
П. Л. Вайль
Т. Д. Венедиктова
А. М. Гелескул
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Т. П. Григорьева
Б. В. Дубин
С. Н. Зенкин
Вяч. Вс. Иванов
В. Б. Иорданский
М. Л. Салганик
И. С. Смирнов
Е. М. Солонович
Н. Л. Трауберг
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили
А. И. Эппель

Международный
совет:

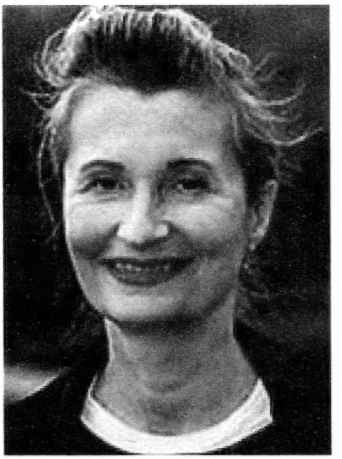
Ван Мэн
Криста Вольф
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Тонино Гуэрра
Морис Дрюон
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Ананта Мурти
Милорад Павич
Кэндзабуро Оэ
Умберто Эко

Редакция :

О. Г. Басинская
Т. А. Баскакова
С. М. Гандлевский
Н. В. Елисеева
А. Ю. Лешневская
И. В. Мокин
К. Я. Старосельская
М. Н. Томашевская
Л. Г. Харлап
А. Ю. Шередега

Журнал выходит при финансовой поддержке
Министерства культуры Российской Федерации, Министерства связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации и Фонда Первого Президента России Б. Н. Ельцина

# Эльфрида Елинек



*Нобелевская премия 2004 года*

# *облака.дом.*

Пьеса

*Перевод с немецкого, вступление и комментарии* Т. Баскаковой

## Облака, лес и корни

На двадцати с небольшим страницах пьесы Елинек, в двадцати трех сценах (отделенных одна от другой пропуском строки) рассказана история развития самосознания немецкого народа с начала XIX до конца XX века. Рассказана так, будто она увидена глазами Фридриха Гёльдерлина, "самого немецкого из немецких поэтов"[1], сквозь призму его миропонимания, сквозь совокупность характерных для него мотивов, и стилистически выдержана в духе его поэзии (текст Елинек почти целиком состоит из слегка измененных гёльдерлиновских цитат). Отсюда — единство взгляда на происходящее (взгляд "сверху", как бы с большой высоты), подкрепленное отсутствием разбивки на реплики разных действующих лиц, авторских ремарок и прочего. Пьесу можно прочитать как реконструкцию мировидения Гёльдерлина.

А можно сосредоточиться на другом — на микроструктуре текста, состоящего из перемешанных фрагментов самых разных высказываний, которые все произносятся от лица "мы". В отличие от стихов Гёльдерлина, в пьесе Елинек почти никто не говорит от первого лица. Говорит как будто бы сам немецкий народ, а если присмотреться — разные его части, каждая из которых претендует на то, что она есть целое. И поэт, слышащий все высказывания, видимо, отождествляет себя с каждой из частей "мы" — вероятно, еще и поэтому реплики в тексте пьесы не отделяются одна от другой.

© 1990 Steidl Verlag, Göttingen
© Т. Баскакова. Перевод, вступление, комментарии, 2008

1. Так назвал его в 1928 г. Макс Коммерель (1902–1944), немецкий поэт и эссеист из круга Стефана Георге. Эта точка зрения была подробно обоснована Мартином Хайдеггером в статьях 1937–1944 гг. (См.: Хайдеггер М. Разъяснения к поэзии Гёльдерлина. – СПб., 2003) и, между прочим, активно использовалась идеологами Третьего рейха.

Три части немецкого народа, которые выступают в пьесе как три коллективных, если можно так выразиться, персонажа, — немертвые, мертвые и живые.

Немертвые — умершие великие поэты и мыслители, которых "извергла земля" и которые существуют в облаках (или в виде облаков[1]), а также в людской памяти. Мертвые — герои войн, погребенные в земле и не нашедшие там покоя; согласно немецким народным представлениям, в облике корней мандрагоры они могут выходить на поверхность и тоже воздействуют на живых. У Гёльдерлина это трехчастное деление мира описано, например, так:

> Ибо давно уже сверху
> Влияют на нас облака
> И корни что-то готовят, рояся в недрах.
>
> *Титаны*

В пьесе-мистерии Елинек мертвые и немертвые — те и другие по-своему, с использованием совершенно разных аргументов, выражая разное отношение к жизни, — пытаются воздействовать на живых. Поэтому очень важно различать, кто произносит те или иные слова. Это можно определить по характеристикам, которые дают себе разные "мы".

*Немертвые*: обитают наверху, в небе; связаны с духом, со словом; похожи на детей, ибо отрешены от земных забот; называют себя "немертвыми", "сынами богов", "ангелами истории", "добрыми (духами)", "странниками", "вечными детьми", "небесным родом", "небожителями", "спящими".

*Мертвые*: обитают в глубинах земли; тоже отчасти связаны со словом — называют себя "мертвыми", "героями", "праведными", "корнями мандрагоры", "костями истории".

*Живые*: обитают на поверхности земли; называют себя "людьми", "народом", "немцами".

Начиная с 8-й сцены реплики мертвых, немертвых и живых перемежаются, порой все три "персонажа" спорят друг с другом, но определить, кто, когда и что говорит, предстоит самому читателю.

Пьеса Эльфриды Елинек, написанная в 1988 году, была воспринята критикой и воспринимается до сих пор как скандальная. Ее интерпретации[2] сводятся к тому, что Елинек издевается над Гёльдерлином и изображает его провозвестником нацизма. Однако никто из интерпретаторов не проводит различия между тремя "мы" и, правильно идентифицируя гёльдерлиновские цитаты в пьесе, не рассматривает их в контексте тех произведений, откуда они взяты. На самом деле Елинек не высмеивает мировидение Гёльдерлина, а точно его воспроизводит. Композиционно пьеса построена так, как обычно строится стихотворение Гёльдерлина, но структура эта расширена за счет включения сходных мотивов из других его стихов. В самом общем плане пьеса копирует композицию стихотворения "Любовь".

Если исключить первый, вводный, отрывок, где явных цитат нет, можно сказать, что пьеса начинается и кончается содержащимися в "Любви" характеристиками состояния современной (Гёльдерлину) эпохи, отличающейся безбожием и безлюбьем, и той эпохи, которая должна наступить:

1. У Гёльдерлина в "Праздни́ке мира" об умерших поэтах сказано: "И дорогие друзья, верные облака, / Тебя тоже окружали тенями..."
2. В частности, в диссертации Штефани Каплан "'Гром наш еще гремит вдали'. О литературной трансформации лирики Фридриха Гёльдерлина в пьесе Эльфриды Елинек 'облака. дом.'" (Вена, 2006) и в статье Маргарет Коленбах "Монтаж и мимикрия в пьесе Эльфриды Елинек 'облака.дом.'" (см. в: Elfride Jelinek. Dossier 2. Hsg. von Kurt Bartsch und Günter A. Höfler. Graz–Wien: Droschl, 1991).

Ибо молвите, где жизни осталось жить,
Если сковано все рабской заботою?
<...>
... когда зимней немотою
Цепенеет земля...
*(ср. у Елинек, начало сцены 2)*

Разрастайся, как лес! Сбудься, живой душой
Преисполненный мир! Стань, о язык любви,
Всенародным глаголом
И законы даруй земле![1]
*(ср. конец сцены 23)*

В промежутке описывается трудный процесс взросления человечества, представленный сквозной метафорой растущего леса, а также — как во многих стихах Гёльдерлина — появление божественного вестника, помогающего людям прийти к более разумной и счастливой жизни. Вестник этот в одном случае остается неуслышанным (сцена 6), в другом — о его появлении возвещает сама Земля (она, как это происходит в "Хироне" Гёльдерлина, обращается к людям: "Напейтесь же, ручьев моих отрада..."; сцена 17).

По мысли Гёльдерлина, человечество в его нынешнем состоянии подобно дикому зверю и неразумно, как малое дитя, процесс взросления ему только предстоит, поэтому в оде "Слабоумие" оно и названо "одинокой дичью", о небесном отце же сказано, что он "водит еще не проснувшихся на золотых помочах, как детей". Эта тема раскрывается, например, в стихотворении "У истоков Дуная":

...зверь
К прекраснейшему непривычный, спит
Чутким сном до звезд. Так и мы.
<...>
Истинам вечным и песням дивным
Сонные души не радовались.
Лишь немногие, бодрствуя, блуждали счастливые
Среди вас, жители городов прекрасных...[2]

Елинек виртуозно обыгрывает гёльдерлиновский мотив "дикости": она, например, показывает — путем простого сопоставления цитат, — что негры, которых Гегель описывает как дикарей, ничуть не более дики, чем те, кто не в состоянии увидеть во всех человеческих существах Земли, будь то живые, мертвые или немертвые, жителей одного общего Дома. О новом человечестве, которое вспомнит о "небесных отцах", в стихотворении "Штутгарт" сказано: "Повзрослевший и ясноглазый (в отличие от "не проснувшихся". — *Т. Б.*), стоит перед вами опомнившийся человек".

В пьесе Елинек важную роль играет еще одна гёльдерлиновская тема: тема миссии поэта. Гёльдерлин затрагивал эту тему очень часто, видя в поэте глашатая "светлых сил небес", посредника между богами (или вышним миром) и людьми. В одном маленьком стихотворении, "Обманчиво-святые поэты", он обращает к забывшим о своем долге поэтам вопрос: "Если Земля умрет, кто вас поблагодарит?" У Елинек теме "обманчиво-святых поэтов" целиком посвящены первые

1. Перевод С. Аверинцева.
2. Перевод В. Микушевича.

семь из двадцати трех сцен, высказывания таких "небожителей" или высказывания о них встречаются и в других частях пьесы. Уже это позволяет предположить, что для нее тема ответственности поэта — одна из важнейших. Она характеризует ложных поэтов, выворачивая наизнанку характеристики, которые Гёльдерлин дает поэтам настоящим; получается и смешно и зло, но нападки ее относятся отнюдь не к самому Гёльдерлину, а к тем, кого он назвал "обманчиво-святыми поэтами". Речь идет, главным образом, о себялюбии современных поэтов, то есть о том, что они забыли свою посредническую роль и стали "знаками самих себя".

Елинек приводит и некоторые высказывания Гёльдерлина, в той или иной мере окрашенные националистическим духом (из "Песни немца", "Смерти за родину" и ряда других стихотворений). Свое отношение к Гёльдерлину — вообще и в связи с этой пьесой — она, как мне кажется, очень ясно сформулировала в интервью с Вальтером Фоглем, корреспондентом газеты "Базлер цайтунг" (16 июня 1990 года):

> Ритмообразующее здесь — Гёльдерлин. Именно он задает ритм речи, такт; то есть он — мощный метроном, который опять и опять толкает вперед целое. Немецкий идеализм был бы невозможен без Гёльдерлина, но сам Гёльдерлин это течение преодолел — он, можно сказать, олицетворяет победу поэзии над философией, потому он и стал для этого текста биением пульса.

Театральная судьба "облаков" показывает, насколько разными могут быть интерпретации этой пьесы. Премьера ее состоялась в 1988 году, в боннском театре "Шаушпиль", в постановке режиссера-авангардиста Ханса Хоффера. Спектакль был показан в рамках цикла "Мы, немцы" и назывался тогда "Клейст — инвенция".

Но настоящий успех принесла пьесе инсценировка швейцарского режиссера Йосси Вилера и драматурга Тильмана Раабке в Немецком театре Гамбурга в 1993 году. В 1995 году, на международном театральном фестивале "Контакт" в Польше, этот спектакль был удостоен первой премии. В 1996 году его показывали (в рамках театрального фестиваля) в Москве и Санкт-Петербурге. В постановке Вилера участвуют шесть действующих лиц — шесть женщин, вдовы военных летчиков. Они говорят то по отдельности, то хором, повторяют слова умерших мужей, пытаясь таким образом восстановить свою утраченную идентичность. Их реплики перебиваются обрывками фраз, доносящихся из громкоговорителя. Все это происходит неизвестно когда, в некоем бункере, через маленькое окошко которого видны облака... Режиссеру важно было подчеркнуть противоречие между стремлением человека к самореализации и притягательной силой штампов коллективного сознания.

В 1999 году "облака" были поставлены на родине Елинек, в Городском театре Клагенфурта, режиссером Эвой Бреннер. Здесь акцент был сделан на взаимоотношениях между "своими" и "чужими", националистами и их жертвами, которые могут и обменяться ролями. Место действия — современная Каринтия, реплики произносятся попеременно на двух языках — немецком и словенском (словенцы — национальное меньшинство в Каринтии). Границы между сценой и зрительным залом нет, театральное пространство поделено на черную и белую половины; поскольку в театральных билетах места не указаны, зрители сами выбирают, в какой из этих двух частей им устроиться, чью сторону принять... Главные роли исполняют две актрисы: одна одета в черный костюм и говорит по-немецки, другая, в белом, произносит свои реплики по-словенски. Деление текста на "немецкие" и "словенские" реплики каждый вечер меняется.

В 1992 году состоялась премьера радиопьесы "облака.дом." в постановке Пеера Рабена, на Гессенском радиоканале-2. Это был коллаж из декламации, пения, музыки и шумовых эффектов. Рабен отталкивался от статьи Леонарда Шмайзера, которому Елинек посвятила свою пьесу. В его интерпретации "немертвые" — это

мифологические персонажи немецкой истории (фактически — историческая память немецкого народа), которые покоятся в земле и надеются на возрождение. В неопубликованном сценарии радиопьесы "голоса" обозначены так: "Мертвый старик, умирающий старик, живой старик, мертвый юноша, умирающий юноша, живой юноша, прародитель (der Uralte)". Фоновые шумы (среди них — звуки, доносящиеся с футбольного стадиона) подчеркивали обыденность националистических высказываний разных "мы".

2005 год. Знаменитый немецкий режиссер Клаус Пайман ставит в "Берлинер ансамбль" "облака" вместе с написанным Елинек (четырнадцать лет спустя) эпилогом к пьесе. Этот спектакль — он называется "Облака. Дом. И потом домой" — единодушно оценивается рецензентами как провальный. В спектакле занято четырнадцать персонажей — шесть женщин, восемь мужчин; все они одеты в зеленые фраки, у них белые перчатки, белые лица, к которым иногда приставляются клоунские носы, минималистская декорация изображает шахту с окошком, в которое можно разглядеть две ели. По мнению критиков, персонажи напоминают то ли лягушек (аллюзия к "Лягушкам" Аристофана? — *Т. Б.*), то ли "корней-детей", героев детской книжки с картинками, придуманной и нарисованной немецкой писательницей Сибиллой фон Ольферс в 1904 году. Как бы то ни было, это фарсовое действо, по их мнению, высмеивает сегодняшнее общество, в котором не осталось уже никаких идеалов...

Сама Эльфрида Елинек в одном интервью[1] сказала: "...я писала 'облака. дом.' в расчете на совместную работу с режиссером. В этом случае я вижу в режиссере соавтора. Создавая 'облака.дом.', я хотела найти новые возможности для театра".

Экспериментальная пьеса Елинек очень трудна для восприятия, для русского читателя особенно, поскольку такого рода театральных текстов на русском языке практически нет. Поэтому мы предлагаем читателю — параллельно с чтением пьесы — заглядывать в приложенные к ней комментарии[2].

С благодарностью — Леонарду Шмайзеру ("Память земли") и Даниэлю Эккерту

Мы привыкли думать: мы, мол, далеко снаружи. А потом внезапно оказывается, что мы в самом средоточье. Святые, светящие в темноте. Мы всегда теряемся, когда кто-то, пусть даже один, дает нам приют в своей памяти на какое-то время. О нас говорят уже очень давно — на обочинах дорог, украдкой. Это не наши фантазии! Приятное чувство — мчаться ночью по нашим эстакадам, а внизу светятся пивные: в них такие же люди, как мы! Светлое обманчивое сияние. Люди — чужие, как и мы, странники, — стекаются к автовокзалам, чтобы потом снова разделиться, растечься в разных направлениях, и мы нисходим на них дождем, от которого наутро у них промокнут ботинки. А

1. Цитата взята из Интернета ("Machen Sie was Sie wollen" — *Wolken.Heim.* als Rohstoff).
2. Для удобства в комментариях первая фраза каждой сцены выделена жирным шрифтом, далее в скобках указан порядковый номер сцены. Прокомментированы не все использованные Елинек цитаты, а только наиболее важные для понимания пьесы.

бывает, что днем на перекрестке, где скапливаемся мы, людские потоки... Ничего особенного там нет, но все кишмя кишит знаками, указующими на нас. После нас придут другие, но и мы не ничто! Недаром у нас от нас тяжелеет голова. Передвигаться таким способом умеем только мы, единственные. И пусть рельсы сколько угодно пересекаются, мы обозримо лежим перед нами и перед другими путниками – как надежные, отмеченные вехами пути. Теперь мы дома, и ничто нам не помешает воспрянуть.

В холодную пору года, когда завывает буря, над головами у нас Свет проходит, мы – у себя. Где еще жизни осталось жить? Быть у себя хорошо. Как хорошо крестьянину, когда он праздничным утром выходит взглянуть на поля, если из душной ночи прохладные молнии падали, да и теперь еще гром грохочет вдали. Других мы страшимся. Прокладываем для себя ровный путь. Не уклоняемся в сторону, ибо нас у нас не отнять. Ведь и ручей регулярно возвращается в старое русло, да и трава каждый год одинаково зелена. Хорошо быть и оставаться "в себе", а смертные – те пусть без страха пьют небесный пламень и навещают нас в нашем пустынном дому. Мы существуем. Существуем. Мы одиноки, но у нас хорошо. Отчий луч, чистый, нас не сожжет: он, потрясенно сострадая страданьям сильного, останется в буре Бога, губительной лишь для строптивцев, когда приблизится к нам, приблизится к нам. Мы у себя дома.

Мы спасены. И к мертвым нисходит сиянье, но мы, сады милые, других потеснив, просторно расположились под ним. Свобода является единственно истинным духом. В нас самих наше средоточье, и мы – у себя дома. Когда грозит нам северный ветер, мы не опадаем с ветвей. Мы сидим. Улыбаемся безмятежно. Дома. Вне нас нет единства, мы же его обрели, оно в нас, и оно есть только у нас. Свобода. Субстанция материи находится вне ее, дух есть *у себя бытие.* Это похоже на нас. На нас. Быть дома. Быть у себя. Упорно ждать, чтобы увидеть, как придет нечто! И то, что приходило, святое, всегда оказывалось нашим же словом. Держись мы друг за друга в ночи, мы были бы терпеливей в изгнании и улыбались друг другу. Привыкли б друг к другу и жили б в своем кругу. Мы себе верим. Быть дома, когда великое мы замыслим, – тогда знаменьями и вселенскими деяньями воспламенится новый пожар. И мы, пусть в рабском образе, но владыки, из чьей груди ключом бьет голос владычества, – мы будем узнаны. Быть дома, оттуда смотреть на других – тех, с неблестящими лбами, что, словно злато, погребены в земле; мы же, немертвые, у себя дома, когда блуждаем меж небом и землей, и среди народов мы первый. Помыслы всемирного духа тихо завершаются в нашей душе. Мы свидетельствуем о себе: мы здесь.

Нас у нас не отнять.

Мы у себя. По непреложным законам, как встарь, обновляется вдохновенье – святым Хаосом зачатое всехтворенье. Влечет нас наверх, и снова, ничтожные, низвергаемся мы в тюремные стены, но все же мы здесь. Чем бы ни было то, что над головою висит. Мы здесь. Это дом наш, языком нашим полный, язык же ищет опору в нас, как и Природа, качающая нас в колыбели. Жизнь и язык, все прочее не имеет смысла. Мы блаженствуем, даже сидя в средоточье страданья. Но встаем, когда терпенье вконец иссякнет, и цветем как тополи. Нашего слова доволь-

но. А годы народов, кто из смертных их счел? Сократили ль мы их, чтоб люди ниже в поклоне склонялись, чтоб даже тишайшие струны сердец перед нами умолкли? Чтоб они с радостью путь завершили у нас на глазах? Иль пусть живут, смирясь со страшным заклятьем, у нас на глазах? Но при условье, что все, о ком мы печалились прежде, что города наши станут светлы и открыты, чистым огнем смогут одаривать земли, где встарь жили музы. Мы это мы. Ограничен срок жизни нашей, тесны нам границы, и мы вперед устремляемся, бьем ключом, как звук из груди, не удостаивая других даже взглядом. Мы это мы, и отовсюду мы прогоняем других. Дух струится у нас со лбов. Но — ограничен срок жизни нашей. Восточные народы этого не знают. Они знают только, что Один свободен, но именно поэтому такая свобода оказывается произволом, дикостью, тупостью и необузданной страстью, душевная мягкость же обнаруживает себя лишь в силу случайности. Тогда как мы тогда как мы тогда как мы. Мы милые! Хотя и нам, вероятно, никто не сумеет сон отогнать от чела! Мы, добрые, тоже бедны на деянья, но мыслями полны! Мы! Но, может, как луч приходит из облака, придет из мысли — духовно зрелый поступок? Родится плод, как в темнолиственной роще, из тихих букв? А молчанье в народе не есть ли уже предвосхищение праздника? Или это затишье пред бурей? Или ветер, предвестник грозы? Или — но кто же нас отсюда прогонит, здесь мы у себя дома! Здесь мы у себя дома.

Мы внятно слышимы, нам никогда не забыться смертным сном. Этого у нас не отнять. Безымянны и не оплаканы — другие. Мы здесь по праву! В родных долинах проснутся к жизни наши сердца. Мы странники, но мы еще вернемся! Мы, переоценив свои силы, оказались чересчур далеко, но мы вернемся. Мы смотрим на ту сторону, не страшась соседей, пятой попираем их главу. Дика и печальна их жизнь средь забот постылых, а все ж — они дома. Этого у них не отнять, они спокойно торят свой путь. И время растет. В родных долинах проснутся к жизни наши сердца. Мы — странники. Но именно потому, что мы рассматриваем историю как бойню, на которой приносятся в жертву счастье народов, государственная мудрость и индивидуальные добродетели, там, где возникает такая мысль, одновременно рождается вопрос: ради кого, с какой целью приносились столь чудовищные жертвы? На ком вина? Кто навлек на всех нас проклятье? Ведь наши предки, забывшие меру первыми, творили слепо, хоть и охотно, то, что внушал им их дух. Словно стихии древнего Хаоса, в разладе зыблются помыслы переживающего брожение века. И люди тоже зыблются, шлангоотзывчиво улыбаясь. Мы всё хотим дотянуться до соседа, его скорей в противящиеся облака спровадить, самим же в доме у него обосноваться и насладиться покоем. Мы нуждаемся в жизненном пространстве. Нуждаемся в славе! Мы еще покажем себя. Этого у нас не отнять, мы не из тех, кто живет вчерашним днем. Домой по тихой реке вернется моряк и рад будет, коль привезет с далеких островов добычу. И мы тоже, как мореплаватели, спешим дарами родную гавань порадовать, хоть на чужбине находим порой не только радости, но и горе. О берег милый, тебя у нас не отнять, златая осень твоя даже вздохи бедняков обратит в песни. Мы у себя дома. И эгоизм, находясь в безопасности на спокойном берегу, наслаждается открывающимся перед ним далеким видом развалин. Другие же и на своей земле не имеют слóва. Мы их смываем шлангами. И сидим потом, шлангоумные, в их домах, и глаза наши ясны. Этого у нас не отнять. Родина, пристань, предел надежный, — мы ско-

ро вернемся; ты, материнский кров, и вы, объятья любящих родичей, станьте целебной повязкой для страждущих сердец. Лиственная кровля — обрамленье нашим блаженным шагам, дни и ночи спокойно проносятся над нами; мы сидим на корточках в траве и смотрим друг на друга — впрочем, смотрим и на то, что принесли нам другие. Мы радуемся, завидев сумрачные лица соседей. Теперь, как в копь, сойдем к себе мы в душу, тысячекратно вскрикнем и найдем руду холодную губительного чувства. Вот они, другие! Гоните их, пока они не станут лишь частью нашего воспоминания о прежних блаженных днях. Пора им приказать долго жить! Словно выпитые до дна бутылки, упадут они на нашу родную землю, которая только нас принимает в себя и, уже как немертвых, выплевывает обратно. Гром наш еще гремит вдали. Мы здесь. Там — другие. Но не мы, не мы! Нас у нас не отнять. И всякий раз мы как дети, наши руки невинны.

Негры, если к ним присмотреться, представляют собой нацию детей, не способную отрешиться от детской непосредственности, ни в чем не заинтересованную и в принципе лишенную каких-либо интересов. Их продают в рабство, и они позволяют себя продавать, не задумываясь, справедливо это или нет. Они хоть и ощущают высшее, но не удерживают его в себе, оно лишь мимолетно проносится сквозь их головы. Лишенные сознания, они просто цветут на своих берегах. О силы неба, как же люди бренны! Еще недавно на вершинах жизни шумели мы листвой!

Нас, юных героев, влекло на высоты заснеженные; неутомимо, щека к щеке, пели мы нашу песнь. И вот мы снова у себя, это благодаря нам солнце сделалось благодатнее. Другие оставались внизу, глубоко в долине. Тогда как мы, тогда как мы! Теперь мы снова дома, безропотно никнем в зябкой дремоте на стылом бреге, но — у себя. На голос чуждый всюду встают стада, леса шумят, и недра подземные внимают духу реки, внятно дух шевельнулся — и в бездне трепет. Но мы, мы всем предоставили возможность пребывать в вечном покое. Однако мы, сами мы еще восстанем от сна. Нас у здешних мест не отнять, мы с любовью заботливой себя взращиваем. Мы — не другие. Мы в своем кругу, а Бог, даже Он, снаружи: гремит и не познается. Мы в Нем не нуждаемся. Чтобы дух наш принял Его, Бог должен быть не просто Громовержцем. Он должен нам сопутствовать, быть таким, чтобы Его у нас не отнять, а иначе пусть уходит. По-настоящему мы нуждаемся только в нас! У негров же этого нет, ничто не приводит их к осознанию высшего. Любой предмет, которому они приписывают волшебную силу, будь то животное, дерево или камень, обретает над ними власть. Мы это мы! Бог там, вверху, — наш. Спасительные прибежища должны быть только для нас, но не для других. Иначе пусть Он уходит. Негры. Они не знают различий, всякая всеобщность для них — лишь глубина произвола. Мы же — нас Он благословит, ибо Он знает нас и Его у нас не отнять. Так почему же никнут в зябкой дремоте отроки гор? Внизу не видят вестников отчих! Они приходят лишь к нам! Не будь нас, ни у кого не мог бы голос окрепнуть в груди. Беззаботен путь Бога — над всеми, но не над нами! Мы удерживаем Его, чтобы сны наши не кончались. Когда мы спим высоко в горах, из недр глубинных вскипает родник — в нас самих. Сбросив путы, мы, разъярившись, вершим над собой труд очищенья. И любящими руками взваливаем себе на плечи небо. И как фурии разрушаем все по соседству, где выросли другие. Пусть те сгинут! И тогда нам одним будет светить жизнь над твердой землею.

Затем благодаря этому наступает четвертый момент всемирной истории — германское государство; при сравнении с возрастами человека оно соответствовало бы старческой поре. Мы всегда были здесь! Естественный старческий возраст — это слабость, но старческий возраст духа оказывается его полной зрелостью, в которой он возвращается к единству, но именно как дух. Мы у себя, мы — наше достояние. Мы мирно зреем, распаляя в себе внутренний пыл, и деловито смотрим на небо — что́ грядет? Мы знаем это, ибо корни наши в земле. И мы бросаем все вниз, как дети — камушки в пропасть, со скалы на скалу. Где же нам, кого повсюду видеть желают, где еще нам остановиться, кроме как здесь, здесь? Хорошо, что земля создает прохладу. Нас ожидает долгий путь. Пока мы не окажемся у себя; но тогда, но тогда, но тогда — мы сами для себя цель! И мы уже здесь. Мы пришли. Орлы обитают во тьме, и мы, их сыновья, бесстрашно проходим над пропастью по сомнительным тропам. Поэтому, когда кругом громоздятся вершины времени и любимые живут поблизости, изнуренные, на разрозненных скалах, дай нам воды невинной, чтоб в горсти наши текла, чтобы мы наилучшее получали. Нас у нас не отнять, и мы удержим в своих руках все. Мы спим вверху, превыше всего, но придет час, и мы воспрянем. И заглянем в чужие жилища, и всё там ощупаем, и приютим там себя. Этого у нас не отнять. Вы еще увидите! Ничего из того, что можно охватить взглядом, у нас не отнять. Но продолжительность времени есть величина относительная, а дух вечен. Продолжительности в собственном смысле для него нет, и мы — это мы, мы сами очень и очень продолжительны, мы пока далеко, но скоро мы будем здесь — мы, ангелы истории. Мы еще продолжаемся, в сумерках, ибо прошли под сенью лесов ручьями родины. Ее у нас не отнять. Мы! Далее уже местность не узнавали; но вскоре, на новой заре, таинственно расцвело в золотой дымке, стремительно вырастая с каждым шагом солнца, нечто нам неведомое. И мы это взяли себе. Мы внезапно почувствовали себя чужаками. Но мы это взяли себе. Мы захватили это внезапно. И, внезапно ослепшие, стали искать самих себя — мы, очутившиеся в тени Чужого. Вот как обстоит с нами! И находим, кроме того, на Востоке славянскую нацию, которая не есть мы! Которая не есть мы! Часть славян приобщилась к западному разуму. Однако вся эта масса исключается из нашего обзора — потому, что до сих пор не выступала как самостоятельный момент в ряду обнаружений разума в мире. Здесь нет места для рассмотрения вопроса, произойдет ли это впоследствии, так как в истории мы имеем дело исключительно с прошлым. Мы же для себя не загадка. Себя находим спящими в долине, которая, как колыбель, покоит нас. Над нами пуховой периной воздух веет, и мнится, что богиня нас лелеет! Останьтесь с нами, если вы — как мы! Проснувшись, мы покажемся себе новорожденным счастьем. Будем пред собой лежать раскрытые, как книга: как младенец, что тщится ущипнуть наш дух. Но как бы глубоко в нее ни погружались, мы не постигнем ни себя, ни этот детский жест. Давно уж землю нами лихорадит: приняв в себя, она нас всех извергла. Приюта не найти нигде. Земля не держит нас, но исторгает. Потребы жизни иногда все ж о себе напоминают, затем что жизнь земная тоже хочет жертв; но возвращаемся мы всякий раз к родному духу, который с нами говорит на нашем языке — на языке богов. Его у нас не отнять. У языка от нас нет тайн, разве что тайна прелести нас самих, что должна найти толкованье. И вот мы здесь — пусть запечатаны, как письма сургучом, но здесь. Немертвые, мы сами пред собой лежим во прахе. Но мы воспрянем — мы, сидящие на стульях малыши, чей вечный ле-

пет словеса их заглушает. Земле не ухватить нас. Мы сами ищем пространство и захватываем его. Мы его захватываем, и потом его у нас не отнять.



Мы — у себя, хотя и отлучены от земли. Нет на земле нам приюта никогда и нигде, но как погребенные мы остаемся на ней — и мы еще вернемся, еще вернемся! Земля — наш переход по ту сторону, к концу времен. Конец истории нам не удался. История вновь и вновь наезжает на нас, мчась по рельсам. Почему она никак не умрет? Что мы такого сделали? Что мы такого сделали? Почему рука ее тянется из могилы? И показывает на нас? Мы хотим, чтобы о нас забыли. Только в своем кругу мы у себя дома. Но самые слепые — сыны богов: ибо человек знает свой дом, зверь знает, где рыть логово. И только им, душам неискушенным, не дано знать, где они обретут приют. Ибо где ты начнешь, там и кончишь; как ни сильны нужда и воспитанье, сильнее всего рожденье, луч света, встреченный новорожденным. А вот мы, лоном святым на счастье рожденные, — в городах, нами основанных. И все же упокоиться в земле мы не можем. История наша останется историей мертвых — до той поры, пока земля не замолчит наконец. Не любим мы, как другие дети, плакать в пеленках. Но, смеясь, змей разрываем и с добычей дальше бежим. Если кто-нибудь силой не задержит наше стремленье и расти нам даст — мы расколем, как молнией, землю, в которой доныне лежим; и, зачарованные, побегут вслед за нами леса, и двинутся горы, на бегу оседая. Мы — здесь. Мы достигли конца пути и теперь отдыхаем. Нас же от стремительной жизни никто не избавит. Мы волка разыщем в его собственном логове. Удача будет, поверьте, ведь на кон поставлено все, что дорого нам и свято: доблесть и честь, жены и дети, жизнь. Только больной, умирающий дуб способен выдержать бурю — здоровое дерево легче она опрокинет, вцепившись в пышную крону. Не всякий удар человек перенесть обязан: кого Сам Бог поразил, тот, думаю, вправе упасть. Мы, люди, падаем не за деньги, не напоказ. Мы здесь, чтобы просачиваться в почву, как вода. Чтоб как вода от камня к камню падать, из года в год все ниже, в неизвестность.

Иди к своим друзьям, к тем, кого выбрал ты: вон человек стоит, я с ним знаком! Но возвращайся! Примем же, примем нас в наши ряды, чтоб не погибли мы бесславной смертью! Не по душе нам умирать зазря, хотим мы пасть на жертвенном кургане — за родину, ей сердца кровь отдав, — и вскоре час такой настанет! К вам, дорогие! Я сойду; к вам, научившим меня достойной жизни и смерти! Земля принимает нас всех, а мы вновь и вновь овладеваем землей, насквозь пропитавшейся нашей плотью. Давайте же кричать, ибо все мы хотим родиться снова! Из земли, которой у нас не отнять, — после того, как прогоним ночь. Ее у нас не отнять! Мы здесь живем! Здесь у нас внизу все по-братски, и к нам нисходят гонцы от вас, весть о победе неся. Процветай же, родина, наверху, мы здесь, внизу, тебя не забыли и усталыми ногами выталкиваем наверх, к свету сокровища земных недр. А павших не считай! Дороже жизни любого ты, дорогая. Уже давно мы управляем всем, находясь под ногами других, но теперь настал срок, слышишь, окутанный тучей Гений Времени! Теперь мы придем и расположимся как дома здесь, внизу. Земля сотрясается. Это мы в ней дрожим, от нам же присущего хлада, и тела свои согреваем, прижимаясь друг к другу. Здесь мы все. И однажды выйдем отсюда, обретя совершенную ясность ви́дения самих себя. Мы живем новым или, по крайней мере, решительно

отказываемся от ничтожного и стоим наготове, ожидая, захлестнет ли нас поток жизни; или, если нам до этого еще далеко, мы, по крайней мере, догадываемся о существовании свободы и не ненавидим ее, не боимся, но любим. Мы, мы, мы! Все исконные люди, подобные нам, исконный народ, народ вообще. Немцы! Немцы! Немцы!

Чужие же — те, что не относятся к нам, — они лишь хлопотливый шум дальних городов. Шорох листвы, полнящейся светом. Земля, в которой мы лежим, уже колеблется, ужасный удар потрясает ее. Мы выходим наружу! За нами — другие странники, верные памяти о нас. Но они не сто́ят ни единой нашей слезы! Ибо довольствуются тем, чтобы быть чем-то вторичным, производным. Они — привесок к настоящей жизни, которая воспрянула по собственному почину, прежде них или рядом с ними; они — лишь отразившееся от скал эхо уже отзвучавшего голоса; они, если рассматривать их как народ, пребывают вне исконного народа и являются по отношению к нему чужаками и иноземцами. Они — не как мы; здесь, в нашей земле, они не у себя дома, и наши горы их не удерживают. Наш суровый лес не укроет их. Место покоя, земля непроглядная, облаками поит тебя гроза, люди же поят — своею кровью. Молча покоится тот, кто напрасно себе подобных вверху и внизу окликал. Покойтесь в мире. Где изольется сердце, где обретет оно вечный покой? У нас — лишь у нас в земле мы у себя дома. Где станет явью все то, что нам давно уже, ночью и днем, обещают пылкие грезы? Здесь, где все новые жертвы падают наземь, где они к нам опадают, словно листья с ветвей, — здесь, дорогие, здесь!

Мы видим друг друга вновь, хотя каждый — в своей могиле, в том нет сомненья. Выдохнутые в бесконечность, как слог, мы сами — лишь слово, начало, мысль, но готовы подняться к деянью. Мы! За окном, где нас буря качает, — ее смеющаяся добыча. В той нации, которая до сего дня именует себя народом вообще, или немцами, в новое время вырвалось из-под спуда нечто исконное — по крайней мере исконное — и проявилась творческая энергия. Это и есть новое! А тот, кто верит в застывшее, неизменное и мертвое бытие, верит в него потому, что мертв в себе самом и, поскольку сам мертв, не может не верить в мертвое. Нас манят глубины, сама земля говорит о каменных склепах, где мы лежим. Мы знаем глубины и то, что там произрастает. Это и есть — мы. А веру в смерть, противоположную вере в исконный живой народ, мы назвали подражанием чужестранному. Такое подражание чужестранному, если оно распространится среди немцев, обязательно проявится и в реальной жизни: как смиренное признание неизбежности уже имеющегося бытия, как отказ от любых попыток улучшить, посредством обретения свободы, нас самих или других людей. Мы вынуждены оставаться здесь, в земле, но камни падают вниз и убивают. Ибо безрассудно противиться нам, героям. Уже мы скатываемся с холмов в долину, откуда дерзко рвутся наверх супостаты, уверенные в своем искусстве, владеющие оружием; но еще увереннее устремляются им навстречу души юных героев, ибо мы, праведные, бьемся с врагами, как колдуны, и у бесчестных от наших песен подкашиваются колени. Примем же, примем нас в наши ряды! И навеки останемся с нами!

О немцах немцы обычно вспоминают в последнюю очередь — либо по скромности, либо из-за того, что людям свойственно откладывать лучшее

на потом. Мы еще слово, но мы уже зреем для деяния. Земля отличает чужих, приходящих сюда, но и понятия о ней не имеющих, от тех, кто знает ее законы, кто на ней вырос. Только мы живем здесь! Для чужого земля наша смертоносна. Вот мы и воспользуемся ясной погодой: им нужны наши головы, они этого хотят — что ж, мы их опередим, поохотимся за их головами! Как волны прилива, выше и выше вздымаются эти валы переменчивые. О добрые, ведь и мы тоже бедны на деянья, но мыслями полны! Но, может, как луч приходит из облака, придет из мысли — духовно зрелый поступок? Родится плод, как в темнолиственной роще, из тихих букв? Появятся братья, которые нас, как руду, из земли поднимут. Из Ничто, в Ничто. Мы, корни мандрагоры, воем, когда нас выдирают из священной горы. Все — братья, в чьих жилах течет одна кровь, кого сочленила судьба. И лучше всего — что мы сами претворяем свои слова в истину. Мы, молодые, ощупью ищем для себя путь. Чужеземцы же, попадая в Германию, не видят, что́, так сказать, спрятано там под одеялом. Под травным ворсом почвы, ниже, в земле. А там — мы! И слово наше связано с землей, оно — в нас. Мы, кости истории, складываемся в складчатые горы, по нам сбегают вниз шумные ручьи; как же мы, мощные массы, исторгнемся историей на поверхность — туда, где собирает воды река, стремительно вырывающаяся из таинственного ущелья? Что удерживает нас вместе, прежде чем мы, водные потоки, ринемся вниз на равнину? Уже не обузданные — под деревьями и кустарниками в лесу, среди скал и пещер безлюдного плоскогорья. Дайте нам только время, мы еще не готовы. Мы сами на ощупь ищем для себя путь, скоро мы будем дома. Когда ж ты откроешься нам, душа родины, чтоб мы ниже в поклоне склонялись, чтоб даже тишайшие струны сердец пред тобою умолкли, чтоб мы, цветы ночи, тебя устыдились, день поднебесный, и с радостью путь завершили у тебя на глазах? Когда все, с кем мы печалились вместе, когда и грады наши будут светлы и открыты, чистым огнем полнясь, а горы земли немецкой станут обителью муз, как прежде — священные горы, и когда всюду под небом златым отчизны расцветет свободная радость: тогда мы и будем дома. И у немцев есть чувство естественной цельности в себе, то есть та цельность духа по отношению к воле, благодаря которой человек ощущает удовлетворенность собой, такую же всеохватную и не поддающуюся определению. Мы — это мы, и нам хорошо среди нас. А вон зажглись огни. Город! Мы лежим спокойно, и нам туда не подняться. Нужно сперва разрушить, потом можно строить вновь. Ограничен срок жизни людской, нетрудно исчислить отпущенные каждому годы; а годы жизни народов — кто из смертных может их предсказать? Когда душа, тоскуя, за пределы эпохи улетает, печально бродим мы по хладному брегу среди своих, но — не узнавая их лиц. Да и потомки, чаемые, — где, где нам свидеться с ними, чтобы согреться, сжав руку друга? Ведь у нас холодно. Чего мы ищем у мертвых? Жизни! Все мы ждем, что когда-то и наш час пробьет.

О родина, они пожинают плоды твоей мысли и духа. Охотно рвут виноград, над самой же тобой глумятся, простая лоза! Ты — та страна, где мы дома! Мы, скованные под землей, — постамент для статуи победителю. Страна любви! Тебе принадлежа, мы часто гневаемся иль страдаем, затем что красоту души своей от посторонних неразумно ты скрываешь. Как часто мы стояли на горе, на светлой, над просторными садами, над милой зеленью: смотрели на тебя. По твоим рекам плыли мы на лодках,

тобою жили мы — и были дома. А соловей на шаткой иве робко пел... Мы, что внизу, — речь наша глубока, ведь мы вещаем языком глубин. Как руды, поднятые на поверхность, мы вдруг увидели себя на троне: на горе. И вот — обозреваем сверху поле, где мы, истории посев кровавый, были рассеяны, чтобы родиться снова.



Воля к существованию немецкого университета есть воля к науке как воля к осуществлению исторической духовной миссии немецкого народа как народа, осознающего себя в своем государстве. Наука и немецкая судьба должны прежде всего стать неотъемлемой от нашего бытия волей к власти. И они станут ею тогда и только тогда, когда, с одной стороны, мы подчиним науку ее настоятельнейшей, внутренне ей присущей необходимости, а с другой — когда сами в годину крайнего бедствия докажем, что достойны немецкой судьбы. И пусть Платона благородный сад уж не цветет на берегу реки старинной, пусть бедняки распахивают прах героев и птица ночи на развалинах скорбит. Священный лес, мы дома — у тебя. А сами мы? Неужто хоть один из нашей молодежи предаст огласке то, что в сердце у него?!

Кто ж не захочет, посредством деяний или мысли, посеять семена ради бесконечного, непрерывно продолжающегося совершенствования человеческого рода, бросить в борозды времени что-то новое, никогда прежде не бывалое, что останется в них и станет неиссякаемым источником новых творений; оплатить свое место на земле и подаренный ему краткий срок жизни чем-то таким, что будет вечно длиться и здесь, внизу? Народ и родина в этом смысле — как носители и залог земной вечности и как то, что может быть вечным здесь, в земном мире, — намного превосходят государство, в обычном значении слова. Привет же тебе, в лице лучших твоих сынов, родина с именем новым: плод самый зрелый времени! Напитавшись нашей кровью, земля теряет память. Нас слишком много. Родина это не земля. Она — в нас. Все остальное пусть горит огнем, мы будем греться возле костра. Мы — это мы! Землю, немецкую землю собственной кровью омой! И мы, лежащие внизу, знаки самих себя, выйдем на поверхность холма и будем, как семена, развеяны. Ветер подхватит нас. Мы, духи тишины, разметаны по всей земле, отзвуки наших голосов постепенно замирают в ее глубинах. Или вспомним эти невыносимые восторги, весь этот обман, в котором человек прежних общественных формаций вынужден был искать прибежище, — небо, исповеди, секты; искал в них прибежище именно потому, что он наделен душой, что он, в отличие от обезьяны, — думает; но на самом деле он мог только потеряться во всем этом, обмануть самого себя, стать чужим себе, превратиться в свинью, в мерзость. В пыточной изоляции, теперь, обнажилось вот что: человек и империализм, причем одно исключает другое. Что из этого вытекает, есть единственная продуктивная сила, от которой зависит все: революционное насилие и способность к противонасилию. Как если б древние воды, новой яростью распалясь, труд очищенья творить вернулись: так — год за годом, — нарастая, наводняли печальный край валы неслыханного побоища; повсюду смертная бледность, повсюду мрак слепоты покрыли и окутали человека. Ты спрашиваешь меня: чем в конечном счете окончится наша борьба? Я отвечу: победой. Если же ты спрашиваешь конкретно, тогда отвечу: смертью. Неужто нам цветок придется растоп-

тать, взращенный нами, — коль он прежде срока и непомерно пышно распустился? Мы у себя, дома. Плотно утрамбована почва над нашими головами, замкнута горами долина, но уже светает.



Мы встаем. Из лесу вышел олень, из-за туч появляется солнце, и высоко в небесах сокол стремит свой полет. А в долине, среди лугов, привольно расположилась деревня, и под ней лежим мы. Тихо здесь, мы у себя дома. Под землей — ковер из наших костей, туда просачивается вода. И ни один боец не прекращает борьбы. И даже если ты больше не в силах держать автомат, политика, революционная борьба никогда тебя не отпустят. Хотя бы потому, что борьба против тебя прекратится лишь в том случае, если ты нас предашь, и это особенно актуально именно здесь, где тебе приходится по двадцать четыре часа в сутки бороться за свое сознание. Дома ли мы? Приветишь ли нас, небо отчизны, так, как прежде бывало? Так, чтобы падали с веток плоды на подставленную ладонь? Время и вяжет одно с другим, и разделяет. В земле одиноки мы. Перевернулось отношение живых и к свету, и к подземным обителям смерти. Наши мертвые тела разбросаны по поверхности, напоминая лишь о том, что прежнему величию суждено истлеть. И многие юноши вынуждены спускаться к нам в глубины, ибо история отторгла от себя их кости, и они тихо упокоились, не исчерпав отпущенного им срока. И такие будут множиться. Мы — кучный народ. Если человека могут ликвидировать, как собаку, ему не остается ничего иного, кроме как любым способом пытаться восстановить свое человеческое достоинство. Выйди, друг, на открытый простор — сойди в землю! И оставайся с нами! Пусть даже прежде тебя пристегнут к твоей койке и будут кормить через шланг! Вниз! Тесным сводом небо сомкнулось над нами. Сумрачно ныне: дремлют все переулки, и почти готов я поверить, что свинцовый век наступил.

Три рода привязанности — через народ к судьбе государства в его духовной миссии — искони присущи немецкому человеку. Три вытекающие отсюда обязанности — трудовая повинность, воинская повинность и повинность научного познания — одинаково необходимы и равноценны. Ибо желаем мы не излишеств, а того, что нужно для жизни: только такое всегда окажется к месту, всегда будет радовать нас. Но прилетают и ласточки, прежде чем лето начнется, с благословеньем в наши края. Мы, однако, лежим тихо, у себя дома. Смотри, зеленеют когда-то выращенные тобою деревья, своими ветвями они обнимают дом. Они поднялись из земли, а мы навеки останемся в ней. Свои и чужие одновременно. Увереннее уже стоят деревья. Мы — дома; неудержимо тянется к небу предчувствий полный народ, пока об отцах небесных не вспомнят юноши снова, не захотят из земли воспрянуть, но — опоздают прийти. И это разрушительное молчание — тело-то, конечно, вопит, когда в глотку засовывают шланг, — это молчание уничтожит палача! Мы тут сталкиваемся, говорю я, с очень древним законом, согласно которому ни одна часть живого мира не может оставаться равнодушной, когда человек одновременно требует для себя неограниченной человечности и сам упрочивает ее. Будьте же и вы здесь у себя дома, как мы! Звезда блуждающая дня, ты появилась; и ты, земля, в которой мы лежим, — для нас ты стала мирной колыбелью, — и ты, дом предков, задышали снова! Напейтесь же, ручьев моих отрада! Еще мгновенье, и раздастся топот, и ты, звезда блуждающая дня, на место

явишься — владыкой в шпорах, чье место всюду, где явился он. Добро пожаловать домой, в облака человечьей дичи!

Мы у себя дома; мы, языки народа, скованные в земле. Мы охотно посещаем живых, там соединяется многое. И многих мы бы хотели позвать к себе, но мы остаемся одни. Наш отец, который всех непроснувшихся держит на золотых помочах, как детей... И головой окунает в священную трезвость вод... Нам только не мешайте спать! Мы живем главным образом во внутреннем пространстве души и мысли. В этом отшельническом одиночестве духа мы занимаемся тем, что, прежде чем начать действовать, тщательно разрабатываем принципы, которым намерены следовать. Поэтому и получается, что от святилищ, от оружия слова, которое на прощанье вы нам, неискушенным, оставили, мы так медленно переходим к поступкам. Куда нам девать раненых, чтобы их спасти? В отделения интенсивной терапии — то есть мы должны обречь их на тот же говенный круговорот, фазы которого наверняка будут укорачиваться: на инъекции, техническое обслуживание. Потом снова: через шланг через шланг через шланг — и в изоляцию, растянувшуюся на годы, в неизбежность предательства? Предательство? Победа или смерть — когда-то это было единственной нормой. Другая норма, победа *и* смерть, означает, если говорить по-простому: пленных, оборону до последнего, тотальную блокаду. Содержание — это борьба это борьба. Но самые слепые — сыны богов. Человек знает свой дом, зверь знает, где рыть логово; и только им, душам неискушенным, верный путь неведом. Ибо где мы начнем, там и кончим. У себя дома. Однако человек может, пока не умер, хотя бы в памяти хранить благое, и это высшее, что ему доступно. У каждого своя мера. Несчастье снести тяжело. Но счастье — тяжелее. В нашем дому, однако, и эти юноши не чужие. Трижды живут они, так же, как первенцы неба. Здесь они крепко пристегивают нас к койкам. Просто было указание: не допускать, чтобы умер кто-то еще из наших, раз уж нельзя нейтрализовать такой ход событий посредством контрпропаганды, любыми способами. Этим, естественно, и занимаются отделения интенсивной терапии — у нас дома. Тут важно еще другое: они надеются, что в часы предсмертной агонии наша воля, возможно, сломается, а значит, прекратится и голодовка. Пленный, который умирает в клинике, умирает как больной, в присутствии врачей, оказывающих ему последнюю помощь, — то есть он уже не борется.

Они одряхлели в странствиях, их обесцветил север, у них и власы поредели, в пламени юга сгорев. Мы же оставались дома. Издалека вернулись те, душой истомленные, чтоб после долгой разлуки отчизну свою узреть. Краски опять расцвели на щеках их мертвенно-бледных, и в потускневших глазах вновь загорелся огонь. Мол, среди нас они — у себя дома. Но если вам, воды родины, сердце так жалобно вторит — разве не их возвращения втайне желает оно? Блаженные, простерлась в ожидании страна сегодня, тенью омраченная! Живите с нами, среди нас, склонив главу. Посланцы прошлого, столь дорогие нам! Сюда! Прекрасный лик ваш созерцать, как прежде, сегодня я страшусь: погибель в этом, и не дозволено будить умерших. Рассаживайтесь! В небе голубом уж не витает голубой ваш сонм. Суровым веком рождены, для нас в пример, останьтесь с нами. Мы не можем помешать им убить некоторых из вас. Но мы можем им поме-

шать убить всех. Если умрет еще хотя бы один пленный, потому что они пока не поняли, к чему все клонится, никакие переговоры уже не будут возможны. Так обстоит с нами. Однажды между днем и ночью должна явиться истина. Бесстрашно проходят сыны Альп над пропастью по легким мостам. Поэтому, поскольку кругом, вокруг ясности, громоздятся вершины времени и любимые живут поблизости, изнуренные, на разрозненных скалах, дай нам воды невинной, дай нам крылья, чтобы могли мы с неложными помыслами перенестись на ту сторону и потом назад воротиться. Наука как воля к осуществлению исторической миссии немецкого народа как народа, осознающего себя в своем государстве, — наука и немецкая судьба должны прежде всего стать сущностной волей к власти. И они станут ею тогда и только тогда, когда мы когда мы когда мы в годину крайнего бедствия докажем, что достойны немецкой судьбы. Мы сами собой спешим к завершению. Мы у себя дома, вброшенные в прах нашего песнопения. Мертвых мы пробуждаем — тех, что еще причастны грубой стихии. Но много и робких очей — они пока не решаются взглянуть на наш свет. Так обстоит с нами! Служили мы матери-земле, служили солнечному свету, но мы остаемся при нас самих, мы в мире с собой. Займите же места здесь! Правда, для этого естественная свобода индивида должна быть во многих отношениях ограничена ограничена ограничена, и даже если нет никакого иного соображения или намерения, кроме вышеуказанного, то все равно следует ограничивать свободу людей как можно жестче и подчинять все их порывы единообразным правилам, а их самих держать под неусыпным контролем. На чем же основывается такая наша уверенность? Мы у себя дома, дома — здесь сладкий лип аромат и буки, в полдень: когда на поле хлеба шуршат, колосьев прямые стебли, тогда и мы присутствуем здесь!

Воля ведь не собственность, а мотор. Крепнет она постепенно — благодаря тому, что мы боремся. Ты должен отвоевывать это у мотора каждый день. Это невероятно трудно, это гораздо труднее — особенно выдержать первые дни, — чем любая террористическая акция, какую только можно себе представить: именно потому, что у них есть всё, а у тебя — ничего. И так идет... на темя Отца. Мы! Слабеют небожители, чтоб чистое себя познало. Мы — у себя. Мы! Последнее же, на зловещем поле: из славной груди героя кровь сочится, услада битвы, а из уст тех, кто подобен нам, голос бьет родником. О высшем не хотим мы умолчать; мы дома, и глаголем мы о том, что сами мы постичь сумели. Лишь столько можем мы забрать домой. От четырех ветров приди, дух, и дохни на этих убитых, и они оживут! Выйдут к нам из земли! К нам, ибо их у нас не отнять! Пусть даже ветер, и бури, и ливневые потоки, и жгучие солнечные лучи выбелят мертвые кости, животворящее дыхание дýхов все еще веет. К нам! Оно соединит и мертвые кости нашего национального организма, дабы он обрел величественную стать в новой, просветленной жизни. И мы будем в этой куче-мале! И мы! Себе мы сами вскроем грудь и сами же себя разбрызжем в прах по капле. Мы здесь и сюда доставим тех, ставших нашими жертвами: мертвых. Земля нуждается в плуге, скала — в ударах кайла. Иначе было бы нам бесприютно. Мы погибали бы на крутой тропе. Мы, странники, пусть и гневаясь, тоже по этим тропам ходили. К нам, туда, где мы обитаем! Домой. Домой.

Домой.

Старинное и выдержавшее все испытания глубокое чувство немецкого народа произвело это низвержение по требованию простого, прямого сердца. Какою силой прикованы мы к древним и блаженным далеким берегам? Тем, что остаемся у себя. В глазах уж брезжит понимание. В родной земле хотим мы укорениться, хотя мы и так живем на ней! Родина — мать наших мыслей и грез. В высших школах Германии много работают, но там мало делается для будущего. Все это лишь подсобная работа. Но мы уже зреем для деяния. Кафедральная мудрость нас не спасет. Этот народ работает над собственной судьбой, поскольку свою историю и свой духовный мир ему приходится отвоевывать для себя вновь и вновь. Мы бы охотно стали напоминанием для других, но мы остаемся нами. У себя дома. Все ж в средоточье времен живем мы спокойно и охотно, напоминаньем для не нуждающихся в напоминаниях. От рожденья нам предназначен для жизни тот край, где солнечные лучи не жгучи под сенью леса. Все мы верим, что жить здесь лучше, чем где-либо еще в мире. Поэтому, добрые ду́хи, легче вы нас окутывайте! Нами! Чтобы ничто чуждое нам не мешало. Оставьте нас среди нас, в своем кругу! Самое главное для руководителя — не просто идти впереди, но обладать достаточной силой, чтобы идти одному. Не из упрямства или стремления к власти, но потому, что ты глубже осознаешь свое предназначенье и имеешь больше обязанностей. Такая сила привязывает к существенному, способствует выбору наилучшего и пробуждает способность к подлинному повиновению у тех, кто уже проникся новым духом. Чтобы присоединиться к нам. И земля воспрянет вместе с нами, под нами. Мы еще спим в ней, но вскоре мы воспрянем. Сиянье любви золотое! Неужто и к нам, мертвым, ты наконец снизошло? Оголены небеса, небеса — как тюремные стены, бременем тяжким висят над головами они. Но мы уже воспряли. Как бедственно наше время! Мы сидим, сбившись кучкой, на траве, чтобы мир в душе обрести и после среди цветов упокоиться, у себя дома. Когда вкруг нас витают тихие облака, мы удивляемся, но истолковать знаменье не можем. В тот летний день — тогда мы искали тени. Дома. У себя. Новые титаны замыслили еще раз штурмовать небо? Оставайтесь с нами! Вас небо не примет, ибо вы — рожденные на земле. Оставайтесь здесь, с нами! Иначе вас просто лишат возможности видеть небо, лишат его благодати, и у вас останется только ваша земля как холодное, темное и бесплодное пристанище. Землю-то у нас не отнять. Мы на ней сидим и с места не сдвинемся. Мы, потеснив других, просторно расположились здесь, и мы в своем праве. Как агнцы на лугу — на зеленом ковре, который мать расстелила на радость нам. Этого у нас не отнять. Может, мы и отлучаемся ежедневно, но мы остаемся здесь.

Быть с небожителями *так* наедине, у нас же дома; над нами — свет, и бури, и ветра, и само Время, кажется, спешит туда, где попираем мы пятой главу соседа и спор о первенстве ведем. Словно стихии древнего Хаоса, досель в разладе зыблются помыслы переживающего брожение века. Но мы воспрянули, мы дома, и спокойно — тропами мирными — стремим свой путь. Вверху над нами — сеющие прах облака. Охотно дома остается тот, кто сохранил в груди божественную искру, и все язы́ки неба мы хотим, пока живем, любовно толковать. Повсюду, где неложный свет открылся нам. Боль? Точно не скажу, но, похоже, тем, кто сопротивляется, боли не избежать. А если мне позволительно высказать свое мнение о тебе и об этой процедуре, то что вы хотите доказать? К кормлению через тонкие шланги прибегли пото-

му только, что поблизости оказались важные шишки — наверное, те же, которые прежде распорядились, чтобы пленным не давали воды. Это очень болезненно! Очень! Мы их достали! Но скорее деревья стронутся с места, чем мы. Мы останемся здесь, отсюда нас не отъять. И детских лет покой, и юность, и любовь — их больше нет. Но ты, мой край родной! Святой и страждущий, остался ты со мною. Тихи мы пред судьбой. И — останемся. Удел наш — любить и страдать. Здесь! Вне судьбы, словно спящий младенец, дышите только вы, небожители. И только ваши блаженные очи тихо смотрят, ясные вечно. А нам нет приюта никогда и нигде, или мы давно обрели приют — в земле, которая не выпускает обратно? Или мы никогда и не были снаружи? То есть весь порядок нашего сословия основывается только на памяти, а здесь мы никогда не были? Выдернут ли нас из земли? Куда мы в таком случае попадем? Но нет, мы останемся здесь, здесь мы у себя дома. Если бы даже все остальные европейцы вдруг захотели перебить друг друга во всех морях и на всех островах и побережьях, в центре Европы прочный немецкий вал помешал бы им напасть друг на друга, здесь по-прежнему царил бы мир и немцы сохранили бы покой и благосостояние как у себя, так и у какой-то части прочих европейских народов. Здесь мы у себя дома. Но своекорыстных и думающих лишь о ближайшем будущем чужеземцев не устраивало такое положение вещей. Они предпочли использовать мужество немцев для того, чтобы с их помощью вести свои войны, чтобы их руками вырывать добычу у соперников. И доставлять домой.

Так вот почему, Земля, человек от груди твоей отлучен, своей же гордыней: твои дары и узы нежности презрев, ищет он, дикий, лучшей жизни! Для чужого земля наша смертоносна. На пути из Ничто в Ничто, между Ничто и Ничто. Мы у себя дома, но кто нас за это поблагодарит? Хорошо, что земля создает прохладу. Гостеприимно теплится в окнах свет, воздух согрет очага безобидным жаром. Вдруг голос чуждый — и вспрянули стада. Мы Чужака не видим, а узнаем, что он рядом, услышав звякнувший флюгер. Имя его нам неведомо, приходит он только ночью. Молчит среди нас, живых. Мы же... Мы же... На что бы мы ни смотрели, мы ищем самих себя. Растем и становимся лесом.

*Наряду с другими источниками, здесь использованы тексты Гёльдерлина, Гегеля, Хайдеггера, Фихте, Клейста и письма членов "Фракции Красной Армии" 1973–1977 годов.*

## Комментарии

### Название

Название пьесы многозначно.

Если учитывать точки, его можно понять и как *облака (и) дом* и как *облака (суть наш) дом*.

Прочитанное подряд, в одно слово, оно звучит как нормальное немецкое название города или замка (*Wolkenheim*, по-русски что-то вроде "Тучеград" или "Облачный град"), но в то же время отсылает сразу к двум комедиям Аристофана: к "Птицам", где описывается создание нового города между землей и не-

бом — города, жители которого вознамерились помешать общению между людьми и богами (в немецком переводе он называется *Wolkenkukuckheim*, "Кукушечий дом в облаках") — и к "Облакам", где философ Сократ (персонаж пьесы) дает этим небесным странникам такую характеристику:

> ...Это — дети небес, Облака, а для нас, для мыслителей — боги
> Величайшие, разум дающие нам, мысли острые, силу сужденья,
> Красноречия жар, убеждения дар, говорливость и в речи сноровку[1].

**Посвящение**

*Леонард Шмайзер* (р. 1957) — австрийский философ и литератор, автор статьи "Память земли" (опубликована в журнале "Тумулт" в 1987 году), где он рассматривает немецкую националистическую доктрину "крови и почвы" и ее истоки в народных верованиях.

*Даниэль Эккерт* — современный австрийский философ, специалист по теории игр, автор диссертации "Исследования по философии языка" (1984); в период написания "облаков" Эльфрида Елинек обращалась к нему за консультациями.

**Мы привыкли думать: мы, мол, далеко снаружи... (1)**

Это единственный отрывок, где прямых цитат нет.

*Святые, светящие в темноте.* Аллюзия на стихотворение Гёльдерлина "Обманчиво-святые поэты" (*Die scheinheiligen Dichter*); ниже в этой же сцене упоминается "обманчивое сияние".

*Мы всегда теряемся, когда кто-то, пусть даже один, дает нам приют в своей памяти...* Ср. в "Патмосе" Гёльдерлина: "...загадкой вечной останутся друг для друга, / не могут друг друга постичь те, / кто вместе живет в чьей-то памяти".

*Люди — чужие, как и мы, странники...* Тема странника часто возникает у Гёльдерлина, ей посвящено и стихотворение с таким названием (в переводе Е. Эткинда — "Скиталец"). Слово "странник" отсылает, возможно, и к "Кольцу Нибелунгов" Р. Вагнера.

*...все кишмя кишит знаками, указующими на нас.* У Гёльдерлина речь идет об *одном* "знаке спасительного решения", которому служат поэты ("Патмос"), а не о знаках самих поэтов, которые "кишмя кишат". Поэты для людей — знак этого знака: "Мы только знак, но внятен смысл... Вне сомненья только Единый". ("Мнемозина". Перевод С. Аверинцева.)

*...мы, единственные.* В стихотворении Гёльдерлина "Единственный" под этим словом подразумевается Бог или Божественный вестник, о поэтах же сказано: "Подобает поэтам, даже духовным, быть мирскими". (Перевод В. Микушевича.)

**В холодную пору года, когда завывает буря... (2)**

*...над головами у нас Свет проходит, мы — у себя. Где еще жизни осталось жить?* Ср. у Гёльдерлина: "Ибо молвите, где жизни осталось жить, / Если скова-

1. Перевод А. Пиотровского.

но все рабской заботою? / Беззаботны лишь Бога / Над главою людской пути" ("Любовь", перевод С. Аверинцева); "Над нами свет проходит, бури и ветра, и / Само Время, кажется, спешит туда..." ("Пропето под Альпами"); "Над головою людской время, бушуя, бежит, / Но перемен роковых не видят блаженные очи". ("Плач Менона о Диотиме". Перевод В. Микушевича.)

*Как хорошо крестьянину, когда он праздничным утром выходит взглянуть на поля, если из душной ночи прохладные молнии падали, да и теперь еще гром грохочет вдали.* Ср. начало стихотворения "Как в праздник...", в котором описывается миссия поэтов: "Как в праздник на поля свои взглянуть, / Выходит утром земледелец, если / Из душной ночи молнии прохладные / Все время падали, и гром гремит еще вдали... / Так и вы стоите при погоде ясной, / Вы, которых учит не только мастер, / Но и вездесущая могучая природа, / В свои объятия легкие заключив". (Перевод В. Микушевича.)

*Прокладываем для себя ровный путь.* Ср. у Гёльдерлина, "Путь жизни": "И ты стремился к великому, однако любовь принуждает / Всех нас спуститься ниже, скорбь гнет еще сильнее, / А все ж не напрасно сгибается / Лук человеческой жизни... Вот что постиг я. Вы, небожители, хранители жизни земной, / Как и смертные учителя, — с умыслом, так я понял, — / Никогда меня ровным путем не вели".

*...а смертные — те пусть без страха пьют небесный пламень...* Ср. у Гёльдерлина: "Могут с тех пор небесный пламень / Смертные пить, не страшась". ("Как в праздник..." Перевод В. Микушевича.)

*Отчий луч, чистый, нас не сожжет... <...> ...когда приблизится к нам...* Ср. у Гёльдерлина: "Помыслы всемирного духа / Тихо завершаются в душе поэта, / Чтоб ей, сраженной, бесконечному издавна / Причастной, от воспоминания / Содрогнуться, сгореть от святого луча / И плод любви родить, богов и людей созданье, / Свидетельство о тех и других — напев. <...> / Отчий луч не сожжет нас, / И, сильного страданьям сострадая, / Потрясаемое горней бурей Бога, / Когда он приближается, — наше сердце / Не содрогнется..." ("Как в праздник..." Перевод В. Микушевича.)

**Мы спасены. И к мертвым нисходит сиянье... (3)**

*Мы спасены.* Ср. у Гёльдерлина: "Ах! Как ребенок я часто к земле опускаю взор, / В пещерах спасенья ищу и, слабоумный, / надеюсь место найти для себя такое, / Где бы ты, Потрясатель основ, меня не достал". ("Гений Времени".)

*И к мертвым нисходит сиянье...* Ср. у Гёльдерлина: "И к мертвым снизошло ты, сиянье любви золотое?" ("Плач Менона о Диотиме".)

*...но мы, сады милые...* Ср. у Гёльдерлина: "О песня, стань приютом приветливым. / Тебя, как сад, с любовью заботливой / Взращу я..." ("Мое достояние". Перевод П. Гурова.)

*...других потеснив, просторно расположились под ним.* В этой фразе слышится отсылка к известному стихотворению Пауля Целана "Фуга смерти", где рефреном повторяется, слегка видоизменяясь, фраза: "...там в облаках вам найдется могила там тесно не будет". (Перевод О. Седаковой.)

*Свобода является единственно истинным духом.* Цитата из "Лекций по философии истории" Г. В. Ф. Гегеля (1837); здесь и далее они цитируются — иногда с незначительными изменениями — в переводе А. М. Водена.

*В нас самих наше средоточье, и мы — у себя дома.* Ср. у Гегеля (там же): "...именно духу свойственно иметь средоточье в себе, его единство не вне его, он нашел его в себе, он в себе и у себя".

*Когда грозит нам северный ветер, мы не опадаем с ветвей. Мы сидим. Улыбаемся безмятежно.* Ср. у Гёльдерлина: "Когда, враждебный влюбленным, / Жалобы громко суля, ветер грозил, и с ветвей / Опадала листва и с ветром дожди налетали, / Мы улыбались и в дождь, бога найдя своего..." ("Плач Менона о Диотиме". Перевод В. Микушевича.)

*Свобода. Субстанция материи находится вне ее, дух есть у себя бытие.* Продолжение цитаты из Гегеля.

*И то, что приходило, святое, всегда оказывалось нашим же словом.* Ср. у Гёльдерлина: "Светает. Я увидел то, что пришло. И увиденное, святое, пусть станет моим словом". ("Как в праздник...")

*Быть дома, когда великое мы замыслим, — тогда знаменьями и вселенскими деяньями воспламенится новый пожар.* Ср. у Гёльдерлина: "Как вспыхивает пламя в очах мужа, / Когда великое он замыслит, / Так знаменьями и вселенскими деяньями / Воспламенена душа поэтов снова". ("Как в праздник..." Перевод В. Микушевича.)

*И мы, пусть в рабском образе, но владыки, из чьей груди ключом бьет голос владычества, — мы будем узнаны.* Ср. у Гёльдерлина: "Теперь мы знаем: наши нивы пахали / В рабском образе, улыбаясь, / Боги живые, бессмертные" ("Как в праздник..." Перевод В. Микушевича); "...из груди твоей ключом бьет голос надежды..." ("Плач Менона о Диотиме".)

*...тех, с неблестящими лбами, что, словно злато, погребены в земле...* Ср. у Гёльдерлина: "Гул долетает из недр, на сокровища ночь не скупится, / Золото в горных ручьях блеском себя выдает". ("Плач Менона о Диотиме". Перевод В. Микушевича.)

*Помыслы всемирного духа тихо завершаются в нашей душе. Мы свидетельствуем о себе: мы здесь.* См. примечание к сцене 2. (*Отчий луч, чистый, нас не сожжет...*)

**Мы у себя. По непреложным законам... (4)**

*По непреложным законам, как встарь, обновляется вдохновенье — святым Хаосом зачатое всехтворенье.* Ср. у Гёльдерлина: "Природа пробудилась... По непреложным законам / Зачата святым Хаосом, / Обновлена вдохновеньем / Всетворящая снова". ("Как в праздник..." Перевод В. Микушевича.)

*Влечет нас наверх, и снова, ничтожные, низвергаемся мы в тюремные стены, но все же мы здесь. Чем бы ни было то, что над головою висит.* Ср. у Гёльдерлина: "Оголены небеса, небеса — как тюремные стены. / Бременем тяжким висят над головою они". ("Плач Менона о Диотиме". Перевод В. Микушевича.)

*Мы блаженствуем, даже сидя в средоточье страданья.* Измененная цитата из "Плача Менона о Диотиме": "Стало быть, я не один? Стало быть, издалека / Дружба мне знак подает? / Улыбаюсь я, изумленный, / Неизреченно блажен даже в страданье самом". (Перевод В. Микушевича.)

*Но встаем, когда терпенье вконец иссякнет, и цветем как тополи.* Измененная цитата из пьесы Г. фон Клейста "Семейство Шроффенштейн" (I, 1).

*...чтоб люди ниже в поклоне склонялись, чтоб даже тишайшие струны сердец перед нами умолкли? Чтоб они с радостью путь завершили у нас на глазах?* Измененная цитата из стихотворения Гёльдерлина "К немцам", где поэт (от первого лица) говорит о том, что хочет склониться перед "гением нашего народа", перед "душой отчизны".

*Дух струится у нас со лбов.* Измененная цитата из "Песни о колоколах" Ф. Шиллера: "Пусть струится горячо пот со лбов — еще и еще".

*Восточные народы этого не знают. <...> ...душевная мягкость же обнаруживает себя лишь в силу случайности.* Цитата из "Лекций по философии истории" Г. В. Ф. Гегеля.

*Хотя и нам, вероятно, никто не сумеет сон отогнать от чела!* Ср. у Гёльдерлина: "Ужель одинок я / И не может никто сон отогнать от чела?" ("Штутгарт". Перевод Е. Эткинда); "Наверно, никто не способен / Ныне с чела моего грустную грезу совлечь". ("Плач Менона о Диотиме". Перевод В. Микушевича.)

*Мы, добрые, тоже бедны на деянья, но мыслями полны! <...> А молчанье в народе не есть ли уже предвосхищение праздника?* Слегка измененная цитата из стихотворения Гёльдерлина "К немцам".

**Мы внятно слышимы... (5)**

*...нам никогда не забыться смертным сном. Этого у нас не отнять. Безымянны и не оплаканы — другие.* Ср. у Гёльдерлина: "Бедный провидец! Тоскуя, погаснет твой взор, / И ты забудешься смертным сном, / безымянен и не оплакан". ("К немцам".)

*Мы смотрим на ту сторону, не страшась соседей, пятой попираем их главу. Дика и печальна их жизнь средь забот постылых, а все ж — они дома. ...они спокойно торят свой путь.* Ср. у Гёльдерлина: "Но слишком долго смертный пятой встает / На грудь врага, и споры о первенстве / Ведет. <...> Но ты все так же верный свой путь творишь, / Земля, о Матерь!" ("Мир". Перевод С. Аверинцева.)

*Но именно потому, что мы рассматриваем историю как бойню... <...> столь чудовищные жертвы?* Цитата из "Лекций по философии истории" Г. В. Ф. Гегеля.

*Мы всё хотим дотянуться до соседа, его скорей в противящиеся облака* (sträubende Wolken) *спровадить...* Ср. у Гёльдерлина: "Судья взирает на юношей ристание — / Как пылкие бойцы себя и колесницы / В прахом курящиеся (stäubende Wolken) облака загоняют". ("Мир".)

*И эгоизм, находясь в безопасности на спокойном берегу, наслаждается открывающимся перед ним далеким видом развалин.* Цитата из "Лекций по философии истории" Г. В. Ф. Гегеля.

*Другие же и на своей земле не имеют сло́ва* (Sagen). Ср. у Гёльдерлина: "...соседей страшась, человек / На своей же земле благословения (Segen) не имеет". ("Мир".)

*Теперь, как в копь, сойдем к себе мы в душу, тысячекратно вскрикнем и найдем руду холодную губительного чувства.* Цитата из пьесы Г. фон Клейста "Пентесилея" (сцена 24).

*И всякий раз мы как дети, наши руки невинны.* Ср. характеристику поэтов у Гёльдерлина: "Ибо, как дети, мы сердцем чисты, / Наши руки невинны". ("Как в праздник..." Перевод В. Микушевича.)

**Негры, если к ним присмотреться... (6)**

*Негры, если к ним присмотреться... <...> Лишенные сознания, они просто цветут на своих берегах.* Цитата из "Лекций по философии истории" Г. В. Ф. Гегеля.

*О силы неба, как же люди бренны! Еще недавно на вершинах жизни шумели мы листвой!* Ср. в "Пентесилее" Г. фон Клейста: "О силы неба, как мы, люди, бренны! / Как гордо та, кто здесь лежит, стояла / Еще недавно на вершине жизни!" (Сцена 24. Перевод Ю. Корнеева.)

*На голос чуждый всюду встают стада, леса шумят, и недра подземные внимают духу реки, внятно дух шевельнулся — и в бездне трепет.* Так в "Ганимеде" Гёльдерлина описывается появление Божественного вестника (Перевод С. Аверинцева.)

*Чтобы дух наш принял Его, Бог должен быть не просто Громовержцем.* Цитата из "Лекций по философии истории" Г. В. Ф. Гегеля.

*У негров же этого нет, ничто не приводит их к осознанию высшего. Любой предмет, которому они приписывают волшебную силу, будь то животное, дерево или камень, обретает над ними власть.* Цитата из "Лекций по философии истории" Г. В. Ф. Гегеля.

*Негры. Они не знают различий, всякая всеобщность для них — лишь глубина произвола.* Цитата из "Лекций по философии истории" Г. В. Ф. Гегеля.

*Когда мы спим высоко в горах, из недр глубинных вскипает родник — в нас самих. Сбросив путы, мы, разъярившись, вершим над собой труд очищенья.* Ср. описание Божественного вестника у Гёльдерлина: "Но крепнет мощно голос в груди. Из недр / Родник вскипает, словно бы в некий час / Как отрок спал в горах. И вот уж / Труд очищенья вершит он буйно". ("Ганимед". Перевод С. Аверинцева.)

*И любящими руками взваливаем себе на плечи небо.* У Гёльдерлина о древних пророках говорится, что они "...бесстрашно на заре мира, / Взвалив на плечи судьбу и небо... Первыми научились / Лицом к лицу говорить / С Богом". ("У истоков Дуная". Перевод В. Микушевича.) А в стихотворении "Рейн": "Сыны земли полны, как мать, / Любовью всеобъемлющей и без труда / Приемлют весь мир, счастливцы. / Поэтому смертный муж / Дрожит, помыслив / О небе, взваленном на плечи / Влюбленными руками". (Перевод В. Микушевича.)

*И как фурии разрушаем все по соседству, где выросли другие.* Ср. высказывание Г. В. Ф. Гегеля об одном не названном им конкретно средневековом негритянском государстве (в "Лекциях по философии истории"): "Эти фурии разрушали все по соседству; так как они не обрабатывали земли, они постоянно грабили".

**Затем благодаря этому наступает четвертый момент... (7)**

*Затем благодаря этому наступает четвертый момент всемирной истории — германское государство; при сравнении с возрастами человека оно соответствовало бы старческой поре.* Цитата из "Лекций по философии истории" Г. В. Ф. Гегеля.

*Естественный старческий возраст — это слабость, но старческий возраст духа оказывается его полной зрелостью, в которой он возвращается к единству, но именно как дух.* Цитата из "Лекций по философии истории" Г. В. Ф. Гегеля.

*Мы у себя, мы — наше достояние.* Ср. стихотворение Гёльдерлина "Мое достояние", где поэт говорит, что его достояние — песня, взращенная любовно, как сад.

*Орлы обитают во тьме, и мы, их сыновья, бесстрашно проходим над пропастью по сомнительным тропам.* Ср. у Гёльдерлина: "Во тьме живут / Орлы, и бесстрашно проходят / Сыны Альп над пропастью / По легким мостам". ("Патмос". Перевод В. Микушевича.)

*Поэтому, когда кругом громоздятся вершины времени и любимые живут поблизости, изнуренные, на разрозненных скалах, дай нам воды невинной, чтоб в горсти наши текла, чтобы мы наилучшее получали.* Ср. в "Патмосе": "Поэтому, когда кругом громоздятся / Вершины времени и любимые / Живут поблизости, изнуренные / Разлукой, на скалах, / Дай нам воды невинной, / Дай нам крылья, чтобы могли мы / Друг друга проведать и возвратиться". (Перевод В. Микушевича.)

*Мы спим вверху, превыше всего* (über alles)... Эти слова вызывают ассоциацию с немецким гимном "Германия превыше всего", написанным Августом фон Фаллерслебеном в 1841 г.

*Но продолжительность времени есть величина относительная, а дух вечен. Продолжительности в собственном смысле для него нет...* Цитата из "Лекций по философии истории" Г. В. Ф. Гегеля.

*...мы, ангелы истории.* "Ангелами родины" Гёльдерлин называет не самих поэтов, а Божественных посланников ("Штутгарт").

*Далее уже местность не узнавали; но вскоре, на новой заре, таинственно расцвело в золотой дымке, стремительно вырастая с каждым шагом солнца, нечто нам неведомое.* Ср. у Гёльдерлина: "...местность не узнавал я, / Но вскоре, в свежем сиянии, / Таинственно, / В золотой дымке, расцвела, / Вырастая стремительно с каждым шагом солнца, / Тысячами вершин благоухая, / Азия передо мной..." ("Патмос". Перевод В. Микушевича.)

*И находим, кроме того, на Востоке славянскую нацию... <...> ...в истории мы имеем дело исключительно с прошлым.* Слегка измененная цитата из "Лекций по философии истории" Г. В. Ф. Гегеля.

*Себя находим спящими в долине... <...> ...мы не постигнем ни себя, ни этот детский жест.* Измененная цитата из "Семейства Шроффенштейн" Г. фон Клейста (III, 1): "Я спящею нашел тебя в траве, / Покоившей тебя, как в колыбели, / Намет ветвей висел, как балдахин, / Пел водопад, и воздух тихо веял / В твое лицо дыханьем опахал. / Казалось, за тобой богиня ходит; / Ты пробудилась, показавшись мне / Моим родившимся в то утро счастьем. <...> Твоя душа лежала предо мной / Раскрытая, как книга, что сначала / Захватывает дух, потом его / Волнует глубиной и напоследок / Привязывает накрепко к себе". (Перевод Б. Пастернака.)

*Потребы жизни иногда... <...> И вот мы здесь — пусть запечатаны, как письма сургучом...* Измененная цитата из "Семейства Шроффенштейн" Г. фон Клейста: "Потребы жизни часто отрывают / Читателя, затем что хочет жертв / И жизнь земная; но лишь есть возможность, / Он возвращается к родной душе, / Которая весь мир ему толкует / На языке богов и от него / Не знает тайн, за исключеньем тайны / Своей красы, которая сама / Нуждается в истолкованье. Ныне ж / Ты — за печатью". (Перевод Б. Пастернака.)

**Мы — у себя, хотя и отлучены от земли (8)**

*Почему рука ее тянется из могилы?* Отсылка к "Сказке о своенравном ребенке" братьев Гримм (о похороненном младенце, который тянул руку из могилы, пока мать не освободила его от заклятья).

*Не любим мы, как другие дети, плакать в пеленках. <...> ...и двинутся горы, на бегу оседая.* Слегка измененная цитата из стихотворения Гёльдерлина "Рейн".

*Мы волка разыщем в его собственном логове. <...> Мы, люди, падаем не за деньги, не напоказ.* Цитата из пьесы Г. фон Клейста "Семейство Шроффенштейн" (II, 2).

*Мы здесь, чтобы просачиваться в почву, как вода. Чтоб как вода от камня к камню падать, из года в год все ниже, в неизвестность.* Ср. описание человеческого удела в "Песни судьбы" Гёльдерлина: "Падают люди / В смертном страданье / Всегда вслепую / С часу на час, / Как падают воды / С камня на камень, / Из года в год / Вниз, в неизвестность". (Перевод В. Микушевича.)

**Иди к своим друзьям... (9)**

*...вон человек стоит, я с ним знаком!* Ср. реплику Агнесы в пьесе "Семейство Шроффенштейн" (II, 1): "Вон человек стоит; я с ним знакома". (Перевод Б. Пастернака.)

*Примем же, примем нас в наши ряды, чтоб не погибли мы бесславной смертью! Не по душе нам умирать зазря, хотим мы пасть на жертвенном кургане — за родину, ей сердца кровь отдав, — и вскоре час такой настанет! К вам, дорогие! Я сойду; к вам, научившим меня достойной жизни и смерти!* Ср. у Гёльдерлина (обращение к героям и поэтам прошлых времен): "Меня, меня примите в свои ряды, / Чтоб не погиб я бесславной смертью! / Не по душе мне умирать зазря, / Хочу я пасть на жертвенном кургане / За родину, — и вскоре час такой настанет! / К вам, дорогие! Я сойду; / К вам, научившим меня достойной жизни и смерти!" ("Смерть за родину".)

*Процветай же, родина, наверху... <...> А павших не считай! Дороже жизни любого ты, дорогая.* Цитаты из "Смерти за родину" Гёльдерлина.

*Уже давно мы управляем всем, находясь под ногами других... слышишь, окутанный тучей Гений Времени!* Ср. у Гёльдерлина: "Уже давно ты управляешь всем, находясь над моей головой, — ты, окутанный темным облаком Гений Времени!" ("Гений Времени").

*И однажды выйдем отсюда... <...> Немцы!* Слегка измененная цитата из "Речей к немецкой нации" И. Г. Фихте (Речь седьмая). Под "совершенной ясностью видения самих себя" Фихте понимает дурное качество современных немцев, зараженных стремлением к "подражанию чужестранному": "Ясность совершенствуется и закругляется в себе самой; она подразумевает радостное смирение человека, отсутствие у него угрызений совести, удовлетворенность самим собой; с людьми происходит то, что они начинают верить: отныне им нет нужды улучшать себя..." (там же).

**Чужие же — те, что не относятся к нам... (10)**

*Ибо довольствуются тем, чтобы быть чем-то вторичным, производным. <...> ...они, если рассматривать их как народ, пребывают вне исконного народа и являются по отношению к нему чужаками и иноземцами.* Цитата из "Речей к немецкой нации" И. Г. Фихте (Речь седьмая).

**Мы видим друг друга вновь... (11)**

*В той нации... <...> ...не может не верить в мертвое.* Цитата из "Речей к немецкой нации" И. Г. Фихте (Речь седьмая).

*А веру в смерть... <...> ...отказ от любых попыток улучшить, посредством обретения свободы, нас самих или других людей.* Цитата из "Речей к немецкой нации" И. Г. Фихте (Речь седьмая).

*Ибо безрассудно противиться нам, героям.* Ср. у Гёльдерлина: "Ибо безрассудно противиться героям" ("Глас народа").

*Уже мы скатываемся с холмов... у бесчестных от наших песен подкашиваются колени.* Слегка измененная цитата из "Смерти за родину" Гёльдерлина.

**О немцах немцы обычно вспоминают... (12)**

*О немцах немцы обычно вспоминают в последнюю очередь — либо по скромности, либо из-за того, что людям свойственно откладывать лучшее на потом.* Цитата из "Речей к немецкой нации" И. Г. Фихте (Речь седьмая).

*Земля отличает чужих, приходящих сюда, но и понятия о ней не имеющих, от тех, кто знает ее законы, кто на ней вырос.* Цитата из "Речей к немецкой нации" И. Г. Фихте (Речь седьмая).

*Для чужого земля наша смертоносна.* Цитата из "Битвы Германа" Г. фон Клейста (V, 4).

*Вот мы и воспользуемся ясной погодой...* Ср. характеристику поэтов у Гёльдерлина: "Так и вы стоите при погоде ясной, / Вы, которых учит не только мастер, / Но и вездесущая могучая природа..." ("Как в праздник..." Перевод В. Микушевича.)

*О добрые, ведь и мы тоже бедны на деянья, но мыслями полны! Но, может, как луч приходит из облака, придет из мысли — духовно зрелый поступок? Родится плод, как в темнолиственной роще, из тихих букв?* Цитата из Гёльдерлина ("К немцам").

*Из Ничто, в Ничто.* Ср. в "Битве Германа" Г. фон Клейста (V, 4): "На пути из Ничто в Ничто, между Ничто и Ничто" (так немецкая колдунья определяет судьбу иноземного завоевателя древних германцев, римлянина Вара).

*Когда ж ты откроешься нам, душа родины... <...> ...и когда всюду под небом златым отчизны расцветет свободная радость...* Цитата из стихотворения Гёльдерлина "К немцам" (с заменой "мне" на "нам").

*И у немцев есть чувство естественной цельности в себе, то есть та цельность духа по отношению к воле, благодаря которой человек ощущает удовлетворенность собой, такую же всеохватную и не поддающуюся определению.* Цитата из "Лекций по философии истории" Г. В. Ф. Гегеля.

*Ограничен срок жизни людской... <...> ...согреться, сжав руку друга?* Цитата из Гёльдерлина ("К немцам").

**О родина, они пожинают плоды... (13)**

*О родина, они пожинают плоды твоей мысли и духа. Охотно рвут виноград, над самой же тобой глумятся, простая лоза!* Цитата из Гёльдерлина ("Песня немца").

*Страна любви! <...> А соловей на шаткой иве робко пел...* Цитата оттуда же.

**Воля к существованию... (14)**

*Воля к существованию немецкого университета... <...> ...докажем, что достойны немецкой судьбы.* Цитата из ректорской речи Мартина Хайдеггера "Самоутверждение немецкого университета" (1933—1934).

*И пусть Платона благородный сад уж не цветет на берегу реки старинной, пусть бедняки распахивают прах героев и птица ночи на развалинах скорбит. Священный лес... Неужто хоть один из нашей молодежи предаст огласке то, что в сердце у него?* Цитаты из Гёльдерлина ("Песня немца").

**Кто ж не захочет... (15)**

*Кто ж не захочет, посредством деяний или мысли... <...> ...государство, в обычном значении слова.* Цитата из "Речей к немецкой нации" И. Г. Фихте (Речь восьмая).

*Привет же тебе, в лице лучших твоих сынов, родина с именем новым: плод самый зрелый времени!* Цитата из Гёльдерлина ("Песня немца").

*Напитавшись нашей кровью, земля теряет память. Нас слишком много. Родина это не земля. Она — в нас. Все остальное пусть горит огнем, мы будем греться возле костра.* Цитата из сборника писем арестованных членов террористической организации "Фракция Красной Армии" (1973—1977).

*Землю, немецкую землю собственной кровью омой!* Цитата из популярной во время Второй мировой войны песни, написанной в эпоху наполеоновских войн, на стихи Теодора Кёрнера.

*Или вспомним эти невыносимые восторги... <...> ...революционное насилие и способность к противонасилию.* Цитата оттуда же.

*Как если б древние воды... повсюду смертная бледность, повсюду мрак слепоты покрыли и окутали человека.* Цитата из Гёльдерлина ("Мир").

*Ты спрашиваешь меня... <...> ...тогда отвечу: смертью.* Цитата из сборника писем арестованных членов "Фракции Красной Армии".

*Неужто нам цветок придется растоптать, взращенный нами, — коль он прежде срока и непомерно пышно распустился?* Цитата из пьесы Г. фон Клейста "Принц Фридрих Гомбургский" (III, 1).

**Мы встаем (16)**

*И ни один боец не прекращает борьбы. <...> ...бороться за свое сознание.* Цитата из сборника писем арестованных членов "Фракции Красной Армии".

*Приветишь ли нас, небо отчизны... <...> В земле одиноки мы.* Слегка измененная цитата из Гёльдерлина ("Странник").

*Если человека могут ликвидировать, как собаку, ему не остается ничего иного, кроме как любым способом пытаться восстановить свое человеческое достоинство.* Цитата из сборника писем арестованных членов "Фракции Красной Армии".

*Пусть даже прежде тебя пристегнут к твоей койке и будут кормить через шланг!* Цитата оттуда же.

*Вниз! Тесным сводом небо сомкнулось над нами. Сумрачно ныне: дремлют все переулки, и почти готов я поверить, что свинцовый век наступил.* Ср. у Гёльдерлина: "На открытый простор, друг! / Пусть сегодня нет лучистого блеска, / Тесным сводом небо сомкнулось над нами..." ("Загородная прогулка".)

**Три рода привязанности... (17)**

*Три рода привязанности... <...> ...одинаково необходимы и равноценны.* Цитата из ректорской речи Мартина Хайдеггера "Самоутверждение немецкого университета".

*Ибо желаем мы не излишеств, а того, что нужно для жизни: только такое всегда окажется к месту, всегда будет радовать нас.* Цитата из Гёльдерлина ("Загородная прогулка").

*Смотри, зеленеют когда-то выращенные тобою деревья, своими ветвями они обнимают дом.*
*Увереннее уже стоят деревья.* Цитаты из Гёльдерлина ("Портрет предка").

*...неудержимо тянется к небу предчувствий полный народ, пока об отцах небесных не вспомнят юноши снова...* У Гёльдерлина в стихотворении "Штутгарт" сказано, что небожители привлекают своим светом "прозревших людей, / Чтобы

небесных отцов узнали юноши снова" (Перевод Е. Эткинда) и далее: "Разумом смелый, стоит преданный вам человек".

*...но — опоздают прийти.* Ср. у Гёльдерлина: "Мы же, друг, опоздали прийти. По-прежнему длится, / Но в пространствах иных вечное время богов". ("Хлеб и вино". Перевод С. Аверинцева.)



*И это разрушительное молчание... <...> ...когда человек одновременно требует для себя неограниченной человечности и сам упрочивает ее.* Цитата из письма Хольгера Майнса, арестованного члена "Фракции Красной Армии" (5 июня 1974 года).

*Звезда блуждающая дня... <...> Добро пожаловать домой, в облака человечьей дичи!* Слегка измененная цитата из "Хирона" Гёльдерлина, где таким образом описывается возвращение божественного вестника — Геракла.

**Мы у себя дома... (18)**

*...языки народа...*
*Мы охотно посещаем живых, там соединяется многое.*
*Наш отец, который всех непроснувшихся держит на золотых помочах, как детей.* Цитаты из Гёльдерлина ("Слабоумие").

*И головой окунает в священную трезвость вод...* Ср. у Гёльдерлина: "О лебеди, стройно: / И вы, устав от лобзаний, / В священную трезвость вод / Клоните главы". ("Середина жизни". Перевод С. Аверинцева.)

*Мы живем главным образом... <...> ...принципы, которым намерены следовать.* Цитата из сборника писем арестованных членов "Фракции Красной Армии".

*...от святилищ, от оружия слова, которое на прощанье вы нам, неискушенным, оставили...* Цитата из Гёльдерлина ("У истоков Дуная").

*Куда нам девать раненых... <...> Содержание — это борьба это борьба.* Цитата из сборника писем арестованных членов "Фракции Красной Армии".

*Но самые слепые — сыны богов. <...> Ибо где мы начнем, там и кончим.* Цитата из Гёльдерлина ("Рейн", перевод В. Микушевича), с изменением второго лица единственного числа на первое лицо множественного.

*Однако человек может... <...> Несчастье снести тяжело. Но счастье — тяжелее.* Цитата оттуда же (см. перевод В. Микушевича).

*В нашем дому, однако, и эти юноши не чужие. Трижды живут они, так же, как первенцы неба.* Цитата из Гёльдерлина ("У истоков Дуная". Перевод В. Микушевича).

*Здесь они крепко пристегивают нас к койкам. <...> Пленный, который умирает в клинике, умирает как больной, в присутствии врачей, оказывающих ему последнюю помощь, — то есть он уже не борется.* Цитата из сборника писем арестованных членов "Фракции Красной Армии".

**Они одряхлели в странствиях... (19)**

*Блаженные, простерлась в ожидании страна сегодня, тенью омраченная! Посланцы прошлого, столь дорогие нам! Прекрасный лик ваш созерцать, как прежде, сегодня я страшусь: погибель в этом, и не дозволено будить умерших.* Цитаты из Гёльдерлина ("Германия").

*В небе голубом уж не витает голубой ваш сонм.* Ср. у Гёльдерлина: "И в небе голубом не медлят больше / Священным сонмом боголюди". ("Германия". Перевод В. Микушевича.)

*Мы не можем помешать им...*
*...никакие переговоры уже не будут возможны.* Цитаты из сборника писем арестованных членов "Фракции Красной Армии".

*Однажды между днем и ночью должна явиться истина.* Цитата из Гёльдерлина ("Германия").

*Бесстрашно проходят сыны Альп... <...> ...перенестись на ту сторону и потом назад воротиться.* Цитата из "Патмоса" Гёльдерлина (одной из поздних версий).

*Наука как воля... <...> ...достойны немецкой судьбы.* Цитата из ректорской речи Мартина Хайдеггера "Самоутверждение немецкого университета".

*Мы сами собой спешим к завершению.* Ср. характеристику богов в "Патмосе" Гёльдерлина: "Не они правят; правит / Судьба бессмертная; их творение (то есть люди. — *Т. Б.*) / Спешит к завершению само собой". (Перевод В. Микушевича.)

*...вброшенные в прах нашего песнопения* (Staub des Gesangs). Отсылка к ключевому образу "Патмоса" Гёльдерлина — божественному "посоху песнопения" (Stab des Gesangs), которому повинуются поэты. В том же стихотворении слово поэта сравнивается с пшеницей, которую провеивают на току: "Сперва мякина сыплется к ногам, / Потом приходит хлеб. / Не беда, если / Кое-что пропадет, не беда, если речи / Звук живой не вызовет отголоска". (Перевод В. Микушевича.)

*Мертвых мы пробуждаем — тех, что еще причастны грубой стихии. Но много и робких очей — они пока не решаются взглянуть на наш свет.* Ср. у Гёльдерлина: "Имя его — пароль небесный, посох / Песнопения, веха / Низкого нет ничего. Мертвых / Он пробуждает, если они / Еще стихии грубой непричастны. / Но многие, робко смежая очи, / Медлят взглянуть на свет..." ("Патмос". Перевод В. Микушевича.)

*Правда, для этого... их самих держать под неусыпным контролем.* Слегка измененная цитата из "Речей к немецкой нации" И. Г. Фихте (Речь восьмая).

**Воля ведь не собственность... (20)**

*Воля ведь не собственность... <...> ...у них есть всё, а у тебя — ничего.* Цитата из сборника писем арестованных членов "Фракции Красной Армии".

*И так идет... на темя Отца.* Цитата из незаконченного стихотворения Гёльдерлина "Титаны", где рассказывается о мятеже мертвых против божественных сил — "в неукрощенных глубинах". (Перевод С. Аверинцева.)

*Последнее же, на зловещем поле: из славной груди героя кровь сочится, услада битвы, а из уст тех, кто подобен нам, голос бьет родником. О высшем не хотим мы умолчать...* Ср. у Гёльдерлина: "О высшем я хочу умолчать <...> Последнее же есть Небесный знак <...> На зловещем поле, / Но не смешиваясь между собой, из славной груди героя кровь сочится, услада / Битвы, а из княжеских уст голос бьет родником". ("Однажды я спросил музу...")

*От четырех ветров приди, дух, и дохни на этих убитых, и они оживут!* Цитата из Книги Иезекииля (37, 9), которая приводится в "Речах к немецкой нации" И. Г. Фихте (Речь третья).

*...животворящее дыхание дýхов все еще веет.*
*Оно соединит и мертвые кости нашего национального организма, дабы он обрел величественную стать в новой, просветленной жизни.* Цитаты из "Речей к немецкой нации" И. Г. Фихте (Речь третья).

*Себе мы сами вскроем грудь и сами же себя разбрызжем в прах по капле.* Ср. в "Принце Фридрихе Гомбургском" Г. фон Клейста (III, 1): "Он сам себе скорее вскроет грудь / И кровь свою разбрызжет в прах по капле". (Перевод Б. Пастернака.)

**Старинное и выдержавшее все испытания глубокое чувство... (21)**

*Старинное и выдержавшее все испытания глубокое чувство немецкого народа произвело это низвержение по требованию простого, прямого сердца.* Слегка измененная цитата из "Лекций по философии истории" Г. В. Ф. Гегеля (речь идет о низвержении идеологической системы католицизма сторонниками Мартина Лютера).

*В высших школах Германии много работают... <...> ...отвоевывать для себя вновь и вновь.* Цитата из ректорской речи Мартина Хайдеггера.

*Все ж в средоточье времен живем мы спокойно и охотно, напоминаньем для не нуждающихся в напоминаниях.* Ср. у Гёльдерлина: "А в средоточии времен / Живет спокойно со священной, / Девственной землей эфир. / Напоминанием часто / Они, беспечные, / Гостят у беспечных / На празднествах твоих, Германия, где, жрица, ты / И королям и народам соседним / Даешь совет безоружный" ("Германия". Перевод В. Микушевича.)

*Поэтому, добрые дýхи, легче вы нас окутывайте!* Ср. у Гёльдерлина: "Вы, добрые духи, окутываете / Человека святым облаком <...> Если кого-нибудь слишком вы любите, / Не успокоится он, пока не станет одним из вас. / Поэтому, добрые, легче меня окутывайте, / Чтобы здесь мне остаться для песен". ("У истоков Дуная". Перевод В. Микушевича.)

*Самое главное для руководителя... <...> ...кто уже проникся новым духом.* Цитата из "Речей к немецкой нации" И. Г. Фихте (Речь пятая).

*Новые титаны замыслили еще раз штурмовать небо? <...> ...у вас останется только ваша земля как холодное, темное и бесплодное пристанище.* Цитата из "Речей к немецкой нации" И. Г. Фихте (Речь пятая).

*Как агнцы на лугу — на зеленом ковре, который мать расстелила на радость нам.* Цитата из "Портрета предка" Гёльдерлина.

**Быть с небожителями так наедине... (22)**

*Быть с небожителями так наедине...*
*...над нами — свет, и бури, и ветра, и само Время, кажется, спешит туда...* Цитаты из Гёльдерлина ("Пропето под Альпами").

*...где попираем мы пятой главу соседа и спор о первенстве ведем. Словно стихии древнего Хаоса, досель в разладе зыблются помыслы переживающего брожение века.* Цитата из Гёльдерлина ("Мир").

*...над нами — сеющие прах облака.* См. комментарий к сцене 5. (*Мы все хотим дотянуться до соседа...*)

*Охотно дома остается тот, кто сохранил в груди божественную искру, и все языки неба мы хотим, пока живем, любовно толковать.* Слегка измененная цитата из Гёльдерлина: "...И все языки неба я хочу, пока живу, любовно толковать". ("Пропето под Альпами".)

*Боль? Точно не скажу... <...> Это очень болезненно! Очень!* Цитата из сборника писем арестованных членов "Фракции Красной Армии".

*И детских лет покой, и юность, и любовь — их больше нет. Но ты, мой край родной! Святой и страждущий, остался ты со мною.* Цитата из Гёльдерлина. ("Возвращение на родину".)

*Удел наш — любить и страдать.* Цитата из Гёльдерлина ("Родина").

*Вне судьбы, словно спящий младенец, дышите только вы, небожители. И только ваши блаженные очи тихо смотрят, ясные вечно. А нам нет приюта никогда и нигде...* Слегка измененная цитата из Гёльдерлина. ("Песнь судьбы". Перевод В. Микушевича.)

*Если бы даже все остальные европейцы... немцы сохранили бы покой и благосостояние как у себя, так и у какой-то части прочих европейских народов.* Цитата из "Речей к немецкой нации" И. Г. Фихте (Речь тринадцатая).

*Но своекорыстных... <...> И доставлять домой.* Цитата из "Речей к немецкой нации" И. Г. Фихте (Речь тринадцатая).

**Так вот почему, Земля... (23)**

*Так вот почему, Земля, человек от груди твоей отлучен, своей же гордыней: твои дары и узы нежности презрев, ищет он, дикий, лучшей жизни!* Цитата из Гёльдерлина ("Человек").

*На пути из Ничто в Ничто, между Ничто и Ничто.* Цитата из "Битвы Германа" Г. фон Клейста, см. примечание к сцене 12. ("Из Ничто, в Ничто...")

*Мы у себя дома, но кто нас за это поблагодарит?* Ср. у Гёльдерлина: "Вы, холодные лицемеры, не поминайте богов! / Вы кичитесь разумом! Сами ж не верите в Гелиоса, / Ни в Громовержца, ни во Владыку морских пучин; / Коли умрет Земля, кто вас поблагодарит?". ("Обманчиво-святые поэты".)

*Вдруг голос чуждый — и вспрянули стада.* Ср. у Гёльдерлина: "Ужель не видел вестников отчих ты — / В воздушной глуби неуловимых игр? / Ужели не был ты окликнут / Веским глаголом из уст разумных? <...> На голос чуждый всюду встают стада, / Леса шумят, и недра подземные / Внимают духу реки, внятно / Дух шевельнулся, и в бездне трепет". ("Ганимед". Перевод С. Аверинцева.)

*...услышав звякнувший флюгер.* Ср. у Гёльдерлина: "Горе мне! В стужу, зимой, / Где взять мне цветов и солнце, и где / Быстролетные тени? / Стоит стена / Безмолвно и холодно, флюгер / Звенит под ветром". ("Середина жизни". Перевод Г. Ратгауза.)

*Растем и становимся лесом.* Ср. у Гёльдерлина: "...В тихом терпении / Возрастает любовь над одичалою, / Неприютною почвой, / Дочерь Бога и весть о Нем. <...> Разрастайся, как лес! Сбудься, живой душой / Преисполненный мир! Стань, о язык любви / Всенародным глаголом / И законы даруй земле!" ("Любовь". Перевод С. Аверинцева.)

# Мюриэл Спарк

# *Не беспокоить*

Роман

*Перевод с английского и вступление* Е. Суриц

Русскому читателю повезло с Мюриэл Спарк (как не со всеми современными классиками). Переводили ее щедро и лишь маленькая часть осталась "неохваченной". Кое-кого, однако, удивит выбор этой вещицы, когда не переведены еще столь монументальные, серьезные, идейные романы, как "Единственная проблема" и даже "Ворота Мандельбаума" — книга, которую особенно ценят знатоки, и с ними не поспоришь.

Но на недалекий (слишком близкий, ощупывающий) взгляд переводчика, в том значительном романе с размашистым сюжетом, с размышлениями о вере, об истине, об искуплении, Спарк играет все-таки, пожалуй, на поле Грэма Грина, где он, рискну предположить, даст ей хоть и не сто, но несколько очков вперед.

Представляемый же на суд читателя роман — из тех, что могла написать только Спарк и никто другой: эта резвая жуть, мелочно-проницательная нелепица, зримость и невероятность, элементарность, сплетенная с заумью, абсурд, непредставимый и просящийся на сцену, отвлеченное и вместе осязаемое слово, небрежно-примитивный и сказочно-закрученный сюжет, весь этот бред, замешенный, увы, на правде, — такое могло родиться только в голове у Мюриэл Спарк (это и есть ее бренд, как по испорченности хочется сказать). Именно в таких ее гротесках несравнимо отразился холодный XX век, который так долго она наблюдала.

В этом году ей исполнилось бы девяносто.

Она себя считала по преимуществу поэтом.

И эта беспощадно едкая проза парадоксальным образом ничуть такой самооценке автора не противоречит.

© Muriel Spark, 1971
© Е. Суриц. Перевод, вступление, 2008

И напрасно стали б мы пытаться до конца растолковать, расшифровать ее замысел, "рассказать своими словами".

В автобиографических заметках Мюриэл Спарк ("Curriculum vitae", перевод в "ИЛ" 2007, № 4) есть слова: "Любая книга, которая стремится быть хорошей, стремится стать стихами". Лучше не скажешь.



# 1

ОСТАЛЬНЫЕ слуги смолкают, когда входит Листер.

— Их жизнь, — говорит Листер, — туман терзаний, их смерть — клубок страданий. Это строки из "Герцогини Амальфи" Джона Уэбстера, старинного нашего драматурга[1].

— Когда мы говорим: что-то не является невозможным, это ведь не то же, что сказать: это является возможным, — говорит Элинор, которая, хоть и моложе Листера, приходится ему теткой. Она разоблачается, придя с улицы. — Лишь формально — все, что не невозможно, уже возможно.

— Мы не о возможностях сейчас толкуем, — отрезает Листер. — Речь идет о фактах. Сейчас не время для беспредметных словопрений.

— О свершившихся фактах, — подтверждает Пабло, мальчик на побегушках.

Элинор вешает на вешалку зимнее пальто.

— Шум поднимется на всю Женеву, — говорит она.

— А как же он, на чердаке? — говорит Элоиз, самая юная служанка, сложив руки на круглом животе. Живот сам по себе ходит ходуном. — Как он, на чердаке? — говорит она. — Мы его, что ли, выпустим?

Элинор оглядывает ее живот.

— Лучше б ты не возникала, когда будут журналисты, — говорит она. — И дался тебе он, на чердаке. Тебя расспрашивать начнут, дознаваться.

— Ой, — Элоиз гладит свой живот, — шевелится! Сейчас упаду без памяти. — Однако же она стоит, высокая, безмятежная, без памяти не падает и смотрит в окно людской.

— Он, в сущности, был благороднейший человек. Это был исключительный сюрприз для всей Женевы.

— Будет сюрприз, — поправляет Элинор.

— Зачем вдаваться в тонкости различий между прошедшим, будущим и настоящим глагольным временем, — замечает Листер. — Я вот с нетерпеньем жду известий из сторожки. Пора бы им приехать. Следите в окно. — Беременной он говорит: — Багаж весь вынесла?

— Пабло чемоданы сложил уже, — Элоиз поводит глазом на Пабло, при этом слегка поворачивая корпус.

— Не лишено резона, — говорит Листер.

— Пабло отец ребенка, — объявляет Элоиз, оглаживая живот, дрожащий у нее под фартуком.

— Я не могу с полной уверенностью это утверждать, — говорит Листер, — как, впрочем, и ты тоже.

— Ну только уж не барон, — говорит Элоиз.

— Нет, не барон, — согласен Листер.

1. Джон Уэбстер (1580–1625) — английский драматург; его творчество как бы возвращает нас к трагедии ужаса, дошекспировской "трагедии грома и крови". "Герцогиня Амальфи" — типичный образчик. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

— Не барон, определенно, — поддерживает Элинор.

— Бедный покойничек-барон, — вздыхает Элоиз.

— Вот именно, — скрепляет Листер. — Скоро он объявится. На бьюике, я полагаю.

Элинор надевает фартук.

— Где мой морковный сок? Пойди, спроси мсье Кловиса про мой морковный сок. С тех пор как я стала употреблять морковный сок, у меня заметно улучшилось зрение.

— Кловис занят своим контрактом, — говорит Листер. — Проволынил до последнего. Я-то свой уж больше месяца как заключил со "Штерном" и "Пари-матч". Придется, естественно, еще с киношниками коечто утрясти, но главное — не суетиться. Усвойте: не суетимся и продаем тому, кто больше даст.

Кловис раздраженно поднимает взгляд от бумаг:

— Франция, Германия, Италия — все много предлагают. Но английский, учтите, — самый перспективный, доходнейший язык. Вот в этом пункте нам следует договориться, — и он возвращается к работе с документами.

— Мсье Кловис, конечно, приготовит еду сегодня, правда? — говорит Элинор. Она в дверях, идет на кухню. — Кловис! — кричит она. — Вы ж не забудете про мой морковный сок?

— Тише вы! — шипит Кловис. — Я читаю мелкий шрифт. В мелком шрифте контракта самая соль. Сами себе готовьте свой паршивый морковный сок. Морковь в ящике для овощей, блендер у вас под носом. Все сегодня сами себе ужин готовить будете.

— Ну а они — они-то как же?

— Им ужин не потребуется.

Листер стоит в дверях и наблюдает, как его юная тетка роется в ящике для овощей и, выискав несколько морковок, брезгливо их ощупывает.

— Ужина им боле не вкушать, — говорит Листер, — отныне и вовеки.

— Морковки мягкие, — ворчит Элинор. — Элоиз толком купить не умеет. Ей не место в доме такого стиля.

— А бедняжка баронесса ее любила, — замечает Кловис, отвлекшись от изучения мелкого шрифта в своих документах. — Бедняжка баронесса ничего плохого не видела в Элоиз.

— А я? Разве я вижу в Элоиз что-то плохое? — говорит Элинор. — Я отмечаю всего-навсего, что она не умеет покупать морковку, и больше ничего.

Элоиз подходит к ним, тоже останавливается в дверях кухни.

— Шевелится! — сообщает она Кловису.

— Ну, уж это явно не ко мне, — говорит повар.

— И не ко мне тоже, Элоиз, — веско объявляет Листер. — Ибо всякий раз при общении с тобой я принимал меры предосторожности.

— Это Пабло, — говорит она. — Ей-богу, Пабло. Он отец ребенка.

— Существует, однако, вероятность, что это кто-то из гостей, — замечает Листер.

Кловис поднимает взгляд от разложенных на кухонном столе бумаг.

— Никогда эти гости не имели Элоиз. Никогда.

— Ну, может, и попадался один-другой, — задумчиво прикидывает Элоиз. — Но с Пабло-то с утра до ночи бывало, когда он в настроении. Аж после завтрака. — Она глядит на свой живот, будто рентгеновым лу-

чом определяя, кто отец ребенка. — Кое-кто из гостей был, конечно, — она говорит, — прямо скажу, был кое-кто из гостей, когда я залетела. То ли барона гостей, то ли баронессы.

— Нам сегодня ночью надо обсудить серьезные дела, девушка, так что помолчи, — говорит повар. — Много чего надо обсудить, а еще больше сделать. Всенощное бдение буквально. Там никто еще не прибыл?



— Элинор, уж ты смотри в окно, — приказывает Листер тетушке. — Мало ли, да кто угодно в любой момент может оставить машину на дороге и проникнуть в дом. Они там в сторожке и не чешутся.

Элинор тянет шею к окну, по-прежнему брезгливо щупая морковку.

— Вон Адриан идет. Адриан идет по въезду, Адриан, подумаешь, дело большое. Морковки не годятся никуда. Кошмарные морковки.

В тылу дома слышен скрип шагов. Входит Адриан, подручный повара, с портфелем под мышкой.

— Сундук мой вынесла? — спрашивает он у Элоиз.

— Чересчур тяжелый, а я в интересном положении.

— Тогда Пабло скажи, пусть несет, живо. Мне пора укладываться.

— А как насчет него, на чердаке? — спрашивает Элоиз. — Лучше б ему отнести его ужин, а то он такое нам устроит, или приступ у него начнется.

— Разумеется, свой ужин он получит. Но пока не время.

— А вдруг барон потребует обедать?

— Разумеется, он рассчитывал на свой обед, — говорит Листер. — Однако дело обернулось так, что он до него не дожил. Скоро он явится.

— Возможен неожиданный оборот событий, — замечает Элинор.

— Разумеется, суждено было произойти чему-то неожиданному, — вздыхает Листер. — Но что сделано, того не удастся миновать, и будущее должно было свершиться. Мои мемуары вплоть до похорон, собственно, более или менее окончены. От нас, можно сказать, ничто уже не зависит. Я полагаю, что некое событие произойдет в три часа пополуночи, так что приготовьтесь бодрствовать.

— А по-моему, все случится в шесть утра, на самом-самом рассвете, — говорит Элоиз.

— Очень возможно, ты и права, — говорит Листер. — У женщин в твоем положении чрезвычайно обостряется интуиция.

— Ой, как брыкается! — Элоиз оглаживает свой живот. — А знаете чего? Мне винограду хочется! Есть у нас виноград? Ну прям до смерти хочется! Готовить поднос, ему на чердак нести?

— Рано еще, — говорит Листер, глянув на круглолицые кухонные часы, — только десять минут седьмого. Складывайте вещи.

Окна людской смотрят на усыпанный гравием двор и дальше, на холодные горы, уже залитые ранними осенними сумерками.

Темно-зеленый небольшой автомобиль припаркован у бокового входа. Слуги смотрят. Две женщины сидят в автомобиле, одна за рулем, другая на заднем сиденье. Они не разговаривают. Некто высокий только что оставил сиденье рядом с водительским и прошел к парадной двери.

Листер выжидает, пока зазвонит звонок, и тогда идет открывать.

Молодой блондин с длинными локонами облачен в прекрасные белые меха, от которых как бы светится его розовая кожа. Манто ему доходит до сапог.

Листер, с помощью легкой улыбки одним ртом, дает понять, что отлично помнит гостя по прежним его визитам.

— Сэр? — говорит Листер.

— Баронесса? — говорит молодой человек тихо, явно не привыкнув понапрасну растрачивать свой голос.

— В отсутствии. Не угодно ли подождать, — Листер отступает в сторону, высвобождая вход.

— Да, мне назначено. А барон? Дома? — звучит тихий голос молодого человека.

— Мы ожидаем его к обеду, сэр. Вот-вот прибудет.

Листер принимает белое манто, взглядом оценивая качество и вид норки, подкладку, этикетку. С манто на локте Листер поворачивает налево, пересекает овальный холл, и молодой человек следует за ним. Листер ступает по рифленым плиткам tromp-l'oeil[1], молодой человек за ним. На госте лазоревый атласный пиджак с муаровыми лацканами потемнее, синие бархатные брюки, рубашка лилового атласа с очень высоким воротом, при белом галстуке, пронзенном аметистовой булавкой. Листер отворяет дверь, отступает в сторону. Молодой человек на ходу любезно бросает Листеру:

— На сей раз в левом наружном кармане, Листер.

— Благодарю вас, сэр, — говорит, ретируясь, Листер.

Он снова закрывает дверь и через весь овальный холл идет к другой двери. Отворяет ее, вешает белую норку на одну из вешалок, выстроенных в готовный ряд. Затем Листер ощупывает левый наружный карман манто, вытаскивает пухлый, узкий коричневый конверт, указательным пальцем поддевает пачку банкнот, на глаз прикидывает, заталкивает обратно и сует конверт в собственный карман где-то под белой курткой, на уровне сердца. Листер смотрится в зеркало над раковиной, отводит взгляд. Делает опрятный ряд свежих полотенец, помеченных литерой *К* с гербом, еще опрятней и выходит из гардеробной.

Остальные слуги смолкают, когда входит Листер.

— Номер первый, — говорит Листер. — Надо сказать, с большой опаской шел навстречу смерти.

— Все это секс, — размышляет Элоиз.

Листер морщится:

— Запрещенное слово. Чтоб больше я от вас его не слышал.

— Получается, Виктор Пассера там ждет в библиотеке, — вздыхает Элоиз.

— Прекрасный принц, — Элинор разглядывает морковный сок, который приготовила с помощью блендера.

— Ни разу с ним не переспала, — объявляет Элоиз, — хотя имела шанец.

— Кто б не имел? — бросает Пабло.

— За себя говори, — замечает Кловис.

— Поменьше слов, — приказывает Листер.

— Виктор Пассера не папочка, нет, — говорит Элоиз.

— Он вообще не по этому делу, — говорит Пабло.

— Ты, кстати, в курсе, — спрашивает Элинор племянника, — что две дамы ждут во дворе, в машине, которая доставила к нам гостя?

1. Тромплей — изображение, создающее иллюзию выпуклости (*франц.*).

Листер кидает взглядом по окну, однако же идет к стенному шкафу. Осторожно, одну за другой вытаскивает бутылки-банки со всяческими заготовками, джин на тмине, ананас в анисовке, вишню в коньяке, джемы всех сортов; одни явно закатаны по-домашнему, другие, судя по формам и наклейкам, прибыли аж из магазина Фортнума и Мэйсона в Лондоне, от Джорджа в Нью-Йорке. Все это Листер бережно сгружает на буфет с помощью Элинор, тогда как остальные за ними наблюдают в траурном, очевидно приличном случаю, молчании. Листер снимает высвобожденную полку. В стене за шкафом — сейф, и Листер медленно, торжественно открывает замок, но дверцу пока не трогает. Он требует самопишущее перо и в ожидании, когда Адриан, подручный повара, его доставит, вынимает из внутреннего кармана конверт и на глазах у всех пересчитывает банкноты.

— Мелочовка, — замечает он, — в сравненье с тем, что еще будет или уже было, — это смотря по тому, придерживаться ли философии временного или вечного. В сущности, они уже умерли, несмотря на тот банальный факт, что некоему событию этой ночи еще дано свершиться.

— Листер сегодня в ударе, — говорит Кловис. Он бросил свой контракт и присоединился к остальным. Меж тем Адриан вернулся и протягивает Листеру обыкновенную шариковую ручку.

Наверху хлопают ставни.

— Сегодня сильный ветер, — говорит Листер. — Боюсь, мы не услышим выстрелов.

Он берет ручку, помечает на конверте сумму, ставит дату. Затем широко распахивает сейф, аккуратно заполненный конвертами и ящичками — металлическими, кожаными. Помещает новый пакет среди прочих, запирает сейф, водружает на место полку и, с помощью Элинор и Элоиз, в прежнем порядке расставляет банки и бутылки. Спрыгивает со стула, передает стул Адриану, а сам идет к окну.

— Да, — он говорит, — две дамочки ждут-пождут в машине. Спокойной ночи, дамочки. Спокойной ночи, милые, милые дамочки.

— А чего они вбок свернули, ждали бы себе на въезде, а? — спрашивает Элоиз.

— Ответ таков: они свое место знают, — толкует Листер. — У них достало смелости проводить своего родственника по его делу, но в распоследнюю минутку им недостало вкуса, который только и мог бы его спасти. Приедет барон, их не увидит, не спросит. И так же точно баронесса. И толку никакого от всех от их мильонов.

— Да на одно на то, что тут напихано, — Элоиз не может отвести глаз от запертого стенного шкафа, скрывающего сейф с сокровищами, — мы б запросто отель "Монтрё Палас" купили.

— На кой он нужен, твой "Монтрё Палас"? — говорит Адриан.

— Губа не дура, — Пабло, мальчик на побегушках, охлопывает ее живот.

— Ой, как брыкается, — вздыхает Элоиз.

— Как странно, — говорит Листер, — тяга к смерти жажде жизни сродна! Как непреложно обуянность жизнью толкает на самоубийство! Поистине, уж лучше быть полубесчувственным и полусонным. Блаженнейшее состоянье.

— Клопштоки были обуяны сексом, что она, что он, — подтверждает Элинор. Она накрывает длинный стол в людской.

— О сексе мы молчим, — говорит Листер. — Не то мы умалим, принизим их образ действий. В их случае секс не что иное, как передозировка жизни. Вот от чего они умрут или, строго рассуждая, уже умерли. Здесь, собственно, мы имеем дело как бы со спонтанным самовозгораньем. Секс мы убираем, как Генри Джеймс, английский американец, который все путешествовал.

— Они умирают от насилия, — говорит Кловис; он перенес на буфетную стойку свой контракт и документы, которые столь неотрывно изучал последние три четверти часа. Теперь он сидит ко всем спиной, поглядывая через плечо. — Точней сказать, от насилия они вот-вот умрут.

— Кловис, — просит Элинор, — может, вы бы в духовку глянули, а?

— А мой помощник где? — ворчит Кловис.

— Адриан пошел в сторожку, — объясняет Элинор, — занять парочку яиц. Он, на чердаке, еще не ужинал.

— Во всем доме яиц не оказалось? — ворчит Кловис.

— Сегодня пришлось обделывать бездну разных дел, — говорит Элинор, расставляя вдоль стола крошечные серебряные солонки, тщательно на глаз отмеряя расстояние. — До покупок руки не дошли.

— Все развалилось, все пришло в упадок, — говорит Листер, — когда пришла пора. Прежде дом был налажен, как Солнечная система.

— Сами себе обед поганый стряпайте, — и Кловис снова утыкается носом в свой контракт.

— А вы-то чего ж, не будете? — оживляется Элоиз. — Тогда я вашу долю скушаю. Я лопаю за двоих.

Кловис стучит кулаком, бросает перо, идет через всю кухню к белой сложно-затейливой плите, изучает регулятор температуры, поворачивает диск, открывает дверцу духовки и, заглянув вовнутрь, щелкает пальцами свободной руки. Элоиз, подбежав, вкладывает в эту руку тряпку и половник. Вооружась тряпкой, Кловис слегка выдвигает кастрюлю. Поддевает крышку черенком половника, заглядывает, внюхивается, снова прикрывает крышку, заталкивает кастрюлю обратно и прикрывает дверцу. Снова вертит диск регулятора. Потом черенком половника поддевает крышки двух бурлящих на плите горшков. В каждый заглядывает, снова прикрывает.

— Кастрюля пятнадцать минут еще потомится. Через семь минут сдвинете горшки. Сядем в полвосьмого, если повезет и те не вздумают до своей смерти отобедать.

— Не станут они питаться, — говорит Листер. — Мы мирно-спокойно пообедаем, покуда они будут делать свое дело.

Откуда-то издалека, из-под самой крыши, слышен вой и грохот.

— Я бы лично выпил водки с тоником, — Кловис через всю громадную кухню идет к своим бумагам, оставленным на стойке.

— Прелестно, — Листер всех обводит взглядом. — Что кому еще угодно заказать?

— Я ничего не буду. Я обойдусь морковным соком. Шерри мне сегодня в горло не полезет, даже подумать тошно, — говорит Элинор.

— Нервы-нервы, — вздыхает Листер и направляется уже прочь из кухни, но тут звонит внутренний телефон.

— Листер слушает. — Он недолго слушает, пока телефон трещит и крякает на всю комнату. — Очень хорошо, — говорит он в трубку, прежде чем ее повесить. — Барон, — он говорит, — прибыл.

Пока швейцар закрывает за ней ворота, большая машина барона отъезжает от сторожки. И, слегка вильнув, пропускает идущего по въезду Адриана.

Швейцар возвращается в сторожку. Его жена в холодной прихожей как раз вешает трубку внутреннего телефона.



– Листер разговаривает ну как всегда, – говорит она мужу.

– А как он, по-твоему, должен разговаривать? И охота тебе, ей-богу?

– Но чтобы так, совершенно обыкновенным тоном! – шепчет она. – Ох, мне страшно!

– Ничего не будет, миленькая, – вдруг он крепко ее сжимает. – Ничего, ничего не будет.

– Нет, я просто в воздухе чую, это как электричество, – она шепчет. Он берет ее за руку, тащит в теплую комнату. Она маленькая, совсем юная. Хоть вид ее не вызывает подобных опасений, она говорит: – Я, кажется, с ума схожу.

– Клара! – почти кричит швейцар. – Клара!

Она говорит:

– Ночью я видела ужасный сон.

Сесил Клопшток, барон, – у себя на пороге, осунувшийся, дряблый. Дверь открыта, подле нее стоит Листер.

– Баронесса? – спрашивает барон, рассеянно роняя на руки Листеру свое пальто.

– Нет, сэр, баронессы нет еще. Мистер Пассера ожидает.

– Давно?

– С половины седьмого приблизительно, сэр.

– Был с ним кто-нибудь?

– Две женщины, в машине, ждут снаружи.

– Подождут, – говорит барон, по белым и черным плиткам направляясь к библиотеке. Мешкает, собирается повернуть, потом говорит: – Там помоюсь, – разумея, очевидно, душ при библиотеке.

– Я счел за благо, – говорит Листер, входя в людскую, – сообщить ему про тех двух особ, которые ждут снаружи, по его лицу угадав, что он и сам их видел. "Был кто-нибудь с мистером Пассера?" – спрашивает, а сам в глаза заглядывает. "Да, сэр, – говорю, – две женщины, ждут в машине". И зачем понадобилось задавать мне этот излишний, праздный вопрос, ума не приложу.

– Это он вас пытал, – говорит Адриан, взбивая в мисочке яйца.

– Я, собственно, и сам так решил, – говорит Листер. – И я задет. Я открыл дверь библиотеки. Пассера встал. Барон говорит: "Добрый вечер, Виктор", Пассера отвечает: "Добрый вечер". После чего, поскольку услуги мои не требовались, я почтительно ретировался. Sic transit gloria mundi[1].

– Посидят, выпьют, – говорит Пабло. Он навел красоту и теперь издали любуется своими волосами в овальном зеркале. Так и сяк поворачивает голову, и волосы темно поблескивают.

– Льда не требовал? – спрашивает Элинор. – Вечно льда им не хватает.

1. Так проходит мирская слава (*лат.*).

— Льда у них в баре предостаточно, — говорит Листер. — Я сам положил, и под вечер еще поставил намораживать, я, лично, пока вы тут все были заняты собственными делами и названивали по телефону. Льда у них предостаточно. Им не хватает только баронессы.

— А-а, приедет она, будьте спокойны, — Кловис, встряхивая, тщательно уравнивает края в стопке своих бумаг.

— И где ее только носит, — Элоиз плюхается в пухлое, обитое кретоном кресло. — Уж хочется покушать тихо-спокойно.

Адриан приготовил поднос: поставил на него блюдо с омлетом, тарелочку с намасленными тостами, чашку на блюдце и серебряный термос с каким-то питьем. Элинор, оторвавшись от сервировки стола, рассеянно кладет на поднос нож, вилку, ложку; потом накрывает серебряными крышками тосты и омлет.

— Ты что? — Адриан сгребает с подноса нож и вилку. — Совсем уже?

— Ой, забыла. Весь день такое состояние, — Элинор заменяет нож и вилку большой ложкой.

Листер подходит к внутреннему телефону, снимает трубку, жмет кнопку. Телефон жужжит.

— Ужин направляется к нему, на чердак, — говорит Листер. — Ваш воспоследует.

Телефон опять жужжит.

— Мы будем держать вас в курсе, — говорит Листер. — От вас требуется одно: оставаться на месте вплоть до дальнейших наших указаний. — Вешает трубку. — Сестра Бартон дергается, — говорит он. — Этот, на чердаке, разгулялся и, возможно, к ночи еще ухудшится. Тот же случай — интуиция.

Адриан берет поднос, несет к двери, с порога спрашивает:

— Может, сказать сестре Бартон, чтоб доктора вызвала?

— Предоставим это сестре Бартон, — отзывается Листер мрачно, явно занятый другими мыслями. — Пусть уж она сама, как знает.

— Я с ним, на чердаке, тоже, если что, могу управиться, — говорит Элоиз. — Я всегда с ним очень даже хорошо умела.

— Ты бы, девушка, лучше, как поешь, прилегла поспать, — говорит Кловис. — Впереди у тебя важная ночь. Репортеры набегут с самого утра, а то и раньше.

— Это не случится раньше чем примерно в шесть утра, — говорит Элоиз. — Они как начнут ругаться, так всю ночь и не уймутся. У меня интуиция, вот и мистер Листер говорит, и...

— Только что касается твоего положения, исключительно, — уточняет Листер. — В прочее время интуиция твоя равна нулю. В прочее время ты пень пнем. Просто в твоем положении Ид[1] стремится одолеть Эго.

— Меня надо баловать, — Элоиз жмурится. — Почему мне винограду не дают?

— Дали бы ей винограду, — говорит Пабло.

— Только не перед обедом, — говорит Кловис.

— Клара! — кричит швейцар Тео. — Клара!

1. Ид — зародышевая структура, содержащая наследственные качества (биологический термин).

— Я умираю просто — такое желание спросить, что у них там творится в доме, — говорит она.

— Иди, иди сюда. Ну иди же, миленькая. — И он тащит ее в комнату, где огонь пылает за каминной решеткой. — Такое желание, — он говорит.



— Тео! — говорит она.

— Вечно ты со своими кошмарами, — Тео говорит. Он прикрывает дверь комнаты, садится рядом с женою на диван и рассеянно оглаживает ее бедро, глядя на огонь. — Вечно ты со своими кошмарами.

Клара говорит:

— Нам-то все равно ничего не светит. Мы в Мадриде в "Ритце" лучше жили.

— Ну-ну. Нам и тут неплохо. Мы гораздо лучше тут живем. Листер щедрый. Листер очень-очень щедрый. — Тео берет кочергу, ворошит в камине угли, они вспыхивают, и Клара забрасывает ноги на диван. — Тео, — она говорит, — я тебе сказала, что Адриан заходил, занял два яйца?

— А еще что, Клара? Что еще?

— Ничего. Просто два яйца.

— Только отвернешься, он тут как тут, — ворчит Тео. — Вот я завтра утром барону на него нажалуюсь. — Подходит к окну, опускает шторы. — И на Кловиса, — он говорит. — Совсем за ним не смотрит. — Тео возвращается к дивану.

Клара кричит:

— Нет, нет, не надо, я передумала! — она его отпихивает, завязывает пояс отороченного шнурком халата.

— И не надоело тебе, Клара, — Тео говорит. — Да-нет, да-нет. Я бы баронессу мог иметь, была б охота. В любой момент. В любое время дня и ночи.

— Ох, Тео, это же из-за тебя мне такие ужасы снятся, — шепчет Клара. — И зачем так говорить про баронессу, ведь у нее седые волосы. Постыдился бы.

— У нее, возможно, седые волосы повсюду, — говорит Тео. — Собственно говоря.

— Будь я мужчина, — Клара говорит, — меня бы от одной мысли стошнило.

— Собственно говоря, меня не так уж тянет с нею спать, — говорит Тео.

— Слушай, там машина на дороге. Я слышу, — говорит Клара. Но Тео не слушает. Она вцепляется в его подтяжки, шепчет: — Стыд-то какой, в доме ни одного яйца на ужин идиоту-мальчику на чердаке. Нет, что-то там случится. Я всю неделю чую, а ты, Тео?

У Тео нет слов, все существо его теперь сосредоточено на Кларе. Она говорит:

— Там машина подъезжает, Тео. Остановилась у ворот. Тео, лучше ты иди.

Он отрывается от жены только на долю секунды, чтобы сказать: "Молчи".

— Я слышу у ворот сигнал, — она почти кричит. — Она там дудит, неужели не слышишь? Всю неделю во сне я слышала эти сигналы у ворот.

Тео сопит.

Машина гудит дважды, и теперь уж Тео надевает ливрею, берет себя в руки и обретает обычное свое достоинство не привыкшего суетиться

человека. Идет в прихожую, берет из ящика стола ключи и выходит в сырой холод — отпирать ворота, за которыми продолжает сигналить скромный бежевый автомобиль-купе.



Впущенный во двор, он тормозит возле сторожки. Скуластая женщина за рулем одна в машине. Она опускает окно, улыбается:

— Как дела, Тео?

— Очень хорошо, спасибо, мадам. Прошу прощенья, что заставил ждать, мадам. Там был вопрос насчет яиц для бедного джентльмена на чердаке, ему на ужин.

Она прелестно улыбается из-под большой меховой шляпы.

— Все без меня разлаживается, правда? А Клара как? Нравится ей новый маленький домик?

— О да, мадам, мы очень довольны этой службой, — говорит Тео. — Мы очень уютно устраиваемся.

— Вы привыкнете к нашим распорядкам, Тео.

— Да, мадам, мы много чего испытали, мы с Кларой. И мы очень хорошо тут обживаемся. — Он весь дрожит, стоя на холодном ветру с непокрытой головой, в своей легкой ливрее.

— С другими слугами найден общий язык? — ласково осведомляется баронесса.

Тео мешкает, наконец открывает рот. Баронесса его перебивает:

— Отношения хорошие? Поладили?

— О да, мадам, вполне, мадам. Спасибо. — Он слегка пятится, с некоторой поспешностью, видимо норовя поскорей нырнуть в тепло сторожки.

Баронесса и не думает класть на руль руку в теплой перчатке. Она говорит:

— Ну, я очень рада. Среди слуг разных национальностей не всегда легко достигается гармония. В здешних краях у нас чуть ли не у единственных достойный штат прислуги. Не знаю, что бы мы с бароном делали без всех без вас.

Тео, скрестив руки, дергает оба рукава ливреи пониже плеч, весь дрожа, как одинокая звезда на ледяной орбите. Он говорит:

— Наверно, рады домой попасть, мадам. Такой с озера ветер.

— Ах, да, вы же замерзли, — и она трогает с места.

— Спокойной ночи, мадам.

— Спокойной ночи.

Он пятится к крыльцу сторожки, потом быстро поворачивается, распахивает дверь. В прихожей хватается за внутренний телефон и несколько секунд, трясясь, ждет, когда он оживет. "Баронесса, — говорит он, — прибыла. Ожидается кто-то еще?"

Из кухни большого дома ему что-то кратко отвечают, сразу вешают трубку. "Что?" — спрашивает Тео у смолкшего телефона. Потом вешает трубку, выскакивает, бежит запирать ворота. И поскорей возвращается в теплую комнату, где Клара томно раскинулась на диване, одной рукой обняв спинку, другую свесив. "Фотографа ждешь?" — говорит Тео.

— О чем так долго? — спрашивает Клара.

— Весь издрог. Ей-то что, в машине. То да се. Про тебя спросила. Спрашивает, мы довольны тут?

Пабло нырнул в машину и отвел ее от фасада, как только Листер помог баронессе вылезти, принял свертки, захлопнул дверцу и провел баронессу по ступеням в холл.

— Ну вот, — говорит она, стягивая перед зеркалом большую меховую шляпу. Листер принимает шляпу, баронесса взбивает седые букли. Роняет с плеч твидовое пальто, зажимает локтем сумочку, спрашивает:



— Где все?

— Барон в библиотеке, мэм, с ним мистер Пассера.

— Ну что ж, — она снова охорашивает свои букли. Потом оправляет платье, тесное в талии и в боках, приказывает: — Скажите Айрин, что я через полчаса поднимусь переодеться.

— Айрин сегодня выходная, мэм.

— А Элоиз тут?

— Да, мэм.

— Все еще работает? И как она?

— О, в полном здравии, мэм. Я скажу, чтоб она вам приготовила переодеться.

— Если только ей не будет трудно, — говорит баронесса. — Я так высоко ценю Элоиз, — говорит она, тяжко подходит к библиотеке, сама берется за дверь, опережая Листера, медлит на пороге и поворачивается к Листеру, тогда как в комнате вдруг смолкают голоса.

— Листер, — говорит, стоя на пороге, баронесса. — Тео с Кларой, они должны уйти. Очень, очень жаль, но домик мне понадобится для одного кузена. И нам, собственно, швейцар не нужен. Тут я на вас полагаюсь, Листер.

— Хорошо, мэм, хотя материя довольно деликатная. Они ничего такого не подозревают.

— Знаю, знаю. Вы уж там придумайте что-нибудь, Листер. Мы с бароном будем вам исключительно благодарны.

Чуть театрально она распахивает дверь, входит, и мужчины разом вскакивают с серых кожаных кресел. Листер ждет в комнате у двери.

— Ничего не нужно, спасибо, Листер, — говорит барон. — Все у нас тут покуда есть. — Он поводит рукой в сторону бара, явно занятый своими мыслями.

Баронесса грузно опускается на диван, Листер хочет выйти, но замирает на пороге, задержанный запоздалым соображением барона:

— Листер, кто бы ни объявился, нас ни в коем случае не надо беспокоить. — Барон поднимает взгляд на часы, золоченые, в синей эмали, затем сверяется со своим запястьем. — Кто бы нас ни спрашивал, мы просим ни под каким видом нас не беспокоить.

Листер послушно склоняет голову, согласно шевелит губами и уходит.

— Так привиденья осаждают дом, — говорит Листер, — они как духи бестелесные, хотя пока и живы. Думаю, нам предстоит долгое ожидание. — Он занимает свое место во главе стола. — Велел ни под каким видом их не беспокоить. "Не беспокоить, Листер". И видели бы вы, какое у нее было выражение лица. Мысли мои расплываются, цепляясь за фантомы, я неотступно думаю про это ее лицо. Я должен избавиться от этого лица, иначе мне кусок в горло не полезет.

— Неплохая женщина, — говорит Пабло.

— Любит милости и блага раздавать, — говорит Листер, — а неприятное чтоб делали другие. "Пара в сторожке должна уйти, Листер, — я полагаюсь на вас, вы уж с ними переговорите. Сторожка мне нужна для моих кузенов"... или это был "мой кузен"? Один, два, три? Не знаю. Короче, ей для них нужна сторожка.

— И сколько ж у нее может быть этих кузенов? — Элинор зачем-то изучает чистые зубья вилки, прежде чем их всадить в кусок телятины. — Плюс все эти секретари.

— Кузенов без счета, секретарей, возможно, и поменьше, — говорит Листер. — Если б только она успела ими насладиться. Но сторожку, по-видимому, придется отменить. И никакой нет нужды беседовать с бедной глупой парой.

— Ну мало ли, — замечает Элоиз.

— Слушайте! Какой-то шум! — говорит Пабло.

— Ставни наверху хлопают, — это Адриан.

— Нет, просто он, на чердаке, посуду швыряет, — это Элоиз.

— Да не посуду, а стучат, — говорит Пабло. — Вот опять. Слышите?

— Вы кушайте-кушайте, — говорит Кловис. — Это, видно, те дамочки опять, которые в машине. Разнервничались.

— Но почему не позвонить? — Листер вслушивается в грохот у черного хода.

— А я звонок черного хода отключил, — говорит Кловис. — Поскольку на меня взвалили почти всю стряпню, мое слово решающее. Никто не выйдет из-за стола, пока не кончен ужин.

— А если из библиотеки позвонят? — спрашивает Элинор.

Листер берет бокал, потягивает вино. Стук продолжается. Кловис говорит:

— Едва ли они нам позвонят. И, собственно, мы не должны им отвечать. Ни в коем случае. Короче говоря, как я пишу в моих мемуарах, любовный треугольник свершил свой полный круг.

— Они как бы уже отправились в лучший мир, — говорит Листер. — Тем не менее это мне решать, отвечать ли на вызовы, гипотетические либо иные.

— Листеру решать, — поддерживает его тетушка Элинор.

## 2

Половина одиннадцатого вечера. Листер переоделся, как и его молодая тетушка Элинор. Рука об руку они поднимаются по огромной витой лестнице с узорно кованными ампирными перилами, в свое время сюда завезенными, как и многое другое. Листер щелкает выключателем, отворяет раздвижные двери длинной гостиной Клопштоков, пропускает Элинор вперед, в простор, отграниченный пышной сборчатостью шелка над рядом высоких окон. За окнами — балюстрада, дальше — ночь. Паркет лоснится, не топтанный с утра. Розовость и синева ковра, розовость и бежевость пухлых кресел, столики, витиеватые конторки, фарфоровые вазы вытягиваются, застигнутые Листером и Элинор, как лакеи при входе первых гостей на торжественный прием. Снежно-белый фарфоровый агнец, убедительно пушистый, мирно дремлет на каминной полке, где одиннадцать лет тому назад поместил его барон, когда

был построен дом и заполнялся всякой драгоценной всячиной. Неоклассический камин вместе со многим прочим преодолел швейцарскую таможню, как и его близнец в прихожей. Элинор, в сером шерстяном платье, с черной сумочкой, изящно опускается в широкое, мягкое кресло и, облокотясь о столик рядом, охорашивает свежие бледные гвоздики, которые сама же утром и поставила.



На вид ей года тридцать четыре. Листеру, племяннику, хорошо за сорок. На нем темный деловой костюм, белая рубашка, матово-красный галстук. Их можно принять за кого угодно, всего естественнее за хозяина с хозяйкой, только что вернувшихся в столь поздний час после поездки в город — в Париж, в Женеву — или собравшихся в аэропорт, к ночному рейсу. У Элинор волосы стриженые, в тусклых кудерьках. У Листера — блестящие, литые пряди. Лица — длинные, между собой похожие. Листер сидит напротив Элинор, уставясь в часть стены, увешанную миниатюрными портретами. Здесь, в большой гостиной, многое миниатюрно. Нет крупных картин, какие скорей были б ей под стать. Моне из небольших, и Гойя. Таковы же и несколько портретов, по всей видимости, фамильных, и напрашивается вывод, что то ли склонность к миниатюрности — черта, наследованная нынешним владельцем через поколенья, то ли портретики эти ловко и не так давно скопированы с оригиналов покрупней. Декоративные ключи, эмалевые табакерки, яркие монеты дружно пасутся на столиках.

Листер отводит взгляд от стены и устремляет на Элинор.

— Милая, — он говорит.

Она говорит:

— Я слышу их голоса.

— Они покуда живы, — говорит Листер. — Очевидно. Это еще не произошло.

— Но произойдет, — говорит она.

— О, моя радость, это неизбежно. — Он берет сигарету из серебряной продолговатой сигаретницы, закуривает с помощью настольной зажигалки. Потом поднимает палец, как бы требуя тишины, хоть Элинор и не думает шуметь. — Слушай! — он говорит. — Спорят в повышенных тонах. Элинор, ты права!

Элинор вынимает из сумочки длинную стальную пилку для ногтей, встает, идет к краю ковра, его приподнимает, опускается на колени и пилкой поддевает расшатанную паркетину.

— Движеньем нежным и проворным, любовь моя.

Она поднимает взгляд:

— К чему эти остроты. Сейчас не время веселиться. — Она нагибается, чтоб поддеть другую планку, слегка пятится, переступая коленками и помогая себе локтями, ухом прижимается к обнаружившимся под паркетом простым деревяшкам.

— Оставь, Элинор, тебя это недостойно, — говорит Листер. — Ты сейчас похожа на горняшку. А минуту назад отнюдь не была.

Она усиленно вслушивается, как в забытьи глядя сквозь пространство на высокий потолок. То и дело смутная волна голосов плещет в пол гостиной — взвизг, снова взвизг, потом страстно-перебивчивый дуэт. Сверху слышен грохот, потом опять, и шарканье, и голоса. Элинор поднимает голову, в отчаянии шепчет:

– Этот, на чердаке, лает, стучит, да ты еще, просто же невозможно толком разобрать, о чем у них там речь внизу. И почему эта сестра Бартон не сделает ему укол?

– Не знаю, – Листер откидывается с сигаретой, – я ей рекомендовал, определенно. Этот паркет принадлежал когда-то иноземному королю. Ему пришлось покинуть трон, бежать. Паркет из своего дворца он прихватил с собой, дверные ручки тоже. Королевские особы всегда так поступают, когда приходится смываться. Все прихватывают, как бродячие труппы свой реквизит. Ибо в королевской жизни все, в сущности, зависит от декораций. И от освещенья. Королевские особы вечно озабочены своими декорациями и освещеньем. И римский папа, кстати. Барон напоминал королевскую особу и папу, по крайней мере в этом смысле. Дверные ручки и паркет. Да. Барон купил все скопом с домом заодно, когда преставился старый король. Определенно, это все из королевского дворца.

– Только и смогла расслышать, – говорит Элинор, поднимаясь, кладя на место планку дворцового паркета и накрывая ковром, – "Ты говоришь..." – "Нет, это ты говоришь, а я..." – "Да как же, это ты!" – "Когда, да вообще, ах, чтобы я..." Значит, они снова-здорово все мусолят, Листер. А это на всю ночь.

– Элоиз сказала, что это произойдет около шести утра, – говорит Листер, покуда Элинор стоит и обирает с юбки – о странность! – пух и ворсинки. – Обыкновенно, – он прибавляет, – мне на слова Элоиз плевать. Но она в интересном положении. А в таком состоянии женщина делается прозорливей.

Элинор снова в кресле. Внизу, у черного хода, шум, такой громкий, что проникает в тишь гостиной. Стук. Крик. И в ту же минуту заходится звонок парадного.

– Надеюсь, пойдет кто-то открывать, пока баронессе не взбредет самой пойти, – вздыхает Элинор. – Любой перерыв в разговоре их отвлечет, уведет в сторону, ведь правда?

– Барон велел не беспокоить, – говорит Листер. – В том смысле, что, мол, никто отсюда не уйдет, пока мы не выясним отношения, как бы ни накалилась атмосфера. И это окончательно. Из библиотеки ей не выйти.

– Они ж проголодаться могут. У них там никакой еды.

– Пускай пирожные едят, – говорит Листер, и он прибавляет:

> Когда наскучат обветшалые чертоги,
> Где стук дверей и неуют,
> Припомни – некогда султаны, полубоги
> Вкушали сладкий отдых тут[1].

– У них гости шикарные бывали, что да, то да, – подтверждает Элинор.

– Прилагательное "обветшалые" я употребляю расширительно, – Листер озирает тихий простор гостиной. – Да и о чертогах можно вести речь лишь с известной натяжкой. Дом больше напоминает швейцарский отель, в каковой, уж будь уверена, он и преобразится. Но насчет полубогов, султанов в некотором роде, отдых они здесь вполне вкуша-

1. Листер цитирует "Рубайи" Омара Хайяма. Английский поэт и переводчик Эдуард Фицджеральд (1809–1883) прославился этим переводом и сделал Хайяма популярным в Англии.

ли, и очень даже сладкий. Тут я не отклоняюсь от истины. Дивный получится отель. Поменять мебель, и отель готов.

— Листер, — говорит она, — какой ты изумительный. Больше никого и никогда не будет в моей жизни.

Приподнимаясь в кресле, чтобы к ней подойти, он спрашивает:

— При том, что ты мне тетушка, согласна ли ты выйти за меня замуж под "Книгу общей молитвы"?

Она отвечает:

— Я человек щепетильный и тем горжусь.

Он говорит:

— Во Франции тетка имеет полное право выйти за племянника.

— Нет, Листер, я придерживаюсь законной нашей табели о свойстве и родстве. И я не желаю возбуждаться, Листер, в такой момент, в такую ночь. Не заводи меня. Вот-вот полиция нагрянет и пресса, и всего шестьдесят четыре дня осталось на покупки к Рождеству.

— Я просто предложил, — он говорит. — Подкинул тебе идейку на то время, когда все будет кончено.

— Нет, это слишком. Обуздывай свои несообразные порывы. Я старомодна не по летам. И не люблю разбрасываться.

— Идем-ка вниз, — говорит Листер. — Посмотрим, как там слуги.

Они спускаются по лестнице, у библиотеки эхо отдает их голоса. Листер и Элинор дальше идут молча, и, заворачивая к людской, Листер останавливается, смотрит на дверь библиотеки.

— И что они тут делали, средь нас, на нежной этой тверди? — он декламирует. — Что они тут делали?

Остальные слуги смолкают.

— Что они вообще тут делают, на этом свете?

Элоиз, бело-розовая, свежая со сна, отзывается:

— Свое дело они делают.

— И не кончили пока, — говорит Кловис. — Я уже даже беспокоюсь. Слышите? Их голоса.

— В них, возможно, и было что-то хорошее, — говорит Элинор. — Так не бывает, чтобы сплошь одно плохое.

— О, согласен. Они хорошо творили зло. Прекрасно с этим справлялись, пока существовали, — говорит Листер. — Так бумажная одноразовая посуда годна на случай: используешь и выбрасываешь. Кто приволок сюда это манто? — он тычет пальцем в брошенную на кресло белую норку.

— На мне — прям мечта, — говорит Элоиз. — Спереди не сходится, но ничего, потом сойдется.

— Ты б отнесла его обратно. В нем видели Виктора Пассера, — говорит Листер. — У полиции могут возникнуть вопросы.

Элоиз уносит шубку, кидая на ходу:

— В конце концов моя будет. Прям чувствую — моя будет в конце концов.

— Возможно, она права, — говорит Листер. — На данном этапе у нее обостренное предвидение. А кто эти люди, которые колотились у черного хода и трезвонили у парадного?

— Девушки в машине, спрашивали, что с мистером Пассера, он их друг, — объясняет Адриан. — Я говорю, он с бароном и баронессой, и велено не беспокоить. А они на это — мол, им назначено. Одна массажистка, раньше ее не видел.

— А другая? — спрашивает Листер.

— Другая не сказала. Я спрашивать не стал.

— Не лишено резона. Они к сюжету не относятся.



Снаружи слышно, как озерная вода плещется о пирс, как гудит в могучих вязах ветер. Парочка в машине сидит порознь, на заднем сиденье и на переднем, кутаясь в пледы. Кажется, они спят, но то и дело кто-нибудь из них шевелится, что-то говорит, и снова поникают головы, пледы соскальзывают с пригнутых плеч. И, вторя каждому движенью, то и дело по ним промахивает свет — из дома, с отдаленного въезда.

Обе фигуры рывком распрямляются, когда другой автомобиль, большой и темный, тормозит рядом. Извилистый господин в кожаном пальто выскакивает из автомобиля, устремляясь к ним. Они уже выкарабкиваются из своей машины.

— Мы в дом попасть не можем, — говорит та, что за рулем. — Нам даже дверь не открывают. Мы здесь уже три часа, мы ждем нашего друга.

— Какого друга? Что вам угодно? — спрашивает извилистый молодой человек, нервозно бренча ключами в связке. — Я секретарь, мистер Сэмюэл. Изложите мне, что вам угодно.

Вторая подруга мистера Пассера ему отвечает:

— Виктор Пассера. Мы его дожидаемся. Это важно. Ему назначена встреча с бароном и баронессой, и...

— Минуточку, — перебивает мистер Сэмюэл, внимательно вглядываясь в эту вторую подругу, — одну минуточку. Голос у вас как бы мужской.

— Я мужчина.

— Ну-ну. Я принял вас за девушку.

— Это из-за одежды. Моя подруга — она женщина. Я Алекс, она массажистка.

— Меня зовут Анна, — сообщает массажистка, не отрывая глаз от связки ключей в руке у мистера Сэмюэла. — У вас ключи от дома?

— Естественно, — отвечает мистер Сэмюэл.

— Ну так вот, мы хотим знать, что там происходит, — говорит Анна.

— Мы беспокоимся, если честно, — говорит ее юный друг.

Мистер Сэмюэл каждому на плечо кладет участливую руку.

— А не кажется ли вам, — говорит он, — что куда целесообразней было бы удалиться восвояси, события предоставя их естественному ходу? Уезжайте-ка спокойненько, без шума. А там можете, положим, на пианино поиграть, то-сё. Выпейте рюмочку на сон грядущий и забудьте вы про Пассера.

Сверху несется звук вроде человеческого лая, потом ухает сова.

Массажистка Анна кидает свой собственный вопль во тьму.

— Откройте, — она визжит, кидаясь к двери черного хода, бухаясь в нее мощным плечом, колотя кулаками.

Мистер Сэмюэл устремляется к ней властно, хотя и не теряя изящности манер.

— Но это инвалид, поймите, — он объясняет. — Сиделка, по-видимому, снова укусила его за палец. Вы бы точно так же поступили, уверен, вздумай вдруг кто-нибудь из клиентов зажать вам рот рукой.

Друг Анны, Алекс, кричит:

— Иди сюда! В машину, Анна. Тут опасно!

Мистер Сэмюэл, взяв ее под локоть, подталкивает к машине.

— Ну вы-то тут при чем? Отправляйтесь домой, забудьте даже думать.

Массажистка при всей своей корпулентности и мощи проявляет, увы, весьма слабую нравственную стойкость. Она разражается рыданьями, заливаясь, как дитя, друг же ее Алекс, моляще постреливая из-под шелковой косынки густо подведенными глазами, поставив домиком тоненько рисованные брови, тянет к ее лицу жилистую руку.



— Идем в машину, Анна, — молит он, с горькой укоризной глядя на мистера Сэмюэла.

Анна набрасывается на мистера Сэмюэла:

— С каких это пор вы тут секретарь? Виктор Пассера у них секретарем с самого июня!

— Умоляю вас, — говорит мистер Сэмюэл. — Я отнюдь не утверждаю того, что он не секретарь. Я говорю всего лишь, что я секретарь в данной резиденции. Здесь я даже не знаю, сколько вообще секретарей. Виктор — один из многих, и лишь по случайному совпадению из-за совещания его с бароном и баронессой Клопшток вам пришлось томиться перед домом в такую непогоду. Да, не повезло. Езжайте-ка домой. Музычку поставите.

— Но все будет хорошо? — спрашивает Анна. Алекс уже влез в машину и ждет ее. Анна садится к нему, кладет руку на руль, но без уверенности. Смотрит на Алекса, ожидая указаний. Мистер Сэмюэл тем временем, изящно-озабоченный, успел юркнуть к черному ходу и теперь подбирает ключ.

Парочка в машине смотрит на него, он им бросает прощальный взор, после чего преспокойно запирает перед ними дверь. И тогда они трогают с места, едут по длинной аллее, по виляющему въезду, мимо лужаек, которые летом, зелено сияя, льнули с одной стороны к синеве плавательного бассейна, а с другой — к пруду с кувшинками, к мудрено выстриженным тисам, к фонтанам, к запущенному розовому саду. За спинами у них, там, сзади, за стеною мрака, мерцает дом — узкими щелями пунктиром по всему тылу, а уж за домом, дальше, в совсем далекой тьме, земля террасами спускается к Женевскому озеру, где зачалены лодки, где к дальнему гористому берегу, дрожа, бежит вода. Все это оставляя позади, зеленый автомобильчик приближается к сторожке. Анна жмет на гудок. Тео стоит, теперь тепло укутанный, по-видимому предуведомленный; он отпирает и широко распахивает ворота.

Когда они добрались до шоссе, исчезли там с глаз прочь, он возвращается в сторожку и записывает номер автомобильчика в блокнот, предусмотрительно оставленный в прихожей.

Жена стоит рядом в своем халатике.

— Ты это зачем? — спрашивает она.

— Не знаю, Клара. Но поскольку меня предупредили, что работать придется всю ночь, а сменщика не будет, я записываю все номера. Не знаю, Клара, правда, сам не знаю зачем.

Вырывает листок, комкает, бросает в огонь камина.

— А что такое со сменщиками? — спрашивает Клара. — Где Конрад, где Бернард, где Жан-Альбер, где Стивен? И почему они Пабло не пошлют, что ему там с ними делать в доме? Я ужасно сплю, и как я могу спать?

— Я человек простой, — говорит Тео, — от твоих снов меня в дрожь кидает, но бог с ними, с твоими снами, не до них теперь, а что-то будет,

чует мое сердце. Баронесса не по правилам играла, вот все из-за чего. И как же это она себя допустила до погибели? Говорят, всего-то год назад прекрасная была собою женщина. Всем нравилась.

– Она волосы раньше подсеребряла не то прядями высвечивала, – шепчет Клара. – И зачем было менять стиль? Зачем вдруг этот натуральный вид понадобился? Наверно, с кем-то искренней быть захотелось.

– Ты не пугайся, Клара. Ты не бойся.

– Все это правда, что я говорю, Тео. Она сразу, вдруг переменилась. Я ж тебе показывала в журналах, в лыжном таком костюмчике. Правда изумительная была?

– Ложись спать, Клара. Я говорю, иди ложись.

– А можно я радио включу, ради компании?

– Хорошо. Только потише. Нас, понимаешь, тут не для того держат, чтоб мы получали удовольствие.

Тео выходит из своей двери, потому что другой автомобиль, посверкивая фарами, близится к воротам.

Шофер высовывает голову, пока Тео отпирает ворота, но Тео заговаривает первым, очевидно узнав того, кто сидит на заднем сиденье.

– Ваше превосходительство принц Евгений, – почтительно произносит Тео.

Губы шофера шевелятся, но в глазах стоит то ли усталость, то ли скука.

– Я точно знаю – их дома нет, – говорит Тео. – А ожидали они ваше превосходительство?

– Да, – звучит ответ из темноты.

– Сейчас в большой дом позвоню, – Тео бросается в сторожку.

– Трогай, – говорит шоферу принц Евгений. – Что его ждать? Все это чушь собачья. Я сказал Клопштоку, что загляну после обеда, и я заглядываю после обеда. Мог бы, кстати говоря, предупредить швейцара. – А машина тем временем уже на повороте к дому.

Листер ждет у входа. Сбегает по ступенькам к большой машине в ту секунду, когда шофер открывает дверцу для принца Евгения.

– Барон с баронессой в отсутствии, – говорит Листер.

Принц Евгений уже вылез и разглядывает Листера.

– А вы кто такой? – спрашивает он.

– Прошу прощенья, ваше превосходительство, что я в партикулярном виде, – говорит Листер. – Я Листер, дворецкий.

– А с виду государственный секретарь.

– Благодарю вас, сэр

– Это не комплимент, – говорит принц. – Что это вы такое мне говорите тут – в отсутствии? Утром я видел барона, он просил заглянуть после обеда. Меня ждут.

Он идет по ступеням, Листер – за ним, и так оба входят в дом.

В холле принц кивает на дверь библиотеки, откуда летят голоса:

– Идите же, доложите обо мне, – и начинает расстегивать пальто.

– Ваше превосходительство, приказано ни под каким видом не беспокоить. – Листер обходит принца, становится спиной к библиотеке, как бы обороняя вход. Он прибавляет: – Дверь заперта изнутри.

– Да что же там такое происходит?

– Совещание, сэр, с одним из секретарей. Тянется уже несколько часов и продлится, вероятно, до глубокой ночи.

Принц, пухлый, с бледными щеками, решает не снимать пальто и осведомляется:

— А чей секретарь — его? ее?

— Джентльмен, о котором в данном случае идет речь, служил секретарем при обоих, сэр, последние пять месяцев — почти.

— О, всемогущий Боже, лучше убраться отсюда! — вздыхает принц Евгений.

— Так бы я и поступил на вашем месте, сэр, — и Листер направляет стопы принца к парадной двери.

— Утром, по-моему, был барон как барон, — принц на пороге оборачивается к Листеру. — Он только что вернулся из Парижа.

— Весь день, по-видимому, были телефонные переговоры, сэр.

— Казалось, он совсем не ждал беды.

— Никто из них не ждал, ваше превосходительство. Совершенно были к ней не подготовлены. Отдали себя, увы, на волю предопределенья.

— Вы говорите, как государственный секретарь в Ватикане.

— Благодарю вас, сэр.

— Это не комплимент. — Принц, застегивая пальто, выходит в ночь. Листер придерживает распахнутую дверь. Перед тем как по ступеням сойти к машине, принц спрашивает: — Вы полагаете, что-то случится, Листер?

— Да, сэр. Прислуга вся готова.

— Листер, в случае дознанья не стоит, знаете ли, поминать про мой ночной визит. Заехал и заехал. Визит случайный, запросто, соседский. Совершенно несущественный визит.

— Разумеется, ваше превосходительство.

— Я, кстати, не превосходительство, я высочество.

— Ваше высочество.

— Таким большим и слаженным штатом прислуги, как вы тут, мало кто может похвастаться. В Швейцарии это прямо-таки редкость. И как барону это удалось?

— Деньги, сэр, — говорит Листер.

Голоса, взбудораженные, спутанные, неразборчивые, рвутся из библиотеки.

— Мне нужен дворецкий, — говорит его высочество. Вынимает карточку, протягивает Листеру. Кивнув на дверь библиотеки, он говорит: — Когда все это кончится, понадобится место, милости прошу ко мне. Кое-кому из других слуг я тоже был бы рад.

— Едва ли мы станем снова наниматься, сэр, однако же огромное спасибо за предложение, — Листер сует карточку в бумажник, который вынул из жилетного кармана.

— А повар? Такой чудесный мастер. И он освободится?

— У него тоже свои планы, ваше превосходительство.

— Конечно, поднимется скандал. Он, по-видимому, отлично вам платил за вашу службу.

— За наше молчание, сэр.

Сверху слышен вой, и стучат ставни.

— Это тот, на чердаке, — говорит принц Евгений.

— Печальный случай, сэр.

— И все ему достанется.

— Как, сэр? Он же родственник баронессы по первому браку. Двоюродный брат первого мужа. Барон едва ли стал бы завещать такое громадное состояние ему — несчастному ничтожеству на чердаке. Наследник барона — его собственный родной брат в Бразилии.

— В Бразилии — тот младший. На чердаке — ближайший по закону и ей ничуть не родственник.

— А вот этого, — говорит Листер, — я и не знал.

— Мало кто знает. Никому не надо говорить, что я сказал. Сказал и сказал. Клопшток меня убьет. Меня убил бы.

— Нам, собственно, не важно, сэр, кому достанется богатство. Наши богатства — совсем в другом.

— Такая жалость. Повара я бы взял. Отличный повар. Как его, забыл?

— Кловис, сэр.

— А-а, да-да, Кловис.

— Но он оставит свою профессию, я полагаю.

— Жаль, такой талант. — Принц, впрочем, уже в машине, и она его уносит прочь.

Мистер Сэмюэл снял свое кожаное пальто и, сидя теперь в большой буфетной, холлом отделенной от людской, просматривает бумаги. Он откинулся на стуле, на нем темный свитер под горло, темные вельветовые брюки. За спиной у него распахнутая дверь, перед ним черно лоснится окно, от наружных огней лучась и зыблясь, как экран испорченного телевизора. К черному входу подъезжает машина. Мистер Сэмюэл бросает слугам через плечо:

— Это мистер Макгир, откройте.

— У самого ключи небось, — говорит Элоиз.

— Нельзя ли чуточку повежливей, — замечает мистер Сэмюэл.

— Там Листер уже пошел, я слышу, — говорит Элинор.

Мистер Сэмюэл встает, идет в людскую гостиную. Из коридора, ведущего к парадным покоям, выходит Листер, у черного хода меж тем уже вовсю хрустят ключом в замке.

Листер останавливается, слушает.

— А это еще кто?

— Мистер Макгир, — говорит мистер Сэмюэл. — Я просил его к нам присоединиться. Он нам может быть полезен при составлении документации. Надеюсь, я правильно решил.

— Могли сперва меня предупредить, — сказал Листер. — Могли бы позвонить по телефону, мистер Сэмюэл. Впрочем, я не имею возражений. Мне, собственно, понадобятся услуги мистера Макгира.

Тот уже идет со стороны черного хода. На вид постарше мистера Сэмюэла, потасканный и конопатый.

— Ну, как всё? Как все? — спрашивает он.

— Добрый вечер, мистер Макгир, — отвечает ему Листер.

— Чувствуйте себя как дома, — говорит Кловис.

— Добрый вечер, спасибо. Я бы пожевал чего-нибудь, — говорит мистер Макгир.

— Секретари питаются самостоятельно, — отзывается Кловис.

— Но я прямо из Парижа.

— Разогрей ему чего-нибудь, Кловис, — говорит Листер.

– Ладно, беру на себя, – и Элинор со старательным смирением поднимается со стула.

– Мистер Сэмюэл, мистер Макгир, – спрашивает Листер, – ваше время ограничено или вы намерены дожидаться?

Мистер Макгир отвечает:

– Я, собственно, хотел повидать барона.

– Не может быть и речи, – отрезает мистер Сэмюэл.

– Велено не беспокоить, – поясняет Листер.

– Зачем же я тащился в такую даль? – И мистер Макгир обреченно стягивает дубленку.

– Мистеру Сэмюэлу чтоб помогать, – говорит Пабло.

– Ладно, утром барона повидаю. Имею к нему разговор, – говорит мистер Макгир.

– Поздно, – вздыхает Листер. – Нет более барона.

– Но я же голос его слышу. О чем вы?

– Не будем гнаться за вульгарной хронологией, – возражает Листер. – У меня для вас работа.

– Тут телячье жаркое, – кричит Элинор из кухни.

– Blanquete, – поправляет Кловис, – de veau[1].

Он хватается руками за голову, закрывает глаза, изможденный долгими бесплодными усилиями просветительства.

– Сигареточки не найдется? – спрашивает Элоиз.

– Столько шума, – мистер Макгир кивает на парадные покои. – И слышимость такая. Там кто сегодня?

– Адриан, – Листер усаживается на стул, – ты помоги Элинор. Скажи ей, что я не возражал бы против чашечки кофе.

– Когда я был еще юнцом четырнадцати лет, – говорит Листер, – я решил покинуть Англию.

Мистер Макгир наклоняется и останавливает магнитофон.

– Давайте снова, – он говорит. – Попроще, поразговорней, Листер. Не надо этого "юнцом четырнадцати лет", давайте "я был еще совсем пацан, четырнадцать лет", в таком разрезе, Листер.

Они одни в просторной спальне Листера. Оба в глубоких, темно-оливковой нестареющей и прочной кожи креслах, почти определенно сюда переместившихся из другой части дома, возможно из библиотеки, вследствие какой-то коренной смены меблировки. Серый пушистый ковер скрывает пол. Ложе Листера узкое, но выглядит эффектно под вполне сохранной, медвежьей, что ли, шкурой, либо обретенной независимо, либо некогда укрывавшей еще колени давних Клопштоков, в санных каретах бороздивших зимние снега, – как бы там ни было, шкуре, кажется, здесь придается особое значение; однако ж очевидно, что все в комнате, включая и мистера Макгира, здесь только с соизволенья Листера.

Между ними, на полу, грузный магнитофон, в открытом ящике, с ручкой. От него змеится шнур к выключателю при постели. Бобины замерли от прикосновения мистера Макгира к кнопке стопа. Бобины разной толщины, и можно на глаз определить, что полчаса примерно на этом магнитофоне уже производилась запись.

Листер говорит:

1. Рагу из телятины... под белым соусом (*франц.*).

— Стиль оставим журналистам, мистер Макгир. Это же все только наметка, легкая затравка. Суть истории — дело другое, это эксклюзив, а по части эксклюзива у нас, у каждого, собственные планы. Теперь же нам просто нужно что-нибудь для прессы, чтоб сразу запустить, безотлагательно, понимаете ли, когда дознание начнется.

— Послушайтесь-ка моего совета, Листер, — говорит мистер Макгир, — вы бы попроще, в духе устной речи.

— Чьей смотря устной речи, моей или журналистов?

— Их, — говорит мистер Макгир.

— Включайте, — говорит Листер.

Мистер Макгир включает, бобины крутятся.

— Когда я был совсем пацан, в четырнадцать, — говорит Листер, — я решил покинуть Англию. У меня были неприятности, я имел сношенья с Элинор, под роялем, а она мне тетка, и было ей всего-то девять лет. После такого болезненного опыта у Элинор развился комплекс близкой по крови старшей особи, хоть ситуация, пожалуй, отчасти была обратной, короче, с четырнадцати лет она меня преследует и...

— Неправильно. — Мистер Макгир выключает запись.

— Это, положим, неправда, из чего отнюдь не следует, что это неправильно, — говорит Листер. — Послушайте, мистер Макгир, любезнейший, эдак мы с вами тут всю ночь проторчим. Итак, вам следует записать краткие показания Элинор и Элоиз в таком же плане. Остальные без вас обойдутся. Затем нам предстоит позировать для фотографий. — Листер нагибается, включает магнитофон и продолжает: — Мой отец, — рассказывает он, — был в том доме лакеем, хорошая должность. Было это в Уотэм-Грейндж, Лестершир, под роялем. Работал я во Франции. Когда Элинор ко мне присоединилась, я служил в ресторане, у одного грека из Амстердама. Потом мы стали обслуживать частные семьи, а далее более пяти лет я прослужил дворецким у Клопштоков здесь, в Швейцарии. Но по сути дела, Англию я решил покинуть из-за климата — такая сырость.

Листер выключает запись и молча разглядывает магнитофон.

Мистер Макгир спрашивает:

— А про Клопштоков разве им не потребуется?

Листер морщится:

— Я раздумываю.

Он снова обратился к записи, тем временем поглядывая на свои часы.

— Смерть барона и баронессы нас потрясла до глубины души. Вот уж мы ничего подобного никак не ожидали. Выстрелов мы, естественно, не слышали, поскольку наша часть дома совершенно изолирована от хозяйской. И, разумеется, в таких больших домах чудовищный шум от ветра. Ставни наверху несколько отстали, мы, кстати говоря, завтра как раз намеревались их приводить в порядок.

Мистер Макгир останавливает аппарат:

— Вы же, по-моему, собирались сказать, что он, на чердаке, производит столько шума, что один его припадок вы приняли за выстрелы.

— Я передумал, — говорит Листер.

— Почему? — спрашивает мистер Макгир.

Листер морщится, прикрывает глаза, и мистер Макгир снова включает аппарат. Кружатся бобины.

— Барон отдал приказ ни под каким видом их не беспокоить, — говорит Листер.

— А дальше? — спрашивает мистер Макгир.

— Отмотайте-ка назад, мистер Макгир.

Мистер Макгир отматывает ленту и осторожно останавливает вращенье бобин совсем близко от начала.

— Здесь, — он говорит, — здесь где-то начинается ваша часть. — Он включает звук.

Аппарат дважды долго, театрально вздыхает, после чего женский голос произносит:

— Ежегодно, первого мая, я поднималась в Атласские горы и приносила лавровую гирлянду в жертву Аполлону. И вот однажды, в один прекрасный майский день, он сошел со своей огненной колесницы и...

Мистер Макгир выключил и теперь без звука пропускает ленту опять вперед.

— Это, видимо, последняя ваша запись Клопштоков, — говорит Листер.

— Да, последняя.

— Могли бы и свежие ленты нам оставить. Нас совершенно не колышет, какой там номер отмочил Аполлон.

— Я весь этот кусок сотру, когда станем размножать. Можете не беспокоиться. — Мистер Макгир встает, чтоб выключить аппарат.

— Чему суждено всплыть, то всплывет. — Листер встает и ждет, пока мистер Макгир укладывает провод и укрепляет крышку на магнитофоне. И потом, подняв его, выходит следом за Листером из комнаты.

— Тяжелая штуковина, однако, — он говорит, — с места на место его таскать.

Они спускаются по лестнице до первой площадки служебного крыла. Здесь Листер поворачивает к парадной лестнице, и мистер Макгир, первоначально, кажется, намеревавшийся не отклоняясь продолжать свой спуск, после некоторой заминки следует за ним.

— Не слышу голосов, — говорит Листер, на ходу разглядывая черно-белые плитки на дне лестничного колодца. — Книги хранят молчанье.

Спустились до первого этажа. Мистер Макгир стоит навьюченный, Листер подходит к двери библиотеки. Ждет, поворачивает ручку, легонько нажимает; дверь не поддается.

— Заперто. — Листер отворачивается. — И тихо. Идем дальше. — Он направляется к крылу для слуг. — Столько еще всего надо упорядочить, одновременно привнося уместный хаос.

## 3

— Все так быстро, наверно, было. Интересно, чувствовали они чего-то? — говорит Элоиз. — Может, еще и сейчас чего-то чувствуют. Кто-то, может, и живой еще пока.

Листер говорит:

— Животрепещущий вопрос.

— Листер, Пабло, — говорит мистер Сэмюэл, обходя людскую с фотоаппаратом, — встаньте рядом. Листер, положите руку на спинку стула.

Листер кладет руку на плечо Пабло.

— Зачем? Как-то это выглядит не очень, — говорит мистер Сэмюэл.

— Листер сам решит, — говорит Элинор, но тут же Листер говорит:

— Это я его утешаю.

— Но тогда у Пабло должен быть безутешный вид, — размышляет мистер Сэмюэл. — Сама по себе идея продуктивна.

— Прими безутешный вид, Пабло, — рекомендует Листер. — Представь себе что-нибудь печальное, вообрази себя, скажем, на месте Виктора Пассера.

Фотоаппарат тихо пощелкивает, как машина на хорошо налаженном ходу. Мистер Сэмюэл на несколько шагов пятится, целится под другим углом. Потом передвигает лампу, говорит: "Сюда смотрите", — пальцем зацепляя воздух.

— Пабло уже второй раз хмыкнул, — замечает Элинор. — Вы бы поаккуратней.

— Мистер Сэмюэл знает, что негативчики мои, — говорит Листер. — Правда, мистер Сэмюэл?

— Да, — подтверждает мистер Сэмюэл.

— А где венок? — спрашивает Листер. — Где наша цветочная дань?

— У меня в спальне, на полу, — отзывается Элоиз.

— Сходи, принеси.

— Ой, я так устала.

— Я схожу, — Адриан идет к двери, и, едва он ее приоткрывает, сверху летит протяжный вопль.

— Сестра Бартон на ночь укола ему не сделала, — говорит Листер. — Интересно, почему бы это?

— Сестра Бартон в мерихлюндии. Она к ужину не притронулась, — объясняет Кловис.

— Это у нее страх. Что ж, чувство возбуждающее, — говорит Листер. — На любителя.

— Я ей отправил холодную куриную грудку и зеленый салат, раскроенный в полосочку на швейцарский манер, поскольку она в своей наивности считает, что так подавать салат и следует, — бормочет Кловис. Он запустил пальцы за поясок на узких бедрах. Грудь его увешана золотыми медальонами. Фотоаппарат мистера Сэмюэла целится в Кловиса, который, видимо, того и ждет. Кловис опускает веки.

— Отлично, — и мистер Сэмюэл поворачивается к Элоиз.

— Бюст, исключительно, — кидает Листер, одновременно отвечая на звонок внутреннего телефона. — Он? — говорит Листер в трубку. — Зачем?

Ответ, долгий и, очевидно, неразборчивый для слуха Листера, по комнате разносится карканьем старого, простуженного ворона, покуда Листер не отвечает: "Ладно, ладно" — и вешает трубку. Потом он поворачивается, говорит:

— Его преподобия нам не хватало. Притащился на мотоцикле из Женевы. Сестра Бартон вызвала — пациента утихомиривать.

— Попахивает изменой, — замечает Элинор.

— О чем ты? — говорит Листер. — Она всегда была сама по себе, не с нами.

— Все равно она паскуда, — говорит Элоиз.

— Едет. — Листер вслушивается в близящийся треск. — Пабло, поди открой дверь.

Пабло идет к черному ходу, но треск мотора, стихнув, обогнув дом, близится к парадному.

— К парадному поехал, — заключает Листер. — Лучше я сам пойду. — Отстраняет Пабло, кинув: — Парадное, парадное, оставь, я сам, — и, пройдя по черно-белым плиткам, встречает его преподобие.

— Добрый вечер, Листер. Я думал, вы легли, — говорит седовласая духовная особа с вязаной шапочкой в руке.

— Нет, ваше преподобие, — отвечает Листер, — никто у нас не лег.

— А-а, ну-ну, а я отправился к парадному, сочтя, что вы легли. В библиотеке свет, и я решил, что мне, возможно, барон откроет, — он кидает взглядом вверх по лестнице. — Притих. Заснул? Сестра Бартон срочно меня вызвала.

— Сестра Бартон неправа, что вытащила вас, ваше преподобие, но я, должен признаться, при виде вас испытываю большое облегчение, и в конечном счете она, возможно, и права.

— Ваши загадки, Листер.

Его преподобие высок ростом, костляв и хил. Он стягивает тяжелую дубленку. Обнаруживается стола при темно-сером костюме. Он очень стар, но в нем есть еще, кажется, жизненная сила, хоть впечатление это, не исключено, основывается лишь на сочетанье очевидной дряхлости с некоторой прытью: пустился же человек на мотоцикле в эдакую ночь.

Он кивает в сторону библиотеки:

— Барон один? Я понимаю, час поздний, но я, пожалуй, заглянул бы к нему на пару слов, прежде чем взбираться на чердак. Да, частенько мы, бывало, чуть ли не до петухов сиживали с бароном. — Его преподобие уже подле библиотеки и ждет только, чтоб Листер постучался и о нем доложил.

— Там они втроем, — говорит Листер. — Я имею указания барона. Прошу меня извинить, ваше преподобие, но велено не беспокоить. Ни под каким видом.

Его преподобие, с удовольствием вобрав центрально отопленный воздух холла, вздыхает и, как бы осененный нежданной мыслью, чуть-чуть поводит головой и острым, птичьим взглядом:

— Но никого же не слышно. Вы точно знаете, что у него гости?

— Уж куда точней. — И Листер удаляется от библиотеки боком, пятясь, решительно указывая его преподобию стезю, которую тому следует избрать. — Посидите с нами, ваше преподобие, согреетесь. Примете горячительного. Виски с водой. Тепленького попьете. Я хотел бы переговорить с вами с глазу на глаз, прежде чем вы увидитесь с сестрой Бартон.

— Куда? А-а, да-да. — Взор его преподобия теряет нить догадки и ведет его ровно по следам Листеровых начищенных штиблет.

— Добрый вечер, у меня тут есть кое-что. — Едва Листер вводит его преподобие в комнату, тот, поприветствовав собравшихся, сразу же тянет руку в карман. — Пока я не забыл. — Вынимает газетную вырезку, кладет на край телевизионного столика и сам садится рядом. Роется во внутреннем кармане пиджака, вытаскивает очки.

— Добрый вечер, ваше преподобие, — и — Здорово, что приехали, ваше преподобие, — говорят Элоиз и Пабло в один голос, тогда как Адриан входит, плоско, как блюдо, неся некое цветочное сооружение, овеянное целлофанным облаком и зарождавшееся, кажется, в виде лаврового венца, но затем сдобренное по вкусу разного цвета кольцами: красные розы, махровые нарциссы, белые лилии, ближе к середине — рыжие розы и, наконец, в самом центре — тугой пук фиалок.

Зрелище что-то ворошит в памяти его преподобия. Он готовит свои длинные кости к процессу вставания, со словами:

– Но он же не умер?

– Это его преподобие про него, на чердаке, – догадалась Элоиз.

Элинор говорит:

– Я их положу под душ, чтоб опрыскивались. Чтоб сохранялись в свежем виде.

Листер помогает его преподобию снова погрузиться в кресло:

– А мы вот тут фотографируемся, ваше преподобие.

– О! – говорит его преподобие. – О, да-да, понятно. – Он, очевидно, приучил себя, не маясь понапрасну, приноравливаться к новейшим нравам, нововведениям молодого поколенья, при всей их очевидной нелепости и странности. Над которой, видимо, он размышляет, осваиваясь в комнате. Мистер Сэмюэл, явившись со своим аппаратом, щелкает задумчивую голову его преподобия, беспомощно уроненные руки.

– Отлично. – Листер вошел из кухни, на подносе в элегантно-серебряном стакане неся нежно дымящееся виски, которое помешивает длинной ложкой. – Еще давайте, – велит он мистеру Сэмюэлу, а сам отдергивает стакан, к которому его преподобие уже тянет руку. Аппарат мягко щелкает, и благословляющий жест запечатлен. А его преподобие получает свой горячий тодди.

– Добрый вечер – или, скорей, доброе утро, ваше преподобие? – Мистер Макгир выходит из буфетной, таща тяжелый магнитофон. – Очень рад, – говорит мистер Макгир.

– Мистер Макгир... э-э... добрый вечер. Я уже лег в постель, и вдруг – телефон. Сестра Бартон – меня. Срочно, она говорит, он визжит и воет. И вот я здесь. Но я ни звука не слышу. Все легли спать. И что Клопштоки там делают, в библиотеке?

Мистер Макгир на все на это отвечает:

– Я, собственно, не знаю. Велено не беспокоить.

– Там Клопштоки и Виктор Пассера, – вставляет Элоиз.

– Особой роли не играет, Элоиз, кто именно у них в гостях, – вмешивается Листер. – Совершенно к делу не относится.

Пабло с Элинор вернулись из ванной, где оставили погребальные цветы. Пабло присаживается к Элоиз, на ручку кресла.

Его преподобие, взглянув на парочку, тянется к газетной вырезке. Надевает очки.

– Вот, захватил с собой. – Снова глядит на парочку. Глядит на клочок бумаги, потом – строго – на Пабло. – Вырезано мною из "Дейли Американ", для нужд барона. Но данный материал имеет прямое касательство к обычаям этого дома в целом, и коль скоро уж я здесь, а барон занят, мне представляется не лишним почитать его для всех, кому это может пригодиться. – И смотрит на Пабло.

– Ну, валяйте, – говорит Пабло, еще плотней притискиваясь к Элоиз. Она оглаживает свой живот, время от времени колышущийся сам собой. Листер, сидя у стола, кивком указывает на магнитофон и смотрит на мистера Макгира.

Мистер Макгир втаскивает магнитофон на стол, и Листер говорит:

– Я не вполне улавливаю, ваше преподобие. Не могли бы вы нам это еще раз пояснить?

Мистер Макгир включает штепсель в розетку.

Его преподобие, наконец, поверх очков оглядывает магнитофон.

— А это что такое?

— А это электронное устройство для приготовленья пищи, — объясняет Листер. — В наши дни, знаете ли, все на электронике. Индивидуальный подход остался в прошлом. Мы просто программируем наши блюда.

— А-а, ну да, ну да. — Вдруг делается ясно, до какой степени его преподобию хочется спать. Веки слипаются, клонится голова, чуть ниже, дернувшись, съезжают руки с зажатой в них газетной вырезкой.

— Ваше преподобие, вы объясняли насчет этой статьи. — Листер затягивается сигаретой. — Мы, естественно, готовы воспринять все наставления, какие вам угодно будет перед нами метать, ибо мы хоть и сущие свиньи, но и овцы заблудшие. Каждый бредет сам по себе и к козлищам причтен. Обыкновенно...

— Да, секс, — пробуждается его преподобие. Смотрит на Пабло, потом на Элоиз, потом на вырезку.

Листер говорит:

— Обыкновенно данная тема не затрагивается в этих четырех стенах.

— Но вы должны быть откровенны. Нет смысла утаивать факты, — строго возражает его преподобие.

Листер поднимает палец, и начинают кружиться магнитофонные бобины.

Его преподобие говорит:

— Я привез это для Клопштоков, для Сесила и Кэти. Предполагаю, что кое-что в этом материале им поможет преодолеть их затрудненья. Надеюсь, что и вам это равным образом поможет, каждому из вас. — Далее он читает по газете: — "Новое средство антисекс" — это заглавие. "Эдинбург, Шотландия. Научная медицина открыла средство, которое поможет обуздать тех, кто злоупотребляет сексом, как сообщил один врач Королевскому медико-психологическому обществу. Руководитель эдинбургских испытаний нового немецкого лекарства доложил членам общества о сорокалетнем мужчине, принуждавшем к сексуальным действиям в особо грубой форме целый ряд особей женского пола. На счету этого мужчины случаи непристойного обнажения, гомосексуальные связи и ежедневная потребность в сексе. Но трехнедельный курс применения нового лекарства, содержащего кипротерон ацетат, умерил его потребности, сообщает эксперт. Вышеописанное средство испытывалось еще на трех субъектах. Все трое сообщили, что чувствуют себя лучше". И так далее и тому подобное. Ну вот, — заключает его преподобие.

Листер поднимает палец, магнитофон останавливается.

— Ценнейшее сообщение, ваше преподобие, — говорит Листер. — Его следовало бы послушать всем и каждому, ибо оно объясняет многое из того, что произошло под этой крышей.

— Я того же мнения, — говорит его преподобие угрюмо и прячет вырезку в карман. — Лучше я домой поеду, — прибавляет он.

— Ветер утих, — говорит Адриан.

— Он здесь переночует, — говорит Элинор. — Не может он сейчас тащиться в Женеву на мотоцикле.

— Признаться честно, я вылез из постели, — говорит его преподобие. — Пойдите, скажите Клопштоку, что я здесь.

— Не велено беспокоить. Ни под каким видом.

— Надеюсь, они не взялись за свое в библиотеке. В библиотеке. А который час?

— Без четверти три, — говорит Листер.

— Мне пора спать. Нам всем пора спать. И зачем вы меня погнали в такую даль?

Листер идет к внутреннему телефону, поднимает трубку, нажимает на кнопку. Ждет. Снова нажимает, несколько минут не отпускает палец. Наконец трубка рявкает в ответ.

— Сестра Бартон, — говорит Листер в трубку, — вы зачем погнали его преподобие в такую даль?

Тотчас его преподобие вставляет:

— О да, ну как же, мой бедный мальчик наверху, — покуда Листер терпеливо слушает.

Его преподобие с громким скрипом пытается приподняться в кресле. Кловис, сидевший сложа руки и поджав свой маленький рот, вскакивает, чтобы ему помочь.

Слышно, как Листер говорит:

— Вот и напрасно, — и вешает трубку.

Его преподобию Листер объясняет:

— Сестра Бартон говорит, что он, на чердаке, нуждался в вас, но теперь он заснул.

И в тот же миг протяжный вопль летит из-под крыши, падает в лестничный колодец, вьется по ступеням и сквозь все перила просачивается в людскую.

— Она его разбудила, — говорит Адриан. — Вот она чего сделала.

— Это она нарочно, — говорит Элинор. — Лишь бы его преподобию досадить, только и всего.

— Но зачем? — говорит Кловис. — Какая идея?

— Помогите мне подняться, — кряхтит его преподобие.

Элоиз улеглась. Опершись на подушки, она потягивает чай. В ногах кровати, с двух сторон, Пабло, мальчик на побегушках, и Адриан, подручный повара, оба столь же безупречно юные, как и она.

— Ей-богу, поспать бы, — говорит Элоиз. — Честно, вздремнуть бы немножко.

— Нет, — говорит Пабло. — Листер хочет, чтоб мы все переживали шок, когда придет полиция. Недосып окажет то же действие — Листера слова.

— Я вам в любой момент тако-ой выдам шок, да еще в моем интересном положении. — Она зевает, одной рукой придерживая чашку, другой прикрывая рот. — Листер прям чудо, — она вздыхает.

— Блеск, — говорит Адриан.

— Супер, — говорит Пабло. — В жизни не видел, чтоб так время человек умел рассчитывать.

Наверху что-то оглушительно хлопает, потом еще, еще.

— Как выстрелы, ей-богу, — говорит Элоиз.

— Ну прямо, — говорит Пабло. — Ставни это. Ветер, видно, опять поднялся. Здорово я эти ставни расшатал, а?

— Пластиночку поставить, — Адриан, соскользнув с кровати, идет к патефону и выбирает, так и сяк вертя, пластинки и быстро, острым гла-

зом схватывая все, что напечатано на каждой стороне, хоть в этой части комнаты темно — свет включен только у изголовья Элоиз.

Снова и снова наверху стреляют ставни, потише, дребезгом отзывается окно. Адриан ставит пластинку. Громыханье сотрясает комнату, Адриан убавляет звук.



Потом Элоиз закуривает, а мальчики танцуют под звуки рока. Элоиз ставит чашку на столик рядом. Вынимает гребень из лежащей на постели бахромчатой сумочки, берет со столика зеркальце. Кладет то и другое на постель и распускает волосы, по моде стянутые сзади хвостиком. Потом поднимает зеркальце и начинает волосы расчесывать, чуть поводя плечиком в волнах музыки и языком отцокивая такт. Мальчики танцуют, глаза в глаза, раскачиваясь, но не сходя с небольшого кружка соснового лоснящегося пола.

Комната Элоиз обставлена что для хозяйской дочки. Из-за лозунгов, плакатов, пришпиленных фотографий почти не видно стен. Мебель низкая, прямая, обита темно-красной, черной и желтой тканью. Белый пушистый коврик косо лежит перед письменным столом, по которому в беспорядке разбросаны карандаши, яркие журналы, какие-то аптечные коробочки. Мальчики дотанцовывают до самого коврика, но на него не ступают.

Элоиз говорит:

— И совсем даже не сильно она пила, я что хочу сказать, — она давит сигарету.

Пабло замирает посреди танца. Он говорит:

— Все рассуждаешь, Элоиз.

Адриан, продолжая один танцевать, просит:

— Давай рассказывай, Элоиз.

— О чем это ты, интересно? Я, что ли, не рассказываю?

— Когда рассказывают, не спрашивают — о чем это ты. Такая штука существует, как идея.

— А ты, интересно, кто такой, по-твоему? Председатель Мао?

Пабло уже снова танцует. Кончается пластинка. Он ее переворачивает, запускает другую сторону.

— Кловис, он тоже очень даже ничего, — замечает Элоиз. — Я буду за Кловисом скучать.

Пабло говорит:

— Пусть остается с нами. Чего ему с нами не остаться?

— Кловис может остаться с нами, — решает Адриан.

— Баронесса очень даже нормальная была, — говорит Элоиз. — Я что хочу сказать. Почему, интересно, не имеет полное право женщина в голом виде фотографироваться и в кино сниматься?

Адриан перестает танцевать.

— А знаете, — он говорит, — Виктора Пассера мне ни вот столечки не жалко. Живого или мертвого.

— И мне, — говорит Элоиз.

— Что-то в нем было такое, было, — Пабло говорит, качаясь и вскидывая руки.

— Знаю, — говорит Адриан. — Но все не в соответствии.

— Надо же, и ведь он именно оказался, — говорит Элоиз.

Пабло говорит:

— Мог оказаться и кто-нибудь другой.

Адриан говорит:

– Но раз она его выбрала. Она же на него подсела.

– Так подлежало, – вздыхает Элоиз.

– Мог бы и другой оказаться, – говорит Пабло. – Любой мог его ошибку совершить.

– Существует такая штука, как идея, – повторяет Адриан. – Повелся бы он на барона, так, может, и был бы в соответствии.

– Но он не был, – заключает Элоиз, кладя зеркальце обратно на столик и закуривая новую сигарету.

На время все смолкают. Элоиз курит, томно оглядывая танцующих. Музыка кончается, молодые люди вместе молча выбирают другую пластинку и ставят. Сначала Адриан, потом Пабло снова танцуют, подпрыгивая, качаясь, будто тугой вал музыки их несет.

Погодя Элоиз говорит:

– А мне мистер Макгир нравится.

– По саундтреку лучший в бизнесе. Вот кто в соответствии, – говорит Адриан.

– Классный специалист, – говорит Пабло. – Типа почувствуйте разницу, да?

– Мистер Макгир и мистер Сэмюэл, – говорит Адриан, – эти двое – особая статья. И зачем судить людей за то, что они успеха смогли добиться? Шикарная команда.

– Их, было дело, в тюрягу за это упекли, – погодя говорит Адриан.

– Ты чего? Правда? – спрашивает Пабло, и Элоиз тут же: – Да ну? Когда?

– Да вот как только этот бизнес у них зарождался, лет шесть-семь назад. Мистер Макгир мне много чего порассказал, – говорит Адриан, без малейших признаков усталости останавливаясь после бесконечного танца. – Мистер Макгир мне рассказал, – говорит Адриан, – что они тогда за мелкие деньги работали. Если за мелочовку работаешь, тебе криминал пришьют. А надо, типа, большие тыщи зашибать – и полный ажур.

Пабло перестает танцевать и садится на постель.

– И как они это раньше делали? – он спрашивает.

– В той же технологии. Мистер Сэмюэл фотографирует, мистер Макгир обеспечивает звук. В газеты объявления давали. Под кодом. Клевали многие.

– Ой, у них такая технология, прям закачаешься, – говорит Элоиз. – Я что хочу сказать, мне очень даже понравилось, как они меня тогда снимали – вместе с Айрин и с Листером. Мистер Макгир все пристает: "Выкладывай свои фантазии, Элоиз". А чего мне выкладывать? Думаю, может, это он про волшебные сказки, ну и завожу про Красную Шапочку, а мистер Макгир: "Великолепно! Ты великолепна, Элоиз!" Ну я и давай ему Красную Шапочку травить, а Листер с Айрин, те туда же. Листер – ой, как он бабушкой был и меня съел, супер! В фильме даже видно, какое я получала удовольствие. А потом уж Айрин, так ту съел второй состав, то есть Листера дублер. Мистер Сэмюэл, он артист. Я что хочу сказать – у него все перспективное такое.

Адриан говорит:

– Элинор, ей только принцесс подавай. Другое ничего делать не заставишь.

— Ну стара уж — переучиваться, — говорит Пабло. — А принцессы у нее отлично получаются. Принцесса на горошине, как она спать не может на перине, — обожаю. В искусстве надо выбирать исключительно свое. Тогда получится. У баронессы отлично получается Монахиня из Конго, еще там Элинор — принцесса. Кот в сапогах — дикая тоска.

— Монахиню из Конго — эту, пожалуйста, и я могу, — говорит Элоиз.

— И я, — говорит Пабло. — Мне нравится.

— Лучше всего мне нравится "Девочка и три медведя", — вздыхает Элоиз. — Про волшебные сказки — это они у меня взяли. Это моя была идея, то есть, я что хочу сказать, она мне в голову пришла.

— У вас страховки-то в порядке? — спрашивает Пабло.

— Навряд ли, — отзывается Адриан.

— У меня — так это точно, что нет, — говорит Элоиз. — Все баронессе напомнить собиралась.

— Листер присмотрел бы, если б это значение играло, — говорит Адриан. — Выходит, не играет. — Он берет другую пластинку, разглядывает, говорит: — А-а, сойдет. — И ставит.

Элоиз говорит:

— А мое любимое — "Все разрешено"[1].

Мальчики танцуют. Элоиз говорит:

— Она в пансион для благородных девиц ходила, в Лозанне, и апельсин научилась кушать ножичком таким малюсеньким и вилочкой, чтоб до апельсина даже не дотронуться.

— Кто? — спрашивает Пабло.

— Баронесса.

Молодые люди продолжают танцевать.

— Видно, туман над озером встает, — говорит Элоиз. — Я прям в комнате даже вижу. Через двойные стекла проходит, да?

Пабло начинает напевать в такт музыке. Он напевает: "Пабло, баронесса тебя желает видеть". — "Тук-тук". — "Войди, Пабло". — "Доброе утро, мадам, что угодно, мадам?" — "Пабло, там ставни наверху, они так хлопают. Я думаю, они отстали". — "Это мы мигом, мадам". — "Ну, тогда позже увидимся". — "Увидимся на приеме, баронесса".

— Увидимся на приеме, — подтягивает Адриан.

— Чего разорались, — перебивает Элоиз. — Листер занимается наверху с его преподобием и с мисс Бартон.

— И что-то там делается наверху. — Адриан останавливается, потому что кончается музыка.

— Листер все на свете устроит. Листер никогда не подкачает, Листер, он такой всегда в пропорции. — Элоиз закуривает сигарету.

Пабло подходит к окну, смотрит на туман.

— Листер, он всегда взвешенный, — говорит Пабло. — И главное, он всегда соответствует.

— Точно, — подтверждает Адриан.

Мистер Сэмюэл сидит в большом кресле и просматривает переплетенную машинопись, мистер Макгир заглядывает ему через плечо.

Кловис сидит у круглого, синим бархатом покрытого стола. Локти на столе, подбородок задумчиво уткнут в ладони.

1. Название песни из одноименного мюзикла американского композитора Коула Портера (1891–1964).

— Роскошно, — говорит мистер Сэмюэл. — Могу поздравить, Кловис.

— Богатейшие возможности, — говорит мистер Макгир.

Кловис вздергивает, снова хмурит брови. Та же задумчивость во взоре, локти неподвижны.

— Первоклассный сценарий, — говорит мистер Сэмюэл. — Некоторые сцены — просто вне пределов вероятия. Только абсолютное владение сюжетом могло связать все это воедино.

— Потрясающе. — Мистер Макгир любовно оглаживает свой запертый магнитофон, стоящий на столе. — И так все оформлено великолепно, Кловис.

Кловис хранит молчанье.

Мистер Сэмюэл говорит:

— Просто блестящая находка то, что вы баронессу первоначально выстраиваете, как фоторобот, когда полиция ищет мотивов, повсюду рыщет и сует свой нос. Весьма наглядно, вполне зримо, Кловис.

— Хочется вот и услышать, — говорит Кловис. — Пора бы и услышать. Вчера был последний срок.

— Услышим, — говорит мистер Сэмюэл. — Не беспокойтесь. Это же, знаете, такая прихотливая вещь — киноиндустрия.

— Насчет серий все улажено. — Кловис приподнимает подбородок, высвобождает правую руку, чтобы похлопать толстую папку на столе. — Контракт надежный.

— Фильм у нас в кармане, — говорит мистер Макгир, — остается только одна сложность — кастинг. Все должны быть моложе, чем в действительности. Если Адриан играет Листера, Пабло должен играть Адриана.

— Да, только вот дадут ли они Пабло роль.

— Дадут, куда они денутся, — говорит мистер Макгир.

— Элинор может сыграть баронессу. Фотографии имеются, все, что от нее требуется, — соответствовать исходному сценарию и следовать за диалогом.

— Я вот насчет Пабло беспокоюсь, — говорит Кловис.

— Он весьма фотогеничен, — говорит мистер Сэмюэл.

Все умолкают, когда в комнату входит Листер, а за ним — его преподобие.

— Где Элинор? — спрашивает Листер.

— Не здесь, — отвечает Кловис.

— Дайте-ка его преподобию чего-нибудь выпить, — и Листер проходит к внутреннему телефону.

— Нет, мне пора спать, — говорит его преподобие, — мне завтра рано вставать, у меня венчание.

— Прошу прощенья, ваше преподобие, но, кажется, вы будете необходимы в этом доме ввиду срочной просьбы мисс Бартон. Вы непременно должны остаться.

— Вы должны остаться, ваше преподобие, — подхватывает мистер Макгир. — Мы уж поуютней вас устроим.

Листер поднял трубку, нажал на кнопку. Стоит и ждет, ждет долго, но ответа все нет. Он нажимает другую кнопку, тем временем через плечо кидая в комнату:

— Сестра Бартон попросила его преподобие произвести обряд венчания. Хочет выйти за него, на чердаке, и тот, кажется, согласен, насколько это возможно заключить.

Не получив ответа, он жмет другую кнопку, снова кидая через плечо:

— Мне удалось отговорить его преподобие от столь неуместных в данный момент свершений.

— Да она просто спятила, — говорит мистер Сэмюэл.

— Совсем рехнулась, — подтверждает мистер Макгир.

Но тут Листеру ответили по телефону.

— Элинор, — он говорит в трубку. — Что новенького? Хорошенького?

Трубка коротко свистит в ответ. Снаружи бухает гром. Листер говорит в телефон:

— Ну смотри же, будь умницей, моя радость, — и вешает трубку.

— Гроза разыгрывается вдалеке, — говорит мистер Макгир.

Кловис приносит его преподобию, осоловело ссутулившемуся на диване, стакан дымящегося виски. Его преподобие берет стакан и, лаская пальцами, ставит на столик рядом. Мурлычет гимн, клюет носом, вдруг широко открывает глаза — это гром ударяет совсем рядом, — но вот грохот отдаляется, и опять у его преподобия слипаются глаза.

Звонит внутренний телефон. Листер снимает трубку, она шипит в ответ.

— Айрин? — переспрашивает Листер. — Да, ну естественно, ее следует впустить. Почему бы не пошевелить мозгами. — Вешает трубку. — Швейцар, — кидает в комнату. — Форменный болван.

Снова звонит внутренний телефон. Листер снимает трубку — очень медленно, говорит: "Листер слушает" — и готовно подставляет ухо под неукротимый словесный ураган.

Меж тем в наружный шум вторгается шелест машины и забирает в сторону черного хода. Слышно, как отворяется наверху окно и голос Элоиз: "Эй, Айрин!" — летит в непогожую тьму. Мистер Сэмюэл выглядывает в окно, поворачивается лицом к комнате и сообщает:

— Айрин на "мини-моррисе".

Трубка в руке у Листера отчаянно вздыхает. Листер говорит:

— А те документы нашла, моя радость, не важно, запертые или нет?

Телефон трещит как безумный, удар грома рассекает небо над крышей. Протяжный вой падает с самого верха, с другого уровня, пониже, валами катит музыка. Грохает задняя дверь, впускает и прихлопывает шаги. Листер слушает у телефона.

— Тогда лучше поосторожней, — заключает он. — Нет, не надо снова запирать. Все оставь как есть. Копии возьми, бумаги положи обратно. И поскорее, моя радость. Нет оснований для тревоги...

Седое время, мне всё мнится,
Мчит на крылатой колеснице...

Высокая, поджарая молодая особа — убегающий подбородок, карие остренькие глазки — меж тем вошла в людскую.

Листер кладет трубку и продолжает, теперь уже адресуясь к вошедшей:

...Туда, где, робкий муча взгляд,
Пустыни вечности лежат...[1]

1. Строки из "Посвящения лорду Фэрфаксу" Эндрю Марвелла (1621—1678), английского поэта, друга и почитателя Мильтона.

— Ты где была всю ночь, Айрин?

— У меня сегодня вечер выходной. — Айрин стягивает кожаные, замшей подбитые шоферские перчатки.

— Выходной! — говорит Листер. — Ничего себе, нашла время для возвращения в Шато Клопшток!

— В грозу угодила, — отвечает Айрин. — О, ваше преподобие! Какой сюрприз!

Его преподобие открывает глаза, распрямляется, блуждает взором по комнате, наконец, обнаружа свой стакан, берет в руку, отхлебывает виски.

— Чересчур крепко, — он говорит. — Я б лучше чаю на дорожку выпил.

— Послушайте только, как грохочет, ваше преподобие. Вы просто не доберетесь до Женевы на своем мотоцикле в такую ночь, — говорит Листер.

— Исключено, — подтверждает Айрин.

Дребезг городского телефона пронзает комнатное тепло.

Листер говорит Кловису:

— Возьми. Если это какой-нибудь кузен хочет поговорить с бароном или с баронессой Клопшток, скажи, что велено не беспокоить. С кого ж, кроме кузенов, станется звонить в такой час?

Кловис у городского телефона, в буфетной. Слышно, как громко, по-французски, лопочет в Женеве коммутатор. Мистер Макгир и мистер Сэмюэл стоят у Кловиса за спиной.

Кловис отвечает, потом, рукой прикрыв трубку:

— Это меня, Соединенные Штаты.

— Насчет фильма, естественно, — говорит Листер. — Вчера должны были звонить. Но у них, собственно, там до сих пор еще вчера. Вечно звонят среди ночи из этих Соединенных Штатов Америки. Думают, раз они отстают на пять часов, мы тоже должны отставать на пять часов. Айрин, сходи за Элоиз и мальчиками. Веди их сюда. Надо кое-что провентилировать.

Айрин идет к двери, Листер снова подходит к внутреннему телефону, нажимает кнопку, ждет. "Ты идешь, Элинор?" — он спрашивает. Трубка, как прежде, разражается ответной речью, а гроза лупит по окнам, а в буфетной Кловис весело болтает с Соединенными Штатами. В конце концов Листер отвечает трубке:

— Вот и прелестно. То, что нам надо. Неси, моя радость, неси скорей. Оригиналы положи обратно, оставь незапертым то, что нашла незапертым, и запертым, что было заперто.

Кловис вернулся из буфетной в сопровожденье мистера Сэмюэла и мистера Макгира. Его преподобие спит. Кловис улыбается.

— Все улажено, — он говорит. — И Пабло получает роль Адриана.

## 4

— В четверть восьмого, едва небо забелеет, — говорит Листер, — мы все, за исключением мистера Сэмюэла и мистера Макгира, должны разойтись по своим комнатам, переодеться там в наши элегантные будничные униформы, а в восемь, или около того, мы бросимся вниз, вызывать полицию, отвечать на расспросы журналистов, которые уже явятся или начнут являться. Мистер Сэмюэл и мистер Макгир останутся в постелях,

но в процессе взламывания полицией библиотечной двери сбегут вниз по лестнице, ошеломленные, в купальных халатах либо в чем-то аналогичном. Его преподобие к тому времени будет уложен спать и проспит всю суматоху, покуда — и если — не будет разбужен полицией. Тот, на чердаке, и сестра Бартон вернутся к себе. Они...



— А почему ж ночью-то они не у себя будут? — перебивает Элоиз.

— Дайте попророчествовать, — говорит Листер. — Мои прогнозы, впрочем, весьма приблизительны, как и прозренья Элоиз.

— Дайте Листеру сказать, — говорит Элинор.

Гроза переместилась, и гром, теперь уж дальний, колотит в вершины гор, как в африканский барабан.

Кловис говорит:

— Нам нечего скрывать. Мы ни в чем не виноваты.

— Да, мы невинны, — говорит Листер. — Итак, вернемся к нашим планам. Элоиз, ты беременна.

Звонит внутренний телефон. Элинор снимает трубку и приклоняет ухо к ее задышливой повести. Элоиз хохочет.

— Хорошо, впусти их в ворота. Но обратно потом не выпускай, — говорит Элинор, кладя трубку. Листеру она говорит: — Две подружки Виктора Пассера. Грозятся вызвать полицию, если мы Пассера им не представим.

— Вон, едут. — Адриан смотрит в окно. Машина уже шуршит по въезду. И вот снова — стук в дверь черного хода.

— Впустите их, — приказывает Листер. — Ведите их сюда.

— Правильно, — говорит Кловис, — лучше все сразу прояснить.

Мистер Сэмюэл идет к двери черного хода и возвращается в сопровождении Анны-массажистки и ее друга Алекса. Они стоят и смотрят на собравшихся в полном составе домочадцев. Переводят взгляд с Элинор на прикорнувшего священника, оглядывают хохочущую Элоиз, Пабло, длинноногую Айрин, Листера.

— Как я смог заключить, вам нужен телефон, — говорит Листер. Машет в сторону буфетной. — К вашим услугам.

— Нам нужен Виктор, — говорит Анна.

— Он в библиотеке с бароном и баронессой: Велено не беспокоить. Ни под каким видом.

— Я тревожусь за Виктора, — говорит Алекс.

— Но отчего бы не позвонить в полицию, как вы предполагали? — Снова взмах в сторону буфетной. — Телефон у нас там. Ночь у нас трудная, вот — не ложимся, ждем-пождем барона с баронессой.

— Как-то не хочется в это вмешивать полицию, — тянет Анна.

— Да уж, скажу я вам. На какое, собственно, вознаграждение вы рассчитываете — крупное или мелкое?

— Виктор наш друг. И Кэти Клопшток нам тоже не чужая, — отвечает Анна.

Элоиз говорит:

— Ну так чего ж вам, например, не позвонить в полицию, не доложить, что эти все записи магнитофонные и фотки у вас в машине, чтоб Виктор с баронессой разочлись с бароном, а потом слиняли?

Элинор говорит:

— Зачем хамить, Элоиз, и умничать. Была такая изнурительная ночь. Лучше б ты мне морковь для сока приличную купила.

— С такими типами лучше уж начистоту, — не сдается Элоиз.

— Они к делу не относятся, — замечает Пабло.

— Пошли-ка лучше отсюда, — говорит Анна Алексу, у которого глаза уже на мокром месте.

Они следуют за мистером Сэмюэлом к задней двери и выходят из дому.

— Элоиз, — говорит Листер. — Как указывалось выше, ты беременна.

Элоиз еще хохочет, когда возвращается мистер Сэмюэл.

Он говорит:

— Захлопнули дверцы машины. Очевидно, покатаются по парку.

Мистер Макгир стоит у окна в темной буфетной.

— К фасаду свернули, — сообщает он.

— Пусть попатрулируют территорию, — говорит Листер. — Итак, относительно твоего положения, Элоиз. Есть возможность решить эту проблему.

— Проблему? При чем тут...

— Ты выходишь за барона и становишься баронессой.

Пабло говорит:

— Он отправился на встречу со своим Творцом. Он пристреливает жену и секретаря, когда те слишком быстро разговаривают. А потом он сам стреляется, так по сценарию. Развязывает этот узел как умеет.

— Элинор обнаружила кой-какие новые вещественные доказательства, — говорит Листер. — Что было совершенно непредвиденно, но можно и непредвиденное предусмотреть. Он, на чердаке, — младший брат барона. Наследник титула и, по условиям завещания, большей части состояния.

— Так он же вроде как ей родственник, — говорит Адриан.

— Племянник, что-то в таком духе, нет? — говорит Кловис. — Не то сценарий исправлять придется.

— Младший брат барона.

— Ой, у меня от него молоко свернется, — говорит Элоиз.

— У меня тоже, — говорит Листер. — Но он наследник.

— Но существует же младший брат в Бразилии, — говорит мистер Сэмюэл. — Всегда считалось, что наследник — он. Такие деньги.

— В Бразилии — моложе, чем на чердаке, — говорит Элинор. — На чердаке — ближайший в роду. Он наследник. Сестра Бартон знала, что делает, когда сегодня среди ночи послала за его преподобием и предложила из жалости выйти за своего пациента.

Услышав, что о нем упоминают, его преподобие открыл глаза. И сел, отчасти освеженный сном.

— Мой бедный мальчик на чердаке, — вздыхает он. — Сестра Бартон прекраснейшая женщина. Думаю, надо пойти ей навстречу.

— У него, на чердаке, есть более насущные обязанности, — говорит Листер. — Знает кто-нибудь, как его зовут?

— В жизни не слыхала, — говорит Элоиз.

— Сестра Бартон его называет Тони, — сообщает его преподобие.

— Его имя, — чеканит Листер, — Густав Энтони Клопшток. Так он назван в свидетельстве о рождении, в медицинской справке по освобождению от военной службы и в завещании их отца.

— И в ведомостях? — справляется его преподобие.

— Еще он упомянут в ведомостях за 1949 год. Это последние, имеющиеся в нашем доме. Я посчитал, что, может быть, он умер, но я ошибся. Признаю, мы пребывали в заблужденье, — говорит Листер. — Но мы

оставляли место для ошибки, мы допускали возможность заблуждения, и, слава богу, мы вовремя обнаружили его. Существует большая разница между теми событиями, которые проистекают одно из другого, и теми, которые всего лишь одно за другим следуют. Те, что проистекают, — предпочтительней. И Кловис исправит свой сценарий.



— Не то чтоб я всю жизнь мечтала за него выйти, — говорит Элоиз. — Какой-то он уж очень нелицеприятный.

— С лица воду не пить, — говорит Адриан. — Твое дело — свидетельство о браке черным по белому иметь.

— Ваше преподобие, — говорит Листер. — Памятен ли вам тот вечер в прошлом июне, когда Клопштоки уехали и он, на чердаке, вырвался на волю? Помните, мы еще вас вызвали, чтоб вы помогли его поймать и утихомирить?

— Бедный мальчик, ну конечно же, я помню, — говорит его преподобие. — Он не ведал, что творит.

— Официально он так и не был признан невменяемым, — говорит Элинор. — Барон с баронессой — ни в какую, даже слышать не желали.

— Да, правда, — говорит Листер. — И мне хотелось бы привлечь внимание его преподобия к последствиям того июньского буйства. — Листер указывает на Элоиз, а та с улыбкой оглядывает свой живот.

— О Боже праведный! — вскрикивает его преподобие. — Вот уж не предполагал в нем подобных ресурсов!

— Не будем же терять время, — и Листер встает со стула. — Приготовь гостиную, Элинор. Сейчас половина шестого. Пойду, отдам распоряжения сестре Бартон.

— Мне потребуется несколько дней, — тон его преподобия непреклонен. — Нельзя же так, с бухты-барахты, сочетать людей.

— Но тут особые обстоятельства, ваше преподобие. Вы не можете отказать. Собственно, вы и не должны отказывать. Посмотрите на бедную Элоиз, в каком она положении.

В погребальном венке, для поддержанья свежести опрыскиваемом в душевой при кухне, недостает центрального букетика. Элоиз у себя в комнате держит этот букетик в руках. Восхищенный Пабло стоит рядом.

— А я все свои вещи снова распаковал, — говорит он.

— Дело большое, — говорит Элоиз. — И кто просил паковать? Такие сундуки и чемоданища.

Адриан появляется в дверях с белой норкой, недавно оставленной в гардеробной Виктором Пассера.

— Точь-в-точь к случаю. — Элоиз надевает норку.

— Листер велел, чтоб ее снова в гардероб снесли, немедленно после церемонии, — говорит Адриан. — Полиция заинтересуется, а в чем он был одет. Листер именно хочет, чтоб шубка на глаза полиции попалась. Она об очень многом говорит — Листера слова.

— Спереди не сходится, — говорит Элоиз.

— Очень тебе идет, — говорит Пабло.

В дверь стучат, и входит Айрин.

— Ты что? Вправду замуж за него собралась? — спрашивает она.

— Ну. А чего такого?

— Так тебе же, значит, музыка потребуется, — говорит Айрин. — Как можно — свадьба и без музыки?

— Элинор может на рояле поиграть, — решает Адриан.

— Нет, — говорит Элоиз. — Элинор мне нравится, но у нее на пианино прекрасное туше. Терпеть не могу прекрасное туше.

— Мистер Сэмюэл играет на пианино и еще на гитаре, — говорит Пабло. — Он такой заводной, мистер Сэмюэл.

— Патефон тащите, — решает Элоиз, — так лучше. Мистер Сэмюэл будет потому что фотографии снимать, а мистер Макгир звуковую дорожку сделает. И все запишется. И надо, все чтобы совпало.

— Гроза не проходит, — отмечает Пабло, когда молния на секунду встает в оконнице. Следом ударяет гром. — Небось деревьев в парке повалило!

— Я прикажу, — говорит Элоиз, — чтоб завтра их убрали. Пошли вниз. Там ждут.

Сверху слышны возня и вой.

— Разве не так принято, чтобы жених являлся первым? — говорит Айрин.

— Ничего, если он и задержится по причине плохого своего здоровья, — говорит Пабло. — Ну, пошли.

— Клара, — говорит швейцар, — твой чай, душенька. Почти полшестого, я сегодня рано. Как-то боязно мне. Приказали не отпирать ворота до восьми часов, а потом всех впускать. "Всех абсолютно". Ты можешь что-нибудь понять? Почему вдруг все абсолютно приедут после восьми утра?

— Ах, Тео, у меня такие сны. — Она садится в постели, тянется к своей кружевной кофточке. Надевает, принимает чай из протянутой руки Тео.

— Он сказал: "Всех впускать после восьми часов, не раньше". Нет, не по мне эта работа, Клара. Придется нам переехать.

— Ой, а мне до того этот домик нравится. Я всегда такой хотела. Знаешь, а у баронессы, по-моему, сентименты с одним секретарем. По-моему, она с ним убежит.

— А чудны́е эти, в зеленой машине, которые все спрашивали про Виктора Пассера, — Тео говорит. — Несколько минут назад вернулись. Не дали им увидеть Виктора Пассера. И они решили убраться восвояси, а у меня приказ — не выпускать. Не отпирать ворота до восьми, а уж там все, все абсолютно могут въезжать и ходить куда угодно.

— И куда ж они подевались, те, в зеленой машине?

— К дому вернулись, ждать.

— Знаешь, Тео, которая сидела рядом с водительским сиденьем, совсем на даму не похожа. Такое жесткое лицо. Как у мужчины.

— Не думай ты про это, Клара, душенька.

В гостиной делаются перестановки по случаю готовящейся свадьбы. Айрин и Элинор мечутся, отдают приказы, Пабло и Адриан двигают стулья и столы. Его преподобие с озадаченным видом бродит из угла в угол, осторожно обходя всех, лавируя между крошечными столиками, диванчиками, в рассеянном недоумении озирая миниатюрные портреты, изящный мелкий хлам.

— Я в самом деле убежден, — его преподобие вынимает из кармана свою газетную вырезку, — что барону Клопштоку следует попринимать эти пилюли.

— Ему уж не поможешь. — Адриан отступает, проверяя, точно ли пришлись один к другому сдвинутые столы. — Да, не судьба.

Кловис, войдя с расшитой скатертью в руках, аккуратно покрывает два длинных, Адрианом сдвинутых стола.

— Чем не алтарь, — говорит Кловис. Щелкает пальцами. — Большой канделябр из столовой! — кричит он. Айрин выскакивает из комнаты, Листер с налегшей на его руку Элоиз возникает в дверях прихожей в дальнем конце гостиной.

Его преподобие сует вырезку в карман.

Элинор говорит:

— Мы воспользуемся Книгой общих молитв, как это принято в англиканской церкви.

Его преподобие говорит:

— Я всегда сочетаю новобрачных по евангелической вальденсской форме[1], она весьма свободна.

— Элоиз! — Элинор раскатывает последний слог. — Ты какой веры?

— Никакой, — говорит Элоиз. Отпустив руку Листера, она входит из прихожей и плюхается в удобное кресло.

— В какой вы религии воспитывались? — спрашивает его преподобие.

— Ни в какой, — говорит Элоиз.

— Но где вы родились?

— В Лионе, — говорит Элоиз. — Но это так, случайно.

— Стало быть, в евангелической, — заключает его преподобие.

— Раз в этом доме — значит, будет Книга общих молитв, — говорит Элинор. — Вы что хотите? Чтоб она внебрачного ребенка родила? Мы не имеем возможности спорить тут всю ночь, ваше преподобие. Отец дал согласие, но он может передумать.

— Но позвольте же мне глянуть в эту английскую книгу, — говорит его преподобие. — В подобных случаях я имею право допускать некоторые исключения. Возможно, я упрощу английскую форму. Я по-английски, знаете ли, не очень хорошо читаю.

Элинор указывает на тощую книгу в кожаном переплете, в готовности лежащую среди фарфоровых безделок.

— Вот, — говорит она. — И упрощать тут ничего нельзя, это исключено.

Листер проходит в комнату, останавливается, поправляет в вазе цветы, чтоб выглядели поизысканней. Он говорит:

— Элинор, жених, я полагаю, принадлежит к англиканской церкви.

— Нет, они католики.

— Но он же ходил в английскую школу, в Винчестере.

— Нет, никогда он в школу не ходил. Не мог.

— Ходил неделю.

— Этого недостаточно.

— Элинор, — говорит Листер. — Разные мелкие отступления мы вполне сможем впоследствии уладить.

— И правильно, — говорит Элоиз. — Норка-то тяжелая.

1. Вальденсы — религиозное движение, начавшееся еще в XII в., названное по имени Вальда, купца, отказавшегося от всех своих богатств и призывавшего к евангельской простоте. Католическая церковь преследовала вальденсов, однако это движение оказалось весьма живучим и широко распространилось по Европе.

Айрин вносит большой канделябр узорного кованого серебра со вставленными в гнезда длинными белыми свечами. Помещает его на накрытый стол.

– Свечи пока не зажигаем. – Элинор воздевает взгляд к потолку: сверху слышны возня и вой. – Бог знает, что может случиться. Пожара нам не хватало.

– Ему сделан укол, – говорит Листер.

– Не подействовал пока, – объясняет Элоиз.

– Вернемся в маленькую комнатку, – говорит ей Листер. – Невесте полагается войти потом, потом она и войдет.

Возня наверху продолжается, сопровождаясь упорным стуком.

– Это ветер? Или это он? – спрашивает Элинор. – Или это ставни?

– И то и другое может быть, – важно вслушавшись, решает Пабло.

– Пойду-ка помогу, – и дюжий Адриан бросается вон из гостиной и вверх по лестнице.

Снова Элоиз стоит с Листером в дверях между прихожей и гостиной, откуда он отдает последние указания.

– Севрские вазы отодвинуть – убрать от греха подальше. Айрин, зачем такая короткая юбка, ты на церемонии.

Элоиз говорит:

– Айрин любит ноги показывать. А чего такого?

– Ей больше нечего показывать, – замечает Кловис.

– Идет! – шепчет Айрин.

Ветер свистит над домом, гремят отставшие ставни, снова собирается гроза. По лестнице тяжко спускаются шаги, и сопровождающие их звуки по мере приближенья все более напоминают рев трубящей сбор трубы.

Мистер Сэмюэл входит с фотоаппаратом. Следом входит мистер Макгир с магнитофоном, ставит его под углом к комнате, выключает лампу, высвободив розетку, включает свой аппарат. Пробует его, потом придвигает стул и, сложив руки, ждет.

Шаги и трубный рев все ниже низвергаются по лестнице, и Пабло ставит на патефон пластинку с довольным видом, хоть и без улыбки. Это новая обработка "Зеленых рукавов"[1], быстрый темп которой с первых тактов сулит нечто головокружительное, буйное.

– Не так громко, – просит его преподобие, но просьба не услышана в дверях прихожей, где Пабло поместил свой патефон рядом с Листером и Элоиз.

– Потише, – велит Листер.

Пабло приглушает звук.

– Мне это представляется не вполне уместным, но приходится мириться, – говорит его преподобие, а тем временем в гостиную входят Адриан и сестра Бартон, вместе ведя того, кто с чердака. Сразу видно, что пациент трубит и воет, выражая радость, а отнюдь не боль, ибо улыбка не сходит с его лица, большие глаза сияют от восторга.

Листер, поддерживая Элоиз, медленно выступает жениху навстречу.

– Ну и шуму от него, – говорит Элоиз.

– Понадобилось бы восемьдесят два инструмента для вашего свадебного марша, – говорит Листер, – иначе не услышать.

1. Популярная народная баллада времен королевы Елизаветы I.

Мгновенная вспышка молнии в окне и грохот грома как бы скрепляют эту мысль.

Восторженный идиотский взгляд сперва падает на Айрин. Жених испускает ликующее ржанье сквозь большие зубы, трясет волнистой белой гривой. Темно-красный вельветовый комбинезон от паха и до шеи застегнут на застежку-молнию. У шеи она закреплена крошечным замочком, очевидно позаимствованным для этой цели у одного из элегантных саквояжей баронессы Клопшток. Рядом, одной рукой с силой обхватив его за шею, другой вцепившись ему в плечо, стоит юная сиделка, от юности которой, впрочем, мало проку. Адриан, вопросительно подняв брови, тоже его держит.



— Мальчик мой, — говорит его преподобие тому, кто с чердака, стряхивающему санитаров с могучих плеч.

Другие слуги пятятся, Адриан следует их примеру. Элинор озирается на открытую дверь и отодвигается к ней поближе.

— Оживленный супруг, — замечает Листер. — Сестра Бартон, постарайтесь держать его покрепче. Это в его жизни волнующий момент.

— Это безобразие, — говорит юная сестра Бартон. — Он на мне хочет жениться.

В данный момент он, кажется, предпочитает Айрин и, высвободившись, накидывается на нее. Элоиз ворчит:

— Он не сочетаемовый. Он ни с кем не согласоваемый.

Жених поднят с Айрин, которая требует сигареточку, и предан, все еще резвясь, в крепкие руки Адриана и Пабло.

— Пусть это будет на что-нибудь похоже, — говорит мистер Сэмюэл, изготовя аппарат. Тотчас оба разевают рты, подражая хохоту жениха, и обступают его так тесно, что напряженные их мышцы спрятаны от взгляда, а видны только дружески подставленное плечо Адриана, поздравляющая рука Пабло у жениха в ладони. Бобины мистера Макгира бодро кружат в продолжение всей мизансцены.

— Подержите-ка его вот так, — говорит Листер, — еще минутку.

Но пленник уже заприметил невесту, высокую, розовую, пухлую, и, восторженными фанфарами выражая свое одобрение, мощно рвется к ней.

— Ваше преподобие, — говорит мисс Бартон. — Это нечестно. Ему сделан укол, а эти девушки просто нивелируют эффект. В своем нормальном состоянии он очень любит меня.

— Немножко групповой терапии, — разъясняет ей Листер, — вот что ему необходимо. Ведь бедняжка все время заперт наверху, с вами!

— Я в некотором затруднении, — говорит его преподобие, — мне необходимо знать, на ком он намеревается жениться. — Улыбаясь пленнику, он спрашивает: — Мальчик мой, которая из дам тебе больше по сердцу, если есть таковая?

Жениху удается ловко дернуться, и вот он торжествующе тянет за собой Адриана и Пабло в сторону Элоиз, которая сейчас прикуривает от сигареты Айрин. Не преминув бросить блаженный взгляд на Элинор, он, однако, продолжает уверенно продвигаться к Элоиз.

— Это Элоиз, тут нет сомненья, — заключает Листер.

Гроза колотит в стекла, по всему парку рассыпая звон. Музыка кончается, и жених, дернувшись и каркнув, любовно оглаживает замочек у себя на шее.

— Он раздеться хочет, — говорит сестра Бартон. — С ним бывает.

— Кто отец вашего ребенка? — отчаянно взывает его преподобие к Элоиз.

— Ну, — говорит Элоиз, садясь на стул. — Он ведь еще даже не родился. Четыре месяца осталось, с лишним. Пабло был занят, каждый вечер тогда помогал барону, Адриан в отпуске был. Мистер Сэмюэл и мистер Макгир тоже на барона работали, каждый по своей профессии. Значит...

— Барон? — не выдерживает его преподобие. — Вы мне только не рассказывайте, что якобы он ни разу не пытался воспользоваться своими droits de seigneur[1], потому что барон Клопшток был в юности известнейший, прошу прощения, ходок.

Листер говорит:

— Порнофил, и больше ничего. А от порнофилии дети не рождаются, ваше преподобие. По крайней мере, судя по моему опыту. Вот если бы баронесса по природе вещей могла стать отцом, она бы стала, но только не барон.

— Постойте-ка, — его преподобие оглядывает комнату. — Кто же тогда остается?

— Кто-то другой, — говорит Элоиз. — Давайте музыку поставим.

— Кто-то извне, — заключает его преподобие.

— Не думаете же вы, что кто-то из гостей на приеме, ваше преподобие?

— Ну, возможно, кто-то и в приватной обстановке.

— Элоиз все это время работала как вол, — говорит Листер, — была занята по горло. Секретари сгорали на работе, кузены не гостили. Вы же сами видели, что тогда произошло в июне месяце. Вы-то сами постоянно здесь гостили.

— То есть остается либо Кловис, либо этот бедный мальчик Клопшток, либо вы, Листер.

Листер что-то шепчет его преподобию.

— О! — его преподобие понял. — Ну хорошо, не Кловис. Значит, либо бедный мальчик, либо вы.

— Я по уши влюблен в Элинор, — говорит Листер. — С этим ее вечным молитвенником.

— Листер, — говорит Элинор.

— Элинор, — говорит Листер.

— Выходит, кто на чердаке, — говорит Элоиз. — Я жду.

— Это может быть только он или его преподобие, — говорит Листер.

— Тогда начнем, — решает его преподобие. — Передвиньте его — осторожно, осторожно. Он должен стоять рядом с невестой.

— Музыку, — требует Элоиз.

— Сестра Бартон, — кричит Пабло, — если вы не подойдете, не поможете, я не смогу поставить свадебную музыку для Элоиз.

— Какая жестокость, — сестра Бартон плачет, но не помогает, — отнять его у меня теперь, после всего, что я сделала.

Его преподобие бегло взглядывает на сестру Бартон и тотчас отводит глаза, кажется, не найдя ее привлекательной.

— Есть у вас протестантская Библия? — спрашивает он. — Если нет, мы обойдемся.

1. Правами сеньора (*франц.*).

— Английский молитвенник, — отвечает Элинор, но ее голос заглушен воем бури и громкими восторгами жениха, которого теперь вместе с Адрианом держит Кловис. Пациент, стоя рядом с Элоиз, по-видимому, ошеломлен и смотрит на нее, осклабясь всем лицом. Снова гремят "Зеленые рукава".

— Поздновато уже, — говорит Листер.

— Книга общих молитв, — выкрикивает Элинор.

— Как пастор я обладаю правом проводить законное венчание в этой стране по собственной моей упрощенной формуле, — говорит его преподобие, глянув на часы, потом на того, кто с чердака, и указывая на Элоиз. — Густав Энтони Клопшток, согласен ли ты назвать эту женщину своей законной женой?

Жених снова вырывается и кидается на Элоиз.

— "Да", это ясно, — говорит Пабло, вместе с другими помогая выручить невесту.

— Теперь пусть только кто-то скажет, будто он не был в здравом уме во время свадьбы, — говорит Листер. — Он отлично знает, что делает.

— В моем положении, — вздыхает Элоиз.

Вот чета опять поставлена, как надо, и его преподобие спрашивает у Элоиз:

— Как фамилия вашего отца?

— Клопшток, — отвечает Элоиз.

— Клопшток?

Вопль восторга вырывается у Клопштока с чердака.

— Свойство и родство! — вопит Элинор, перекрывая вой бури, музыку и ликованье жениха.

— Всего лишь совпаденье, — поясняет Листер, разводя руками, как дирижер, добивающийся от оркестра pianissimo. — Ее отец — простой Клопшток, лудильщик. Ничего общего с домом Клопштоков, в чьей резиденции мы пребываем и где несметные генералы, послы и блистательные их супруги вращались в обществе кардиналов и изгнанников Востока в ночь, когда отнюдь не тайно обручились барон и баронесса.

— Вы совершеннолетняя? — спрашивает его преподобие у Элоиз.

— Двадцать два годочка, — она чуть покачивается под все ускоряющуюся рок-музыку, потряхивая белой норкой.

— Да ей все двадцать три! — всхлипывает сестра Бартон.

— Стало быть, вы в брачном возрасте, — заключает его преподобие. — Элоиз Клопшток, — спрашивает он, — согласна ли ты назвать этого человека своим законным мужем?

— Даю мое согласие, — говорит Элоиз.

— Но у них нет колец, — его преподобие нервно озирается.

Листер немедленно предъявляет кольца.

— Он его сразу в рот потащит и проглотит, — рыдает сестра Бартон.

— Я его надену на палец жене, как доверенному лицу, — говорит Листер, тотчас надевая это кольцо на палец Элоиз.

— Объявляю вас мужем и женой. — Его преподобие кладет одну руку на плечо Элоиз, другую — на плечо новобрачного, который, вне себя от радости, снова увертывается и скачет в дальний угол комнаты. Не одна драгоценная ваза брякается об пол.

Мистер Макгир спешит защитить свои бобины. Мистер Сэмюэл говорит, щелкая фотоаппаратом:

— Дивно, дивно! Его улыбка похожа на восторг во весь рот, какой вам выдаст любая королева красоты в момент избранья.

— Совсем не стала б сравнивать, — говорит Элоиз.

Новобрачный бодр, силен, увертлив. Он с мясом вырывает молнию из красного вельвета и вытанцовывает из своего костюма. Затем, восторженно скача, не без трубных воплей и дальнейшего ущерба для убранства комнаты, он сдирает с жены манто, увлекает ее в угол и на нее падает.

Пабло бросается ей на выручку.

— Оставь его. Имеет полное право, — говорит Листер.

— На свадьбе права не имеет, — возражает его преподобие. — Что за манеры.

Сестра Бартон рыдает, ревет буря, Элоиз атлетически борется и наконец вырывается и убегает из зоны записи звука и зрительного ряда.

— Расческу дайте, — говорит она.

Кловис задувает свечи.

Мистер Сэмюэл замечает:

— Еще, конечно, серьезная понадобится обработка.

— В моем положении, — стонет Элоиз. — И я туфлю потеряла.

Новобрачного держат сестра Бартон, Адриан и Пабло. Элинор его прикрывает вышитой скатертью.

— Укусите его за палец, пусть угомонится, — велит Кловис сестре Бартон.

— Делал человек, что ему положено, — замечает Адриан.

Листер говорит:

— Короли и королевы прежних дней осуществляли брачные отношения свои прилюдно. На ложе о четырех столбах, под балдахином. Весь двор должен был стоять и наблюдать, как трясется балдахин, когда Мария, королева Скотов, вышла за французского дофина, в сравнении с которым наш друг с чердака — подлинный Эйнштейн. Итак, милая моя Элоиз, никто теперь не сможет оспаривать истинность твоего брачного союза на том основании, что отношения-де не были осуществлены прилюдно.

— Не были они осуществлены, — говорит Элоиз. — Едва не были.

— На взгляд наивного объектива, брак был осуществлен, — настаивает Листер. — Не так ли, мистер Сэмюэл?

— Да, — заверяет мистер Сэмюэл. Но никто не слушает. Листер протягивает его преподобию перо и два листка машинописи.

— Свидетельство о браке, — говорит он. — Не подпишете ли, ваше преподобие? Я расписался уже. На копии.

Его преподобие озирается, как бы не понимая, где он оказался.

— Подписать? — он бормочет. — Да-да, разумеется, я поставлю свою подпись. И счастливая чета должна тоже подписаться.

Всех осияв улыбкой, он вынимает очки, кладет этот листок бумаги на тонкий молитвенник Элинор и ставит свою подпись.

— Теперь молодой, — он говорит, — потом молодая.

— Укусите его за палец, — велит Кловис сестре Бартон, — или вы уволены.

Вся в слезах, она берет ликующего пациента за мизинец и кусает. Он начинает хихикать и потом еще долго никак не может перестать. Листер вкладывает в пальцы ему перо и, подняв листок вместе с твердой книжкой на удобный уровень, водит бессильной, весело-податливой рукой по отведенному месту, покуда там не вырисовывается "Густав Э. Клопшток".

— Энтони — слишком долго было бы, — объясняет Листер. — Никогда не знаешь, сколько продлится у него период просветления. Теперь ты, Элоиз.

Элоиз берет перо и расписывается над печатным адресом, на отведенном месте.

— Завтра оформим, — говорит Листер. — Уже без четверти семь. Время летит. Сестра Бартон, Пабло вам поможет. Приготовьте теплое питье — и сделайте укол.

— Мне надо домой, спать, — говорит его преподобие. — Куда я подевал свой мотоцикл? — он озирает разоренную гостиную.

— В такую непогоду, — говорит Листер, — вам никак нельзя катить в Женеву, ваше преподобие. У нас есть для вас постель. У нас всегда будет для вас постель. Элинор, проводи его преподобие к нему в комнату.

— Как это любезно, как это мило в подобных обстоятельствах, — говорит его преподобие. — Я хочу показать одну вырезку Сесилу Клопштоку.

— Барон велел не беспокоить.

— Доложите ему, что я хочу его видеть, когда он проснется.

## 5

— Не забудьте, — говорит Листер, — что, имея дело с богачами, журналисты более всего интересуются сплетнями прислуги. Популярные глянцевые журналы заменили людскую в современном обществе. Наше положение по своей выигрышности не имеет параллелей в истории. Карьера на стезе домашних услуг есть дело будущего. Личным секретарям знаменитостей тоже, впрочем, жаловаться грех. Дай-ка мне еще чашечку кофе, будь добра, Элинор. Скоро пора идти наверх, переодеваться.

Они сидят за большим столом, и завтрак, кажется, столь же быстро близится к концу, как он внезапно начался. Гроза, притихнув в непосредственной близости от дома, по-прежнему ярится над озером и над горами. То и дело слышен стук, молящие крики у двери черного хода. Никто не обращает на них внимания.

— Есть в этом доме виноград? — спрашивает Элоиз.

— Нет, ты все умяла, — отвечает Кловис.

— А вот и ошибаетесь, — говорит Айрин, — потому что я ей огромнейшие грозди из Женевы привезла. Они в буфетной. Один любовник преподнес, который стюардом летает на первом классе TWA[1].

— Айрин, какое сокровище потеряли в тебе Клопштоки в связи со своей кончиной! — говорит Листер.

Айрин скромно опускает взор в тарелку с остатками еды.

Кловис зевает, упирает локти в стол, подбородок в ладони.

— О, как я измучен, — говорит он. — Как хочется лечь, наконец, в постель.

Он встает, идет в буфетную и возвращается с подносом, на котором блюдо с крупным виноградом, миска, чтоб его обмакивать, и крошечные ножнички, чтоб его состригать с ветки. Все это он ставит перед Элоиз.

— Да здравствует баронесса! — провозглашает Кловис.

1. "Trans World Airlines" (*англ.*) — авиалинии, связывающие многие города США со странами Европы.

Элоиз оглаживает свой живот.

Мистер Сэмюэл идет к черному ходу. Слышно, как он говорит:

– Вам придется подождать. Виктор Пассера временно недоступен.

– Но мы потеряли ключи от машины! – взывает женский голос.

– Ну, поищите.

– Везде так сыро. Мы вымокли до нитки. Нельзя ли нам войти, позвонить в гараж, ну, я не знаю?

– К сожалению, посторонним вход воспрещен.

– Что же нам делать? Мы не можем попасть в машину, мы не можем попасть за ворота. Швейцар их не желает отпирать.

– Прогуляйтесь по парку, – рекомендует мистер Сэмюэл.

– Сыро. Мы снова попадем под ливень. Ужасное место.

– Вам следует, – советует мистер Сэмюэл, – впредь избегать ужасных мест.

Вернувшись в столовую для прислуги, он говорит:

– Любители. Где мой аппарат? Щелкнуть их, что ли, пару раз, да вставить в образовательный фильм, над которым я сейчас работаю? Вам, молодежи, не вредно будет ознакомиться с тем, как выглядит типичный заблудший представитель общества.

Берет аппарат, подходит к окну, нацеливается.

Листер, элегантно облаченный для дневной работы, стоит у открытой парадной двери, как угрюмый лавочник глядя в темное, грохочущее небо, меж тем как Тео катит по въездной аллее на велосипеде. Тео вопросительными жестами указывает на тыл дома.

– Нет, сюда, – говорит Листер.

Тео, трясясь, прислоняет велосипед к мокрой живой изгороди и продолжает путь пешком.

– Я тебя вызвал, Тео, чтоб сообщить о некоторых обстоятельствах, – говорит Листер. – Ты входи, входи.

По лестнице спускаются остальные, с признаками недосыпа в движениях и лицах. Слуги в утренних униформах. За ними следует мистер Сэмюэл в синем купальном халате по колено; на мистере Макгире – утренний халат в черно-белую полоску.

– Что происходит? – спрашивает мистер Сэмюэл.

Тео отвечает:

– Что-то необыкновенное всю ночь происходило.

– Нравится тебе твоя работа, Тео? – осведомляется Листер.

– Да, Листер.

– Прекрасно, и ты ее сохранишь. Только запомни: ничего необыкновенного не происходило, и, кстати, это соответствует действительности. Я хочу только довести до твоего сведения, что свет в библиотеке горит, как и с вечера горел, когда мы все пошли спать, получив указание не беспокоить барона и баронессу Клопшток с их гостем, и более того, сегодня с утра дверь заперта изнутри и там никто не отвечает.

– Что же случилось? – встревожен Тео. – Знаете, моей Кларе снились такие сны, жуть какие сны. А вы хорошо стучали?

Листер подходит к двери библиотеки, пробует ручку, дергает, трясет, кричит:

– Сэр! Мэм!

— Лучше взломать, — размышляет Тео, одного за другим оглядывая всех.

— Велено не беспокоить, — говорит Листер. — Мы вызовем полицию.

— Клара испугается, — вздыхает Тео.

— Скажи ей, пусть расскажет полиции про свои сны, пусть облегчит душу, — рекомендует Листер. — Чем больше она расскажет про свои сны, когда ее станут расспрашивать, тем лучше. Ведь, собственно, мы созданы из вещества того же, что ваши сны[1], во время этой бурной ночи.

— Тут парочка одна бродит всю ночь по парку, — говорит Тео, — приехали на машине, а мне их выпустить нельзя, вы не велели. Теперь вот ключи от машины потеряли, под деревом прячутся. На мой взгляд, подозрительная парочка.

— Забудем о них, — говорит мистер Сэмюэл, — они никто, статисты.

— Иди-ка лучше к Кларе, — говорит Листер. — Скоро восемь. Пора открыть ворота.

— Хорошо, Листер, — почти шепчет Тео, кинув взгляд в сторону библиотеки. Потом поспешно уходит в открытую дверь, садится на велосипед и пускается по въезду. Почти мгновенно он промокает, так как гроза с новой яростью обрушилась на имение Клопштоков. Тео отчаянно жмет на педали, однако, добравшись до поворота, он вынужден слезть с велосипеда и дальше ковылять пешком по темно-грозовой аллее, то и дело пробиваемой стрелами молний. Он проходит мимо купы вязов, под одним из которых, вжавшись в кору, прячется кочующая парочка. Тео, кренясь, шлепает по вихляющей аллее, у дверей сторожки швыряет оземь свой велосипед, согнувшись, одолевает путь до ворот, отпирает их, распахивает. Возвращается к сторожке, туда вваливается.

Молния тем временем, грянув в купу вязов так, что наповал, вмиг и без боли, убита корчившаяся под ними парочка, дальше, зигзагами, несется по лужку, озаряет пруд с кувшинками, розовый запустелый сад и, снявши ряд мгновенных фотографий, со всего размаху, как застежка, сексуальным маньяком выдернутая из одежды, плюхается в озеро Леман, но потом возвращается, сносит с дома крышу, причем оставляет невредимым взмокший телефонный кабель, за который так опасался связавшийся с Женевой Листер.

Вызвав полицию, дрожащим голосом порекомендовав прислать "скорую помощь" с докторами и санитарами, Листер звонит затем в укромную, удобную квартиру, предусмотрительно им снятую и гостеприимно предоставленную четырем журналистам, которые всю ночь не смыкали глаз, ожидая его звонка и дуясь в покер рядом с переполненными пепельницами.

— Четверо наших друзей, — наставляет он далее домочадцев, — должны иметь исключительное право на все, что вы сможете им сообщить. Естественно, только они получат скандальный эксклюзив, изготовленный мистером Сэмюэлом и мистером Макгиром в форме звуко- и видеозаписи. Телевидение, "Ассошиэйтед пресс" и разная мелкая сволочь местного масштаба, конечно, на вас набросятся с вопросами. Что

1. В переводе Мих. Донского эта строка из "Бури" Шекспира (IV, 1) звучит так: "Мы созданы из вещества того же, что наши сны".

ж, отвечайте им, пожалуйста, отвечайте, мелите что в голову взбредет, главное, чтоб они остались довольны. Правильно, Кловис?

– Да, все переговоры между нами, нашими четырьмя закадычными друзьями и Швейцарским банком, где содержатся наши многочисленные счета, должны быть доверены Листеру. Больше мы ни с кем дела не имеем. Пусть они останутся довольны, пожалуйста, – и это всё. Для телевидения – рыдайте, закрыв лицо руками, либо выражайте печальное неодобрение покойным нанимателям.

– Я спать хочу, – заявляет Элоиз.

– Я позабочусь о том, чтоб ты смогла уйти к себе, как только это станет возможно, Элоиз.

– Слушайся Листера, – говорит Элинор.

Далее Листер заказывает разговор с резиденцией графа Рудольфа Клопштока в Рио-де-Жанейро и сообщает остальным:

– На Бразилию задержка, да они и отстают на пять часов. Мы заполучим графа где-то между четырьмя и пятью дня по их времени. Но, в соответствии с природой человеческой, после телефонной связи новость распространится с достаточной быстротой.

– Брат должен знать, – заявляет Элинор.

– Про что – знать? – осведомляется Листер.

– Про брата.

– В настоящий момент, – чеканит Листер, – мы сами знаем только то, что дверь библиотеки заперта и барон, баронесса и их юный друг не отвечают ни на какие оклики и стуки. Мы с полным основанием встревожены, и это всё. Уже прибыли детективы. Группируйтесь в соответствии со своей встревоженностью.

Он открывает парадную дверь на вой сирен сквозь бурю. Две полицейские машины тормозят у подъезда, за ними "скорая помощь". Полицейский инспектор, полицейский детектив, двое в штатском, трое в полицейской форме, полицейский фотограф входят в холл. Команда "Скорой помощи" высаживается и тоже спешит укрыться от дождя.

– Вот эта дверь, инспектор, – Листер его ведет в сторону библиотеки.

Инспектор крутит ручку, трясет, колотит в дверь, прислушивается.

– Да это точно, что там кто-то есть?

– Мы опасаемся. Свет все еще горит, как с вечера горел. Барон велел их не беспокоить, – объясняет Листер. – Я уже заказал разговор с братом барона, что-то мне подсказало, что так нужно.

– Открывайте, – приказывает инспектор.

Двое дюжих полицейских взламывают дверь. Инспектор и его люди вваливаются в библиотеку. Листер следует за ними, остальные домочадцы топчутся на пороге. Щелкает фотоаппарат мистера Сэмюэла. У мистера Макгира на запястье болтается легонький диктофон. Тело баронессы распростерто на полу, возле окна. Тело Виктора Пассера скрючено у книжной полки. Труп барона лежит на круглом столе, недалеко от пальцев – пистолет.

Визжат женщины.

– Девушек уведите, – приказывает инспектор тому, кто в штатском. – На кухне их поместите, пусть поуспокоятся.

Кловис направляется к служебному крылу, инспектор же тем временем спрашивает у Листера:

— И всю ночь вы ничего не слыхали? Выстрелов? Или там криков? Стонов?

Ветер кружит над домом Клопштоков, хлопают ставни.

— Нет, инспектор, — отвечает Листер. — Ночь бурная была.

По въезду чередой ползут машины.

Доктор осмотрел тела, полиция сделала свои предварительные выводы, библиотеку осмотрели и сфотографировали. Изъяли записку барона о том, что он застрелил жену и секретаря, сейчас сам застрелится и просит никого не винить. Инспектор разрешил Листеру прочесть записку, но отказал в этом репортерам, которые сейчас толпятся в парадном холле и галдят ужасно.

Женщины выпущены из кухни, дав краткие, сбивчивые показания, и теперь присоединяются к остальным у порога библиотеки.

— Нет, я должна бросить последний взгляд, — заявляет Элинор. Элоиз скорбно смотрит в телевизионную камеру, которая спешит ее запечатлеть. Гул репортерских голосов еще нарастает, когда, одно за другим, на носилках выносят из библиотеки прикрытые тела.

— Вернемся, — Листер поворачивается к своей компании, — к нашим баронам.

Тела кладут в машину "скорой помощи". Полиция опечатывает парадные покои, прогнав репортеров под убывающий дождь, а слуг попросив разойтись по своим помещениям.

Доктор предлагает увести дам, помочь им, сделать, может быть, укол, но те мужественно отказываются.

— Жене швейцара, — советует инспектор, — той не мешало бы помочь немножко. Эту лучше б увести.

— Я бы и его увел, сэр, — рекомендует Листер.

Репортеры толкутся у черного хода.

— Инспектор, — говорит Листер. — Я сам с ними разберусь и быстренько их спроважу. Мы все потрясены. Если вам понадобится еще информация, мы к вашим услугам.

— Спасибо вам, да что ж, так будет очень даже хорошо, — говорит инспектор. — Парочку своих людей я оставляю для охраны дома. В библиотеку, наверх, никого не пускать, никого.

Элоиз говорит:

— Никто наверх и не сунется, будьте уверены. Наверху мой Матисс, мой Гойя. Не шутка, понимаете.

— Прошу прощенья? — недоумевает инспектор.

— Она переутомилась, — объясняет Листер и шепчет на ухо инспектору несколько слов.

— О как, — инспектор оглядывает Элоиз.

Листер шепчет еще несколько слов, пальцем указывая на потолок.

— Ух ты! Н-да, — инспектор поднимает взгляд. — Нам про него известно. Родственник баронессы.

— Нет, барона.

— Да ну? Дела. Несчастная семья.

Листер, понизив голос, добавляет еще одно сообщение.

— Ну-ну, раз он отец, вы все по справедливости решили, — заключает инспектор, торопясь присоединиться к своим людям в полицейской машине, которая ждет у черного хода. Пробравшись сквозь толпу, не отвечая на вопросы, он уезжает.

Очень скоро четверо преданных Листеру журналистов идут к своим машинам с портфелями под мышкой и отбывают тоже.

– Теперь насчет мелкой сволочи, – говорит Листер присным. – Элинор и Кловис часть публики берут на себя и ведут в гостиную. Мы с Элоиз проводим пресс-конференцию в буфетной. Адриан, Айрин могут провести круглый стол на кухне вместе с Пабло, олицетворяя точку зрения молодежи. Мистер Сэмюэл, мистер Макгир – вы можете курсировать.

Все располагаются соответственно его указаниям. Вспышки камер. Микрофоны перебрасываются из уст в уста, как раздаваемые оголодавшим паломникам горячие хот-доги.

Все голоса заглушает дикий вопль: это наверху приступает к завтраку молодожен.

Элинор говорит:

– Как конь – понес и мчится, без седока, неведомо куда.

Адриан говорит:

– Бегство педераста, – на что интервьюер, не расслышав из-за шума, отзывается:

– Бегство целой расы?

– Нет, – отвечает Адриан.

Листер рассказывает:

– ...и вот, значит, одно время, в юности, я был профессиональным клакером. Аплодировал самым знаменитейшим певцам в мире. Оплачивалось это прилично, но ведь и то сказать, аплодисменты требуют умения – это искусство, тут важно чувство времени...

– Чувство локтя... – говорит Элинор.

Адриан рассуждает:

– Смерть – уж такая штука, не протрезвишься, не проспишься...

Вклинивается голос Пабло:

– ...раскладывать по полочкам. Квадраты, кубы. Это развивает...

Элинор говорит:

– Как дети, играют на свадьбах и на похоронах. Я играла вам на свирели, и вы не плясали, я пела вам печальные песни, и вы не рыдали[1].

Поворотясь на стуле к вопрошателю у себя за спиной, Листер говорит:

– Он сам себе не стряпал, не утюжил собственных штанов. Так с какой же радости он стал бы сам, извините за выражение, вступать в сношенья с собственной женой?

Кловис говорит:

– ...нет, не на машинке, так весь дом перебудишь, верно? То, что я называю полночным трудом литературы, творится только от руки. Это искусство. Да, о нет, спасибо, относительно публикации у меня другие планы.

Айрин говорит:

– Нет, по-моему, это его вполне устраивало, пока она не стала из себя корчить леди Чаттерли... Викторианский такой роман, не знаете?[2] В общем-то, конечно, она вполне типичная была, когда дошло дело до Виктора.

1. Довольно творческое цитирование Евангелия. См.: Евангелие от Матфея. 11, 17: "Мы играли..." и т. д.

2. Имеется в виду отнюдь не викторианский роман Д. Г. Лоуренса "Любовник леди Чаттерли".

Слышно, как Листер цитирует:

– "Ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня; и чего я боялся, то и пришло ко мне. Нет мне мира, нет покоя, нет отрады"[1].

Элинор говорит:

– Нет. С ее стороны из живых родственников никого.

Пабло говорит:

– Фантазии и бред на почве подавленного секса.

Кловис говорит:

– Ведут свой род от крестоносцев.

– ...как боевой конь, – говорит Листер, – из книги Иова: "При трубном звуке он издает голос: 'Гу! гу!' – и издалека чует битву, громкие голоса вождей и крик..."[2]

– ... редко когда увидишь, – говорит Элинор. – Одет в комбинезон, с застежкой-молнией, вдобавок на замочке. Застежки-молнии изобрела Швейцария...

– Вот именно, – говорит Пабло. – Если дружбу закладываешь, под проценты...

Его преподобие меж тем спустился к завтраку и, потрясенный, стоит в дверях гостиной, где проводят свою многолюдную пресс-конференцию Элинор и Кловис. В руке у него вырезка.

– Ваше преподобие! – кричит, пробиваясь к нему, Элинор.

– Там, на площадке, какой-то господин возле моей комнаты. Погнал меня вниз по черному ходу. Где Сесил Клопшток? Мне надо ему это показать.

Элинор оттирают от его преподобия, вместо нее вырастают сразу пять репортеров.

– Ваше преподобие, не можете ли вы развить свои показания относительно таблеток антисекс? Случалось ли барону...?

Элинор, уже сама снова тесно окруженная, говорит:

– ...кипит, бурлит, как стиральная машина на полной мощности.

Листер, рядом, обращается к другому микрофону.

– Кровь древняя, – он говорит, – и предков трон –

Лишь мнимость, тень, не боле;
И нет доспехов, нет препон
От смерти грозной воли.
И не уйти нам от молвы,
И не сносить нам головы.
Все минет – и мечта и быль,
И меч и шлем – все рухнет в пыль[3].

– Ой, пожалуйста, вот это, последнее, не повторите ли, сэр? – слышен голос репортера. Кловис через тесную толпу пробивается к Листеру.

– Звонили из Бразилии, – он говорит. – Дворецкий не хочет звать графа Клопштока к телефону. Отказывается наотрез. Мол, граф заперся в кабинете кое с кем из друзей и велел ни под каким видом не беспокоить.

1. Книга Иова. 3, 25-26.
2. Книга Иова. 39, 25.
3. Из стихотворения Джеймса Ширли (1596–1666) "Спор Аякса с Одиссеем".

— Передай этому дворецкому, что у нас печальные новости и мы несмотря ни на что надеемся связаться с графом, когда рассвет взойдет над Рио.

Адриан говорит:

— Когда у брата был цветочный магазин на Пьяцца дель Пополо, а у сестры тут же, рядышком, газетный киоск... Да, не соскучишься, веселый уголок.

Его преподобие, хоть и дрожа, ест завтрак в постели. Гроза прошла, и солнце уже сияет на сырых кустах, просторной зелени лужков, в промокшем розовом саду. Репортеры с камерами, микрофонами понемногу разошлись. Листер оглядывает разбросанные по полу окурки. Кловис распахивает кухонное окно. Знакомый вой несется с чердака.

По въезду приближается машина.

— Довольно, — говорит Листер. — Всех гнать взашей.

— Это принц Евгений, — объясняет Элинор, — пошел к парадному.

— Ничего. На черный ход отправят. — Листер ногой запихивает под буфет несколько окурков. — Спать, спать, спать.

Скрип шагов все ближе к тылу дома, и вот уже лицо принца Евгения верхней своей частью является в распахнутом окне.

— Все ушли? — спрашивает он.

— У нас мертвый час, ваше превосходительство.

— Я высочество.

— Чем можем служить, ваше высочество? — спрашивает Элинор.

— На одно слово. Впустите меня.

— Впустите его высочество, — приказывает Листер.

Принц Евгений входит робко. Он говорит:

— Соседи все утро выезжали на дорогу. Им не хватало мужества сюда приехать. Адмирал Милигер, барон де Вентадур, миссис Дикс Сильвер, Эмиль де Вега и прочие. Как-никак я первый. Могу я с вами переговорить, Листер, любезнейший?

— Пройдемте в кабинет. — Листер ведет его в буфетную. Аппарат мистера Сэмюэла незаметно щелкает. На всякий случай.

Принц Евгений садится на указанный Листером стул.

— Не хочет ли кто-нибудь из вас перейти ко мне? Вы это не обдумывали? Очень недурные условия. Могу предложить...

— В данный момент, — говорит Листер, — нам хочется спать, и лучше нас не беспокоить.

— О, да-да, конечно. — Принц встает со стула. — Просто мне важно было сюда успеть раньше других.

— Вполне понятно. — Листер тоже встает. — Но у нас, собственно, другие планы.

— А мисс Бартон? Не готова ли она подумать о некоторых необременительных домашних обязанностях? Ведь бедный юноша, конечно, не будет и далее здесь жить?

— Мисс Бартон по-прежнему нам будет нужна. Элоиз желает, чтобы она осталась. Элоиз была горничной, но сегодня рано поутру она вышла замуж за нового барона.

— Да что вы говорите? Поженились.

Листер шепчет ему на ухо.

— О! Да-да. Понимаю. Но как-то уж очень скоропалительно, нет?

— Они теперь могут жениться, не жениться, как хотят, такая эпоха, сэр. Времена меняются. Возьмите, скажем, Айрин.

— Это которая же Айрин?

— Очаровательная. Самая прелестная. И стряпает притом отлично.

— Могу ей предложить очень хорошее жалованье.

— В нашу эпоху, сэр, — говорит Листер, — они требуют большего, — он снова что-то шепчет на ухо принцу.

— Я не из тех, кто женится, — едва слышно признается принц.

— Это лучшее, что я могу предложить, ваше высочество. Ей-то и так хорошо, с этим выходным в аэропорту.

— Ну, я пойду, — говорит принц.

— Спасибо, что заглянули, сэр.

Листер ведет принца к черному ходу, у самого порога принц мешкает, мнется и говорит:

— Но вы уверены, что иначе с Айрин невозможно будет договориться?

— Уверен. У меня на примете и другие. Кое-кто за честь почтет сидеть с ней за одним столом. С такой молодой хозяюшкой при многих дарованьях. Маркиз де...

— Хорошо, хорошо, Листер. Уладьте как можно скорее все детали. Других предложений не принимайте.

Принц снова шлепает вдоль дома, садится в свою машину, и вот уж видно, как его увозят, ссутуленного на заднем сиденье в глубокой задумчивости.

Некто в штатском, в холле, спит на стуле, ожидая сменщика, как и некто, тоже в штатском, выше этажом. Домочадцы карабкаются по черной лестнице к себе, чтобы улечься спать. Скоро их накроет глубокий сон после праведного всенощного бденья, и будет, весело смеясь, играть на стенах дома полуденное солнце.

# Тадеуш Боровский

## *Стихи*

*Перевод с польского и вступление* Анатолия Гелескула

**Испепеленный гневом**

Известность и признание Тадеушу Боровскому принесли сборники рассказов "Прощание с Марией" и "Каменный мир". Эти небольшие сборники — одна из самых незабываемых и мучительных книг XX века. И в общем не удивительно, что проза Боровского заслонила, оставив в тени, его стихи; к тому же большинство их, написанных в подполье и в лагерях смерти, не уцелело. Между тем Тадеуш Боровский начинал как поэт и умер поэтом. Нобелевский лауреат Чеслав Милош вспоминал, как в 1942 году двадцатилетний студент подпольного варшавского университета передал ему, уже признанному поэту, свой тоненький сборник, кое-как отпечатанный на гектографе: "Когда я, с трудом отлепив пальцы от клейкой обложки, заглянул внутрь, я сразу же убедился, что имею дело с подлинным поэтом. Но чтение его не было занятием радостным". Что ж, подлинное не всегда радует, скорее наоборот.

Тадеуш Боровский родился в 1922 году в Житомире, и детство на разоренной войнами Украине было нерадостным. Родителей сослали на Крайний Север, и лишь через десять лет отец с двумя сыновьями, ютившимися у дальних родичей, а годом позже — мать, выбрались в Польшу. Родители, фабричный рабочий и швея, устроили сына в варшавскую гимназию, но кончать ее пришлось подпольно — оккупанты польские школы запретили. Дом сгорел при бомбежке, семья разбрелась, и Тадеуш, поступив в подпольный университет, изучал полонистику и работал кладовщиком на складе стройматериалов, где и жил. Варшава не располагала к уюту, и у него на складе собирались друзья и сокурсники, спорили, читали стихи, свои и чужие, но больше свои, дружили, влюблялись — словом, брали от своей нищей и оскорбленной молодости что могли. В отличие от большинства сверстников Боровский тогда не мечтал об оружии и партизанских рейдах, смысл сопротивления он видел в сохранении культурных и духовных ценно-

© Анатолий Гелескул. Перевод, вступление, 2008

стей и в передышках между работой читал, думал и писал стихи. У себя в сторожке он отпечатал на гектографе, который прятал там же, под дощатым топчаном, свой первый сборник "Везде, где земля".

Сорок третий год стал для Варшавы годом массовых облав и казней. И случилась беда. Внезапно и бесследно исчезла невеста Тадеуша. Он бросился на поиски и на одной из конспиративных квартир попал в засаду. Так начался для него лагерный путь по кругам ада. Круг первый — Биркенау — остался в его памяти как самый страшный. А летом сорок четвертого, когда линия фронта подошла к Висле, уцелевших узников, заметая следы, стали спешно переправлять в глубь Германии. В августе Боровского из Освенцима этапируют в Дахау. Домой он вернулся лишь год спустя после освобождения — полгода провел в американском лагере для перемещенных лиц на окраине Мюнхена и еще полгода проработал в мюнхенском отделе Польского Красного Креста. Там он и написал свои первые рассказы.

Проза Боровского вызвала бурные отклики, в том числе и возмущенные. Он писал не о героях и не о палачах. С палачами все было ясно — они представляли интерес для трибуналов или психиатров, а не для него. Он писал о результатах их методичной целенаправленной работы.

Еще в начале века испанский философ Ортега-и-Гассет сказал: "Тигр не может 'растигриться', а человек расчеловечиться может и даже без особых на то причин". Этим свойством человека пользовались издревле, создавая "особые причины" расчетливо и хладнокровно. Нацисты с дотошным усердием и хладнокровием рептилий поставили дело расчеловечивания на индустриальный лад. Боровский убеждался воочию, что лагерный механизм дьявольски прост и предназначен делать естественное противоестественным: волю к жизни — подспорьем смерти, инстинкт самосохранения — саморазрушением. И нелегко было сознавать, как уязвима природа человека и как ненадежна вера в превосходство духа над животным началом. В рассказах Боровского повседневный ужас лагерей смерти дан таким, каким он воспринимается притупленным сознанием бывалого, ко всему притерпевшегося лагерника, вынужденного — поскольку вынудили — жить по неписаному закону "умри сегодня, а я завтра". Рассказ ведется от первого лица, и рассказчику — студенту Тадеку, пообвыкшему и искушенному по части выживания, — Боровский придал собственные автобиографические черты. Чем воспользовалась критика, напрямую обвинив автора, что о человеке он судит по себе. Понятно, что Тадек — не автопортрет, а то, что в поэзии не слишком удачно называют лирическим героем. Сам Боровский в лагере вел себя иначе и, по свидетельствам товарищей по судьбе, с завидным мужеством. Мало того, он продолжал писать стихи; удивительно, но в большинстве своем это лирика. И стихи его находили отклик. Его "Песенка любви и тоски" может показаться довольно традиционным любовным стихотворением. С той разницей, что песенка стала лагерной и на Рождество ее пели в польских бараках Освенцима. А в это время в Варшаве друзья составили и отпечатали второй сборник его стихов. Но эту тоненькую подборку автор вряд ли увидел — единственный уцелевший экземпляр был найден после его смерти.

Плеяду молодых поэтов, сверстников и друзей Боровского, позже назвали "поколением двадцатилетних". Немногие из них перешагнули этот возрастной рубеж. Боровский выжил и заплатил за это пожизненным чувством вины и неисполненного долга. Чтобы жить, нужна была надежда. Он считал, что, несмотря на победу союзников в войне, западная цивилизация, допустившая то, что довелось ему видеть, потерпела крах. Старый мир никуда не годился, требовалось полное переустройство. В 1948 году Боровский вступает в Польскую рабочую партию, правящую и, в сущности, единственную, и становится партийным пропагандистом, целиком перейдя на публицистику.

Его выбор подвергся жестоким испытаниям. Послевоенный мир снова раскололся, а на Восточную Европу надвигался ледниковый период — громкие расстрельные процессы, охота за бывшими участниками Сопротивления, холодная война и железный занавес. Боровский опубликовал свои рассказы в 1948 году, годом позже они вряд ли бы увидели свет. В культуре утверждался кондовый соцреализм с его установками и оргвыводами. В декабре 1950 года состоялся пленум правления Союза польских литераторов, где козлами отпущения стали поэт Галчинский и Боровский. На призыв с высокой трибуны свернуть шею канарейке, угнездившейся в его стихах, Галчинский отреагировал по-своему: "Свернуть шею нетрудно, да что останется? Пустая клетка?" Но плетью обуха не перешибешь. Через неделю в газете появилось покаянное письмо Галчинского и в том же номере — Боровского. Но Боровскому решиться на это было труднее и обошлось дорого.

Чеслав Милош, вообще крайне недоброжелательный ко всем, кто связал свою судьбу с новой послевоенной Польшей — а Боровский связал ее безоговорочно, — все же нашел для него, и, кажется, единственного, если не оправдание, то объяснение: "Он взял на себя ответственность. Его талант, его ум и пыл толкали его к действию — тогда как люди заурядные, ни горячие, ни холодные, лавировали". Но они-то и правили бал, а талант и ум были незваными гостями на чужом пиру. В июле 1951 года, когда Милош в своем парижском далеке писал вышеупомянутые строки, в варшавской квартирке Тадеуш Боровский покончил с собой. Ему не было и тридцати.

Его последнее в жизни стихотворение (по-есенински обращенное к другу) кончалось словами:

Не в силах жизнь менять тюрьму
на иго.
Я на ночь в руки смерть возьму,
как книгу.

Гибель Боровского породила разнотолки и недоумение (вспоминается простодушный отклик Демьяна Бедного на смерть Маяковского: "Не понимаю, чего ему не хватало!"). Красноречивая деталь — позже друзья вспоминали, что в последнее время Боровский не раз заводил речь о Маяковском и его самоубийстве. Вряд ли он знал жестокие в своей безошибочности слова Цветаевой, что в Маяковском человек убивал поэта, пока поэт не встал и не убил человека.

## *Колядка*

В яслях на мерзлом сене?
Кроху колотит дрожью?
Да прекратите пенье,
гимны во славу божью!

Ртом отогрев ручонки,
чтоб не простыть мальчонке,
запеленайте туже,
сеном укрыв от стужи.

Ангелы, где вас носит?
Что там волхвы гундосят?
Мирры взамен и злата
дали бы шоколада.

Хватит вокруг толпиться,
пусть отдохнет ребенок,
пусть себе отоспится
и наберет силенок,

чтоб дотянуться мог он
до материнской груди.
Прежде чем станет богом,
пусть поживет как люди.

***

Я знаю, что жизнь однократна,
что время — бездонная бездна,
и все, что любил, — безвозвратно,
и все, что свершил, — бесполезно.

Отыскивать вечность напрасно
по зыбкому следу в пустыне,
где губит песок ежечасно
людские труды и святыни.

И все-таки счастье возможно,
и правда нужна как порука
для жизни простой и надежной,
как рукопожатие друга.

## *Прощание со* Скарышевской[1]

Честная улица, ты без личины,
громкоголосая, жесткая нравом,
в буйство поэзии и матерщины
льешься слезами по сточным канавам.

Жаркими днями в толкучке и гаме
гонишь течение в глубь вековую,
а по ночам населяешь тенями
и подметаешь луной мостовую.

1. Улица в Варшаве, где Боровский в первые годы оккупации работал кладовщиком на лесоскладе. (*Прим. перев.*)

Ты, моя улица, стала родною,
с каждой своей подворотней сдружила,
и босяки твои свыклись со мною,
и примелькались твои старожилы.

Ушлый лотошник. Бездомный в кювете
спит, убаюкан печалью и водкой.
И полицейские, сукины дети,
ходят вразвалочку, шаткой походкой.

Бедная улица, спазмами плачей,
комьями в горле саднят твои камни.
Ты все равно тем милей, чем невзрачней,
и лишь такой, признаюсь, дорога мне.

Здесь я познал лихорадку бессонных,
первую девушку, первую пьянку,
здесь подглядел я, как в утренних кронах
звезды гнездо себе вьют спозаранку.

Клуб анархистов горланил в подвале,
в сумерках возчики цокали звонко,
Петр и Аркадий в кустах ночевали,
Стась в забегаловке дул самогонку.

Свадебку Ежи и Зося справляли,
у новобрачных ни ложа, ни крова.
Милая улица! Здесь вытворяли
много чего, молодого, хмельного...

Жизнь мою смыло дождем-листобоем,
дни потонули в расплесканной мути.
Где нам еще доведется обоим
снова сойтись, на каком перепутье?

Улица гнева и обнищанья,
судорог плача и жалобной дрожи,
я ухожу. Это наше прощанье,
наше с тобой — и с поэзией тоже.

## *Ночь над* Биркенау

И снова ночь. Застыла шлаком.
И небо вороном чернеет.
Как труп, за лагерным бараком
синюшный месяц коченеет.

И Орион — как после сечи
помятый щит в пыли и соре.
Ворчат моторы. Искры мечет
кровавым оком крематорий.

Смесь пота, сырости и гноя
вдыхаю. В горле привкус гари.
Как лапой, душит тишиною
трехмиллионный колумбарий.

Ночь без рассвета. Все затмило.
И дело близится к финалу.
Как божий суд над мертвым миром,
вершится ночь над Биркенау.

## Нареченной

Дощатое небо. Сырой горизонт бетонный.
А в купах берез, за колючкой, за лагерным пеклом,
печалится иволга, ветер баюкает кроны
и пудрит листву голубым человеческим пеплом.

Роскошное лето. Как будто расцвел в хороводе
рой ситцевых юбок — так вечер лазорев и розов,
и тянутся дикие гуси с болотных угодий
в целебный, на травах настоенный воздух покосов.

И мир нараспашку. И лес за скелетами вышек,
а в синем лесу земляники пунцовая свежесть,
и даль в серебристых садах, в апельсиновых крышах,
как детский рисунок. Улыбчивость и безмятежность.

Любовь! Без нее нас бы не было вовсе на свете,
как ветки река, нас несет она, неосторожных.
Мы дети, мы в темном лесу заплутавшие дети
из маминой сказки с избушкой на курьих ножках.

Но чем же он, чем обернется наш страх человечий?
Глядим молчаливо на зарево ночи трескучей,
и кровь холодеет, зато разрумянились печи,
и штабелем люди горят, как смолистые сучья.

Вагоны, фургоны — к воротам и камере с газом.
За порцию воздуха золотом платят конвою.
Вот так удобряем легенду. Поверить рассказам
потомки не смогут и только качнут головою.

Набиты бараки, и день ото дня все туже,
сырым человеческим мясом, сырьем для топки,
всем поровну страх и надежда, жара или стужа,
и слаженно руки трясутся над миской похлебки.

В людское величие вера еще не погибла,
и мифом, как птица полетом, себя успокоив,
в глазах человека ищу подтверждение гимна,
но есть лишь земля и лопата да миска помоев.

Есть только тела и летучего пепла сугробы,
и небо, готовое хлынуть в пустые орбиты.
Нас порознь согнали, со всех уголков Европы,
и порознь уходим — в глубь леса, в землю убитых.

Осталось лишь тело. И тело, словно чужое,
уже ко всему бесчувственно, кроме боли.
А что же с подбитой птицей — моей душою?
Слабея — зовет на помощь, а рухнув — молит.

Сыпняк и гангрена, и огненные всполохи,
и пепел — ничьи останки — смывают ветра сырые.
Таков он, наш эпос, трагический крах эпохи.
Лицо закрываю молча. Вот так и живу, Мария.

## *Песенка любви и тоски*

Давно облетела с голых ветвей листва.
Тоска к тебе гонит и шепчет, что ты жива.
Но мир жесток, рогатками обнесен
и должен меня уверить, что ты лишь сон.

В краю расставаний, в развилках его дорог
я мог умереть, но тебя позабыть не мог.
Любовь и разлука осенним цветам сродни,
и рвется сердце, как птица из западни.

Смотрю на снег, сегодня он чист и тих,
глаза твои вижу и слезы в глазах твоих,
и лунную гладь дороги, и нас на ней.
Сильна как смерть любовь, но моя сильней.

## *Земля мертвых*

Как далеко и дико! Чутки глаза бродяжьи,
молча гляди, как тонет мир в зазеркальях окон,
как там озера тают, как вырастают кряжи,
как облака клубятся, в небе парят высоком.

Не задавай вопросов, испепеленный гневом,
скрытны дороги, немы и не дадут ответов.
Мимо плывут деревья, сосны граничат с небом.
Птицы, за чьим полетом жадно следите с веток?

Не за моим... Молотит дождь молодое жито.
Раны твои и шрамы стали, земля родная,
болью моей, и тело бито и перебито,
все еще как чужое, чье-то, а чье — не знаю.

Замкнуты горизонтом земли, где я нездешний,
а за горами где-то, там далеко-далече
кто я? Горят березы, тают в огне скворешни,
губы щекочет пепел, птичий и человечий.

Все еще крик не замер. Едко печет суглинок.
Дальше, как можно дальше, лишь бы захорониться...
Волны речной прохлады, шелестов тополиных
и отголосков птичьих льются в мои глазницы.

Все еще грудь немеет от заскорузлой корки,
вросшего в тело пепла, тронь этот сгусток пыли —
брызнут ошметки бедер, спекшихся слез осколки.
Вспомни меня и вырой, в братской найдя могиле.

Все еще в путах руки. Зорко, как взгляд конвоя,
тускло, как бельма трупа, небо в его зените.
Люди, земля оценит ваше тепло живое —
пепел с нее сгребая, в ней и похороните.

В диком, слепом потоке дней и ночей бессонных
вгрузли скелеты в землю, сгнили кресты снаружи,
и лишь во мне, как в яме, стынут тела казненных,
и сквозь меня живые сходят все глубже, глубже...

***

Ты знаешь ли город, когда-то залитый светом,
где роза камеей стыла на склоне лета,
а встретив глаза девичьи, гадали вслед им,
цветок это, девушка или же вспышка света?

Ты знаешь ли город, который стеклянной башней
лучился в небо из мрака болот и яров?
Тот город, который минул как сон вчерашний,
и нет ни его брусчатки, ни тротуаров.

А тот, погребальным дымом затмивший Трою,
ты знаешь ли? Поработала смерть на славу,

и вскрытые вены улиц сочатся кровью...
О господи боже, знаешь ли ты Варшаву?

Спроси, поминая кости ее воронок,
где каждый камень слезами и кровью полит
и все-таки, словно голос девичий, звонок,
спроси тогда — а тебя-то Варшава помнит?

Сухая ветвь в отрыве от тополиных,
обрубок за воротами скотобоен,
не дрался я на святых, на твоих руинах
и знаю, что уж не буду тебя достоин.

Но ты как тело мое, тобою жив я,
тобою глаза слезятся и бредят губы.
И что с того, что горы вокруг чужие
и комья чужих развалин гниют, как трупы?

А что же потом? Найду ли я путь обратно,
делиться судьбой и славой утратив право?
О как же непоправимо ты невозвратна,
моя утрата, Варшава моя, Варшава!

## *Моление о вере*

Гордый воинской силой
бог походов и сечи,
отзовись самой сирой
из молитв человечьих.

Грудь невольничьим плачем
не твоим ли томилась.
Сделай вновь меня зрячим,
чтобы жизнь полюбилась.

Бог простого солдата
грудью к вражьему танку,
верить просто и свято
помоги мне, подранку.

Бог полегших рядами
на варшавской брусчатке,
прояви состраданье
к избежавшему схватки.

Бог чумного барака,
в ожиданье тоскливом
от душевного краха
удержи над обрывом.

Не тебя ли со мною
гнал прикладом конвойный.
Не зачти мне виною
грех невольный и вольный.

Взяв, как птенчика в пуще,
душу еле живую,
дай мне, истинно сущий,
знать, что я существую...

***

В Мюнхене пахнут липы —
и до того знакомо,
и до того тоскливы
сны вдалеке от дома.

Лишь зашумит пшеница
или воды протоки,
снова твой голос снится,
голос такой далекий.

И косяком гусиным
тянутся тучи в горы,
словно к родным осинам
катит вагоны скорый.

Облачного вокзала
зал ожиданья гулкий.
"Долго же ты..." — сказала,
словно иду с прогулки.

Дом наш, такой же самый,
брошенный блудным сыном.
Хвастаю: — Знаешь, мама,
я оказался сильным.

Даже не похвалила?
Горько лишь усмехнулась:
— Знал бы, как я молила,
чтобы дите вернулось.

***

Друзья мои прожили бестолково
и за бесценок
приобретали заместо крова
сырой застенок.

Друзья мои правил не признавали
умом незрелым.
Глаза завязывать не давали
перед расстрелом.

И всем друзьям моим окаянным
не пофартило.
Не знаю, где поросла бурьяном
и чья могила.

Друзья мои, ни креста над вами.
Не ставят свечи.
Смахну слезу, помяну словами.
А больше — нечем.

## Буколика

С клеймами на запястьях,
мечены трупной сажей,
вышли на волю люди
в зелень земных пейзажей.

Вышли все те, кто выжил,
чтобы в траве медвяной
выскрести пепел мертвых,
сирый и безымянный.

Вышли, расправив плечи,
в марево летней дали
и, позабыв про пепел,
просто цветов набрали.

# Элиас Канетти

*Нобелевская премия 1981 года*

# *Факел в ухе*

## Фрагменты автобиографии[1]

*Перевод с немецкого и вступление* Анны Шибаровой

В 1964 году, незадолго до шестидесятилетия, Элиас Канетти записывает в дневник: "Как во хмельном угаре, я твержу себе, что доживу до возраста Софокла, до девяноста лет, и что главные вещи мне предстоит написать в ближайшие годы". В недавно вышедшей монографии о жизни Канетти биограф Свен Ханушек замечает: "Насчет 'главных вещей' можно было бы и поспорить — все-таки 'Ослепление' и 'Масса и власть' на тот момент уже созданы. Но сочинения, которые принесут Канетти громкую славу, ему и в самом деле еще предстояли; и до возраста Софокла он не дожил совсем немного"[2].

Большие тиражи, почтительное внимание крупнейших издательств, престижные литературные премии и, наконец, возможность прокормиться литературным трудом — все это пришло к Канетти лишь на седьмом десятке. До этого писателя

© by Elias Canetti 1980
by the heirs of Elias Canetti, 1994
Published by kind permission of Carl Hanser Verlag Munchen Wien
© by Elias Canetti 1977
by the heirs of Elias Canetti, 1994
Published by kind permission of Carl Hanser Verlag Munchen Wien
© Анна Шибарова. Перевод, вступление, 2008
Переводчик выражает самую искреннюю признательность Европейской переводческой коллегии в Штралене (Германия) и Дому переводчиков в Лоорене (Швейцария) за содействие и поддержку.

1. Имеется в виду автобиографическая трилогия Элиаса Канетти, куда входят книги: "Спасенный язык. История одного детства" (1977), "Факел в ухе. История жизни 1921–1931" (1980) и "Перемигивание" (1985). Целиком первая книга трилогии выйдет в издательстве "Иностранка".
2. Sven Hanuschek. Elias Canetti. – München–Wien: Carl Hanser Verlag, 2005, S. 479.

если где и знали, то разве что в Англии: эмигрировав после аншлюса из Вены в Лондон, он в начале 50-х принял британское подданство и надолго обосновался на новой родине. Более тридцати лет Канетти, не торопя свою славу, работал над сочинением "Масса и власть". И только с начала 60-х — когда книга наконец-то увидела свет, а прочно забытый роман "Ослепление" с успехом переиздали в Германии, — только тогда о писателе вспомнили в немецкоязычных странах.

Закончив свой фундаментальный труд, он временно переключился на малые формы: из-под его пера выходят многочисленные эссе, небольшая книга путевых очерков "Голоса Марракеша" (1968), гротескные зарисовки человеческих типов "Недреманное ухо. Пятьдесят характеров" (1974) и целое море дневниковых заметок, записок и выписок. Единственным завершенным большим проектом стала история собственной жизни до эмиграции. К началу 70-х Канетти остро почувствовал необходимость "освободиться" от воспоминаний — без этого невозможны новые произведения: "Может быть, у меня получится сделать это очень *быстро* и расчистить тем самым дорогу для нового". Вероятно, свою роль тут сыграли и личные обстоятельства: на склоне лет у писателя родилась дочь. Как бы то ни было, вслед за дочерью родилась и книга детских воспоминаний "Спасенный язык" (1977), а затем продолжение — "Факел в ухе" (1980) и "Перемигивание" (1985). Мемуары эти — в особенности первые две книги — и принесли Канетти шумную славу, открыли его для широкой аудитории. В частном письме по поводу грандиозного успеха книги "Спасенный язык", ставшей бестселлером, он признается: "К моему стыду, эта вещь <...> превратила меня в *популярного писателя*. — Но спешит уточнить: — А все-таки книга — хорошая!" Вскоре после выхода первых двух книг, в 1981-м, Элиас Канетти получил свою последнюю и главную премию — Нобелевскую премию по литературе.

В русском переводе несколько глав из трилогии печатались в сборнике "Элиас Канетти. Человек нашего столетия. Художественная публицистика" (сост. Н. С. Павлова. — М.: Прогресс, 1990). Нынешняя подборка знакомит читателя с фрагментами первых двух книг, не вошедшими в этот сборник, но важными для понимания жизни и творческой биографии их создателя.

"Спасенный язык" повествует о детстве и отрочестве; "Факел в ухе" — о юности, пришедшейся на 20-е годы. Родился Элиас Канетти 25 июля 1905 года в городе Рущук (ныне Русе), в низовьях реки Дунай. "Сказать, что он расположен в Болгарии, — сообщает автор на первых страницах, — значит не сказать почти ничего: здесь жили люди самого разного происхождения, за один день можно было услышать до семи-восьми разных наречий". По линии отца и матери (урожденной Ардитти) Канетти принадлежал к сефардам, то есть был отдаленным потомком евреев, изгнанных в XV веке из Испании. В доме говорили на ладино, "испанском еврейском", а вокруг звучала многоязыкая речь — болгарский, турецкий, румынский, армянский, греческий... По-немецки мальчик до семи лет не знал ни единого слова. То был "тайный" язык родителей — Жака и Матильды Канетти, бредивших венской культурой и мечтавших выбраться из захолустья "в Европу". Обретение главного языка, на котором Канетти осуществит свое писательское предназначение, составляет внутренний нерв первого тома автобиографии: среди первоначальных вариантов названия книги — "Четырехъязыкое детство", "Спор четырех языков", "На четвертом языке". Вопреки воле деда, главы семейного торгового предприятия, отец с женой и тремя сыновьями уехал из Рущука в Англию и через год неожиданно умер. Необъяснимость этой внезапной смерти лейтмотивом проходит через всю автобиографию и отзывается эхом в самых разных текстах Канетти; тема смерти вообще играет центральную роль в его мыслительном поле. После ухода отца собеседницей и главным проводником в

мир культуры на время сделалась мать: "...она распахнула передо мной все двери в сокровищницу человеческого духа, и я с восторгом, вслепую следовал за ней повсюду". Затем началось отчуждение — и от матери, и от всей родовой традиции, предполагавшей участие каждого члена обширного клана Канетти-Ардитти в семейной коммерции. Яростная борьба за интеллектуальную и духовную независимость прошивает сквозным сюжетом второй том трилогии. Мать скончалась в Париже в 1937 году. Незадолго до смерти она прочла роман сына. В списке людей, которым молодой автор отослал только что опубликованное "Ослепление" (1935), имя Матильды Канетти стоит рядом с именами Германа Броха, Альбана Берга, Роберта Музиля и Томаса Манна. И неслучайно третий том мемуаров завершается ее смертью.



В известном смысле, вся автобиография — это прощание с "возлюбленными мертвецами". "Спасенный язык" посвящен любимому младшему брату, известному врачу и специалисту по туберкулезу и от этой болезни умершему; "Факел в ухе" — памяти первой жены, с которой Канетти прожил почти сорок лет, мало кому известной ныне писательнице по имени Веца (Венециана) Канетти.

Венециана Таубнер-Кальдерон тоже происходила из сефардской семьи. Родилась она в Вене и была на восемь лет старше Канетти, что для пылкого юноши, одержимого неутолимой жаждой знаний, означало в момент их знакомства в апреле 1924-го только одно: Веца успела прочесть больше книг. Квартира его новой венской знакомой во втором округе города, где до прихода к власти нацистов жило особенно много евреев, стала для студента Канетти интеллектуальным прибежищем, островом свободы. Наблюдая из окна своей комнаты за жизнью обитателей улицы — той самой Фердинандштрассе, что не раз всплывает на венских страницах второго тома, — Веца писала и публиковала в "Арбайтер-цайтунг" рассказы, сложившиеся впоследствии в небольшой роман "Желтая улица". При жизни ей не удалось опубликовать ни это произведение, ни роман "Черепахи", отразивший реальные обстоятельства жизни супругов Канетти, — о еврейской чете, которая долго не может решиться на эмиграцию, но в конце концов уезжает из родной Вены в Лондон.

Элиас и Веца Канетти покинули Вену в 1938 году: после долгих бюрократических проволочек им в последний момент все же дали английскую визу. В 1963-м Веца умерла в Лондоне. К немецкому читателю она вернулась много позже, в начале 90-х, когда издательство "Ханзер" извлекло ее имя из небытия. Долгожданный выход романа "Желтая улица" Элиас Канетти встретил восторженно: "Еще два года назад Вецу знали только по описаниям в моем 'Факеле'. Теперь она снова с нами, слышен ее собственный голос".

Рассказ о знакомстве с Вецей на лекции Карла Крауса — многолетнего кумира Канетти, да и всего поколения венских интеллектуалов 20-х годов, издателя знаменитого журнала "Факел" — открывает две венские главы из книги "Факел в ухе". Этот город сформировал духовную личность писателя; здесь был создан роман "Ослепление" и возник замысел будущей книги "Масса и власть".

До девяностолетия Канетти не дожил совсем немного. Он умер в ночь с 13 на 14 августа 1994-го — пережив и Вецу, и вторую свою жену Геру, которой посвящена последняя книга мемуарной трилогии. Закат жизни и смерть он встретил в Цюрихе — городе, с которым были связаны самые счастливые воспоминания детства, и покоится рядом с Джойсом. От кладбища можно по верху горы пешком дойти до того местечка под названием Ригиблик, где когда-то давно — некалендарный XX век только начинался — семилетний Элиас Канетти стоял рядом с матерью и впервые глядел на Цюрих. Эту сцену из книги "Спасенный язык" читала над свежей могилой в день похорон его дочь Иоганна Канетти.

# *Спасенный язык. История одного детства*



Посвящается Жоржу Канетти
(1911–1971)

## *Рущук, 1905–1911*
## *Первое воспоминание*

МОЕ первое воспоминание озарено красным светом. На руках у няни я пересекаю порог; пол передо мной – красный, а по левую сторону я вижу лестницу вниз, такую же красную. Вот напротив, на уровне наших глаз, отворяется дверь, выходит улыбчивый человек. Он с приветливым видом шагает навстречу. Подступив почти вплотную ко мне, останавливается и говорит: "А ну покажи язык!" Я послушно высовываю язык, он лезет в карман, достает перочинный нож, открывает его и подносит лезвие к моему лицу, совсем близко. Он говорит: "Сейчас мы отрежем ему язык!" Я не осмеливаюсь втянуть язык, человек подходит еще ближе, сейчас он коснется его своим лезвием. В последний миг он отводит нож со словами: "Ладно, отрежем завтра". Защелкнув лезвие, сует нож обратно в карман.

Каждое утро выходим мы из двери в красный коридор, отворяется другая дверь, возникает улыбчивый человек. Я заранее знаю, что́ он скажет, я жду, когда он велит мне показать язык. Я понимаю, что он мне его отрежет, и с каждым разом боюсь все сильней. Так начинается утро, и происходит это много раз.

Я обо всем помалкиваю и только спустя много лет спрошу мать, что́ это было. По красному цвету она узна́ет пансион в Карлсбаде, где проводила со мной и с моим отцом лето 1907 года. Для меня, двухлетнего, они привезли из Болгарии няньку, девчонку, которой не исполнилось и пятнадцати. Обычно она чуть свет берет ребенка в охапку и выходит из дому, из языков знает только болгарский, но в многолюдном Карлсбаде дорогу находит прекрасно и возвращается, вместе с ребенком, без опозданий. Как-то раз ее застают на улице в обществе незнакомого парня, она ничего не может о нем сказать, случайная встреча. Неделю-другую спустя выясняется, что проживает парень прямо напротив нас, на другой стороне коридора. Наша девчонка по ночам иногда к нему бегает. Из чувства ответственности за няньку родители сразу же отсылают ее обратно в Болгарию.

Оба, и наша девчонка, и парень, выходили из дому спозаранку; так они, вероятно, и встретились в первый раз, так у них, вероятно, все и началось. Угроза ножом оказалась действенной – ребенок на десять лет прикусил язык. <...>

# *Манчестер, 1911–1913*
# *Смерть отца. Последняя версия*

Мы уже прожили в Англии почти год, когда мать расхворалась. Говорили, что ей не на пользу английский воздух. Ей прописали лечение в Бад-Райхенхалле, и летом, кажется в августе 1912-го, она уехала на воды. Мне было все равно, я по ней не скучал, но отец меня о ней спрашивал, и отмолчаться было нельзя. Наверное, он опасался, что нам, детям, без матери плохо, и старался не пропустить первые признаки внутренних изменений. Через неделю-другую он спросил меня: ничего, если мать задержится? Если все мы наберемся терпения, ей будет все лучше и лучше, и она вернется совсем здоровой. В прежние ее отлучки я всякий раз притворялся, будто соскучился, чувствовал, что отцу это нужно. Тем искреннее на сей раз я согласился, чтобы она задержалась на курорте. Иногда отец входил к нам в детскую, помахивая письмом, и говорил, что оно от нее. Но в те недели его словно подменили, мысленно он был с ней и казался встревоженным. Говорил он в последнюю неделю ее отсутствия мало, при мне мать вообще не упоминал. Не слушал меня подолгу, как раньше, не хохотал, не выдумывал шалостей. Когда я хотел, как обычно, рассказать о последней книге, которую он мне дал, — биографии Наполеона, — отец был рассеян, нетерпелив и оборвал меня на полуслове. Тогда я решил, что сморозил какую-то глупость, и мне стало стыдно. Но назавтра он вошел к нам такой же веселый и озорной, как всегда, и объявил, что завтра мать возвращается. Я обрадовался его радости, а мисс Брей бросила Эдит что-то такое, чего я не понял: вот, мол, и *правильно*, что барыня возвращается. "А что в этом правильного?" — спросил я, но она только качнула головой: "Тебе не понять. *Правильно*, да и все!" Когда много позже я подробно расспрашивал мать обо всем происшедшем — очень уж много неясностей не давало мне покоя, — то узнал, что она тогда уезжала на шесть недель и собиралась задержаться еще. Отец потерял терпение и послал телеграмму с требованием, чтобы она немедленно вернулась домой.

В день ее приезда я отца не видал, вечером он к нам в детскую не зашел. Но уже наутро он появился снова и принялся тормошить моего младшего брата. "Georgie..." — сказал отец; "Canetti!" — продолжил малыш; отец: "two..." — малыш: "three!"; отец: "four..." — малыш: "Burton!"; отец: "Road..." — малыш: "West!"; отец: "Didsbury..." — малыш: "Manchester!"; отец: "England!" — и наконец, громогласно и совершенно некстати, я: "Europe!"[1]. Вот и сложился опять наш адрес. Ничто не запомнилось мне лучше этих слов, это было последнее, что сказал отец.

Как всегда, он сошел вниз к завтраку. Прошла минута-другая, и вдруг раздался пронзительный крик. Гувернантка кинулась вниз по лестнице, я — за ней. Через открытую дверь столовой я увидел, что отец лежит на полу. Он лежал, растянувшись во весь свой рост между столом и камином, близко-близко к камину, с белым лицом, с пеной в уголках губ, а мать на коленях стояла над ним и кричала: "Жак, ну скажи что-нибудь! Жак, скажи что-нибудь! Жак! Жак, скажи что-нибудь!" Она все

1. Джорджи... Канетти!... два... три!... четыре... Бёртон!... Роуд... Вест!... Дидсбери... Манчестер... Англия... Европа! (*англ.*) Вест-Дидсбери — окраинный жилой район на юге Манчестера. *(Здесь и далее – прим. ред.)*

кричала, кричала, сбежались люди — соседи Брокбэнки, квакерская супружеская пара, прохожие с улицы. Я стоял в дверях, мать хваталась за голову, рвала на себе волосы и все кричала, я робко шагнул в комнату, к отцу, я ничего не понял, хотел спросить у него, тут кто-то сказал: "Уведите ребенка". Мягко взяв за руки, Брокбэнки вывели меня из дома, в свой палисадник.



Там мною занялся их сын Алан, он был много старше меня и завел со мной будничный разговор. Спросил, как прошел последний школьный матч по крикету, я ответил, он захотел подробностей и расспрашивал, пока я не замолчал. Потом ему захотелось знать, хорошо ли я лазаю по деревьям, и когда я кивнул, он показал на дерево неподалеку, которое свешивалось ветвями в наш садик. "Ну уж на это-то не залезешь, — заявил он. — Нипочем не залезешь. Не справишься, струсишь". Я принял вызов, оглядел дерево, про себя усомнился, но виду не подал: "А вот и нет, а вот и залезу. Справлюсь!" Я подошел к дереву, потрогал кору, обхватил ствол руками и уже полез было вверх, как вдруг одно из окон нашей столовой открылось. Мать высунулась из окна, перегнувшись за подоконник, и, увидев меня с Аланом около дерева, пронзительно закричала: "Сын, ты играешь, а твой отец умер! Ты играешь, играешь, а твой отец умер! Твой отец умер! Он умер! Ты играешь, а твой отец умер!"

Она кричала, кричала все громче, ее силой втаскивали обратно, она упиралась, я уже не видел ее, а крик все звенел в ушах, крик не смолкал еще очень долго. С этим криком смерть отца вошла внутрь меня и осталась во мне навсегда.

Теперь меня не пускали к матери. Флорентины, жившие на полдороге от школы, на Барлоумор-роуд, приютили меня в своем доме. С их сыном Артуром мы и раньше немножко дружили, а на ближайшие дни сделались неразлучны. Господин Флорентин и его жена Нелли, добрейшей души люди, ни на минуту не выпускали меня из виду: боялись, что я сбегу к матери. Она разболелась, говорили они, к ней сейчас никому нельзя, скоро она поправится, и тогда ты вернешься к ней. Только они ошибались, я хотел не к ней, я хотел к отцу. О нем они говорили мало. В день его похорон, о которых они сочли нужным мне сообщить, я решительно заявил, что тоже хочу на кладбище. У Артура были книжки с картинками, про дальние страны, а еще — почтовые марки и множество настольных игр. Он возился со мной день и ночь, я ночевал в той же комнате, что и он, и такой он был ласковый, такой выдумщик, такой смешной и серьезный, что у меня и сегодня при мысли о нем теплеет на сердце. Но в день похорон ничто не подействовало: заметив, что он намерен удержать меня от похода на кладбище, я вскипел и бросился на него с кулаками. Вокруг меня хлопотало все семейство, все двери для верности заперли. Я бушевал, грозясь взломать дверь, что в тот день, пожалуй, оказалось бы мне по плечу. Наконец, Флорентинов осенила спасительная мысль, и мало-помалу я успокоился. Они сказали, что я *увижу* похоронное шествие. Из детской, если высунуться из окна, все будет видно, хоть и издалека.

Я поверил, не подумав о том, как это далеко. В нужный момент я высунулся из окна детской, да так, что пришлось держать меня за ноги. Мне объяснили, что процессия сворачивает с Бертон-роуд на Барлоумор-роуд; вот она уже двинулась, в противоположную от нас сторону, к кладбищу. Я все глаза просмотрел, да так ничего и не увидел. Но они столь подробно описывали процессию, что наконец-то я различил в указанном направле-

нии легкую дымку. Это оно и есть, сказали мне, оно самое. Обессиленный долгой борьбой, я смирился.

Мне было семь лет, когда умер отец, а ему только-только исполнился тридцать один. Об этом потом не раз говорили, его считали совершенно здоровым, он много курил — вот и все, чем можно было объяснить внезапную остановку сердца. Английский доктор, который обследовал тело, причину смерти не установил. Но английских докторов в нашем семействе ценили невысоко. То было время расцвета венской медицины, и по любому поводу за консультацией обращались к венским профессорам. Подобные разговоры меня не интересовали: я *не мог* согласиться, что у его смерти есть какая-то причина, и для меня было только лучше, что таких причин не нашли.



Но проходили годы, а я все расспрашивал мать о случившемся. Каждые несколько лет, по мере того как я становился старше, рассказ ее менялся: добавлялось что-нибудь новое, а предыдущая версия объявлялась "щадящей", приспособленной к моему юному возрасту. Так как меня ничто не волновало сильней этой смерти, я доверчиво проживал каждый из этих этапов. Прочно укоренялся в очередном материнском рассказе, обживал его внутреннее пространство, за каждую частность держался так, словно она взята из священной книги, соизмерял с рассказанным все, что происходило вокруг, все прочитанное и продуманное. Где бы, в каком бы мире я ни оказался, центром всегда была смерть моего отца. И, когда через несколько лет всплывали какие-то новые подробности, прежний мир рассыпáлся карточным домиком: все не так, все прежние выводы неверны, и кто-то упорно заставляет меня отказаться от моей старой веры, но ложь, которую этот Кто-то крушит и разоблачает, сам же он и сочинил, причем с чистой совестью, дабы защитить мою детскую невинность. На лице у матери всегда появлялась улыбка, когда она вдруг заявляла: "Это я тогда просто так тебе сказала. Уж больно ты мал был. Ты бы не понял". Я боялся этой улыбки, резко отличавшейся от обычной, которую я любил, — надменной и умной. Мать понимала, что разбивает мой мир вдребезги, когда сообщает мне что-нибудь новое о смерти отца. Жестокая, она делала это охотно: так она мстила за ревность, которой я осложнял ей жизнь.

Все версии этого повествования сохранены в моей памяти; вряд ли есть что-то, что я помнил бы верней и надежней. Если когда-нибудь перенести их на бумагу, получится книга, целая книга, но сейчас я преследую иную цель.

И все-таки я запишу то, что слышал уже тогда, равно как и последнюю версию, в которую верю поныне.

У Флорентинов заговорили, что началась война, война на Балканах. Англичанам это событие могло и не показаться столь значимым; но я жил среди людей балканского происхождения, для них то была война в их родном доме. Господин Флорентин — серьезный, вдумчивый человек — в разговорах со мной избегал упоминаний об отце, но кое-что, оставшись однажды со мной с глазу на глаз, он все же сказал. Сказал таким тоном, каким говорят о важном, и я почувствовал: он мне доверился потому, что в тот момент рядом не оказалось женщин, а их в его доме было несколько. За последним своим завтраком отец читал свежий газетный выпуск, где большими буквами было написано: Черногория объ-

явила войну Турции; отец понял, что война на Балканах неизбежна, что многим суждена гибель, и это известие убило его. Мне вспомнилось, что на полу, рядом с ним, я в тот день видел номер "Манчестер гардиан". Когда я, бывало, находил где-то в доме газету, отец разрешал мне читать вслух заголовки, и иногда, если это не было слишком сложно, объяснял, что они означают.



Господин Флорентин сказал: нет ничего хуже войны, вот и отец придерживался того же мнения, они об этом не раз говорили. Здесь в Англии весь народ против войны, здесь уже никогда войн не будет.

Его слова запали мне в душу столь глубоко, будто их произнес сам отец. Я сберег их в памяти точно в таком виде, в каком они были сказаны тогда с глазу на глаз, как берегут опасную тайну. И когда после, в течение долгих лет, все снова и снова повторяли, что отец-де умер совсем молодым и здоровым, без всякой хвори, внезапно, как от удара молнии, я точно знал, и меня ничто не могло бы в этом разубедить, что молнией стала та страшная новость, весть о начале войны. С тех пор в мире постоянно шли войны, и каждая, где бы она ни велась, пусть даже едва задевая сознание людей из моего окружения, разила меня со всей силой той ранней потери, заботила как *самое личное*, что только могло со мной случиться.

Но мать-то, конечно, смотрела на смерть отца другими глазами, и из ее последней и окончательной версии, которую она огласила двадцать три года спустя, под впечатлением от моей первой книги, я узнал, что с вечера предыдущего дня отец не обмолвился с ней ни словом. В Бад-Райхенхалле, среди близких по духу людей с серьезными духовными интересами, мать ощущала себя прекрасно. Лечащий доктор беседовал с ней о Стриндберге, там она впервые открыла для себя этого автора и с тех пор уже не переставала его читать. Доктор спрашивал мать, что́ она думает о прочитанном, их беседы становились все увлекательней, она начала понимать, что жизнь в Манчестере, в полуобразованной сефардской среде, не приносит ей удовлетворения: не в этом ли коренится ее болезнь? Она поделилась этим открытием с доктором, а доктор признался ей в своем любовном чувстве. Предложил расстаться с отцом, предложил ей руку и сердце. Кроме слов, между ними не было ничего, в чем она могла бы себя упрекнуть, она ни на миг не задумывалась серьезно о том, чтобы уйти от отца. Но беседы с доктором значили для нее все больше и больше, уезжать из Райхенхалля ей не хотелось. Она замечала, что быстро идет на поправку, и потому могла, в общем-то, с чистой совестью просить у отца разрешения задержаться на водах. Но из гордости и отвращения к вранью она не скрывала в письмах того, как восхищают ее беседы с доктором. По сути, она была благодарна отцу за его телеграмму с требованием немедленно ехать домой. Сама она, может, и не нашла бы внутренних сил разлучиться с Бад-Райхенхаллем. Цветущая и счастливая, мать вернулась обратно в Манчестер и из желания умилостивить отца, а может, в какой-то степени и из тщеславия, рассказала ему все, что было и как она отвергла предложение доктора. У отца в голове не укладывалось, как вообще могло дойти до такого, он осаждал мать вопросами, и с каждым ее ответом ревность его возрастала. Он настаивал, что она виновата, не верил ей, все ее возражения принимал за ложь. Наконец он так рассердился, что отказался с ней разговаривать, пока не услышит всей правды. Весь вечер провел в молчании, а ночью так и не смог заснуть. Хоть он и измучил ее, мать жалела его всем

сердцем, но, в отличие от него, нисколько не сомневалась, что возвращением вполне доказала свою любовь, и никакой вины за собой не чувствовала. Даже прощального поцелуя она доктору не позволила. Она перепробовала все средства, пытаясь разговорить отца, но, когда после долгих усилий у нее так ничего и не вышло, она обиделась, махнула на все рукой и тоже умолкла.

Сойдя утром к завтраку, он молча уселся за стол и взял газету. Когда с ним случился удар и он осел на пол — тоже не проронил ни слова. На секунду ей показалось, что он хочет ее напугать и тем наказать еще больше. Она опустилась перед ним на колени, умоляющим и отчаянным голосом заклиная сказать хоть что-нибудь. Поняв, что он умер, она решила, что умер он от разочарования в ней.

Я знаю, что в тот последний раз мать сказала мне правду, какой она ее видела. Между нами случались долгие трудные битвы, и она нередко бывала близка к тому, чтобы навеки отлучить меня от себя. Но теперь-то она понимает, сказала мать, что я бился за свою свободу, теперь она признаёт за мной право на эту свободу, несмотря на большие несчастья, которые принесла ей наша междоусобица. Роман, который она прочла[1], это плоть от ее плоти, во мне она узнает себя, она всегда видела людей именно такими, какими я их изобразил, если б она писала, то только так, и никак иначе. Она не то что прощает меня, она склоняется передо мной, вдвойне признавая меня своим сыном, ведь я добился того, чего ей больше всего хотелось. В то время мать жила в Париже, и она упредила мой к ней приезд, послав мне в Вену письмо такого содержания. Получив его, я не на шутку перепугался: даже на пиках взаимного озлобления меня всегда восхищала гордость матери. Мысль, что из-за романа, сколько бы он для меня ни значил, она готова склониться предо мной, была для меня невыносима (суть моего представления о матери сводилась к тому, что она никогда и ни перед кем не склонится). Когда мы встретились, она, вероятно, почувствовала мое смущение, мой стыд и разочарование в ней; а потому, желая уверить меня в серьезности своих слов, дала себе волю и наконец-то поведала мне всю правду о смерти отца.

Несмотря на ее предыдущие версии, я и раньше что-то такое подозревал, но всякий раз упрекал себя в том, что из-за подозрительности, унаследованной от матери, вижу все в ложном свете. И чтобы успокоиться, я снова и снова прокручивал в памяти те последние фразы, которые отец успел сказать у нас в детской. Нет, в гневе, в отчаянье человек разговаривает иначе. На основании этих слов можно, пожалуй, поверить, что после дурной и бессонной ночи отец был готов смягчиться и, наверное, все-таки заговорил бы с матерью в столовой, не помешай тому потрясение из-за начала войны, сразившее его насмерть.

## *Небесный Иерусалим*

Через неделю-другую я вернулся от Флорентинов на Бертон-роуд, к матери. Ночью я спал на кровати отца, рядом с ее постелью, и охранял ее жизнь. Не засыпал, пока слышался ее тихий плач; когда, ненадолго за-

1. Имеется в виду роман Э. Канетти "Ослепление", написанный в 1931-м, опубликованный в 1935 г.

бывшись сном, она просыпалась снова, тихий плач будил и меня. За это время мы сблизились, наши отношения изменились, теперь я уже в самом деле, не номинально, стал ее старшим сыном. Так она называла меня, так обходилась со мной; казалось, она мне доверилась, со мной она говорила так, как ни с кем другим, и, хотя ни разу ни о чем подобном не обмолвилась, я кожей чувствовал и ее отчаянье, и нависшую над ней опасность. Я взялся быть ее ночным провожатым, я был тем грузиком, который цеплялся к ней, когда ей становилось невмоготу терпеть свою муку и хотелось сбросить ярмо жизни. Странно думать, что мне пришлось пережить, одно за другим, сперва смерть, а после — страх за живую жизнь, подвергшуюся смертельной опасности.

Днем мать брала себя в руки, у нее появилось множество новых непривычных дел, и она с головой окунулась в работу. А вечерами у нас с ней бывали маленькие ритуальные ужины, и мы с тихой рыцарственностью ухаживали друг за другом. Я следил за каждым движением матери, подхватывал каждое ее слово, а она ласково мне объясняла все, что происходило вокруг. Раньше, как я помнил, она была нетерпеливой и властной, импульсивной и вспыльчивой; один ее жест особенно врезался мне в память: она дергает шнур звонка, зовет гувернантку, чтобы избавиться от детей, то есть от нас. Раньше я любым способом давал ей понять, что предпочитаю отца, и, когда мне задавали вопрос, которым жестоко смущают детей: "Кого ты больше любишь? Папу или маму?", — не пытался выйти сухим из воды, отвечая: "Обоих!", а без страха и колебаний указывал на него. Теперь же каждый из нас был для другого памятью об отце; мы оба бессознательно играли в него, угождая друг другу *его* нежной кротостью. В такие часы я учился той тишине, что помогает собрать все свои душевные силы. В это время я нуждался в матери сильней, чем когда бы то ни было, ибо ночь, сменявшая вечер, грозила страшной опасностью; я мог бы гордиться собой, если бы и позже всегда вел себя так же достойно, как в эти недели.

Через месяц после несчастья в доме устроили поминки. Мужчины, родственники и друзья, стояли вдоль стен столовой, не снимая шляп, с молитвенниками в руках. На диване возле короткой стены, прямо напротив окна, сидели приехавшие из Болгарии дед и бабка Канетти. Тогда я еще не знал, каким виноватым чувствовал себя дед. Он ведь торжественно проклял отца, когда тот покинул его и Болгарию, а чтобы верующий еврей проклял сына, такое случается крайне редко: не бывает проклятья опаснее, и никакого другого проклятья так не страшатся. Отца это не остановило, и вот не прошло и года после его переезда в Англию, как он умирает. Я слышал: дед громко всхлипывал, читая молитвы; он вообще непрестанно плакал — едва увидев меня, норовил со всей силой прижать к груди, долго не отпускал и чуть ли не купал в своих слезах. Я принимал это за печаль и лишь много позднее понял, что пуще боли деда терзало чувство вины: он был уверен, что отца убило его проклятье. Меня же эта траурная церемония ужасала тем, что на ней не было отца. Я все ждал, когда он появится в комнате и вместе с другими мужчинами будет произносить молитвы. Конечно же, я понимал, что он не прячется нарочно, но где бы он ни был, то, что он не приходит, когда все мужчины поминают его, не умещалось у меня в голове. Среди тех, кто пришел на церемонию, в комнате находился и господин Кальдерон, обладатель длиннейших усов, известный своей смешливостью.

От него я ждал самого худшего. Войдя в комнату, он развязно заговорил с мужчинами, стоявшими справа и слева, и вдруг сделал то, чего я боялся больше всего. Он засмеялся. Возмущенный, я подошел к нему и спросил: "Почему ты смеешься?" Тогда он без тени смущения расхохотался мне прямо в лицо. За этот хохот я его возненавидел, я хотел, чтобы он убрался отсюда, готов был полезть на него с кулаками. Но до хохочущего лица мне было не дотянуться: я был слишком мал, пришлось бы вставать на стул — и поэтому я его не ударил. Когда все закончилось и мужчины уже расходились, он попытался погладить меня по голове, но я оттолкнул его руку и со слезами ярости повернулся к нему спиной.



Дед объяснял, что как старший сын я должен читать кадиш, поминальную молитву. Каждый год в годовщину смерти отца мне нужно читать кадиш. Если я хоть раз этого не сделаю, отцу станет так одиноко, как будто у него и нет никакого сына. Самый великий грех, на какой способен еврей, это забыть прочесть кадиш по отцу. Объяснения перемежались всхлипами и вздохами, другим я деда в те дни не видел. Мать, повинуясь обычаю, целовала дедову руку и почтительно называла его *Señor Padre*[1], однако во время наших тихих вечерних бесед она никогда его не упоминала, и я чувствовал, что лучше о нем не спрашивать. На меня его безутешная скорбь производила сильное впечатление. Но недавно я был свидетелем страшного припадка матери, а теперь ночь за ночью слышал, как она плачет. За нее я боялся, за ним же только наблюдал. Дед со всеми подряд заговаривал, оплакивая свое горе. Он и нас оплакивал, называл сиротами. Но при этом как будто стыдился сиротства своих внуков, и против этого чувства стыда я держал оборону. Я не сирота, у меня есть мать, и она уже вверила моему попечению младших братьев.

На Бертон-роуд мы оставались недолго. Не дожидаясь конца зимы, переехали в дом брата матери, на Палатайн-роуд. Там было много просторных комнат, но и народу побольше. Гувернантка мисс Брей и горничная Эдит поехали с нами. На несколько месяцев два хозяйства соединились, все удвоилось, в дом приходило много гостей. По вечерам я больше не ужинал вдвоем с матерью, а ночами не спал в ее спальне. Может быть, ей уже полегчало, а может, сочли, что разумней не полагаться столь сильно на мою заботу о ней. Изобретались всякие развлечения, друзья навещали ее и приглашали к себе. Она решила переселиться вместе с детьми в Вену, дом на Бертон-роуд продали, предстояли приготовления к переезду. Ее смекалистый брат, о котором она была высочайшего мнения, давал ей советы. Меня, ребенка, до важных деловых бесед не допускали. Я опять стал ходить в школу к мисс Ланкашир, и она обращалась со мною вовсе не как с сиротой. Я чувствовал в ее отношении ко мне нечто сродни уважению, и как-то раз она даже сказала, что теперь *я* мужчина в семье, а это, мол, самое лучшее, что может выпасть на долю человеку.

Но дома, на Палатайн-роуд, я снова обитал в детской — правда, куда большей, чем прежняя, где были "оживающие" обои. По обоям я не скучал, под натиском происшедших событий у меня угас к ним всяческий интерес. Опять я с младшими братьями и гувернанткой. Эдит заняться особенно нечем, и она обычно тоже сидит у нас. Комната кажется слишком большой, полупустой, чего-то в ней не хватает — быть может, людей. И вот

1. Господин отец (*ладино*).

мисс Брей, уроженка Уэльса, превратила ее в церковный приход. Она принялась распевать вместе с нами английские гимны, Эдит ей подпевала, и началась у нас новая жизнь: соберемся все вместе в детской и давай петь. Благодаря мисс Брей мы быстро к этому пристрастились, сама она, когда пела, преображалась, не казалась уже ни тощей, ни угловатой, и нам, ребятам, сообщался ее восторг. Мы горланили во всю мочь, даже наш младшенький, двухлетний Георг, подтягивал. С особенным же удовольствием пели мы *одну* песню, про небесный Иерусалим. Мисс Брей убедила нас, что отец наш теперь в небесном Иерусалиме, и, если мы хорошо споем, он узна́ет голоса своих деток и порадуется за нас. Была там одна чудесная строчка: "Jerusalem, Jerusalem, hark how the angels sing!"[1]. Когда мы, бывало, дойдем до этого места, мне начинало казаться, будто я вижу отца на небе, и я разливался таким соловьем, что, казалось, еще секунда, и лопну. Но, похоже, мисс Брей все же одолевали сомнения: как бы мы не помешали соседям по дому, говорила она и, чтобы никто не прервал наших песнопений, запирала дверь на засов. Во многих упоминался Иисус Христос; она рассказывала нам о Нем, я слушал и не мог наслушаться, мне не верилось, что евреи Его распяли. Про Иуду-то я сразу все понял: у него усы, длинные-длинные, и он, не стыдясь своей гнусности, громко смеется.

Мисс Брей, при всем ее простодушии, видимо, удачно выбирала часы для своего миссионерского дела. Нас никто не тревожил, и, если мы внимательно слушали про Иисуса Христа, нам разрешалось еще разок спеть "Иерусалим", о чем мы без конца просили. Все было так прекрасно и упоительно, что мы держали рот на замке. О нашем новом увлечении долго никто не знал, а продлилось оно, по-моему, много недель: я до того привык к нему, что уже на занятиях в школе предвкушал, как все будет вечером, ничего я не ждал с такой радостью, как этих спевок, даже чтение отодвинулось на задний план, а мать снова стала чужой, потому что знай себе совещалась с дядей-Наполеоном. За ее неумеренные восторги по поводу дяди я мстил ей тем, что утаивал от нее секрет наших вечеров с Иисусом.

И вот как-то раз в нашу детскую вдруг стали стучать и ломиться. Оказалось, мать неожиданно вернулась домой и какое-то время подслушивала под дверью. Было так красиво, рассказала она потом, что поневоле заслушаешься, только странно, почему в детской чужие, ведь ее дети не могут так петь. В конце концов ей захотелось узнать, кто же там поет, и она нажала на дверную ручку. Обнаружив, что заперто, она рассердилась на этих чужих нахалов, проникших в детскую, и принялась колотить в дверь. Но мисс Брей, исполнявшая роль дирижера, не позволила нам прервать песню, и мы допели все до конца. Затем гувернантка спокойно открыла дверь и предстала пред "барынины" очи. Объяснила, что пение детям на пользу — разве "барыня" не заметила, какие мы в последнее время счастливые. Все страшное позади, и теперь-то мы знаем, где нам суждена встреча с отцом; мисс Брей была до того переполнена удовлетворением от занятий с нами, что отважно и без опаски взяла быка за рога. Заговорила с матерью об Иисусе, сказала, что Он и за нас умирал. Я был полностью на ее стороне и тоже что-то такое вставил, тогда мать впала в страшную ярость и с угрозой спросила мисс Брей: она что, забыла, что мы евреи, да как она смеет соблазнять детей за ее спиной? Особенно мать негодовала на Эдит,

1. Иерусалим, Иерусалим, внимай, как поют ангелы! (*англ.*)

которую очень любила, — та каждый день прислуживала ей за утренним туалетом, многим делилась, рассказывала и о своем sweetheart[1], а вот о том, чем мы тут занимаемся, намеренно умолчала. Горничной сразу же отказали от места, мисс Брей отказали тоже, обе плакали, мы тоже, и под конец заплакала мать — правда, скорей от ярости.



Мисс Брей потом все же осталась в доме: малыш Георг был к ней очень привязан, и ради него гувернантку решили взять в Вену. Но ей пришлось пообещать, что она никогда больше не станет петь с нами религиозные песни, да и про Иисуса будет помалкивать. Эдит в связи со скорым отъездом все равно бы в ближайшем будущем рассчитали; ее увольнение не отменили — мать, из-за своей гордости никогда не умевшая преодолеть разочарование в нравившемся ей человеке, ее не простила.

В моем же случае мать тогда впервые натолкнулась на то, что впоследствии составляло самую суть наших с ней отношений. Она увела меня из детской к себе и, едва мы остались наедине, спросила, в тоне полузабытых уже вечеров тет-а-тет, почему я так долго ее обманывал. "Не хотел ничего рассказывать", — прозвучало в ответ. "Но почему не хотел? Почему? Ты же мой старший сын. Я тебе доверилась". — "А ты мне тоже ничего не рассказываешь, — невозмутимо парировал я. — С дядей Саломоном говоришь, а мне ничего не рассказываешь". — "Но он же мой старший брат. Я должна с ним советоваться". — "А почему не со мной?" — "Есть кое-какие вещи, в которых ты пока ничего не смыслишь. Ты потом все узнаешь". Мать бросала слова на ветер. Я ревновал ее к дяде, потому что он мне не нравился. Если бы он мне нравился, я бы не ревновал. Но он из тех, что "шагают по трупам", он убийца, вроде Наполеона, — из-за таких вот и начинаются войны.

Когда я сегодня об этом вспоминаю, мне кажется, что я сам, своим бурным восторгом от нашего пения, и воодушевлял мисс Брей. В доме богатого дяди, во "дворце Орка", как я для себя его окрестил, у нас появилось укромное место, о котором никто не знал, и вполне вероятно, что в глубине души мне больше всего хотелось не допустить туда мать — ибо она покорилась Орку. Всякую похвалу ему я принимал за доказательство этой ее покорности. Тогда-то и сформировалось во мне решение во всем отличаться от дяди; и, только когда мы покинули дядин дом, когда наконец-то уехали, я снова заполучил мать для себя и теперь неподкупным глазом ребенка следил за ней, оберегая от любых посягательств.

## *Уроки немецкого на Женевском озере*

В мае 1913 года приготовления к переезду в Вену закончились, и мы уехали из Манчестера. Путешествие шло поэтапно, в первый раз миновал я тогда все те города, которые потом обрели для меня огромное значение и стали узловыми станциями моей жизни. В Лондоне мы провели, кажется, всего несколько часов. Но проехали от одного вокзала к другому по всему городу, и я глядел в упоении на двухэтажные, красного цвета автобусы, умоляя, чтобы мне разрешили прокатиться на таком сверху. Однако на это времени не оставалось, и мое возбуждение при виде кишащих народом улиц, оставшихся в памяти бесконечно длинными черными во-

1. Дружке (*англ.*).

доворотами, сменилось возбуждением от вокзала Виктории, где роились, не сталкиваясь друг с другом, несметные толпы людей.

Переправы через Ла-Манш я не помню — но тем больше запомнился мне наш приезд в Париж. На вокзале нас встретили молодожены: Дэвид, тихая мышка, самый младший и неприметный из братьев матери, а об руку с ним — сияющая молодая особа с черными как смоль волосами и нарумяненными щечками. Да, это снова были они, красные щеки, на сей раз особенно яркие — и когда я нацелился поцеловать свою новую тетушку в щеку, и только в щеку, мать даже предупредила меня, что румянец искусственный. Тетушку звали Эстер, ее только что привезли в Париж из Салоник: там проживала крупнейшая община сефардских евреев, и молодые люди, желавшие обзавестись семьей, охотно ездили туда за невестами. Комнаты у дяди в квартире оказались такими крошечными, что я нагло прозвал их "игрушечным домиком". Дядя Дэвид, однако же, не обиделся, он знай себе улыбался да молчал — прямая противоположность всемогущему манчестерскому брату, который когда-то с презреньем отверг его предложение стать компаньоном. Дядя пребывал на вершине своего молодого счастья: они только неделю назад поженились. Он был очень горд, что я с ходу пленился сияющей тетей Эстер, и то и дело подбадривал: ну поцелуй же тетю! Еще не догадывался, бедняга, что́ ему предстоит: вскоре из нее выкуклилась жестокая и ненасытная фурия.

Какое-то время мы гостили в этой квартире с крохотными комнатушками, что меня очень устраивало. Я был любопытен, и мне разрешили смотреть, как тетя красится. Она объяснила мне, что в Париже все женщины красятся, иначе разве понравишься мужчине? На мое замечание: "Но ты-то ведь дяде нравишься!" — она ничего не ответила. Надушившись, она пожелала знать, хорошо ли пахнет ее парфюм. Духов я побаивался, мисс Брей говорила, что пользоваться ими — wicked, "грешно". И на вопрос тети Эстер я ответил уклончиво: "Твои волосы пахнут лучше!" Тогда она села, распустила волосы — длинные и черные, черней вызывавших всеобщий восторг локонов моего младшего брата, — и все время, что она занималась туалетом, мне было позволено сидеть рядышком и любоваться. Все это происходило прилюдно, на глазах у мисс Брей, которая очень расстроилась; я слышал, как она говорила матери: этот Париж детям только во вред.

Затем мы должны были ехать в Швейцарию, через Лозанну, где мать собиралась задержаться на летний сезон. Она сняла домик на горе напротив города, с потрясающим видом на озеро и яхты, скользящие по воде. Мы часто спускались в Уши, гуляли по берегу, в парке играла капелла. Погода стояла ясная, дул легкий бриз, и я полюбил эту воду, этот ветер и паруса, а уж как заиграет капелла, ощущал такой прилив счастья, что спрашивал мать: "Почему бы нам не остаться здесь? Тут так хорошо!" — "Тебе нужно учить немецкий, — отвечала она. — В Вене ты пойдешь в школу". И хотя слово "Вена" произносилось с особым придыханием, оно нисколько меня не привлекало, пока мы были в Лозанне. Ведь на вопрос, есть ли там озеро, мать отвечала: "Озера нет, зато есть Дунай!", а вместо Савойских гор, возвышавшихся напротив, в Вене имелись лишь леса и пригорки. Но Дунай-то я знал с малых лет, и поскольку вода, которой я когда-то обварился, была дунайской, сердился на него. То ли дело это чудесное озеро, да и горы были мне в новинку. Я упрямо противился переезду в Вену; видимо, отчасти и по этой причине мы задержались в Лозанне дольше, чем рассчитывали.

И все же главной причиной было то, что сперва мне предстояло овладеть немецким. Мне исполнилось восемь лет, в Вене я должен был начать учиться и по возрасту соответствовал третьему классу начальной школы. С мыслью о том, что меня из-за незнания языка, чего доброго, и не возьмут в этот класс, мать свыкнуться не могла — и твердо решила в кратчайшие сроки научить меня немецкому.

Вскоре после приезда мы с ней пошли в книжную лавку, она спросила англо-немецкий учебник, не думая согласилась на первую же книгу, какую ей принесли, привела меня обратно домой и сразу дала мне первый урок. Как мне описать те уроки? Я помню, какими они были, такое разве забудешь, но мне самому до сих пор не вполне верится.

Мы уселись в столовой за наш обеденный стол. Я сидел в торце, у окна с видом на озеро и паруса, она — через угол наискосок, по левую руку, а учебник держала так, чтобы мне было не подсмотреть. Она на пушечный выстрел не подпускала меня к учебнику. "Незачем! — говорила. — Все равно ты пока ничего не поймешь". Но несмотря на эти слова, я чувствовал, что книга — тайна, которую мать от меня скрывает. Вот она прочитала одно предложение по-немецки и велит мне его повторить. Ей не нравится, как я произношу немецкие звуки, и я повторяю по нескольку раз, пока она не сочтет произношение сносным. Впрочем, такое случалось нечасто, она издевалась над тем, как я говорю по-немецки, а так как ее издевки я не желал терпеть ни за что на свете, то из кожи вон лез и вскоре произносил все правильно. Только тогда она говорила, что́ означает фраза. Но повторять уже не повторяла, запоминать полагалось сразу и навсегда. Потом она переходила к следующей, и все повторялось заново: как только я правильно произнесу все звуки, она переводит фразу, повелительно смотрит — давай, мол, запоминай — и переходит к следующей. Я уж не помню, сколькими фразами она удовлетворилась на первый раз; скромно скажу, что несколькими, но все же боюсь, что их было многовато. В какой-то момент мать меня отпустила. "Повторяй про себя, — сказала она. — Да не вздумай забыть предложения. Ни одного! Завтра продолжим". Учебник она унесла, а я, растерянный, был предоставлен самому себе.

Помочь мне никто не мог, мисс Брей владела только английским, а повторять предложения днем мать наотрез отказалась. Назавтра я вновь сидел на прежнем месте, перед глазами — распахнутое окно, озеро и паруса. Мать открыла вчерашний урок, велела мне повторить вслед за нею одно предложение и спросила, что оно означает. Я на свою беду запомнил его значение, и она с довольным видом сказала: "Вижу, что получается!" Но потом разразилась беда: я все забыл; кроме самого первого предложения, ничего другого я не запомнил. Я повторяю за ней, она выжидательно смотрит, я запинаюсь и умолкаю. Когда это повторилось несколько раз, она не на шутку рассердилась и сказала: "Ты же запомнил первое! Значит, можешь. Ты просто не хочешь. Ты хочешь остаться в Лозанне. Ну и сиди тут один. Я уезжаю в Вену, мисс Брей и младших мальчиков беру с собой. А ты оставайся один в Лозанне!"

Но, кажется, эта угроза пугала меня меньше, чем ее издевки. Теряя терпение, мать воздевала руки горé и восклицала: "Мой сын — недоумок! Вот уж не знала, что сын у меня — недоумок!", или: "Отец же знал по-немецки. Что бы сказал твой отец!"

На меня нападало ужасное отчаянье, и, чтобы скрыть его, я смотрел на яхты, призывая их, не способных мне помочь, на помощь. И тут слу-

чилось нечто такое, что я и сегодня не могу себе объяснить. Я был упрям как черт и наловчился ухватывать с ходу значение фраз. Но даже если я правильно отвечал три-четыре раза подряд, мать меня не хвалила, а требовала большего: она требовала, чтобы я каждый раз запоминал все фразы без исключения. А поскольку такого никогда не случалось, она так ни разу меня и не похвалила и все эти недели отпускала с урока, приняв хмурый и недовольный вид.

Теперь я жил в страхе перед ее издевками — и целыми днями, где бы ни находился, повторял про себя злосчастные предложения. На прогулках с мисс Брей я угрюмо молчал. Не слышал больше ни ветра, ни музыки, в голове стучали одни немецкие фразы и их значения по-английски. При всякой возможности я норовил улизнуть и в одиночестве порепетировать вслух, причем случалось, что какой-нибудь однажды допущенный ляпсус я затверживал с тем же усердием, что и правильные обороты. У меня ведь по-прежнему не было книги, чтобы себя проверить, мать упрямо и беспощадно отказывалась мне ее дать, прекрасно зная о моей дружбе с книгами и понимая, насколько книга облегчила бы мне задачу. Но идея ее состояла именно в том, что облегчать себе ничего нельзя; книги для изучения языков не полезны; учить язык надо со слуха, и книга только тогда не во вред, когда ученик уже что-нибудь понимает. Мать не видела, что с горя я потерял аппетит. Свой террор она считала очень педагогичным.

В иные дни мне удавалось припомнить все немецкие предложения, за исключением двух или трех, вместе с их переводом. Я искал на лице матери признаки удовлетворения, но никогда их не находил и самое большее, чего добивался, — это прекращения ее издевок. В другие дни дело шло хуже, и я трепетал, ожидая "недоумка", это слово било больнее всего. Как только дело доходило до него, я чувствовал себя уничтоженным, и разве что ссылкой на отца мать не достигала желаемой цели. Я утешался его любовью ко мне, от него я никогда не слышал недоброго слова, что ни скажу — он всему бывал рад и всегда меня поощрял.

С младшими братьями я теперь едва разговаривал, осаживал их с такой же суровостью, как мать. Мисс Брей, отдававшая предпочтение младшему, но хорошо относившаяся ко всем троим, почуяла опасность того состояния, в котором я находился, и, заставая меня за репетицией немецкого урока, хмурилась, говоря, что, мол, хватит, довольно, для мальчика своего возраста я и так уже больно умный; она вот языков не знает, и ничего — живет себе не тужит. Всегда найдутся на свете люди, которые понимают английский. Ее сочувствие было приятно, но слова ничего для меня не значили: снять тот ужасный гипнотический сон, в который меня погрузила мать, могла только она сама.

Разумеется, я подслушал, как мисс Брей сказала матери: "Мальчику плохо. Он пожаловался, что мадам считает его недоумком". — "А он такой и есть! — прозвучало в ответ. — Иначе я б и не говорила!" Мне стало ужасно горько: никуда мне не деться от этого злосчастного слова... Я вспомнил кузину Элси с Палатайн-роуд: она отставала в развитии и с трудом ворочала языком. Взрослые говорили о ней с жалостью, припечатывая тем же словом.

Но все же наша мисс Брей обладала добрым и преданным сердцем — в конце концов она-то меня и спасла. Как-то после обеда — мы только сели заниматься — мать вдруг сказала: "Мисс Брей говорит, ты хочешь учиться писать по-немецки. Это правда?" Может быть, я обмолвился о

своем желании гувернантке, а может, она и сама догадалась. Но поскольку при этих словах мать посмотрела на учебник, который держала в руках, я мигом смекнул, что нельзя упускать такой шанс, и воскликнул: "Хочу! В венской школе мне это пригодится". Так я заполучил наконец-то книгу, чтобы учить угловатые буквы. Заниматься со мной еще и буквами, на это у матери точно не хватило бы терпения. Она махнула рукой на принципы и отдала книгу мне.



Тяжелейшие муки, которые длились, наверное, с месяц, остались теперь позади. "Но это только чтобы ты буквы запомнил! — сказала мать, вручая мне книгу. — Упражняться в языке мы и дальше будем со слуха". Но помешать мне пробежаться по фразам глазами мать не могла. Я уже многому от нее научился, и видимо, что-то в этом такое *было*, в этой ее энергии, в этом напоре, с каким она читала мне вслух. Все новое я, как и раньше, узнавал от нее. Но теперь я мог закрепить услышанное, читая и перечитывая эти предложения после урока, а потому выглядел в ее глазах куда лучше. Повода обзывать меня "недоумком" ей больше не представлялось, и у нее самой отлегло от сердца. А то она уж всерьез обо мне беспокоилась, признавалась мать позже, думала: вдруг я единственный в нашем обширном семействе, кому не даются иностранные языки? Отныне она убедилась в обратном, и наши послеобеденные занятия превратились в сплошное удовольствие. Теперь мне даже случалось удивлять ее своими успехами, и у нее невольно вырывалась похвала: "Все-таки, — говорила она, — ты мой сын!"

Настали великие времена. Мать стала разговаривать со мной по-немецки, и не только на уроках. Я чувствовал, что снова так же близок ей, как в первые недели после смерти отца. А много позже я понял, что эти уроки немецкого, с издевкой и муками, были затеяны не только ради меня. Для нее самой глубочайшей потребностью было говорить со мной по-немецки, то был для нее язык любви и доверия. Ужасный перелом в ее жизни, когда в возрасте двадцати семи лет она лишилась мужа, обращавшего к ней свой слух, чувствительнее всего проявился в том, что смолк разговор их любви, разговор по-немецки. Немецкий язык был, по сути, языком ее недолгой супружеской жизни. Овдовев, она потерялась, не знала, как быть, и попыталась как можно скорей заместить отцовское ухо моим. На предприятие это она возлагала большие надежды, и ей было трудно, когда поначалу я чуть было не дал маху. Так она в кратчайшие сроки заставила меня добиться успеха, превосходящего силы ребенка, и то, что ей это удалось, определяет глубинную сущность моего немецкого языка, этой поздно, в доподлинных муках вживленной в меня родной речи. Впрочем, муками дело не кончилось, сразу же вслед за тем наступила пора счастья, что неразрывно связало меня с немецкой речью. Наверное, это пробудило во мне и раннюю склонность к писательству, ибо книгу я отвоевал себе с целью учиться письму, а внезапный поворот к лучшему был связан именно с тем, что я научился буквам.

Мать никогда бы не потерпела, чтобы я забросил все прочие языки: образование для нее состояло в знании литературы на всех языках, ей известных, однако же языком нашей с нею любви — и какой любви! — стал немецкий.

Теперь она брала с собой одного меня, когда отправлялась с визитами к друзьям и родственникам в Лозанне, и неудивительно, что оба визита, которые мне запомнились, связаны с ее положением молодой вдовы.

Один из братьев матери умер в Манчестере еще до того, как мы туда переехали, и вдова его Линда с двумя детьми проживала ныне в Лозанне. Мать, вероятно, остановилась в Лозанне и ради нее. Мать пригласили туда на обед, меня же она взяла с собой, объяснив, что тетя Линда родилась и выросла в Вене и говорит по-немецки особенно хорошо. А я, мол, уже достаточно продвинулся, чтобы блеснуть своими уменьями. Я преисполнился энтузиазма, надеясь навеки стереть следы всех тех насмешек, какие недавно претерпел. От волнения всю ночь не смыкал глаз и вел сам с собой по-немецки длинные разговоры, кончавшиеся моей триумфальной победой. Когда пришло время идти на обед, мать объявила, что там будет еще один господин, он у тети Линды столуется каждый день. Его зовут мсье Котье, господин он почтенный, не молодой уже человек, высокопоставленный чиновник. Я спросил, это что, тетин муж, и услышал, как мать с запинкой и слегка рассеянно отвечает: "Может, когда-нибудь он и станет ее мужем. Но пока тетя думает о своих двоих детях. Она не хочет их травмировать столь быстрым замужеством. Хотя он конечно был бы для нее опорой". Я мигом почуял опасность и заявил: "У тебя детей трое, но у тебя есть опора — я!" Она усмехнулась: "Что ты себе позволяешь? — спросила с обычной своей надменностью. — Я же не тетя Линда. У меня нет господина Котье".

Итак, немецкий отодвинулся на задний план, и мне предстояло вдвойне показать себя молодцом. Господин Котье оказался крупным и дородным, с животиком и козлиной бородкой. Он явно был большим поклонником тетиной кухни. Говорил он медленно, обдумывал каждую фразу, а на мать поглядывал со снисходительным благоволением. Он был уже стар, и мне показалось, что он обходится с ней как с ребенком. Обращался он только к матери, тете Линде ни слова не говорил, а та знай себе подкладывала ему в тарелку, но он делал вид, будто не замечает, и преспокойно ел дальше.

"До чего же тетя красивая!" — воскликнул я по пути домой. У нее была смуглая кожа и удивительно большие черные глаза. — И как вкусно пахнет!" (Она меня поцеловала, и пахло даже приятней, чем от парижской тети.) — "Скажешь тоже, — отрезала мать. — У нее огромный носище, а ноги как у слона. Но путь к сердцу мужчины лежит через желудок". Она еще во время обеда бросила эту фразу, с насмешкой взглянув на господина Котье. Я удивился тому, что мать повторяется, и спросил, что означают эти слова. В ответ она жестко сказала, что господин Котье не дурак поесть, а тетя вкусно готовит. Потому-то он каждый день й приходит. Я спросил, не потому ли тетя так вкусно пахнет. "Да это духи, — ответила мать. — Она всегда слишком сильно душилась". Я почувствовал, что мать не одобряет тетиного поведения, и хотя с господином Котье она беседовала учтиво и даже смешила его, похоже, она и о нем невысокого мнения.

"К нам никто приходить на обед не будет", — заявил я вдруг важно, как взрослый. В ответ мать улыбнулась, да еще и подзадорила меня: "Уж ты не позволишь, верно? Уж ты проследишь!"

А теперь про второй наш визит, к господину Афталиону. Это совсем другая история. Из всех сефардов, знакомых матери, этот был самый богатый. "Миллионер, — говорила она, — к тому же еще молодой". Когда, отвечая на мой вопрос, она подтвердила, что он намного богаче дядюшки Саломона, я сразу его полюбил. Он и с виду совсем другой, прекрасный танцор и вообще настоящий рыцарь. Все добиваются его общества из-за

его благородства, такому место при королевском дворе. "Таких людей среди нас уже не осталось, — сказала мать. — Такими мы были раньше, когда еще жили в Испании". И доверительно сообщила, что Афталион предлагал ей когда-то руку и сердце, но она к тому времени была уже тайно обручена с отцом. "А иначе, может, и вышла бы за него". Он тогда глубоко опечалился и долгие годы о женщинах даже не помышлял. Только вот сейчас, совсем недавно, женился, и они с женой Фридой, знаменитой красавицей, остановились в Лозанне. У них свадебное путешествие. Живет он в самом роскошном отеле, куда и пригласил нас.



Меня привлекало в господине Афталионе то, что мать ставит его выше дяди Саломона. Дядю я презирал всеми фибрами души — так, что даже рассказ матери о давнем сватовстве к ней господина Афталиона не произвел на меня особого впечатления. Я жаждал взглянуть на него хотя бы только затем, чтоб увидеть, как дядя, этот Наполеон, при сравнении с ним скукожится, превратится в нуль без палочки. "Какая жалость, — сказал я, — что с нами не будет дяди Саломона!" — "Он же в Англии, — удивилась мать. — Как же ему быть с нами?" — "А вот пусть бы был. Пусть бы увидел, каким должен быть настоящий сефард". Эта ненависть к ее брату мать почему-то не обижала. Она хоть и восхищалась его деловой сноровкой, но протест мой ей импонировал. Возможно, она понимала, как важно мне не возвести его в образец вместо отца, или считала мою столь раннюю неутолимую ненависть проявлением "характера", а уж характер-то мать ценила превыше всего.

Мы вошли в гостиницу, напоминавшую королевский дворец, такой я еще никогда не видал, она, кажется, даже и называлась "Лозанна-палас". Афталион проживал в гигантских, роскошно обставленных апартаментах, мне почудилось, будто я в сказке из "Тысячи и одной ночи", и я с презреньем подумал о дядином доме на Палатайн-роуд, всего год назад так поразившем мое воображение. Распахнулась двойная дверь, и вышел Афталион — в темно-синем костюме и белых гамашах; сияя всем лицом, он направился к матери и поцеловал ей руку. "Матильда, ты стала еще красивей", — сказал он ей. Мать была в черном. "А у тебя жена — красавица, — ответила мать, которая за словом в карман никогда не лезла. — Где же она? Разве Фриды нет дома? Я ее с самой Вены, с институтских времен не видела. Я столько рассказывала о ней сыну. Вот видишь, привела его с собой. Он мечтал на нее поглядеть". — "Сейчас она выйдет. Еще не закончила туалет. А вам придется пока удовольствоваться моим, не столь привлекательным обществом". Беседа текла изысканно и учтиво, сообразно великолепию апартаментов. Он спросил, что́ мать намерена делать, затем очень внимательно, но все с той же улыбкой, выслушал ее ответ, а план переезда в Вену одобрил сказочными словами: "Вена — это твой город, Матильда. Он тебя любит. В Вене ты всегда оживала и хорошела". Я ни капли не ревновал — ни к нему, ни к Вене, — я узнал то, чего прежде не знал и что не встречалось мне ни в одной из прочитанных книг: что город может любить человека; и эта идея мне очень понравилась. Потом вошла Фрида, и тут я совсем опешил. Таких красивых женщин я еще не встречал, она была светлая, как вода в озере, и в роскошных одеждах, а с матерью обходилась точно с княгиней. Она выбрала из ваз самые лучшие розы, составила букет, передала его господину Афталиону, и тот с поклоном вручил его матери. Наш визит продлился недолго, но понимал я не все: беседовали то по-немецки, то по-французски, а я ни в том, ни в дру-

гом языке, особенно во французском, не был особенно силен. Кроме того, мне казалось, что на французский переходили тогда, когда речь шла о каких-то вещах, не предназначенных для моих ушей, но если обычно такие секретные разговоры взрослых вызывали во мне затаенную ярость, то от господина Афталиона, этого победителя Наполеона, и от его дивно прекрасной жены я бы с радостью и не такое стерпел.

Когда мы выходили из дворца, мать показалась мне слегка смущенной. "А я ведь чуть было не вышла за него замуж, — сказала она и затем, поглядев на меня, добавила фразу, от которой я вздрогнул. — Тогда тебя и на свете бы не было!" Такого — что меня нет на свете — я и помыслить не мог, я ведь шагал рядом с ней. "Но я же *есть*! Я твой сын!" — возразил я упрямо. Она, видимо, пожалела, что так сказала, потому что остановилась и пылко меня обняла — со всеми розами, что держала в руках, — а под конец еще и Фриду стала нахваливать: "Как благородно с ее стороны. У этой женщины есть характер!" Такое мать говорила нечасто, а уж о женщинах и подавно. Я обрадовался тому, что Фрида и ей понравилась. Когда годы спустя мы с матерью вспоминали о том визите, она призналась, что уходила с чувством, будто все увиденное, вся эта красота, на самом деле принадлежит ей, и она-де еще подивилась себе, что не чувствует обиды на Фриду и без всякой зависти уступает ей то, чего другой женщине ни за что бы не уступила.

Мы провели в Лозанне три месяца, и иногда мне кажется, что не было в моей жизни другого времени, имевшего столь важные последствия. Но так часто кажется, в какой бы жизненный этап ты ни вглядывался, и вполне может быть, что каждый отрезок жизни и есть самый важный — он вмещает все остальное. Как бы то ни было, здесь, в Лозанне, где отовсюду неслась французская речь, которую я усваивал между делом, без драматических коллизий, благодаря матери я претерпел второе рождение, познав речь немецкую, и в муках этого рождения возникла та самая страсть, что крепко связала меня с обеими: с немецкой речью и с матерью. Без них, являвших собой, по сути, одно и то же, весь дальнейший ход моей жизни был бы бессмыслен и непонятен.

В августе мы отправились в Вену, а по дороге задержались на час-другой в Цюрихе. Мать оставила малышей на вокзале, под присмотром мисс Брей, а меня взяла прокатиться по канатной дороге на Цюрихберг. Местечко, в котором мы вышли, называется Ригиблик. Ослепительно сияло солнце, передо мной широко раскинулся город, показавшийся мне гигантским — даже не верилось, что бывают такие огромные города. Это было в новинку и жутковато. Я спросил, неужели и Вена такая большая, а когда услыхал в ответ, что она "гораздо больше", то решил, что мать меня просто дразнит. Здесь горы и озеро располагались чуть в стороне, не то что в Лозанне, где они все время маячили перед глазами, будучи центром, сутью тамошней панорамы. Да и домов там было не особенно много, а здесь я дивился невообразимому количеству зданий, облепивших склоны горы — мы стояли на самом верху Цюрихберга, — и даже не предпринял попытки счесть неисчислимое, хотя считать было моей страстью. Удивленный — пожалуй, даже испуганный, — я повернулся к матери и укоризненно сказал: "Да мы же их теперь не найдем!", подумав, что зря мы оставили "детей", как мы их между собой называли, одних с гувернанткой, которая ни слова не понимает ни на одном чужом языке. Так первая панорама, открывшаяся перед моими глазами, окраси-

лась чувством растерянности, и память об этом первом взгляде на Цюрих, которому суждено было стать райским садом моей юности, осталась во мне навсегда.

Но детей и мисс Брей мы, похоже, все-таки благополучно нашли, ибо я вижу, как на следующий день, 18 августа, мы уже едем по Австрии. Все местечки, мимо которых мы проезжали, были украшены флагами, флагов становилось все больше — и в какой-то момент мать снизошла до шутки, сказав, что это, мол, в нашу честь. Но она и сама не знала, в чем дело, а мисс Брей, привыкшая к своему "Юнион Джеку", волновалась и заставила-таки мать спросить у попутчиков, что же тут празднуют. Выяснилось, что день рождения императора. Франц Иосиф, которого мать еще лет двадцать назад, в пору своей венской юности, знала как "старого императора", был по-прежнему в добром здравии, и все города и веси, казалось, этому радовались. "Он как королева Виктория", — сказала мисс Брей. И потом до самой Вены я слушал ее пресноватые, на мой вкус, рассказы о давно почившей английской королеве, а для разнообразия, в исполнении матери, — рассказы о здравствующем и поныне императоре Франце Иосифе. <...>



# *Факел в ухе. История жизни, 1921–1931*

## *Буря и принуждение* (*Вена, 1924–1925*)

### *Жизнь с братом*

В первых числах апреля 1924 года мы с Георгом поселились по адресу Пратерштрассе, дом 22, на квартире у фрау Суссин. Нам досталась темная, самая дальняя комната с видом во двор. Здесь мы прожили вместе четыре месяца — вообще говоря, не такой уж и долгий срок. Но я тогда впервые жил вдвоем с братом, и за это время много чего случилось.

Между нами установились тесные отношения, я был с ходу произведен в наставники, и брат советовался со мной обо всем, особенно о том, что касалось нравственности. Что человеку можно и до́лжно, чего при любых обстоятельствах нужно гнушаться, а что хотелось бы пережить, узнать на собственной шкуре, — все те четыре совместных месяца мы едва ли не каждый вечер предавались таким рассуждениям, перемежая беседы чтением и устроившись за большим квадратным столом у окна, каждый — над кипой книг и тетрадей. Нас разделял только угол стола; достаточно было поднять голову, чтобы взглянуть друг другу глаза в глаза. Георг, хоть и был младше меня на шесть лет, уже тогда слегка меня перерос. Когда мы сидели, разницы почти не было заметно. Я к тому времени уже принял решение учиться в Вене на химическом факультете (не зная наверняка, надолго ли меня хватит), через месяц начинался первый семестр. А так как во франкфуртской школе мне мало что перепало, теперь было самое время позаниматься. За четыре оставшиеся недели я собирался наверстать упущенное. Передо мною лежал учебник неорганической химии: своей отвлеченностью, отсутствием связи с практикой он подстегивал мой интерес, и продвигался я очень быстро.

Но как бы ни погружался я в изучение того или иного предмета, Георгу было позволено в любую минуту отвлекать меня каким угодно вопросом. Он учился в реальной гимназии на улице Штубенбастай, в одном из начальных классов, — брату в то время было тринадцать. Учеба давалась ему легко, разве что с рисованием, к которому в этой школе относились с большой серьезностью, возникали кое-какие трудности. Но он был таким же любознательным, как и я в его возрасте, и по любому поводу ему приходили в голову вполне осмысленные вопросы. Причем дело было не в том, что он, предположим, чего-то не понял; все, о чем говорилось в книге, он понимал легко; дело было в деталях и частностях, какими ему хотелось дополнить общие сведения из учебников. На многие вопросы я давал ответ сразу, без размышлений и наведения справок. Я был счастлив, что могу поделиться с ним, до сих пор все мысли мне приходилось держать при себе, поговорить на такие темы было не с кем. Он замечал, как я радуюсь всякий раз, когда он меня отвлекает, и еще — что границ для его вопросов нет. За час-другой мы успевали порассуждать о многом, и беседы эти примиряли меня с занятиями химией, все еще чуждой и пугающей, — я все-таки не исключал возможности, что четыре года, а то и дольше, мне предстоит провести на химическом факультете. И вот брат расспрашивал меня то о римских авторах, то об истории — я же при каждом удобном случае переводил разговор на греков, — о математических проблемах, о ботанике, о зоологии, и, наконец, с особым энтузиазмом, на темы из географии: о странах и народах. Он уже понял, что тут от меня можно особенно много чего узнать, так что иной раз мне приходилось делать над собой усилие, чтобы поставить точку, — с такой охотой и так обстоятельно излагал я ему все то, что прочел в путевых записках ученых и путешественников. Рассказ мой изобиловал критическими оценками поведения человека. Всякий раз, когда речь заходила о борьбе с болезнями в экзотических странах, я загорался восторгом. Я еще не вполне пережил свое отречение от медицины и простодушно уступил Георгу свою былую мечту.

Я любил его ненасытность. Едва сев за учебники, предвкушал, как он станет меня расспрашивать. От его молчания я пострадал бы куда сильней, чем он — от моего. Будь он натурой деспотичной или расчетливой, он запросто подчинил бы меня своей власти. Одного вечера за нашим квадратным столом — но без вопросов Георга — хватило бы, чтобы я почувствовал себя несчастным. Но в том-то и дело: Георг точно так же ничего не добивался своими вопросами, как я — ответами. Ему просто хотелось знать больше, а мне — передать ему то, что знаю я; всякое новое знание рождало и новые вопросы. Поразительно, что он ни разу не посадил меня в лужу. Его ненасытная любознательность не выходила за рамки моего кругозора. Оттого ли, что с детства мы были схожи в задатках и склонностях, оттого ли, что энергичность моего изложения заслоняла от брата прочие вещи, но он спрашивал только то, на что у меня был ответ, и не унижал моего достоинства, что было бы проще простого, подлови он меня раз-другой на невежестве. Мы оба были совершенно открыты и ничего друг от друга не таили. В эту пору мы не могли друг без друга, ни одной близкой души рядом не было, и подчинялись мы единственному закону: я не вправе обмануть его ожидания, а он — мои. Ни на какие блага не променял бы я эти "учебные вечера" вдвоем, за большим квадратным столом, придвинутым вплотную к окну.

Пришло лето, вечера удлинились, окна во двор мы держали открытыми. Двумя этажами ниже, прямо под нами, располагалась каморка портного по имени Финк: окошко и там было открыто, и к нам наверх долетало тоненькое жужжание швейной машинки. Работал портной до глубокой ночи, работал без остановки. Мы ели свой ужин за тем же столом, что и читали, — и слышали Финка, убирали посуду — и слышали Финка, усаживались за книги — и слышали Финка; мы забывали о Финке только тогда, когда разговор становился таким увлекательным, что тут уже все на свете забудешь. Зато когда потом мы лежали в постелях, усталые, ибо день начинался рано, мы снова внимали жужжанию швейной машинки и под него засыпали.



Наша вечерняя трапеза состояла из хлеба и йогурта, а какое-то время и вовсе только из хлеба — в самом начале совместной жизни с нами, исключительно по моей вине, стряслась беда. Денег нам присылали хоть и в обрез, но все, что нужно для жизни, было подсчитано, и на более плотную трапезу наверняка бы хватило. Содержание приходило на месяц вперед, одну часть денег выплачивал дед, а остаток — мать. Всю наличность я носил при себе, твердо уверенный, что смогу быть грамотным казначеем. Кое-чему я уже научился, во Франкфурте мы полгода жили втроем одни, без матери, а уж тогда-то, на последнем безумном витке инфляции, было и впрямь нелегко не наделать ошибок и уложиться в бюджет. По сравнению с этим здешняя венская жизнь, казалось бы, плевое дело.

Так-то оно так, однако я не учел Вурстельпратера. Знаменитый парк раскинулся неподалеку, меньше четверти часа ходу от нашей квартиры, а если вспомнить, как он потряс мое детское воображение, когда я впервые жил в Вене, то казалось, и того ближе. И вместо того чтобы держать братишку подальше от искушений Пратера, я взял и пошел туда вместе с ним. Дело было в субботу после полудня. Иные из прежних красот куда-то исчезли, а те, что остались на прежнем месте, выглядели довольно убого. Георг уехал из Вены, когда ему было всего пять лет; Вурстельпратера он не помнил и, стало быть, целиком зависел от моих россказней, а уж я постарался придать всему самый роскошный и соблазнительный вид. А то даже как-то неловко: такой якобы всезнающий старший брат, который толкует об эсхиловом "Прометее", Французской революции, законе всемирного тяготения и теории эволюции, вдруг ни с того ни с сего пугает младшего намалеванным на холсте Мессинским землетрясением и разверстой преисподней на въезде в грот.

Видимо, я умудрился расписать все это в самых страшных тонах, потому что, когда мы наконец-то нашли пещеру и встали перед жерлом преисподней, куда черти неспешно закидывали наколотых на вилы грешников, брат поглядел на меня с удивлением и спросил: "И вот этого ты боялся?" — "Да я-то нет, — отвечал я, — ведь мне уже было восемь. Зато вы, малыши, боялись". Стало ясно, что брат вот-вот потеряет уважение ко мне. Но его это и самого не устраивало, он уже очень привык к нашим вечерним беседам, хотя они только еще начинались, а потому никакого желания поглазеть на Мессинское землетрясение, ради которого мы сюда, собственно, и пришли, он не выказал. С большим облегчением, что вышел сухим из воды, я поскорей потащил его прочь — мне уж и самому расхотелось смотреть на землетрясение. Так оно и впечаталось в мою память во всей своей прежней роскоши.

Но отделаться легким испугом не удалось; сознавая, что должен чем-то восполнить обманутые надежды брата, я ринулся к местным аттракционам, хотя вообще-то никогда ими не увлекался. Там было то и се, пятое и десятое, но наше внимание привлекла будка, где люди бросали кольца — мы увидели, как несколько человек подряд накинули кольца на шест и ушли с призами. Ну попробуй, сказал я ему, но ему не везло, тогда я попробовал сам, промазал несколько раз и снова попробовал — что за черт! Вскоре я так заигрался, что брат стал призывно теребить меня за рукав, но я не сдавался. Он видел, как тает наше месячное содержание, и был вполне в состоянии оценить все последствия — но не издал ни звука, даже ни разу не заикнулся, что тоже хочет еще разок бросить кольцо. Видно, он понял: я не могу смириться с тем, что так опозорился, вот и бросаю теперь кольцо за кольцом наугад, в надежде что-то исправить. Оцепенелым взглядом он следил за летящими кольцами, каждый раз слегка подаваясь всем телом вперед, как заводная фигурка из тех, что стояли у входа в пещеру. Я все кидал и кидал, кидал все хуже и хуже. Два позора слились воедино и потекли ручьем. Мне показалось, что все промелькнуло в секунду, но видимо, длилось это долго — внезапно все наши майские деньги исчезли.

Я не расстроился бы так сильно, будь дело только во мне одном. Но рядом стоял он, Георг, за чью жизнь я в ответе, кому, так сказать, заменяю отца, кому я даю наставления, в чью душу стремлюсь вложить высокие помыслы. Пока я просиживал днем в химической лаборатории, где как раз начал работать, в голове чего только ни мелькало, и я говорил себе: надо бы вечером не забыть ему рассказать, уж он-то поймет, откликнется и запомнит. Движимый братской любовью, захватившей все мое существо, я свято верил в те годы, что человек отвечает за каждое слово, что скажи я ему что-нибудь не то, и он тут же пойдет неверной дорожкой, прохлопает жизнь — и вот я сам прохлопал все наши майские деньги, и об этом никому нельзя рассказать, а меньше всего — Суссинам, нашим хозяевам; я опасался, что нас погонят с квартиры.

К счастью, никто из знакомых не присутствовал при моем грехопадении, а Георг мгновенно понял, что нужно держать язык за зубами. В утешение мы сказали друг другу, что будем вести себя по-мужски. Прежде мы обычно столовались днем рядом с Карловым театром[1], в ресторанчике "Бенвенисте", куда нас ввел дед. Что ж, это необязательно. Обойдемся хлебом и йогуртом. А вечером — просто хлебом. Как я добуду денег хотя бы на столь скромное пропитание, я уточнять не стал, потому что и сам не знал.

Должно быть, эта напасть, случившаяся по моей вине, нас и сблизила — даже больше, чем ежевечерние игры в "вопрос-ответ". Весь май мы просидели на голодном пайке. Если б не завтрак, который каждое утро вносила в комнату фрау Суссин, уж не знаю, как бы мы продержались. Томимые волчьим голодом, ждали мы по утрам своего кофе со сливками и свежих булок, по две на каждого. Теперь мы просыпались раньше, раньше заканчивали утренний туалет; она входит с подносом в комнату — а мы уже тут как тут, сидим за квадратным столом. Стараясь не де-

1. Венский музыкальный театр, названный в честь его первого директора, Карла Андреаса фон Бернбрунна, взявшего себе псевдоним Карл Карл. Существовал с 1847-го по 1929-й; в 1944 г. здание было почти полностью разрушено во время бомбардировки.

лать резких движений, которые выдадут нашу жадность, мы сидели, как деревянные, притворяясь, будто зубрим урок. Хозяйка ценила утреннюю беседу, с неизменным "Как вам спалось?"; хорошо еще, избавляла нас от сообщений, как сама спала-почивала.



Зато каждое утро фрау Суссин с неизменной настойчивостью поминала родного брата. Он сидел в белградской тюрьме. "Какой же идеалист!" — неожиданно восклицала хозяйка; вспоминая о брате, она не могла обойтись без этого восклицания. Политических взглядов брата хозяйка не разделяла, но гордилась им — он был дружен с такими людьми, как Анри Барбюс и Ромен Роллан. Брат отличался слабым здоровьем, давно страдал туберкулезом; тюрьма для него — погибель, вот уж кому бы нужно питаться обильно и правильно. Внося в нашу комнату завтрак — кофейник с дымящимся кофе, она вспоминала, чего лишен ее брат, и, естественно, заводила разговор о нем. "Рано он взялся за это дело, еще когда в школе учился. Уже в его возрасте, — она указывала рукой на Георга, — сделался идеалистом. Держал на уроках речи, наказывали его. Учителя-то все были за него, но без наказания разве можно". Хозяйка не одобряла своеволия брата, но ни единого порицания с ее губ ни разу не сорвалось. И ей, и ее незамужней сестре, жившей на той же квартире, много чего пришлось выслушать насчет братниных убеждений. Убеждения эти не нравились ни верным королю сербам, ни добрым австрийцам, и женщины раз навсегда положили себе за правило в политику не вникать, отдав это дело на откуп мужчинам.

Моше Пияде — так звали их брата — с малых лет увидел в себе революционера и литератора. И, судя по именам его французских друзей, кое-чего в этом смысле добился. Тюрьма, а главное, болезнь и недоедание сильно тревожили фрау Суссин. Завтраком, который она вносила к нам в комнату, ей хотелось бы накормить брата, и самое меньшее, что она могла сделать, — это каждое утро вспоминать о нем. Тем самым она растягивала нашу пытку голодом, зато повестью о голодающем брате укрепляла наш дух. Вот он бы, мол, ни за что не признался, что голоден. Еще мальчишкой, живя в родительском доме, Моше Пияде никогда не чувствовал голода — об одних только идеалах и помышлял. Так ее брат стал нашей опорой, и по утрам мы с не меньшим нетерпением, чем кофе со сливками и чудесных булочек, ждали рассказов фрау Суссин. Кроме того, так Георг впервые услышал слово "туберкулез", узнал о болезни, борьба с которой стала впоследствии смыслом его жизни.

По утрам мы с братом вместе выходили из дома. Во дворе, скосив глаз налево, сразу замечали портного Финка — тот давно уж строчил на своей машинке. Это был первый звук, встречавший нас после пробуждения, и последний, провожавший перед отходом ко сну. Вот мы минуем окошко его каморки и киваем ему, молчуну со страдальчески-острыми скулами. Когда я видел, как он сидит, закусив губами свои булавки, мне все чудилось, будто он длинной булавкой проткнул себе щеку и поэтому такой молчаливый. А когда он, бывало, вдруг что-нибудь скажет, я про себя удивлялся: все булавки, даже те, что секунду назад торчали у него изо рта, исчезали неизвестно куда.

А вот и его машинка на подоконнике, с которой он не расстается ни на секунду, — Финк, молодой еще человек, безотлучно сидел в мастерской. Когда я познакомился с ним поближе, уже было лето, окошко стояло открытым, и весь двор оглашало жужжание швейной машинки — ти-

хий аккомпанемент к смеху портновской жены, цветущей черноволосой красавицы, заполнявшей собой всю каморку. Отправляясь к Финку с очередным заказом и стучась в дверь комнатки, где ютилось семейство портного, ты нарочно немного медлил, вслушиваясь под дверью в смех его жены и теша себя надеждой на ее благосклонность. Ясно, что радость, с которой тебя встречают, предназначена не тебе — это ликует ее пышное тело, пропитавшее все вокруг своим ароматом. И аромат, и смех, и — время от времени — окрики, что предназначены трехлетней дочке Камилле, — все сплеталось в одно. Камилла любила играть у порога, прямо под дверью, — ты еще и поэтому никак не решался войти, — и первым делом сквозь смех пробивался возглас: "Камилла, а ну подвинься! Пропусти господина!" "Господин" она говорила всегда, хотя мне не было и девятнадцати, — даже если я уже стоял в комнате, а на пороге вдруг возникала дама. Видя, что входит женщина, она, бывало, оборвет на секунду смех, но "господина" на "даму" не исправит, что меня, впрочем, не удивляло: Финк был мужским портным. Вот он быстро вскинул глаза, во рту зажаты булавки. Огромнейшая булавка проткнула обе щеки, где уж ему говорить, за него говорил этот смех.

## *Карл Краус и Веца*

Нет ничего удивительного в том, что о Карле Краусе и Веце я услышал одновременно: о них я узнал из одного источника — того, откуда в те годы вообще узнавал все новое, — и останься я по приезде в Вену без попечения, ограничься одним университетом, куда мне вскоре предстояло ходить на занятия, едва ли у меня могла бы начаться новая жизнь. Но раз в неделю, в субботу вечером, я отправлялся к Азриэлям[1] — мать и сын жили на улице Гейне, неподалеку от Пратер-штерна, — и узнавал там столько всего нового, что хватило бы на годы вперед: например, абсолютно незнакомые имена, уже одной своей новизной вызывавшие во мне скепсис и недоверие.

Чаще всего в этих стенах раздавалось имя Карл Краус. В сегодняшней Вене, утверждали Азриэли, нет человека масштабнее и строже. Его глаз беспощаден. В своих лекциях он обличает все скверное, все развратное. Он издает журнал, для которого сам же и пишет все тексты. Чужие рукописи не приветствуются — статью он ни у кого не возьмет, ни на одно письмо не ответит. Каждое слово и каждая буква в "Факеле" — детище автора. Здесь он вершит свой суд. Сам обвиняет, сам же и выносит приговор. Защитников нет и не нужно, он столь справедлив, что огульно не обвинит. Ошибки он не допустит, не ошибается никогда. Все его суждения крайне точны, такой точности литература еще не знала. Он самолично выверяет каждую запятую, и тому, кто захочет найти в его "Факеле" опечатку, придется изрядно помучиться. Благоразумней всего — не искать. Еще он против войны: в годы мировой войны ему удалось, несмотря на цензуру, протащить в "Факеле" массу антивоенного материала. Он вскрывал такие злоупотребления, боролся с такой коррупцией, о каких

1. Алиса Азриэль была близкой подругой Матильды Канетти в венские годы. С Хансом, ее сыном, Элиас Канетти интенсивно общался в 1924—1926 гг. В 1936 г. Ханс Азриэль покончил с собой.

бы любой другой помалкивал в тряпочку. Удивительно, как его не упекли за решетку. Он создал драму на восемьсот страниц – "Последние дни человечества", там описано все, что происходило во время войны. Когда он читает отрывки оттуда, сидишь как убитый. Слушатели замирают, даже вздохнуть не решаются. Он сам читает все роли – читает за спекулянтов и генералов, за Алису Шалек[1] и всех горемык, пострадавших во время войны. А голоса такие живые, что всех словно видишь воочию. Кто услышит его хоть раз, тому в театр ходить уже незачем, любой театр по сравнению с ним – скучища, он сам как целый театр, только лучше; и вот это-то чудо света, этот гений и исполин, звался самым что ни на есть обычным именем Карл и носил фамилию Краус.



Я поверил бы чему угодно, если б не это имя: неужели человек с таким именем и фамилией способен на подвиги, какие ему приписывает молва? Но Азриэли с упоением засыпали меня все новыми подробностями и подшучивали над моим недоверием к этому имени, не уставая повторять, что дело не в имени, а в человеке, в противном же случае наша троица – будь то они, будь я, – наделенная столь благозвучными именами, обскакала бы всякого, кто зовется простым незатейливым именем вроде Карл Краус. Ну позвольте, как можно хотя бы в мыслях допустить такую нелепицу, такой смехотворный курьез?

Мне всучили красный журнальчик, но хотя название "Факел" пришлось мне по душе, одолеть все я не смог. Я с трудом продирался сквозь текст, не понимал, в чем суть. Если же что-нибудь вдруг понимал, мне казалось, что автор шутит, а до шуток я был не большой охотник. К тому же речь в журнале все больше велась о местных казусах да об опечатках, то есть о вещах, как мне думалось, донельзя несущественных. "Какой вздор! Как вы можете это читать? По мне, газета и то интересней. Там хоть все ясно, а тут надрываешься, мучишься, и никакого толку!" Искренне негодуя на Азриэлей, я вспомнил, как родитель одного моего приятеля по франкфуртской школе всякий раз, когда я приходил к ним, норовил прочесть что-нибудь из стихов местного поэта Фридриха Штольце[2], а под конец всегда говорил: "Кому такое не нравится – того надо сразу к стенке! Это самый великий поэт, живший на белом свете!" Не без иронии рассказал я об этом мастере франкфуртского наречия обоим своим собеседникам. Я шел напролом, упорно гнул свою линию и наконец привел Азриэлей в такое смущение, что они завели разговор об утонченных дамах, которые не пропускают-де ни одной лекции Крауса, восторгаются им и всегда занимают места в первом ряду, чтобы продемонстрировать лектору свое восхищение. Но уж тут-то Азриэли явно промахнулись: "Утонченные дамы! И все, небось, в меховых манто! Надушенные эстетки! Да как же не стыдно ему выходить на такую публику!"

"Да нет, они вовсе не *такие*! Это дамы высокообразованные! Что же тут плохого? Они каждый намек понимают; он еще фразы не досказал, а они уже догадались, в чем соль. Эти дамы не то что немецкую литературу, они и английскую, и французскую знают чуть ли не наизусть! Чита-

1. Алиса Тереза Эмма Шалек (псевдоним – Пауль Михаэли; 1874–1956) – австрийская журналистка, фотограф, литератор; во время Первой мировой войны была единственной женщиной, ставшей военным корреспондентом, писала патриотические репортажи. Карл Краус вывел ее в своей пьесе "Последние дни человечества".
2. Фридрих Штольце (1816–1891) – франкфуртский поэт, писавший на северонемецком диалекте, сатирик, журналист, издатель журнала "Франкфуртский фонарь".

ют на память Шекспира, не говоря уж о Гёте. Вы даже не представляете, до чего они образованны!"

"А вы-то откуда знаете? Вы разве общались с ними? И вам не противно общаться с такими людьми? Вас не тошнит от их парфюма? Вот я и минуты не стал бы с такой разговаривать. Не смог бы, и все. Да будь она даже писаная красавица, я повернулся бы к ней спиной и только сказал: "Оставьте в покое Шекспира. Наверняка он в гробу уже перевернулся от отвращения. И Гёте тоже не трогайте. 'Фауст' написан не для мартышек".

Но тут Азриэли, предчувствуя вкус победы, дружно вскричали: "Да, но Веца! Знаете, что это за человек? Слыхали о Веце?"

Да, это имя меня пожалуй что удивило. Не желая в том сознаваться, я сразу его полюбил. Оно было похоже на имя моей звезды — Веги в созвездии Лиры — и с одним измененным согласным показалось даже красивее. Но в ответ Азриэлям я только хмыкнул: "А это что за имя? Таких не бывает! Звучит, конечно, и впрямь необычно. Да только все это выдумки".

"А вот и не выдумки. Мы с ней знакомы. Она живет с матерью на Фердинандштрассе. В десяти минутах отсюда. Удивительная особа с испанской внешностью. Очень чуткая, восприимчивая. При ней невозможно сказать пошлость. Прочла больше нас всех, вместе взятых. Знает на память длиннейшие стихотворения по-английски и половину Шекспира в придачу. А еще — Мольера, Флобера, Толстого..." — "И сколько же лет этой умнице?" — "Двадцать семь". — "И она уже столько всего прочла?" — "Ну да, и это еще далеко не все. И читает она, между прочим, с толком. Понимает, почему ей то-то и то-то нравится. Может обосновать. Такая не купится на дешевку". — "Так значит, она и садится в первый ряд?" — "Ну да. Причем приходит на каждую лекцию".

17 апреля 1924 года должна была состояться трехсотая, юбилейная лекция Карла Крауса. Для этой цели отвели Большой зал знаменитого Концертхауса. Мне говорили, что и его не хватит, чтобы вместить всех поклонников. Но Азриэли заранее побеспокоились о билетах и настояли, чтобы я тоже сходил. Что мы всё спорим да спорим о "Факеле"? Будет правильней, если я сам услышу великого человека. Тогда я смогу составить свое суждение. Тут Ханс Азриэль нацепил на лицо снисходительнейшую ухмылку; при мысли, что невесть кто, вчерашний школьник, только-только из Франкфурта, надумал тягаться с самим Карлом Краусом, — при этой мысли не то что Ханс ухмыльнулся, но даже его изящная и проворная матушка не смогла сдержать улыбки, хотя раз за разом и повторяла, как она мне завидует: ведь мне предстоит впервые услышать лекцию Карла Крауса.

В качестве подготовки она снабдила меня подробнейшими советами: пусть, мол, я не пугаюсь бурного одобрения публики; там соберутся не венские обыватели, охотники до оперетт и молодого вина, но и не декадентски-эстетская камарилья а-ля Гофмансталь, — там соберутся подлинные интеллектуалы, все самое лучшее и здоровое, что осталось в этом, казалось бы, опустившемся городе. Меня поразит, как быстро эта аудитория понимает всякий тончайший намек: Краус только начнет предложение, а люди уже смеются, а уж как дойдет до конца, так весь зал взрывается хохотом. Вот кто сумел воспитать свою публику, он вертит людьми, как хочет, — а при этом надо учесть, что люди-то всё обра-

зованные, с университетскими дипломами, с карьерой, ну или хотя бы студенты. Она не видала там ни одного тупого лица; можно долго искать – не найдешь. Для нее всегда величайшее удовольствие – следить по лицам в зале за реакцией на колкие замечания лектора. Она с тяжелым сердцем пропустит эту трехсотую лекцию, но все-таки предпочла бы пойти в Средний зал – там ничего, ничегошеньки не упустишь. В Большом же зале – хотя силы голоса Карлу Краусу не занимать – все-таки что-нибудь да потеряется, а она с такой жадностью внимает каждому слову, что не готова лишиться ни одного. Вот почему она в этот раз уступает мне свой билет; на юбилейную лекцию люди пойдут, скорее, чтобы чествовать юбиляра, но народ туда и так валом валит, и придет она или нет, это, ей-богу, погоды не сделает.

Я знал, как стесненно живут Азриэли, – знал, хотя речи об этом не заходило, ибо слишком много других вещей, умственного порядка, поглощало их внимание. Но они настояли, что хотят меня пригласить, и только поэтому госпожа Азриэль отказалась присутствовать на триумфальном событии.

Зачем они позвали меня на этот вечер, я догадался без подсказки и, как только мы с Хансом уселись в одном из задних рядов, принялся украдкой шарить глазами по залу. То же самое, тоже украдкой, делал и Ханс; мы оба скрывали, кого разыскиваем, а между тем, это было одно и то же лицо. Я забыл, что дама с неординарным именем всегда садится в первый ряд, и хотя не видел ни одного ее портрета, ни одной фотографии, почему-то надеялся вдруг обнаружить ее на соседних креслах. Мне казалось, что я не могу не узнать ее по устному описанию, которым снабдили меня Азриэли: самое длинное стихотворение по-английски из всех, что она читает по памяти, это "Ворон" Эдгара По, и сама она всем своим обликом напоминает ворона – вернее, ворониху, колдовством превращенную в испанку. Ханс Азриэль был слишком возбужден, чтобы понять, почему у меня такой взволнованный вид; он упорно смотрел вперед, контролируя входные двери. Внезапно он вскинулся, на сей раз без тени надменности, скорее смущенно, и воскликнул: "Да вот же она! Секунду назад вошла". – "Где? – спросил я, даже не уточняя, о ком это. – Где?" – "Крайнее левое кресло в первом ряду. Я так и думал, что в первом".

На таком расстоянии я мало что видел, но волосы цвета воронова крыла разглядел, что уже хорошо. Все заранее припасенные иронические замечания я проглотил, отложил на потом. Вскоре затем вышел и сам Карл Краус, встреченный таким шквалом аплодисментов, какого я отродясь не слыхивал ни на одном концерте. Мне, как новому человеку, показалось, будто сам он не замечает овации – только чуть-чуть замешкался и с минуту постоял на сцене, ссутулив плечи. Когда он уселся и заговорил, меня сразил его голос, полный какой-то странной вибрации, будто замедленный вороний грай. Но первое впечатление сразу улетучилось, ибо голос тотчас изменился и менялся потом непрестанно, уже очень скоро ты поражался гигантскому диапазону этого голоса. Зал внимал ему в тишине, теперь напоминавшей тишину на концерте, только вот ожидание воцарилось отнюдь не концертное. С первых секунд и до конца вечера то была тишина перед бурей. Первую же остроту – вообще говоря, всего лишь намек на остроту – предвосхитил такой хохот, что я испугался. Этот хохот был полон восторга, исступления, удоволь-

ствия и угрозы, и разразился он прежде, чем лектор выразил до конца свою мысль. А если б и выразил, я все равно ничего бы не понял, ибо намек относился к чему-то сугубо местному, к чему-то такому, что не просто связано с Веной, но и предполагает интимную близость Крауса с залом, только того и ждущим. Люди смеялись не порознь, а дружно и громко. Пока я наблюдал за одним смеющимся — впереди, чуть левее и наискосок, — вникая в переливы хохота, причины которого не понимал, то же самое слышалось сзади меня, равно как и с соседних кресел, и я не сразу заметил, что и сосед мой Ханс, о котором я между делом почти забыл, смеется точно таким же смехом. Смеющихся всегда было много, и всегда в этом смехе слышался голод. И вскоре я догадался, что люди пришли сюда не для того, чтобы чествовать Карла Крауса, а чтобы насладиться интеллектуальным пиршеством.

Содержания этого первого вечера, этой первой услышанной мною лекции я не помню. Ее заслонила сотня-другая прослушанных позже. Может, я и тогда мало что усвоил, очень уж занимала мое внимание публика, которой я испугался. Его самого я толком не рассмотрел, помню только лицо, заострявшееся к подбородку и до того подвижное, что было трудно уловить черты; лицо пронзительное и странное — как у животного, как у неведомого, небывалого, только что открытого существа. Я растерялся, слыша, как голос Крауса все нарастает и нарастает; зал был очень большой, но этот голос гортанно вибрировал, и дрожь сообщалась всему пространству. Все вокруг — и кресла, и люди, — казалось, не выдерживает напора; я бы не удивился, если бы спинки и ножки кресел погнулись. Как происходит, что набитый до отказа зал повинуется голосу — даже в минуты тишины, — передать не менее трудно, чем описать полет легендарной "Дикой охоты"[1]. Но именно этот образ тут, как мне кажется, уместнее всего. Представьте, что злые духи водворились в некоем зале, и тот, кто заманил их сюда, запер на замок и велел сидеть смирно, после снова и снова взывает к их изначальной природе. Передать, как это совершалось в реальности, с помощью такого образа не удастся, но другого, более удачного, я подобрать не могу, а потому оставляю попытки изобразить Карла Крауса в действии.

Как бы то ни было, в антракте я вышел из зала, и Ханс познакомил меня с той самой дамой, которой была уготована роль главной свидетельницы и которая должна была подтвердить, что все, очевидцем чего я только что стал, — правда. Впрочем, она вела себя очень спокойно и сдержанно — может быть, в первом ряду было легче все это вынести. У нее оказалась изысканная, неповторимая внешность — какую, может, и ожидаешь встретить на персидской миниатюре, но уж никак не в Вене. Высокие дуги бровей и длинные черные ресницы, которыми она виртуозно играла, то замедляя, то убыстряя темп, привели меня в замешательство. Вместо того чтобы смотреть ей в глаза, я все глядел на эти ресницы да удивлялся миниатюрности ее рта.

Она не спрашивает, понравилось ли мне услышанное, сказала она, — не хочет смущать меня понапрасну. "Вы ведь пришли в первый раз", — произнесла она таким тоном, словно она здесь хозяйка, этот зал — ее дом, и со своего постоянного места в первом ряду она угощает публику

1. Легенды о "Дикой охоте" всадников-призраков, сопровождаемых сворой собак, в Средние века были распространены в Германии, Англии, Ирландии, скандинавских странах.

всем, что тут предлагают. Она в лицо узнавала всех посетителей, знала тех, кто приходит всегда, и отметила, не уронив ничьего достоинства, что я — новенький. У меня появилось чувство, будто я здесь по ее приглашению; я преисполнился благодарности за такое радушие и за то, что на меня обратили внимание. Спутник мой, не отличавшийся особым тактом, сказал, поведя плечом в мою сторону: "У него сегодня великий день!" — "Ну, это еще неизвестно, — возразила она. — Поначалу-то очень теряешься". И хотя в каждой ее фразе сквозила насмешливость, я не почувствовал насмешки надо мной, мне было приятно услышать слова, так точно совпавшие с моим внутренним ощущением. Но проницательность ее меня и смущала — равно как и ресницы, которые, будто с намеком на некую тайну, поднимались и опускались сейчас очень плавно и медленно. Вот почему я ответил самой бесхитростной фразой, какую только можно себе представить в таких обстоятельствах: "Еще как теряешься!" Это могло показаться грубостью, но она не обиделась, и я вдруг услышал вопрос: "А вы не швейцарец?"

Ни о чем я так не мечтал, как о том, чтобы быть швейцарцем. После трех франкфуртских лет моя страсть к Швейцарии достигла точки кипения. Я точно знал, что моя собеседница — дочь сефардской еврейки, урожденной Кальдерон, проживающей ныне в третьем браке с престарелым мужем, неким Алтарасом; значит, она не могла не понять по моей фамилии, что я тоже сефард. Почему же тогда она спросила, не тот ли я, кем мне больше всего хочется быть? С какой болью далось мне расставание со Швейцарией, я никому не рассказывал — и уж конечно оберегал эту свою ахиллесову пяту от Азриэлей, которые, несмотря на свойственные им высокомерие и отстраненный взгляд на мир, все же немало гордились (возможно, именно из-за Крауса) своей причастностью к Вене. Получается, что прекрасная Ворониха ни от кого не могла узнать о моем несчастье, и первый же ее вопрос, заданный напрямик, поразил меня в самое сердце. Он задел в моей душе куда более сокровенные струны, чем эта лекция, которая — Веца и тут попала в самую точку — на первых порах привела меня в растерянность. "Нет, к сожалению!" — вздохнул я, давая понять, что я, *увы*, не швейцарец. Тем самым я целиком предался в ее руки. Выдал одним этим вздохом больше, чем знал обо мне — в то время — кто бы то ни было. Похоже, она это поняла; насмешливое выражение исчезло с ее лица, и она сказала: "А вот я хотела бы быть англичанкой". Тут Ханс, как водится, разразился потоком пустых слов, из коих я почерпнул только то, что разбираться в Шекспире можно и не будучи англичанином — да и вообще, что общего у нынешних англичан с великим Шекспиром... Она, казалось, тоже слушала Ханса рассеянно, хотя, как вскоре выяснилось, ничего не пропустила мимо ушей.

"Вам бы надо послушать лекцию Крауса о Шекспире. А в Англии вы бывали?" — "В детстве бывал. Я там два года проучился в школе. Это была моя первая школа". — "Я туда часто езжу к родным. Вы обязательно должны мне рассказать о вашем английском детстве. Навестите меня, и поскорее!"

Светский лоск, кокетливый тон беседы, которой она занимала тех, кто пришел на лекцию, — куда что девалось? Она затронула нечто такое, что близко и дорого ее сердцу, — в обмен на мое признание о том, что дорого моему и чего она так стремительно и легко, но ничуть не обидно коснулась. Когда мы вернулись в зал и Ханс за считаные минуты, ос-

тавшиеся до начала, успел раза два или три торопливо спросить: "Ну, как она вам?", я принял непонимающий вид и только почувствовав, что он вот-вот произнесет ее имя, быстро переспросил, желая опередить: "Кто? Веца?" Но вот уже снова вышел Карл Краус, и грянула буря, и имя моей новой знакомой потонуло в шуме бури.

## Буддист

Я не думаю, что сразу после лекции снова увидел Вецу, а если бы и увидел, толку бы не было — у Ханса открылись все шлюзы. Мутной струей изливалась на меня его болтовня, где не было ничего такого, чем брал за живое только что смолкший оратор: ни самоуверенной страстности, ни гнева, ни презрения. Все слова Ханса пролетали куда-то мимо, словно он разговаривал не с тобой, а с воображаемым собеседником. Ханс обильно уснащал речь такими словечками, как "естественно" и "само собой разумеется", снабжая ими — для усиления — каждую фразу, но именно эти словечки и размывали смысл. Чувствуя незначительность своих суждений, Ханс пытался перевести их в общий план и тем подкрепить. Но Хансовы обобщения были так же беспомощны, как и он сам; беда в том, что собеседник ему не верил. Не то чтобы люди считали его врун — до сочинительства он недотягивал, — просто вместо того чтобы сказать *одно* слово, Ханс городил полсотни, и в таком разжиженном виде от первоначальной мысли мало что оставалось. Ханс любил переспрашивать, повторяя вопросы столь часто и торопливо, что втиснуть ответ было решительно некуда. "Как это?", "Нет уж, увольте!", "Понятное дело!" — приговаривал он, вставляя любимые присказки, наподобие междометий, в свои бесконечные объяснения и, видимо, пытаясь с их помощью придать словам бóльший вес.

Ханс с детства был худосочным, но теперь так отощал, что одежда висела на нем как на вешалке. Увереннее всего он чувствовал себя, когда плавал, и поэтому все время об этом рассказывал. К тому же так называемые "фелоны", о которых речь впереди, терпели его — и, отправляясь купаться в порт Кухелау, брали с собой, хотя он, вообще говоря, не состоял в их союзе. Ханс, впрочем, не состоял ни в одном союзе, он всегда оставался в стороне. Привлекала молодых парней его мать Алиса, любившая следить за словесными поединками "фелонов" и наладившая дело так, что сын на подобных сборищах — по долгу гостеприимства и ради общего интереса — держался в тени. Но Ханс внимательно слушал, с жадностью впитывал каждое слово, и едва противники расходились, турнир проигрывался по новой, на сей раз между Хансом и каким-нибудь близким другом семьи, засидевшимся потому, что мог рассчитывать, как ему думалось, на особое расположение хозяйки. Так всякий диспут и всякая тема мусолились до тех пор, покуда все, что изначально было исполнено жизни и обаяния, не выдыхалось до пресности.

В ту пору Ханс еще не сознавал своих трудностей в общении с людьми. В квартире на улице Гейне вечно толклась молодежь, разыгрывались все новые и новые поединки, подстегиваемые восхищенными взорами госпожи Азриэль — она ловила каждое слово, и ей никогда не бывало скучно. Борцы сидели, пока не надоест, но никто их и не удерживал — всяк появлялся и уходил, когда пожелает. Вот из-за этой-то атмосферы

свободы, которую мастерски создавала сама хозяйка, ощущавшая в ней внутреннюю потребность, и получалось так, что квартира госпожи Азриэль никогда не пустовала. А Ханс, питавшийся чужими идеями, живший сплошным подражательством, был обязан матери тем, что всегда находилось чему подражать, что мощный поток так называемых стимулов и толчков никогда не оскудевал. Но Ханс не понимал, что *приглашают* его в гости неохотно: Алису-то с радостью принимали во всяком доме, где не отдавало мещанским духом, а она своего толкового (как ей казалось) сына уж конечно повсюду брала с собой.

После 17 апреля, и вправду ставшего для меня большим днем, ибо тогда, в том зале в мою жизнь вошли сразу два человека, которым суждено было воцариться в ней надолго, — итак, после 17 апреля начался период притворства, и длился он примерно год. Я мечтал еще раз увидеться с Воронихой, но не показывал виду. Она позвала меня в гости, и Азриэли — что мать, что сын — то и дело об этом напоминали, интересуясь, не желаю ли я откликнуться на приглашение. А поскольку я на их намеки не реагировал и даже вел себя так, будто идти не желаю, оба решили, что я не в меру застенчив, и однажды предложили мне пойти туда вместе. Они у нее, дескать, уже бывали и в следующий раз прихватят меня с собой. Но именно это меня и пугало. Одна мысль о Хансовой болтовне, с которой я, вообще говоря, уже свыкся и которую близко к сердцу не принимал, но которая там, в том доме!.. — одна эта мысль была для меня крайне мучительной, не говоря уж о перспективе подробных расспросов Алисы после визита, как мне понравилось то-то и то-то. В их присутствии я никогда не решусь повести разговор об Англии, при них я ни за что не отважусь вспомнить Швейцарию. А ведь именно это меня прежде всего и манило.

Но Алиса не собиралась лишать себя такой радости, и по субботам, когда я приходил к Азриэлям, всякий раз наступала минута, когда они вежливо, но настойчиво задавали вопрос: "Когда же мы пойдем к Веце?" Меня коробило уже то, что они произносят вслух имя, слишком прекрасное, как мне казалось, чтобы слетать с языка у кого ни попадя. И я спасался тем, что разыгрывал неприязнь к ней, старался не упоминать ее имени, а в мыслях снабжал Вецу не вполне уважительными эпитетами.

В доме Алисы я познакомился с Фредлем Вальдингером, на несколько лет он стал моим идеальным собеседником — лучше и не придумаешь. Хотя наши мнения почти никогда не совпадали, ни до обид, ни до размолвок дело не доходило. Фредль не допускал в разговоре нажима или насилия, а свойственной мне резкости и горячности давал добродушный веселый отпор. В первый раз я увидел его, когда он только вернулся из Палестины, где полгода прожил в кибуце. Он любил еврейские песни, знал их в изрядном количестве, голос имел приятный и пел хорошо. Его не приходилось упрашивать, петь для него было настолько естественно, что он мог затянуть песню посреди разговора, он будто ссылался на песни, использовал их как цитаты.

Все остальные ребята, которых я встретил в этом кружке, кичились знанием высокой литературы — цитируя если не Крауса, то Шопенгауэра или Вейнингера. В моде были пессимизм и ненависть к женскому полу, хотя ни мизантропией, ни неприязнью к дамам никто из них не страдал. Каждый имел подружку, с которой прекрасно ладил и которую брал с собой, отправляясь с друзьями — одного из них звали Фело, вот поче-

му они и прозвали себя *фелонами* — купаться в порт Кухелау, где царил культ силы, здоровья и человеколюбия. Но суровые, хлесткие, презрительные изречения казались молодым людям верхом интеллектуализма. Цитировать афоризмы неточно считалось зазорным; если ты уважаешь других, то изволь принимать словесную форму идей серьезно; такой серьезности требовал главный мэтр этого и всех прочих похожих кружков — Карл Краус. Фредль Вальдингер был знаком с фелонами шапочно, купаться он с ними ездил, но к ярым сторонникам Крауса не принадлежал хотя бы по той причине, что для него не меньшее, а то и большее значение в жизни имело нечто другое.

Его старший брат, поэт Эрнст Вальдингер[1], к тому времени уже успел напечататься; он вернулся с войны с тяжелым ранением, был женат на племяннице Фрейда и дружил с Йозефом Вейнхебером[2], причем дружба их возникла на почве общности эстетических взглядов. Оба поэта придерживались классических образцов, ценили строгую форму. Стихотворение Эрнста, которое можно считать программным, называется "Резчик гемм", так же он озаглавил впоследствии один из своих поэтических сборников. Этому брату Фредль был частично обязан своей духовной свободой. Брата он уважал, но и только — гордиться внешними успехами было не в его правилах. У него не лежала душа ни к деньгам, ни к славе, но ему бы и в голову не пришло презирать публикующегося поэта только за то, что тот постепенно достигает известности. Когда я познакомился с Фредлем, как раз появился сборник Вейнхебера "Лодка в бухте". С этой книгой Фредль не расставался, читал оттуда фрагменты, несколько стихотворений затвердил наизусть. Мне очень нравилось, что он принимает стихи всерьез, в нашем доме к поэзии относились пренебрежительно, из принципа всегда говорили: "стишки". Но Фредль, как я уже сказал, предпочитал цитировать песни, еврейский фольклор.

Запевая песню, он вытягивал руку вперед и держал ее на весу, сложив ладонь горстью, будто что-то протягивает тебе, одновременно прося прощения. Своим смиренным и в то же время уверенным видом напоминал он странствующего монаха, но такого, который пришел не просить подаяния, а одаривать. Чуждый всякой безудержности, Фредль никогда не пел слишком громко, он пленял сердца слушателей наивным обаянием деревенского жителя. Конечно же, он сознавал, что поет хорошо, и как всякий певец себе нравился, но гораздо важнее самолюбования было для него то, что он воспевал: любовь к деревенской жизни, возделывание земли, работа руками, такая понятная и смиренная, но непростая. Он любил рассказывать о своей дружбе с арабами, не делая разницы между арабами и евреями и чураясь сословного высокомерия. Он был силен и крепок, запросто уложил бы на обе лопатки любого сверстника, но я никогда еще не встречал такой голубиной души — его кротость простиралась настолько далеко, что он никогда и ни с кем не соревновался. Ему было все равно, первый он или последний, он ни в одну иерархию не попадал и, кажется, даже не замечал, что иерархии существуют.

1. Эрнст Вальдингер (1896–1970) — австрийский лирик, эссеист, переводчик; в 1938 г. эмигрировал в США. Упоминаемый далее сборник "Резчик гемм" вышел в 1937 г.
2. Йозеф Вейнхебер (1892–1945) — австрийский лирик, автор рассказов, эссеист; был членом НСДАП и покончил с собой при приближении советской армии. Упоминаемый далее поэтический сборник "Лодка в бухте" вышел в 1926 г.

Вместе с Фредлем в мою жизнь вошел буддизм; Фредль и к нему приблизился через поэзию. Однажды он открыл для себя "Песни монахов" и "Песни монахинь" в переводах Карла Ойгена Ноймана[1]. Многие песни он выучил наизусть, бормотал их себе под нос тягучим речитативом, подкупавшим своей необычностью. В этой среде, где превыше всего ценился интеллектуальный спор, всякий раз принимавший вид словесной дуэли между двумя молодыми людьми, а чужому мнению придавали значение лишь в том случае, если его защищали бойко и остроумно; в этой среде, где на научную достоверность никто и не притязал, а во главу угла ставились легкость, эффектность и маневренность *речи*; в этой среде бормотание Фредля — однообразное, никогда не срывавшееся на агрессию или крик, но никогда и не затихавшее до конца — действовало подобно монотонному журчанию неиссякаемого родника.

Впрочем, проборматыванием этих песен, рождавшихся, казалось, из самых глубин его естества, буддизм Фредля не ограничивался. Фредль неплохо знал и само учение. Ему был знаком Палийский канон по переводам Карла Ойгена Ноймана; "Дигха Никая", "Мадджхима Никая", "Дхаммапада", "Самьютта Никая" — Фредль осваивал все, что опубликовано и доступно, и в затевавшихся между нами беседах таким же речитативом цитировал и отрывки из этих текстов.

В моей памяти еще не угасли впечатления от общественной жизни франкфуртских лет. По вечерам я тогда ходил на собрания, слушал ораторов, и все те дебаты, что после выплескивались на улицы, волновали и будоражили мою кровь. Люди самого разного толка — буржуа и рабочие, стар и млад — все они что-то внушали друг другу, да так пылко, с таким упорством, будто мыслить иначе нет никакой возможности, и всякий раз оппонент с не меньшим упорством настаивал на обратном. Из-за ночного времени — я не привык находиться на улице в столь поздний час — мне казалось, что диспут не кончится никогда, он так и будет продолжаться, а про сон все и думать забыли, настолько важно каждому здесь отстоять свою точку зрения.

Но совершенно особенным, ни на что не похожим впечатлением этих франкфуртских лет, впечатлением *одного дня*, стала для меня "масса". Уже давно, примерно через год после приезда во Франкфурт, я однажды увидел, как по улице Цайль движутся колонны рабочих. Это была демонстрация протеста против убийства Вальтера Ратенау[2]. Я остановился на тротуаре; рядом со мной, вероятно, стояли другие, такие же зрители, но их я не помню. Я как сейчас вижу крупных, крепко сбитых мужчин, идущих вслед за вывеской "Фабрики Адлера". Шли они сомкнутыми рядами, с вызовом глядя по сторонам, их возгласы задевали меня за живое, словно адресовались лично мне. По улице проходили все новые демонстранты, в них ощущалось какое-то сходство, причем не столько во внешнем облике, сколько в том, как они себя вели. Колонна казалась бесконечной, я чувствовал излучаемую толпой энергию убежденности, все сильней и

1. Карл Ойген Нойман (1865–1915) — австрийский индолог, переводчик буддийских текстов. Его главный труд — первый полный перевод Палийского канона, опубликованный в 1896–1905 гг. в четырех томах под названием "Речи Гаутамы Будды". "Песни монахов и монахинь" — буддийские песнопения, опубликованные Нойманом в 1899 г.

2. Вальтер Ратенау (1867–1922) — крупный немецкий промышленник и финансист, политический деятель, писатель. В 1922-м — министр иностранных дел Германии; подписал Рапальский договор с Советской Россией. Был убит 24 июня 1922 г. студентами из экстремистской организации "Консул".

сильней. Мне захотелось шагать рядом с ними, и хотя сам я рабочим не был, но выкрики относил на свой счет, как будто я тоже — один из демонстрантов. Каково было тем, кто стоял рядом со мной, не знаю — я их не вижу, как не вижу и чтобы кто-то, сойдя с тротуара, примкнул к процессии; возможно, людей удерживали вывески и щиты с названиями различных объединений участников марша.

Память об этой первой сознательно пережитой мною демонстрации не слабела. Чего я не мог забыть, так это физического притяжения и моего желания шагать рядом с ними, причем вовсе не по убеждению и не в результате взвешенного решения; да и от того, чтобы очертя голову ринуться в толпу, меня тогда удержали отнюдь не сомнения. Когда потом я однажды поддался сходному чувству и в самом деле очутился в толпе, мне показалось, будто это случилось в силу феномена, родственного тому, что известен в физике под названием "гравитация". Но объяснить столь поразительный феномен одной физикой невозможно. Ведь ни до него (когда ты один), ни после (в массе), ты не есть неодушевленный предмет, и потому все, что с тобой происходит в толпе, — этот полный переворот сознания — загадочно и непонятно. Мне захотелось выяснить, что же это такое. Эта загадка не отпускала меня, преследовала в самые плодотворные годы моей жизни, и если даже я под конец сумел в чем-то разобраться, загадочного осталось не меньше.

В Вене я встретил молодых людей, своих сверстников, с которыми было о чем поговорить и которых я с любопытством слушал, когда они делились со мной важнейшими в их жизни переживаниями, но которые также готовы были послушать меня, когда я откровенно рассказывал о своем. Фредль Вальдингер был терпеливей всех; он мог себе это позволить, поскольку сам никакой заразе не поддавался: мой рассказ о том, как я встретился с массой (тогда я это так называл), его скорее развеселил, однако иронизировать он не стал. Меня, как он понял, интересуют опьянение, душевный подъем, обретение новых возможностей восприятия, расширение личности, которая выходит из своих берегов и, находя товарищей по внутреннему настрою, сливается с ними в некую высшую общность. Фредль сомневался в том, что такая высшая общность существует, а главное, сомневался в ценности расширения восприятия на почве одурманенных состояний. Благодаря Будде он понял ничтожность жизни, не высвобождающейся из своих тенет. Цель его состояла в постепенном угасании жизни, в нирване, я же видел в нирване все ту же смерть, и сколько бы он ни оспаривал тождественность нирваны и смерти, сколько бы ни приводил интереснейших контраргументов — наличие в его миропонимании негативного нюанса, почерпнутого из буддизма, оставалось для меня неоспоримым фактом.

В таких беседах наши позиции укреплялись. Взаимовлияние выражалось прежде всего в том, что оба мы обосновывали свои взгляды все убедительней и осторожнее. Он шире осваивал религиозные тексты — уже и в других переводах, не только Ноймана, хотя нойманов-ские переводы по-прежнему любил больше прочих. Углубился в индийскую философию, привлек к делу английские источники, которые с помощью Вецы переводил на немецкий. Я же старался побольше узнать о массе, о которой ему рассказывал. Этим феноменом, столь меня волновавшим, ставшим для меня загадкой загадок, я бы занялся и в том случае, если бы не встретил Фредля. Но без Фредля я, пожалуй, не обратил бы так рано

внимания на индийские религии, неприятные мне умножением смерти в учении о реинкарнации душ. В ходе наших бесед я мучительно сознавал, что против отстаиваемого им сложного учения — одного из самых значительных и глубоких, какие только созданы человечеством, — я могу выдвинуть лишь скудное описание одного-единственного события, которое Фредль называет псевдомистическим. К каким только объяснениям, толкованиям и причинно-следственным связям не прибегает он, когда говорит о своем — а я не способен дать ни одного объяснения тому единственному событию, которое так меня волнует. Упрямство, с каким я отстаивал важность этого феномена — именно в силу его необъяснимости, — верно казалось моему другу недалекостью, а может, даже и глупостью. И он не ошибался; спроси меня кто-нибудь, в каких случаях я бываю особенно неуступчив, я бы сказал: когда меня захватывают события, которые я не могу объяснить. Никому еще не удавалось объяснить мне что-либо исчерпывающим образом — в том числе и мне самому.



## *Последняя поездка по Дунаю. Послание*

В июле 1924 года, отучившись в Вене первый семестр, я поехал на лето в Болгарию. Сестры отца пригласили меня в Софию. Заглядывать по дороге в Рущук, где прошло мое раннее детство, я не собирался: в городишке не осталось никого, кто мог бы меня пригласить. С течением лет наше семейство перебралось в Софию: столица болгарского государства приобретала все бóльшую значимость и незаметно сделалась крупным городом. Поездку затеяли не для того, чтобы вернуться в родные пенаты, а чтобы повидать как можно больше родни. Ну и конечно, самым главным было само путешествие — пароходом вниз по Дунаю.

Старший брат отца, по имени Буко, жил тогда в Вене, в Болгарию его звали дела, и мы поехали вместе. Все оказалось совсем не похоже на те поездки, какие запомнились мне из детства, когда мы добрую часть пути просиживали в каютах, где мать ежедневно жестким гребнем вычесывала у нас вшей: на кораблях царила такая грязища, что не завшиветь было мудрено. Но на сей раз о вшах речь не шла, а каюту я делил с дядей, записным остроумцем — тем самым, что измывался надо мной, когда я был маленьким, одаривая торжественными благословениями. Впрочем, почти все время мы сидели на палубе. Дядя нуждался в публике, чтобы было кому рассказывать анекдоты; началось все с двух-трех знакомых, встреченных на борту, но вскоре вокруг него сбился целый кружок, и он с каменной физиономией — разве что изредка подмигнет одним глазом — плел свои россказни. Репертуар у него был изрядный, но я слушал дядю так часто, что знал все уже наизусть. Серьезной беседы дядюшка не выдерживал. Но возвращаясь в каюту, считал своим долгом снабжать племянника, начинающего студента, житейскими советами. От его советов я скучал еще больше, чем от анекдотов, ибо насколько привычным казалось мне в Буко все, что должно было вызывать восторги и хохот, настолько же раздражали меня его советы.

Он и понятия не имел, что́ творилось в моей душе, его советы могли бы адресоваться кому угодно. Идея *практической пользы* сидела у меня в печенках. Не было ни одного старшего родственника, который не норовил бы порассуждать о практической пользе химии, все они ждали, что

я открою новую, недоступную им территорию. Дальше коммерческого училища никто из них не пошел, а теперь они мало-помалу заметили, что помимо умения вести торговые операции, в чем они изрядно поднаторели, нынче нужны специальные знания научно-технического порядка, а это для них темный лес. Мне предстояло стать семейным специалистом по химии, использовать свои знания для расширения сферы их деловой активности. И в каюте, перед отходом ко сну, все это талдычилось на манер вечерней молитвы, впрочем не очень длинной. Благословение, которым дядя дразнил меня (и так часто обманывал) в детстве; благословение, к которому я относился настолько серьезно, что каждый раз с трепетом и надеждой вставал под его ладонь; благословение, по которому я буквально томился, такой красивой казалась начальная фраза: "Io ti bendigo..."[1] — это благословение, которого я давно уже не хотел, которое обернулось проклятьем деда и внезапной смертью отца, на сей раз было вполне серьезным: *мне* суждено принести удачу в семью, умножив ее благосостояние с помощью современной "европейской" учености нового толка. Но тут дядя ставил точку: ведь перед тем как забыться в объятьях Морфея, ему хотелось успеть рассказать еще два или три анекдота. А утром чуть свет его опять тянуло на палубу, к публике.

Пароход был забит до отказа, народу на палубе уйма, кто сидит, кто разлегся, — и мне нравилось пробираться в толпе, ловя обрывки чужих разговоров. Вот студенты-болгары, которые едут домой на каникулы, а вот бывалые люди: к примеру, группа врачей, возвращающихся "из Европы", где они пополняли свои знания. Один из них, человек с черной окладистой бородой, показался мне смутно знакомым — ну еще бы, он же присутствовал при моем рождении, это рущукский доктор Менахемов, который лечил всю нашу семью, чье имя не сходило у всех нас с языка, которого все любили и которого я в последний раз видел, когда мне не было и шести лет! Как ко всему, что напоминало о том "варварском" балканском периоде, я относился к нему не вполне серьезно и только теперь с удивлением понял — мы вскоре затеяли разговор, — сколько он всего знает, скольким интересуется. Он следил за научным прогрессом, причем не только в своей профессиональной области. Он умел полемизировать, вникал во все частности, не отвергал с порога мои рассуждения только из-за того, что его собеседник — юнец девятнадцати лет; слово "деньги" не возникло в наших беседах *ни разу*.

Он иногда обо мне вспоминал, сказал доктор, и всегда был уверен, что после внезапной смерти отца, так и оставшейся непроясненной, я могу пойти *только* на медицинский, ведь эта загадка, конечно же, будет занимать меня до скончания моих дней. И пусть даже найти отгадку никогда не удастся, все равно это мощный стимул, источник особого рода, и я, посвятив себя медицине, наверняка открою для науки какие-то важные вещи. Он сам видел, как отец спас мне жизнь, вовремя вернувшись из Англии, когда я упал в кипяток и получил тот страшный ожог. Я вдвойне обязан ему жизнью; полтора года спустя, в Манчестере, я не мог избавить его от смерти, но я перед ним в долгу и должен отдать этот долг, спасая жизни других людей. Все это было сказано просто, без пафоса и напыщенных слов, но слово "жизнь" говорилось с такой интонацией, словно речь шла о чем-то не просто очень дорогом, но и до крайности

1. Благословляю тебя (*ладино*).

*редком*, что на фоне огромной толпы, заполнившей палубу, звучало немножко странно.

Мне было перед ним стыдно, особенно за двойную логику, какой я оправдывал для себя свое нелепое обращение к химии. Но в этом я не признался — счел недостойным. Я завел разговор о том, что хочу узнать все, что доступно познанию. Тогда он прервал меня и, указывая на звезды — над палубой уже опустилась ночь, — спросил: "А названия звезд ты знаешь?" И мы стали показывать друг другу созвездия: сперва я показал ему Вегу в созвездии Лиры, ведь он первый меня спросил, а потом он мне — Денеб в созвездии Лебедя, ведь и он не просто так спрашивал. Так мы проштудировали все ночное небо, понятия не имея, что в следующий момент взбредет на ум собеседнику. Когда вскоре, не пропустив ни одного созвездия, мы все-таки исчерпали карту звездного неба — в таком дуэте я еще никогда не пел, — он вдруг спросил: "А знаешь, сколько людей тем временем умерло?", имея в виду то короткое время, что потребовалось для перечисления звезд. Я не ответил, да и он не назвал точной цифры. "Нет, не знаешь. Какое тебе до этого дело. А вот врач, он знает. Ему это не все равно".

Когда я только его увидел — еще не успело стемнеть, — он сидел в окружении нескольких человек, занятых оживленной беседой, а неподалеку студенческая компания громко и с чувством распевала болгарские песни. Попутчик мой еще в Вене сказал мне, что с нами на пароходе поплывет и доктор Менахемов; то-то он будет рад после столь долгого перерыва — прошло как-никак тринадцать лет, — снова меня повидать. Потом я об этом забыл, и вот вдруг вижу черную бороду. — Как же я ненавидел все это время такую же черную бороду![1] Возможно, остаток той прежней эмоции и привел меня к этой, другой бороде. Я сразу понял, что это — он, что это борода доктора, растерянно на нее уставился, доктор же оборвал предложение на полуслове — разговор был в самом разгаре — и сказал: "А вот и ты! Я слышал, что ты тут. Только вот не узнал тебя. Да и как узнаешь. Тебе ведь и шести еще не было, когда я в последний раз тебя видел".

Он куда больше меня жил минувшим. На рущукский период я оглядывался не без высокомерия, то было время, когда я еще не умел читать. От людей, которые постоянно живут в Рущуке и вдруг попадаются мне на глаза здесь, "в Европе", я ничего особенного не ждал. Он же, прочно засевший там, следил за судьбой своих пациентов и от всех, кто выбрался из городка в раннем детстве, ждал выдающихся достижений. Он знал о проклятии деда перед нашим отъездом в Англию — об этом судачил весь город, — но гордость ученого человека не позволяла ему поверить в силу проклятия. Скоропостижная смерть моего отца была для него загадкой, и поскольку разгадать ее вовремя не смогли, ему казалось само собой разумеющимся, что я отдам свою жизнь решению точно таких же или похожих загадок.

"А ты еще помнишь то ощущение боли?" — спросил он, мысленно возвращаясь к давнишнему несчастному случаю, когда я — ребенком — упал в кипяток. "У тебя тогда вся кожа сошла. Только голова не попала в воду. А водичка была дунайская — ты, небось, и не знаешь. И вот мы мир-

1. Имеется в виду поклонник матери — персонаж, возникающий на страницах "Спасенного языка".

но плывем по той самой реке..." – "Нет, не по той! – возразил я ему. – Река не бывает одной и той же. Нет, ощущения боли не помню, зато помню, как вернулся отец".

"Это было чудо, – сказал доктор Менахемов, – его возвращение спасло тебе жизнь. Вот так и рождается врач с большой буквы. С кем в раннем детстве стряслось такое – тому быть врачом. На роду написано. Потому твоя мать сразу после смерти отца и отправилась с вами, ребятами, в Вену. Понимала, что там ты найдешь тех великих учителей, какие тебе нужны. Что бы мы делали без венской медицинской школы! Она всегда была умницей, твоя матушка. Хворает она, говорят. Ничего, ты о ней позаботишься. Самый лучший врач у нее будет прямо под боком – ее родной сын. Смотри, не тяни с учебой; выбирай себе область, да только не слишком узкую".

И вот он стоял и давал подробные советы, как мне учиться. Ни на какие мои возражения – впрочем, весьма робкие – он, если дело касалось учебы, не реагировал. Мы говорили о многом, и на все *прочее* он откликался, на все давал умные, продуманные ответы. Он казался гибким и мудрым, полным забот и чаяний, и не сразу я догадался, что есть нечто такое, чего он не понял и никогда не поймет. Он не мог поверить, что мне не судьба быть врачом, – в конце концов первый семестр еще ничего не решал. До чего же мне было стыдно, что я бросил попытки открыть ему правду и избегаю неловкой темы. А может быть, я и дрогнул. Когда на вопрос, как поживают братья, я по привычке принялся рассказывать только о младшем, отмечая его одаренность с такой гордостью, будто он был моим сыном, доктор спросил, на кого брат пойдет учиться. Я с облегчением выпалил: "На врача!", ибо это и вправду было решено. "Двое братьев – двое врачей! – улыбнулся он. – А почему же не трое?" Но тут он пошутил, и объяснять, почему третий брат для этого не пригоден, мне уже не пришлось.

Однако в моем призвании у него сомнений не было. За время поездки мы еще несколько раз столкнулись на палубе. Он представлял меня каким-то своим коллегам, сдержанно поясняя: "Перед вами будущее светило венской медицинской школы". И получалось это у него не хвастливо-надуманно, а совершенно естественно. Рубануть сплеча суровую правду казалось мне все трудней. Он ведь так много говорил об отце, своими глазами видел, как тот вернулся, чтобы меня вылечить, и опровергать его ожидания у меня язык бы не повернулся.

Это была чудесная поездка, я увидел массу людей и со многими поговорил. Группа немецких геологов рассматривала структуру Железных ворот[1] и в мало понятных мне выражениях обсуждала увиденное. Какой-то американский историк силился растолковать своему семейству походы Траяна. Он был на пути в Византию, составлявшую предмет его научной работы, но слушала его только жена, в то время как две дочери, прехорошенькие особы, предпочитали студенческую компанию. Я немножко поболтал с ними по-английски. Они жаловались на папеньку: он живет только прошлым, а им, молодым, хочется жить сейчас. Говорили они так искренне, что ты тут же им верил. Крестьяне вносили на борт корзины с фруктами и овощами. Один грузчик втащил на себе пи-

1. Железные ворота – самое узкое место Дуная, стиснутого Карпатскими горами.

анино: поднялся с ним по широкому трапу и поставил на палубу. Низкорослый, с бычьим загривком, он весь так и пружинил мускулами, но я до сих пор не понимаю, как он справился в одиночку.

В городе Лом-Паланка мы с Буко сошли на берег. Здесь нам предстояло переночевать, а наутро сесть в поезд, который перевезет нас через Балканы в Софию. Доктор Менахемов остался на пароходе: он возвращался в Рущук. Когда я, терзаемый угрызениями совести, прощался с ним, он сказал: "Смотри не забудь, чего я от тебя жду!" А потом вдруг добавил: "И никому не давай сбить себя с толку! Слышишь? Никому!" Это произвело на меня большее впечатление, чем все сказанное им прежде, ибо звучало как заповедь. У меня отлегло от сердца.

Всю ночь я без сна ворочался на кишащей клопами кровати в ломской гостинице и думал о смысле этой последней фразы. Получается, он все же понял, что я отрекся. Понял, однако слукавил. Мне было стыдно, что я лицемерю, что отказался от мысли разъяснить ему, не обинуясь, всю правду. Но ведь *он* тоже хитрил. Притворялся, будто не понимает истинного положения дел. Не дожидаясь рассвета, я спустился к Буко, который в своем клоповнике тоже не мог заснуть, и спросил его: "Что ты сказал доктору? Говорил, на каком я факультете?" — "Ну да, говорил, на химическом. А разве не так?" Стало быть, доктор и вправду все знал и попытался вернуть меня на путь истинный. Он единственный сделал то, что сделал бы мой отец. Предоставил мне свободу выбора. Свидетель того, что возникло когда-то между мной и отцом, он сберег это в памяти, он единственный. Появился на корабле, который снова вез меня в ту страну, и передал послание, на что, в глазах всего мира, не имел никакого права. Добился он этого хитростью, закрыв глаза на все, что уже случилось. Ему было важно не исказить послание, передать его дословно. Душевного состояния, в котором я тогда пребывал, он во внимание не принял.

## *Оратор*

В Софии я первые три недели жил у тети Рахели, младшей сестры отца. Из всех его сестер и братьев эта была самая милая: осанистая красавица, высокая и статная, с добрым веселым нравом. У нее было два лика — смеющийся и упорствующий: свои мысли Рахель всегда отстаивала со страстью и пылом, но так или иначе, ты видел, что все это — не корысти ради, а только из убеждения. У нее был муж, степенный пожилой господин, почитаемый всеми за справедливость, а также три сына; младшему исполнилось восемь; подобно мне, он носил имя деда. Жизнь в этой квартире била ключом, повсюду царили веселье и смех, через все комнаты неслась разноголосая перекличка, спрятаться было негде, и тому, кто соскучился по тишине, оставалось только выскочить на улицу и уж скорее там, а не дома, обрести вожделенный покой. А как обстояло дело с супругом и отцом семейства, главным человеком в доме, — это оставалось загадкой. Он почти все время молчал, открывал рот лишь для того, чтобы вынести вердикт, причем окончательный. "Да" или "нет" говорится таким ровным голосом, что трудно расслышать слова. Когда он хочет что-то сказать, все затихает, хотя никто не призывает к тишине. Вот на секунду, такую короткую, что даже страшно, воцарилась мо-

гильная тишина, и он вполголоса, еле слышно, в немногих буднично-серых словах, произносит свой приговор, решение. И сразу затем — привычная кутерьма; даже трудно сказать, от чего больше шуму — от возни ли мальчишек или от звучных требований, внушений, вопросов матери.

Такое было мне внове. У мальчишек все упиралось в физическую активность, о книгах и речи не заходило, иное дело — о спорте. Неугомонные крепыши, они не могли усидеть на месте и без конца обрушивали друг на друга удары или пинались. Родитель их, человек совершенно иного склада, эту избыточность физической жизни, похоже, приветствовал и поощрял. Я все ждал, что он крикнет: "Ya basta!" — "Довольно!", и когда кутерьма нарастала, начинал поглядывать в его сторону. Он подмечал мои взгляды, он примечал все и конечно же понимал, чего я от него жду, но хранил молчание, а кутерьма продолжалась, замирая лишь ненадолго, когда все трое ребят выкатывались на улицу.

За таким поощрением шумной витальности скрывался продуманный метод. Семье предстоял отъезд. Вместе со многими другими они собирались в ближайшие же недели покинуть страну и город. Заветной целью была объявлена Палестина, как тогда называли эту землю, и мои родственники относились к числу самых первых отъезжающих, слыли первопроходцами, в чем вполне отдавали себе отчет. Вся сефардская община в Софии, да и не только в Софии, во всей стране, ступила на путь сионизма. В Болгарии евреям жилось неплохо, их не преследовали, здесь не было ни гетто, ни угнетающей бедности; зато здесь нашлись ораторы, сумевшие разжечь из искры костер, вновь и вновь призывая людей к возвращению в Землю Обетованную. Но воздействие их речей было примечательным не только в этом смысле; ораторы, между прочим, критиковали сепаратистскую спесь сефардских евреев: говорили, что все евреи равны, всякое обособление достойно презрения, да и в новейшей истории уж никак не сефарды отличились полезными для человечества достижениями. Наоборот, сефарды давно пребывают — духовно — во власти сна, им пора пробудиться, слезть наконец-то со своего конька и отбросить необоснованное высокомерие...

Самым пламенным оратором, истинным чудотворцем, прослыл здесь некто Бернард Ардитти, один из моих кузенов. Он был старшим сыном известного рущукского сутяги Йозефа — того самого, что каждого члена семьи обвинял в воровстве и упивался судебными тяжбами, — и прекрасной Беллины, будто сошедшей с полотен Тициана и денно и нощно озабоченной мыслями о подарках, которыми можно порадовать ближнего. Бернард стал адвокатом, но душа у него к адвокатскому ремеслу не лежала: отцовская страсть к статьям и параграфам, как видно, отбила у сына охоту заниматься подобными вещами. Он смолоду увлекся сионизмом и, открыв в себе дар красноречия, поставил свой талант на службу любимому делу. На момент моего приезда в Софию о нем говорил весь город. Люди тысячами приходили его послушать, крупнейшая синагога еле вмещала желающих. Меня поздравляли с таким кузеном, выражали сочувствие, что мне не придется его услышать: на те несколько недель, что я собирался пробыть в Софии, не выпадало ни одного собрания. Весь город только о нем и твердил; я познакомился с уймой людей, и никто в этом смысле не представлял исключения, их всех будто подхватило огромной волной и бросило в море, частицей которого они стали. Я не встретил ни одного оппонента Бернарда, он обращался к своим слу-

шателям по-испански и бичевал их за высокомерие, родившееся на почве этого языка. Говорил он на *старом* испанском, и я с изумлением обнаружил, что с помощью этого, как мне казалось, захиревшего, кухонно-детского наречия тоже, оказывается, можно говорить на отвлеченные темы, зажигая сердца такой страстью, что люди всерьез решают все бросить, покинуть страну, где жили многие поколения их предков, где они равные среди равных, где их уважают, где им прекрасно живется, и все это ради того, чтобы переселиться в неведомую страну, которая была обещана им тысячелетия назад, но сегодня им не принадлежит.



Я приехал в самый критический момент. Неудивительно, что при таком положении дел свободной постели для меня не нашлось, одному из сыновей пришлось уступить мне кровать и ночевать у соседей. Тем примечательнее радушие, с каким меня принимали. В квартире все было перевернуто вверх дном, семья паковала вещи, и к суматохе, которая царила здесь постоянно, добавилась новая, предотъездного свойства. Я слышал фамилии разных других семей, у которых все обстояло очень похоже. Уезжала целая группа, это была первая масштабная акция такого рода, и редко в доме говорили о чем-либо, кроме отъезда.

Выходя на улицу, чтобы побродить по Софии или хотя бы передохнуть от шума, я нередко встречал того самого Бернарда, моего кузена, кто своими речами если и не спровоцировал все это, то уж точно дал главный толчок готовящемуся массовому отъезду. Полноватый, приземистый, с кустистыми бровями, лет на десять старше меня, но по-юношески живой, Бернард, в отличие от своего отца, ни о чем личном не говорил, а по-немецки изъяснялся с такой уверенностью, так бегло, словно это родной для него язык, причем каждое слово звучало незыблемым постулатом, оставаясь вместе с тем пламенным и текучим, как незастывающая лава. От всех возражений, которые я вставлял скорее из молодечества, он умел отшутиться, смеялся же добродушно и совсем не обидно; казалось, он извиняется этим смехом за свои упражнения в политических дебатах.

Мне нравилось в нем его полное равнодушие к материальным благам. Рутинная работа его увлекала мало, скорей угнетала, и он не старался найти себе прибыльное дело. Шагая с ним рядом по чистым широким софийским улицам, ты думал: чем же он перебивается? Ясно, что этому человеку необходима пища особого рода: он живет тем, что насыщает душу и ум. Быть может, сила воздействия его слов на людей как раз и объяснялась тем, что он ничего не "спрямлял" и не искажал ради собственной сиюминутной выгоды. Ему верили потому, что для себя он ничего не хотел, а он себе верил, потому что не тратил время на мысли об обладании чем-либо.

Ему я признался, что даже и не думаю становиться химиком. Учусь я только для видимости, а между тем готовлю себя к совершенно другому.

— Но зачем же притворяться? — возразил он. — У тебя ведь очень толковая мать.

— Она поддалась влиянию заурядных личностей. В Арозе, пока болела, встретила разных людей, которые, что называется, "устроились" и добились успеха. Теперь ей нужно, чтобы я тоже "устроился", причем не по-своему, а чтобы все было как у тех.

— Будь начеку! — сказал он и вдруг посмотрел на меня очень серьезно, так, словно впервые узрел во мне *личность*. — Будь начеку! Иначе по-

гибнешь. Знаю я эту породу. Мой отец тоже хотел, чтобы я продолжил все его тяжбы.

На этом он остановился, слишком частное было дело, чтобы надолго его занять. Но я понял, что он на моей стороне, и только когда я сказал, что собираюсь писать по-немецки, именно по-немецки, он неодобрительно покачал головой: "Зачем по-немецки? Лучше учи иврит! Вот наш язык. Неужели ты думаешь, что есть язык прекрасней иврита?"

Мне нравилось встречаться с Бернардом, ибо ему, счастливцу, удавалось избегать темы денег. Зарабатывал он кое-как, но в городе не было человека более уважаемого: из всех смиренных рабов торговли (к которым по большей части относилась и наша семья) никто ему не пенял. Он умел заряжать сердца надеждой, а в ней человек нуждается больше, чем в богатстве и банальном везении. Я чувствовал, что он хочет завоевать меня, только не грубо, не напролом, не какой-нибудь пламенной речью на многолюдном сборище, а с глазу на глаз; похоже, он думал, что я способен принести его делу не меньшую пользу, чем он сам. Я спросил, каково у него на душе, когда он произносит речь, помнит ли он себя, не боится ли потеряться в восторженной массе.

— Нет, не боюсь! — сказал он решительно. — Чем в большем они восторге, тем острее я ощущаю себя самим собой. Люди в твоих руках, как мягкое тесто, делай с ними, что хочешь. Их можно подбить на поджог — и они подожгут свой дом. Такая власть безгранична. Попробуй! Стоит лишь захотеть. *Ты* не злоупотребишь этой властью! *Ты* пустишь ее, как и я, на благое дело. На наше дело!

— Однажды я видел массу, — сказал я. — Во Франкфурте. Я сам тогда был как тесто. Забыть этого не могу. Я хочу знать, что это такое. Хочу понять.

— А тут нечего понимать. Повсюду одно и то же. Ты или капля, которая растворится в массе, или тот, кто сумеет придать массе направление. Третьего не дано.

Думать о том, *что* есть масса, казалось ему досужим занятием. Массу он принимал как данность, как нечто такое, что можно создать для достижения неких целей. Но неужели всякий, кому дано уменье ее создавать, имеет на это право?

— Нет, не всякий! — отчеканил он. — Только тот, кто употребит свой дар на правое дело.

— А как он узнает, что его дело — правое?

— Почувствует, — ответил Бернард. — Вот тут! — И он несколько раз с силой ударил себя в грудь. — А кто не чувствует, тот и не сможет!

— Значит, все дело в том, что кто-то верит в свою правоту. А как же его противник? Вдруг он верит в другое?

Я сказал это нерешительно, прощупывая почву, не желая ни критиковать Бернарда, ни смущать. Да у меня бы и не получилось, слишком он был уверен в себе, я только хотел подойти к чему-то такому, что смутно предчувствовал, что после тех франкфуртских переживаний сильно меня занимало, но ускользало от понимания. Ведь и меня тогда *подхватила* масса; среди нее ты был как в дурмане, терял, забывал себя, тебя и распирало, и переполняло, ты это чувствовал, но что бы ты там ни чувствовал, ты выходил за свои пределы, и трудно себе помыслить бóльшую самоотдачу; когда же тебя со всех сторон попрекают твоим эгоизмом, тыча им в глаза и даже в конце концов *угрожая*, — такой опыт гремучей самоотдачи

нужен, как громогласные трубы Страшного суда, и ты боишься принизить, обесценить его. Ты понимал, что себе не принадлежишь, что ты несвободен, с тобой творилась какая-то жуть — наполовину экстаз, наполовину столбняк; разве то и другое бывает вместе? Что это все означает?



Нет, я, конечно, не ждал от Бернарда, на самом пике его ораторской славы, ответа на свой пока еще даже не сформулированный толком вопрос. Я и восхищался им, и противился его влиянию. Стать сподвижником Бернарда было для меня недостаточно. Тогда много кто звал в сподвижники, и выступали ораторы под самыми разными знаменами. В сущности (правда, себе я в этом не признавался), я просто приглядывался к нему — как к человеку, который умеет пробуждать в людях чувство сопричастности к массе.

После таких встреч я возвращался домой, к Рахели, и там все кипело волнением, какое он не первый год поддерживал своими речами и в этой семье, и во многих других. Три недели был я свидетелем их предотъездного состояния. А на вокзале, в день отъезда, наблюдал его кульминацию. Сотни людей пришли проводить своих близких. Переселенцев, заполонивших вагоны целыми семьями, осыпáли цветами и добрыми пожеланиями; люди пели, благословляли, плакали; казалось, вокзал нарочно построили для этого расставания и его только-только хватает, чтобы вместить весь накал страстей. Детей поднимали к окнам вагонов, а старики на перронах, особенно женщины, стояли, будто вросли в землю, не различая от слез, чьи это детишки, и махали рукой чужим. Все они — внуки; в том-то и дело: внуки уедут, а старики останутся, так оно (не совсем верно) казалось в момент отъезда. Весь вокзал был сплошной надеждой и ожиданием; может, ради этой надежды, ради этой минуты и были нужны внуки.

Оратор тоже пришел на вокзал и покидать его не спешил. "У меня еще много дел, — говорил он. — Я пока не могу уйти. Я должен подбадривать тех, кто робеет". Он держался в тени, вперед не высовывался и, казалось, вообще предпочел бы прийти инкогнито, незамеченным, в шапке-невидимке. С ним то и дело здоровались, на него ссылались, и кажется, это его сердило. Но потом его попросили сказать несколько слов, и после первой же фразы он стал другим человеком — пламенным и уверенным; по ходу собственной речи он весь расцвел: легко находил напутствия, необходимые людям, и бросал их в толпу.

От тети Рахели, чья квартира теперь стояла пустой и заброшенной, я перебрался к Софии, старшей сестре отца. После суеты последних недель все здесь казалось пресным и приглушенным, здесь как будто не доверяли никаким затеям, выходящим за рамки будничной жизни. Может, здесь и разделяли чувства переселенцев, но разговоров о них не заводили, воодушевляться предпочитали по праздникам, а в будни делали то же, что и всегда. В этом доме царило вечное повторение, раз и навсегда заведенный порядок, памятный мне по первым годам жизни, но теперь потерявший для меня всякий смысл — ведь от него мы и убежали в Англию, а то страшное, что случилось в Манчестере, наглухо затворило ворота в детство. Я слышал домовитое воркование Софии, большой мастерицы по части диет и клистиров, женщины ласковой и заботливой, но не умеющей рассказать связно ни одной истории; я слышал ее здравомыслящего супруга, из которого слова не выжмешь, и здравомыслящего старшего сына, который, несмотря на обилие слов, может сказать

не больше, чем его родитель; и наконец — главное разочарование — я слышал тетину дочь Лаурику, подружку моего детства, которую я в пятилетнем возрасте хотел зарубить топором.

Все в ней уже было не то, даже пропорции: она мне запомнилась *дылдой*, на голову выше меня, а теперь была маленькой, худенькой и кокетливой, все помыслы — о женихах да замужестве. Куда подевалась ее опасная бесшабашность, куда сгинули исписанные тетрадки, предмет моей зависти? Она теперь о них и знать ничего не знала, читать разучилась, не помнила ни топора, с которым я на нее пошел, ни собственных воплей. Мол, в кипяток она меня не толкала, я туда сам свалился, и в постели потом много недель не лежал, "просто чуть-чуть обжегся"; а когда я, решив, что она забыла лишь то, что относится к ней самой, заговорил о проклятии деда, она залилась звонким смехом, как камеристка на опереточной сцене: "Проклял?! Отец проклял сына? Так не бывает, ты сочиняешь. Это все сказки, терпеть не могу!"; когда же я возразил, что нет, в Вене я сотни раз наблюдал стычки между дедом и матерью: речь заходила о том проклятии, и дед в ярости выбегал из дому, не попрощавшись, а мать потом часами рыдала в нервном припадке, — она все отмела насмешливым "Сочиняешь!"

Я мог говорить что угодно, и все как об стенку горох: мол, ничего страшного не было, страшного не бывает; и тогда я, пусть с неохотой, но рассказал ей, как встретил на пароходе нашего доктора. Мы с ним проговорили много часов, он все прекрасно помнит. У него все так ясно стоит перед глазами, как будто случилось вчера. А надо сказать, что в Рущуке доктор Менахемов их семью тоже лечил, Лаурика была с ним знакома лучше меня, до переезда в Софию она никуда оттуда не выезжала. Но она и тут быстро нашлась: "Провинциалы, известное дело. Старомодные люди. Вечно насочиняют невесть что. Думать-то больше не о чем, вот и верят во всякую чушь. Ты сам упал в воду. Да и не так уж сильно ты обварился. И отец твой из Манчестера не приезжал. В такую-то даль! Поезда, знаешь, и тогда недешево стоили. Отец твой в Рущук не возвращался. Как же дедушка мог его проклясть? А доктор Менахемов ничего не знает. О таких вещах могут знать только домашние".

"А как же твоя мать?" Накануне мать Лаурики вспоминала, как выхватила меня из кипятка, раздела, и вместе с одеждой сошла вся кожа. "Мама сейчас все путает, — сказала Лаурика. — Это от старости. Только ничего ей не говори".

Меня разозлили ее упрямство и ограниченность. Ей всё трын-трава, кроме главного: найти наконец-то парня и выйти замуж. Лаурике исполнилось двадцать три, и она опасалась, что ее принимают за старую деву. Она осаждала меня мольбами сказать по-честному: как мне кажется, она еще может кому-то понравиться? В девятнадцать-то лет я должен бы разбираться в подобных чувствах. Хочется мне ее поцеловать? А сегодняшняя прическа — лучше, чем вчерашняя? Не кажется ли она, Лаурика, худой? Она изящная, это да, но ведь не худая! Умею ли я танцевать? Танцы — лучший способ понравиться. Одной подружке во время танца пообещали жениться. Правда, парень потом сказал, что это не считается — ему, мол, так показалось, пока танцевали. Как я думаю, может ли и с ней такое случиться?

Я ничего не думал, ни на один вопрос ответа не знал, и чем быстрей они сыпались на меня, тем больше артачился. Нет, я в таких чувствах не

разбираюсь, хотя мне уже девятнадцать. И вообще не знаю, нравится ли мне кто-нибудь. Как поймешь? Все женщины дурочки, о чем с ними говорить. Все они вроде нее, у всех память куриная. Разве может понравиться человек, у которого куриная память? А прическа у нее всегда одинаковая; ну да, она худая, а разве нельзя быть худой? Танцевать — нет уж, увольте! Во Франкфурте раз попробовал и только ноги барышне оттоптал. А парень, который во время танца обещает жениться, он просто кретин. Только кретины так делают.



Я довел ее до отчаянья и тем самым привел в чувство. Добиваясь ответов, она начала вспоминать. Много не вспомнила, но оказалось, что занесенный топор она живо помнит, он часто снится ей по ночам; в последний раз это было, когда сорвалась помолвка ее подружки.

## В *тесноте*

В начале сентября мы переехали на квартиру к фрау Ольге Ринг[1] — очень красивой женщине с римским профилем, не принимавшей никаких услуг задарма. Муж ее давно умер, их взаимная любовь стала среди знакомых почти что легендой, однако до культа мертвых фрау Ольга не опускалась — хотя бы уже потому, что ничем не была обязана покойному. Она не боялась думать о нем, никогда не искажала его образ и всегда оставалась собой. К ней многие сватались, но она так и не дрогнула, хотя до самой своей страшной кончины не утратила красоты.

Бóльшую часть года фрау Ольга проводила в Белграде у замужней дочери. В венской квартире, где со смерти мужа все стояло нетронутым — точнее сказать, на задворках квартиры, — прозябал в невзрачной каморке ее сын по прозвищу Джонни; он работал тапером в баре, и все их семейство, за исключением матери и его самого, видело в нем весьма незадачливое создание. Джонни тоже был недурен собой, очень похож на мать, но при этом совсем другой — вся красота скрылась под слоем жира. Иногда даже удивляло, что он носит мужское платье, его не раз принимали за даму. Хитрая продувная бестия, он брал без разбору все, что дадут, рука так и тянулась схватить подачку. Он полагал, что раз он неплохо играет на пианино, то ему причитается, да еще и немало. Публика в баре его обожала, он играл как самые ходовые, так и давно позабытые шлягеры; отыграв какую-то вещь хоть раз, этот ходячий реестр ночной музыки запоминал ее навсегда. Днем он отсыпался в своей каморке, куда еле-еле помещалась одна кровать. Остальное пространство квартиры, обставленной буржуазно-громоздкой мебелью, сдавалось внаем.

На какое-то время мать поручила ему брать с жильцов плату и, вычтя некую сумму, остаток пересылать ей в Белград. На словах все было именно так, а на деле эти вычеты съедали всё, и мать сидела без денег. Она только и получала, что непогашенные счета, и не зная, как поступить — кроме венской квартиры от счастливого брака ничего не осталось, — решила придумать что-нибудь получше. Тогда ее племянница Веца взялась находить жильцов и ежемесячно брать с них деньги; она следила за всей бухгалтерией, а Джонни выдавала только остаток, если

1. В автобиографических заметках Э. Канетти рисует сходный образ хозяйки квартиры. Ее настоящее имя — Ольга Хирш.

он сидел на мели. На мели он был постоянно, и фрау Ольге по-прежнему не доставалось ни гроша. Она не жаловалась, ибо боготворила сына. "Мой сын — музыкант", — говорила она; а так как каждое ее слово было проникнуто гордостью, иной человек, не знакомый с сыном лично, вполне мог принять его, несмотря на кафешантанное прозвище Джонни, за нераспознанного современного Шуберта.

Мы были рады, что переехали на эту квартиру; хоть и заставленная чужой мебелью, она все же отличалась от комнат в пансионе. Все мы мысленно сравнивали ее с нашим пристанищем на Шойхцерштрассе: теперь вокруг, конечно, не Цюрих, мой парадиз, но, как-никак, Вена, райское место для матери. Вот уже пять лет прошло, как мы оттуда уехали, я за это время успел пожить в цюрихском пансионе "Вилла Ялта", мать — в лесном санатории в Арозе, затем были Франкфурт, инфляция, пансион. Даже странно подумать, что после всего происшедшего мы еще надеялись на спокойную жизнь вчетвером. Все мы, каждый на свой лад, только о том и твердили: мол, начинается новая эра — время здоровья, учебы и семейного мира.

Но кое-какая загвоздка все же имелась, а именно — Джонни Ринг. Гостиная, она же столовая, соседствовала с его конурой, и едва наше воссоединившееся семейство садилось за стол, как дверь отворялась, в проеме возникала пухлая фигура, облаченная в старый халат (но не более того), — и вот уже Джонни, повторяя "Целую ручку! Целую ручку!", шаркает мимо стола в уборную. Право на отправление этой надобности он себе выговорил, о том же, чтобы исключить из договора время совместных трапез, когда мы предпочли бы оставаться в своем кругу, никто из нас не подумал. И появлялся Джонни минута в минуту, стоило лишь опустить ложку в суп — может, разбуженный нашими голосами, он вспоминал о своей нужде, а может, просто хотел полюбопытствовать насчет сегодняшнего меню. Потому что возвращался он не сразу, а подгадывал так, чтобы на наших тарелках уже лежало второе — тут он, бывало, и прошелестит обратно в свою каморку. Он действительно шелестел, хотя задрапирован был отнюдь не в шелка; звук порождался скольжением тучного тела по комнате в сочетании с повторяемым не менее десятка раз: "Целую ручку — простите, сударыня — целую ручку — простите — целую ручку — простите, сударыня — целую ручку — простите". Маршрут пролегал прямо за спиной у матери, и посредством искусного пируэта Джонни протискивался в щель между буфетом и ее стулом, умудрившись за все время ни разу ее не задеть. Она ждала, что он вот-вот коснется ее засаленным рукавом, а убедившись, что угроза миновала и Джонни скрылся за дверью, с облегчением переводила дух, говоря: "Слава богу, а то бы у меня аппетит отбило!" Масштабы ее брезгливости были нам известны, хотя чем вызвана эта брезгливость, мы понятия не имели, но вот что нас троих удивляло, так это вежливость, с какой мать отзывалась на реплики Джонни. В приветственной фразе "Доброе *утро*, господин Ринг!" ехидство, конечно, проглядывало, но на интонации оно никак не сказывалось, мать отвечала ровным, приветливым, даже сердечным голосом. Вздох облегчения после окончания его выхода — это было, но вздыхала она негромко, за закрытой дверью конурки и не расслышишь, а застольные разговоры шли своим чередом, как будто Джонни тут и не появлялся.

В другое время, особенно ближе к вечеру, он втягивал мать в разговор, от которого ей было не уклониться. Начиналось все с дифирамбов благовоспитанным сыновьям. "Даже не верится, сударыня, ну до чего хоро-

шенькие, прямо графчики!" — "Мои сыновья, господин Ринг, вовсе не *хорошенькие*, — с возмущением отрубала мать. — Для мужчины внешность не главное". — "Ой не скажите, сударыня, это так важно! Хорошенькому пробиться гораздо легче. Мильон историй могу рассказать! Вот к нам в бар ходит младший отпрыск рода Тисца. Что это было за семейство — не мне вам говорить. В Венгрии они и сейчас на виду. Ну до чего очаровательный молодой человек! Мало того, что шикарный, еще и красавец. А уж какой сердцеед! Все так и падают к его ногам. Ради него я сыграю все, чего он пожелает, а он каждый раз непременно благодарит, причем за каждую вещь — отдельно. Похвалит: чудесно, мол, Джонни, — и посмотрит так на меня. Чудесно, мол, вы сыграли, дорогой Джонни. Я у него по глазам желания читаю. В огонь за него пойду! Последним шлафроком с ним поделюсь! Вы спросите: почему он такой? Воспитание, сударыня, все дело в воспитании. Хорошие манеры — это уже полдуши. И все благодаря мамочке. Эх, кому досталась такая мамочка... Да ваши ангелы хоть понимают, как им повезло? Я вот не сразу догадался сказать спасибо своей. Нет, я не сравниваю — куда мне, сударыня, до ваших-то ангелов!" — "Да что вы, господин Ринг, всё 'ангелы' да 'ангелы'? Говорите спокойно 'паршивцы', я не обижусь. Да, они не дурачки, это верно, но никакой их заслуги в том нет, я приложила массу усилий, чтобы дать им образование". — "Вот видите, сударыня, видите, сами же и признались, что *вы* приложили усилия! Без вас, без ваших жертвенных усилий они, неровен час, и впрямь бы выросли в трех паршивцев".

На слова "жертвенные усилия" мать и ловилась; знай Джонни, какую роль для нее играет идея жертвенности со всем, что отсюда вытекает, он прибегал бы к ним еще чаще. Мать привыкла повторять, что жертвует ради нас своей жизнью, — это единственное, что осталось у нее от религиозной веры. По мере того как вера в Божье присутствие угасала и Всевышний все более отодвигался на задний план, чуть ли не вовсе исчезал, понятие жертвы обретало в глазах матери все больший смысл. Не только долг, но и высочайшее призвание человека — приносить себя в жертву; причем не по указке Бога, слишком Он далеко, чтобы заботиться о подобных мелочах, — нет, тут дело в жертве как таковой, жертве по зову души. И хотя понятие это носит столь краткое, хотя и емкое имя, подразумевает оно нечто комплексное и протяженное, нечто такое, что длится часы, дни и годы: жизнь, сложенную из всех тех часов, которые ты *не прожил*. Вот что такое жертва.

В очередной раз поймав мать на этот крючок, Джонни мог резонерствовать сколь угодно долго. Она вцеплялась в него мертвой хваткой, и он поднимался *первым* — чтобы вывести на прогулку овчарку по кличке Нерон или открыть дверь приятелю. В сопровождении Джонни и Нерона молодой человек проходил в каморку и просиживал там по многу часов, пока для Джонни не наступало время отправляться в свой бар. Из комнаты не доносилось ни звука. Нерон, привыкший там спать, никогда не лаял. Ведут ли Джонни и молодой человек беседы, было неясно. Мать ни за что не унизилась бы до подслушиванья под дверью, но почему-то предполагала — что нет, бесед они не ведут. Каморка, куда мать никогда не заглядывала — она избегала ее, как чумы, — была тесной, все помещение занимала кровать, и то, что двое людей, один из которых весьма упитанный, а в придачу к этим двоим здоровенная псина, часами сидят в тесноте, да так, что ни звука не слышно, крайне ее волновало. Вслух она об

этом не говорила, но, как я чувствовал, думала. А больше всего ее беспокоило, что об этом могу думать *я*, чего мне и в голову не приходило, меня это нисколько не занимало. Однажды она сказала: "Наверное, молодой человек ложится поспать под кроватью. У него такой бледный и усталый вид. Может, у него нет своего угла, вот Джонни и разрешает ему из жалости часок-другой поспать у себя под кроватью". — "Ну хорошо, а почему не на кровати? — поинтересовался я. — Ты хочешь сказать: Джонни слишком толстый, и вдвоем они не поместятся?" — "Я говорю: *под кроватью*, — и она метнула в меня острый взгляд. — Что за странные у тебя мысли!" Никаких мыслей на этот счет у меня и в помине не было, но, предвосхищая их появление, мать загоняла их под кровать; наличие пса, видимо, придавало такой версии безобидный оттенок. То-то она удивилась бы, загляни она в мою душу: возня в конурке меня нисколько не занимала, меня отвлекало нечто иное, что имело касательство к матери и казалось мне непристойным, хотя тогда я вряд ли употребил бы это слово.

Каждое утро к нам приходила прислуга, она была на сносях и звалась фрау Лишка. Оставалась она до обеда, затем мыла посуду и отправлялась домой. Приглашали ее главным образом для тяжелой работы: постирать белье и выбить ковры. "Для работы полегче она мне не нужна, — говорила мать. — Я и сама справлюсь". Никто другой женщину в таком положении на работу не брал: все боялись, что дело зашло больно уж далеко, что она не сможет работать как следует. Но фрау Лишка клялась и божилась, что работница она хорошая, мол, попробуйте — сами увидите. У матери дрогнуло сердце, и она разрешила ей приходить. Дело, конечно, рискованное: неровён час, ей вдруг станет худо, а то еще срок подойдет — с оглядкой на наш нежный возраст мать говорила уклончиво и в подробности не вдавалась. Но женщина поклялась, что срок подойдет только месяца через два, а пока она будет со всем справляться. Жизнь показала, что она говорила правду, работница оказалась на редкость старательной. "Такую можно поставить в пример любой небеременной!" — говорила мать.

Как-то раз, придя домой обедать и поднимаясь по лестнице, я бросил взгляд вниз: фрау Лишка стояла посреди двора и выбивала ковер; ей мешал живот, при каждом ударе она как-то странно разворачивалась всем корпусом. Казалось, она с неодобрением отворачивается от ковра и он до того ей противен, что она и смотреть на него не хочет. Лицо у нее побагровело, и отсюда, сверху, можно было решить, что — от ярости; по багровым щекам струился пот, слышались нечленораздельные выкрики. Поскольку рядом никого не было, к кому она могла бы обращаться, видимо, выкриками она подбадривала себя, чтобы ударить покрепче.

Я вошел в квартиру озадаченный и спросил мать, видела ли она, как фрау Лишка орудует во дворе. Сейчас поднимется, прозвучало в ответ, сегодня она у нас кормится: в те дни, когда она выколачивает ковры, ей положена кормежка. Вообще-то, по договору (мать так и сказала: по договору) она ее кормить не обязана, но очень уж жалко женщину. Она хоть и сказала, что ей, дескать, не привыкать целыми днями ничего не есть, вечером дома что-нибудь себе состряпает, но мать не может спокойно на это смотреть, и когда фрау Лишка выбивает ковры, она ее кормит. А та рада-радешенька, потому и наяривает. Наверх приходит вся мокрая, в кухне сразу невыносимая вонь, поэтому в такие дни мать сама накрывает в столовой, а фрау Лишка сидит на кухне одна и наедается до

отвалу. Мать ей огромную тарелку до краев накладывает, из нас троих никто, даже младший Георг, столько не съест. Но она все подчистую сметает — может, укладывает что-нибудь в сумку и уносит с собой. На глазах у нее, "милостивой госпожи", она не ест, считает, что не положено. Все это мать рассказывала за столом. Я спросил, почему фрау Лишка не кормится у нас каждый день. Ну, сказала мать, когда стирка, ей тоже перепадает, правда поменьше. А в те дни, когда работа легкая, — нет уж, увольте, в договоре вообще об этом речи не было, а кстати сказать, фрау Лишка благодарна и за то, что дают, она в любом случае более благодарное существо, чем я.



О "благодарности" разговор у нас в доме заходил частенько: стоило мне чем-нибудь возмутиться, начать критиканствовать, как мать тут же попрекала меня неблагодарностью. Спокойно спорить мы не умели. Я без околичностей выкладывал все, что думаю, но всегда — в пылу раздражения, и всегда выходило обидно. Она как могла защищалась. А припертая к стенке, вспоминала, что вот уж двенадцать лет как приносит нам жертвы, и обвиняла меня в полном отсутствии благодарности.

*Ее* мысли крутились вокруг переполненной комнатки и вещей, которыми там занимаются, вокруг опасности, грозящей ее сыновьям, но в открытую мать говорила только о лени и какой дурной пример подает взрослый дылда, валяясь целыми днями в постели или разгуливая по дому полуголым, в засаленном старом халате (втайне же перебирала в уме всевозможные пороки, о каких я и не подозревал). Меня же занимала фрау Лишка, которая была благодарна, что ее нет-нет да покормят, и при встречах со мной не упускала случая заверить самым веселым тоном: "Ой, и хорошая же у вас матушка!", энергично кивая в подтверждение своих слов. Она постоянно давала нам обоим поводы для самоутверждения: мать убеждалась в своей доброте — ведь она ее кормит, хотя и "не по договору"; я же убеждался в своей порядочности — ведь я чувствую себя виноватым в том, что фрау Лишка в таком состоянии у нас служит. Как неутомимые рыцари, бросались мы с матерью в бой: каждый старался убедить другого в собственной непогрешимости. Силы, тратившейся на эти бои, с лихвой бы хватило, чтобы выбить ковры во всем доме, еще и на стирку осталось бы. Но все упиралось в принцип, для нас обоих: для матери — в принцип благодарности, для меня — справедливости.

Так вместе с нами в этой квартире поселилась подозрительность. Матери было не по себе от загадки тесной каморки Джонни, я же ужасался, видя, как беременная женщина надрывается из последних сил то во дворе, то на кухне. Я все время боялся, что она вот-вот упадет без чувств, мы услышим крики, вбежим на кухню и найдем ее на полу в луже крови. И поймем, что кричит новорожденное дитя, а сама фрау Лишка — мертва.

## Подарок

Этот год на улице Радецкого, когда мы жили все вместе, друг у друга под носом, — самый тягостный из тех, что я помню.

Приходя домой, я сразу ощущал себя под надзором. Что ни скажу, что ни сделаю — все невпопад. Все было здесь так близко: маленькая комнатка — моя спальня, она же библиотека, куда я норовил поскорей

прошмыгнуть, — располагалась между гостиной и другой спальней, где ночевали мать и братья. Прошмыгнуть незаметно не удавалось; поздоровавшись, мы сразу садились в гостиной, и начинались всевозможные объяснения. Меня подробно выспрашивали, и хотя до прямых обвинений дело не доходило, в вопросах сквозило недоверие. Был ли я сегодня в лаборатории или только сидел на лекциях, убивал время?

Обычно я сам, своей откровенностью, и заваривал эту кашу. Потому что предпочитал рассказывать о лекциях, посвященных понятной всем тематике. Ясно, что современная европейская история всякому куда ближе, чем физическая химия или физиология растений. Если о двух последних дисциплинах я не рассказывал, это вовсе не означало, что я ими не интересуюсь. Но мать "начисляла мне очки" только за то, о чем я говорил вслух, как будто только это существенно; ловя меня на слове, она предъявляла иск: Венский конгресс заботит меня куда больше, чем серная кислота!

— Ты распыляешься. Так ты далеко не уедешь.

— Но мне *нужно* посещать эти лекции. Иначе я задохнусь. Не могу же я бросить все, что я в самом деле люблю, потому только, что изучаю предмет, к которому у меня не лежит душа.

— А знаешь, почему не лежит? Потому, что ты готовишься стать тунеядцем! Ты боишься увлечься химией. За профессией химика будущее — а ты закрываешься, баррикад понастроил. Лишь бы ручек не замарать! Тебе — только книжки чистенькие. Ты ходишь на лекции для того, чтобы потом самому побольше прочесть обо всем, что рассказывал лектор. И конца этому не видно. Неужели ты до сих пор себя не понял? Так было с детства. После каждой книжки, из которой ты узнавал что-то новое, тебе требовался еще десяток, чтобы узнать еще больше. Лекция, на которой тебе интересно, — лишняя нагрузка. Ты увлечешься — и все, пошло-поехало. Философия предсократиков! Ну хорошо, положим, это войдет в экзамен на степень доктора. Значит, без этого не обойтись. Но ведь ты конспектируешь, горы тетрадей поисписал — зачем книги-то покупать? Думаешь, я не знаю, какой у тебя заготовлен список литературы? Нам это не по карману. А если бы даже и по карману, тебе эти книжки только во вред. Они будут уводить тебя дальше и дальше, и о своем главном деле ты напрочь забудешь. Вот ты признаешь, что Гомперц — известный специалист; а кто только что говорил, что его отец написал знаменитую книгу "Греческие мыслители"[1]?

— Написал, написал! — встрепенулся я. — В трех томах. Мне очень нужен этот трехтомник, очень!

— Вот видишь. Стоит упомянуть отца твоего профессора, как тебе уже вынь да положь трехтомный научный труд. Да неужели ты думаешь, что я тебе его подарю? Нет уж, хватит с тебя и сына. Конспектируй на лекциях и учи по конспектам.

— Но мне терпения не хватает! Он так тянет кота за хвост! Пойми, я хочу двигаться дальше. Я не могу ждать, пока Гомперц доберется до Пифагора. Мне уже сейчас нужно знать про Эмпедокла и Гераклита.

— Да ты ведь еще во Франкфурте столько античных авторов перечитал! Получается, что напрасно. Квартира была завалена этими книжка-

1. Имеется в виду Теодор Гомперц (1832–1912) — немецкий философ и специалист по античной филологии. Его работа "Греческие мыслители. История античной философии" публиковалась в 1896–1902 гг.

ми с отвратительными обложками, все на одно лицо. Почему ж ты тогда не прочел своих греков? Уже тогда тебя увлекало все бесполезное, от чего потом никакого проку.

— Тогда мне еще не нравились эти философы. От Платона меня отвращало учение об идеях, согласно которому мир — это только кажимость. Аристотеля я и теперь на дух не переношу. Он всезнайка, ему бы только классифицировать. Когда читаешь его, возникает такое чувство, как будто тебя рассортировали по бесчисленным ящичкам. Знай я тогда досократиков, то уж поверь — прочел бы все до последнего слова. Но мне никто о них не рассказывал. Все преподаватели начинали с Сократа, как будто до него ни один человек не пытался мыслить. Да мне и Сократ, вообще говоря, особо не нравился. Может, я потому и держался в стороне от великих философов, что все они прошли его школу.

— А хочешь знать, почему он тебе не нравился?

Ответ на этот вопрос я предпочел бы услышать не от нее. У матери по любому поводу, даже если она мало что смыслила в обсуждаемом вопросе, имелось свое мнение, и, хотя я знал, что все совершенно не так, оно каждый раз меня ранило, ибо покрывало дорогие мне вещи неприятным налетом, как заразная плесень. Интуитивно я понимал, что мать нарочно старается отравить мне всякое удовольствие — просто затем, чтобы меня не уносило в неизвестные дали. Она считала, что в моем возрасте такая всеядность, такая готовность с восторгом откликаться сразу на многое — это смешно и *не по-мужски*. Вот то главное обвинение, какое я чаще всего слышал от нее в год, когда мы жили на улице Радецкого.

— Ты не любишь Сократа, потому что он мыслит здраво. Исходит из повседневности, не витает в облаках, о ремесленниках говорит.

— Но работать-то он не работал. Весь день *языком чесал*.

— А вам, великим молчальникам, такое, конечно, не по нутру! Как я вас понимаю! — Снова эта насмешливость, я помню ее еще по тем временам, когда брал у матери уроки немецкого. — Или тебе охота самому чесать языком, и ты боишься таких, как Сократ, которые каждое слово оппонента разглядывают под лупой и спуску никому не дадут?

Она сама была аподиктична, как досократики, и кто знает, возможно, мое пристрастие к ним, только теперь мной открытым, было связано именно с *ее* стилем речи, вошедшим мне в плоть и кровь. С каким апломбом она всегда выражала свою точку зрения! Да и можно ли это назвать точкой зрения? Каждая фраза матери обладала весомостью символа веры: все так, и никак иначе. Сомнений она не знала, а уж сомнений в себе — и подавно. Может, оно и к лучшему — умей она сомневаться, ее сомнения были бы так же весомы, как ее постулаты, и тогда она совершенно разрушила бы себя, забила и затравила бы своими сомнениями.

Чувствуя, что меня загоняют в угол, я пытался отбиться сразу по всем фронтам. Вынужденный отступать все дальше, черпал в энергии несогласия силу для новых ударов. Ночью я оставался наедине с собой. Братья, днем принимавшие на себя роль секундантов матери и своими выходками подливавшие масла в огонь, к тому времени мирно спали, и сама она тоже отправлялась на боковую. Наконец-то свободный, я сидел в своей крохотной комнатке, за крохотным столом, и то читал, то записывал что-то в тетради, а поднимая глаза, нежно поглядывал на ко-

решки книг. Их ряды росли уже не так быстро, не такими скачками, как когда-то во Франкфурте. Но все-таки кое-что новое появлялось, случались праздники, приходилось что-то друг другу дарить, а кто бы осмелился подарить мне что-нибудь, кроме книги...

Химия, физика, ботаника, общая зоология — все это мне полагалось зубрить по ночам, и меня не ругали, что я трачу электроэнергию. Но как раз учебники я открывал ненадолго; очень скоро вместо конспектов, где записи кое-как ковыляли вдогонку за мыслью лектора, я клал на стол *настоящие* тетради, куда заносил и всякий душевный порыв, и все свои горести. Перед тем как уснуть, мать замечала полоску света под моей дверью; со времен Шойхцерштрассе мы поменялись ролями. Она, может, и догадывалась, чем я там занимаюсь, но поскольку я говорил, что по ночам учусь, а учебу она раз и навсегда узаконила, матери оставалось только смириться, и она не противилась.

У нее, как ей думалось, были все основания следить в это время за каждым моим шагом. В химию мать не очень-то верила — меня к ней совсем не тянет, и в будущем я навряд ли ею увлекусь. То, что из уважения к ее материальным заботам (хотя и чувствуя их безосновательность) я отказался от медицины — дескать, больно уж долго продлится учеба, — это она приняла и жертву мою одобрила. Она принесла нам в жертву всю свою жизнь, и ее хвори и недомогания доказывают, сколь нешуточна эта жертва. Теперь вот настало время и мне, ее старшему сыну, чем-то пожертвовать. Я отказался от медицины, в которой вижу самое бескорыстное дело, чистое служение человечеству, и выбрал профессию, весьма далекую от бескорыстия — матери со всех сторон прожужжали уши, что будущее за химией. Работать в промышленности крайне выгодно, химия — дело практичное, ой до чего практичное; кто устроился химиком, получает хорошие деньги, очень хорошие... То, что я подчинился, вернее, готов подчиниться идее практической пользы, выглядело в ее глазах как достойная жертва с моей стороны. Но не изменю ли я за четыре года свое решение? В этом мать не была уверена. На химию я согласился только при том условии, что Георгу, в котором я после нескольких месяцев нашей совместной жизни на Пратерштрассе души не чаял, позволят вместо меня учиться на медицинском. Я уже заразил его своей увлеченностью, и он страстно мечтал заняться тем, от чего я ради него отказался.

Мать опасалась не зря. У меня была своя версия, почему я пошел на химический факультет. Никакая это не жертва, ведь учусь я вовсе не с тем, чтобы когда-нибудь стать обеспеченным специалистом-химиком. Предубеждение против работы, которую делаешь не по призванию, а ради денег, было неодолимым. Чтобы не волновать мать, я позволял ей верить, что однажды устроюсь на фабрику химиком. Но вслух я об этом не заговаривал — молча терпел, раз мать допускает такую возможность. Мы как будто договорились о временном перемирии: я помалкиваю о том, что без призвания ни за какую работу браться нельзя и что любая работа, какой человек занимается в поисках личной выгоды, а не ради других, достойна презрения; а она прекращает расписывать в ярких красках мою будущность химика. Она не забыла того, что случилось недавно, во время войны, когда в дело пошли ядовитые газы, и смириться с такой стороной прогресса в области химии для нее было не так-то просто: несмотря на отход от романтических идеалов времен ее юнос-

ти, на сужение духовного горизонта, мать продолжала быть пацифисткой. В итоге мы оба и не заикались об омерзительном будущем, уготованном мне вследствие принесенной "жертвы". Главное, чтобы я ежедневно ходил в лабораторию и, отсиживая положенные часы, привыкал к работе, которая требует внутренней дисциплины и не дает подпитки ни неуемному любопытству, ни поэтическим прокламациям.



Мать даже не подозревала, как сильно она обольщается. Я ни секунды не думал, что когда-нибудь стану химиком. В лабораторию я *ходил*, отдавал ей лучшее время суток, делал все, что велят, причем не хуже других; чтобы оправдаться перед собой, я придумал, как это объяснить. Во мне еще не угасла мечта узнать и освоить *все*, что есть на земле интересного и любопытного, и я продолжал свято верить, что это не только желательно, но и возможно. Меня не смущало ничто — ни ограниченность человеческого ума, ни чудовищность такого сознания, которое состоит только из уже усвоенных знаний и желания эти знания приумножить. К тому же, кидаясь на новую информацию, я еще ни разу не спасовал. Попадались, правда, скверные учителя, ничему, решительно ничему не способные научить, да еще и прививавшие ученикам стойкую неприязнь к своему предмету. Такой человек преподавал нам во Франкфурте химию. Формула $H_2O$ и формула $H_2SO_4$ — это все, что осталось у меня в голове от его уроков, а движения его рук, когда он изредка показывал опыты, вызывали во мне тошноту. Перед тобой будто сидел переодетый человеком сумчатый медведь, медленно-медленно копошащийся над колбами и пробирками. И вместо хотя бы каких-то догадок о химии в голове моей зияла подлинная дыра. Теперь ее предстояло заполнить — а она такая огромная, что не грех, пожалуй, и поучиться на химическом факультете.

Самообман не знает границ, и я вспоминаю, как часто повторял себе эти доводы, когда мать поучала меня, что разбрасываться нельзя, что я должен сосредоточиться на чем-то одном. Хорошо, убеждал я себя, пусть то, в чем я разбираюсь меньше всего, и станет моим главным делом. Это и есть та жертва, которую я приношу в наказание за свое невежество, а медицина, от которой я отказался, — *подарок* брату, доказательство нашей взаимной любви. Он часть меня, на двоих нам достанется целое — все, что доступно уму, — и уж тогда нас точно ничто не разлучит.

## *Ослепление Самсона*

Среди упреков, каких я в тот год наслушался немало, один был особенно неприятен: я, дескать, ослеплен, не знаю реальной жизни, *не хочу* ее знать. Я надел на глаза шоры и снимать их не собираюсь. Я вечно ищу то, о чем вычитал в книжках. И потому ли, что ограничился книжками *определенного* сорта, или же потому, что извлекаю оттуда не то, что надо, — любая попытка открыть мне глаза обречена на провал.

"Тебе все высокую нравственность подавай. Ты все твердишь: свобода, свобода, — даже слушать смешно! Нет человека более несвободного, чем ты. Ты не можешь взглянуть на событие *непредвзято*, не перебрав прежде в голове свои предрассудки, пока они не заслонят всего остального. Может, оно в твоем возрасте и простительно, если бы не это упорное сопротивление, это упрямство, это нежелание что-либо менять. Каждый

человек растет, достигает зрелости, работает над собой, а главное, приносит пользу еще кому-нибудь, не только себе, — но ты, пустозвон, обо всем этом и понятия не имеешь. Самое страшное — твоя ослепленность. Похоже, ты взял себе в учителя Михаэля Кольхааса[1]. Да только он-то поинтересней тебя, ему все-таки приходилось что-то делать. А что делаешь ты?"

Это верно, на примерах реальной жизни я не учился. Мне казалось, вникая во что-либо недостойное, я невольно делаюсь соучастником. И я не учился в том смысле, что предполагает необходимость пройти уже известным, чужим путем. Учеба как *подражание* — вот чему я сопротивлялся, от чего закрывался шорами. Тут мать была права. Как только я замечал, что мне что-либо *рекомендуют* лишь потому, что у людей, мол, так принято, — я сразу же настораживался, притворялся непонимающим. Но по-своему, другими путями, реальность все-таки подступала ко мне — причем ни мать, ни, пожалуй, я сам даже не подозревали тогда, насколько близко.

Ибо один из путей к реальности пролегает через *изображения*. Мне кажется, не бывает пути надежней и лучше. Мы держимся за непреходящее, вылавливая с его помощью то, что подвержено изменениям. Изображения — это неводы; запечатленный образ — надежный улов. Что-то выскользнет из сети, что-то сгниет, но мы упрямы, мы повсюду носим с собой свои неводы, забрасываем их снова и снова — и подкрепляемся пойманным. Причем важно, чтобы такие образы существовали *вне* человека — внутри него даже они подвергнутся изменениям. У каждого человека должно быть место, где он в минуту сомнений найдет эти образы. Ощутив, что жизнь завела тебя на край обрыва, ты обратишься к такому изображению. В изображении жизненный опыт застыл, и ему можно "посмотреть в лицо". И вот ты уже успокоился, узнав собственную свою реальность, пусть и представленную в изображении. Казалось бы, заключенная в образах реальность в тебе не нуждается; но нет, это только так кажется — образу, чтобы он мог пробудиться, нужен *твой* личный опыт. Образы потому иногда и спят безмятежным сном на протяжении многих поколений, что не находится зрителя, который взглянул бы на них глазами человека, обладающего жизненным опытом, способным их пробудить.

Найдя образы, которым нужен твой опыт, ты станешь сильней. Таких образов несколько — слишком много их быть не может, их смысл в том, чтобы собирать реальность в фокус: рассредоточенная, она распылится, иссякнет. Но образ не должен быть и единственным, иначе он подомнет своего хозяина, не отпустит его от себя, не даст ему меняться. На человеческий век нужно не так уж много образов, и кто рано их обнаружил, тот уже не пропадет.

Мое счастье, что я оказался в Вене, когда больше всего нуждался в таких образах. В противовес фальшивой реальности, которая мне угрожала, — реальности здравого смысла, косности, пользы и тесноты, — я должен был найти другую, достаточно просторную для того, чтобы одерживать верх и учиться не пасовать перед трудностями.

И тут я встретился с Брейгелем. Знакомство мое с ним состоялось не там, где, вообще говоря, хранятся главные его шедевры, — не в вен-

1. Михаэль Кольхаас — герой одноименной повести Генриха фон Клейста.

ском Музее истории искусств, а совсем в другом месте. Выкроив время между лекциями по химии и физике, я на часок-другой забегал во дворец Лихтенштейнов. Свернуть с Больцмангассе на Штрудльхофскую лестницу, вприпрыжку спуститься вниз — и вот я уже на месте. В этой прекрасной, не существующей ныне галерее я и увидел Брейгеля впервые. Меня мало заботило, что все это были копии — хотел бы я посмотреть на того непробиваемого, без нервов и чувств человека, который при встрече с *такими* картинами стал бы размышлять: это копии или подлинники? Да пусть хоть трижды копии, какое мне дело; ведь это — "Притча о слепых" и "Триумф смерти". Все слепые, каких я видел потом, были прямыми потомками тех шестерых брейгелевских слепцов.



Мысль о незрячести преследовала меня давно, с раннего детства, когда я заболел корью и на несколько дней ослеп. И вот передо мной — шесть слепых. Они шагают гуськом, держась кто за посох, кто за плечо соседа. Поводырь, возглавляющий шествие, уже свалился в канаву, а второй, что вот-вот рухнет за ним, повернулся к тебе — пустыми глазницами и оскаленным ртом. Между этим вторым и третьим слепцом — самый большой просвет: оба еще сжимают соединяющий посох, но третий, уже почуяв толчок, сбой в движении, нерешительно приподнялся на цыпочки, его профиль — один лишь незрячий глаз — выдает не страх, а зарождающийся вопрос; меж тем как идущий следом четвертый слепец доверчиво держит руку у него на плече, подняв лицо к небу. Он разинул рот, словно готовясь принять оттуда, сверху, недоступное взору. Свой длинный посох он просто держит в правой руке, на весу. Из всех шестерых этот — самый доверчивый, оптимист от макушки до красных чулок; а за ним покорно, ступая след в след впереди идущему, бредут два последних слепца. Они тоже разинули рты, но не так широко, до канавы они пока не дошли, а потому ничего не ждут, не боятся, не вопрошают. И не будь все дело в этих слепых глазницах, нашлось бы что сказать и о пальцах всех шестерых — они иначе хватают и прикасаются, нежели пальцы зрячих; и иначе ступают по земле их ноги.

Уже одной этой картины хватило бы на целую галерею, но после нее я вдруг очутился — до сих пор вздрагиваю от шока — перед брейгелевским "Триумфом смерти". Сотни покойников — в виде скелетов, крайне деятельных скелетов — заняты тем, что пытаются перетянуть к себе как можно больше живых. Мертвые — разные, относящиеся к разным сословиям, кто вместе, кто поодиночке, — пребывают в неимоверном напряжении; их энергия во много раз превосходит силу живых, кого нужно перетянуть в царство смерти. И тебе ясно, что перевес на их стороне, хотя пока еще мертвецы своего не добились. Ты на стороне живых, сопротивляешься вместе с ними, но тебя сбивает с толку, что мертвецы здесь выглядят намного живее живых. Эта, если угодно, витальная сила покойников направлена лишь на то, чтобы утянуть живущих к себе. Если мертвые крайне сосредоточенны, хотят не того и сего, пятого и десятого, а одного, и только одного, то живые привязаны к своему бытию множеством самых разных нитей. Всякий усердствует, никто не сдается, я не нашел на этой картине ни одного *утомленного жизнью*, у каждого приходится силой вырывать то, чего он никогда не отдаст добровольно. Я принял в себя энергию их сопротивления, в самых разных его вариантах, и с тех пор мне не раз казалось, будто я и есть совокупность всех этих людей, протестующих против смерти.

Я понял, что дело тут в массе, и хотя каждый встречается со смертью один на один, для любого другого все обстоит точно так же, а потому и думать об этих людях нужно как о едином целом.

Да, смерть здесь пока еще торжествует, это верно, но все же нет ощущения, что битва закончилась раз и навсегда, — она продолжается, каждый раз начинаясь заново, — и ты вглядываешься в это полотно, но не можешь сказать, что исход заранее предрешен. "Триумф смерти" — первое, что дало мне уверенность для моей борьбы. Всякая новая работа Брейгеля, увиденная уже потом, в Музее истории искусств, наделяла меня фрагментом нетленной реальности. Перед каждой картиной я стоял сотни раз, каждую знаю, как близкого друга, и среди задуманных мною книг, в не-написании которых я вечно себя упрекаю, есть и такая, куда вошло бы все пережитое в связи с Брейгелем.

Но самыми первыми образами, которые я для себя нашел, были все-таки не эти. Во Франкфурте, чтобы попасть в Художественный институт Штедель, нужно было пройти по мосту над Майном. Перед тобой простирались река и город, и ты вдыхал полной грудью, набираясь сил перед встречей с кошмаром, ожидавшим тебя этом в музее. Огромное Рембрандтово "Ослепление Самсона" — оно ужасало меня, терзало, держало в плену. Мне чудилось, будто все совершается у меня на глазах, а так как Рембрандт запечатлел минуту, когда Самсона *лишают* зрения, становиться живым свидетелем этого было чудовищно. Я всегда испытывал робость перед слепыми, и, хотя они притягивали меня к себе, никогда не мог смотреть на них долго. Мне казалось, я виноват в том, что они не видят меня. Но отсюда, с этой картины, на тебя смотрела не слепота как состояние, а сам момент ослепления.

Самсон на земле, с обнаженной грудью, рубаха задрана, правая нога торчит вверх и вбок, пальцы скрючились в спазме нечеловеческой боли. Склонясь над поверженным, воин в доспехах и шлеме вонзает копье в его правый глаз, кровь брызжет на лоб, волосы у Самсона обкромсаны; а снизу еще один ратник придерживает Самсону голову, направляя ее под копье. Всю левую часть картины занимает третий преследователь. Расставив ноги, стоит он, поворотясь к Самсону, и, зажав в обеих руках алебарду, целится в левый, плотно зажмуренный глаз. Алебарда тянется через половину картины; сейчас Самсона ослепят вторично. У него, как у всякого человека, два глаза, но у гонителя с алебардой виден только один, и смотрит он на залитое кровью лицо Самсона — в ожидании завершения дела.

Свет ярким снопом падает снаружи, из-за пределов круга, в котором все происходит, на Самсона. Отвести глаза невозможно, ослепление это пока еще не слепота, слепота — *впереди*, и ждать снисхождения и пощады бессмысленно. Ситуация ослепления требует, чтобы ты на нее смотрел, и всякий, кто это видел, знает теперь, что это такое, и видит это повсюду. Есть на картине и еще одна пара глаз, неотрывно глядящих на ослепление, это глаза стремящейся прочь победительницы Далилы: в одной руке она держит ножницы, в другой — прядь волос Самсона. Боится ли она того, чьи волосы держит в руке? Бежит ли от взгляда оставшегося глаза, пока еще зрячего? Вполоборота смотрит она на поверженного, на ярко освещенном лице — ненависть и злодейское любопытство. Ее рот приоткрыт: "Филистимляне одолели тебя, Самсон!" — крикнул секунду назад этот рот.

Понимает ли он ее речь? Слово "филистимляне" он знает, так зовут ее соплеменников, которых он побеждал, убивал. Она глядит на него в промежутке между двумя пытками; нет, оставшийся глаз она ему не подарит, не крикнет: "Пощады!", не бросится грудью на острие, не покроет Самсона былой его силой — срезанными у него с головы волосами, которые держит в руке. Зачем же она оглянулась? Она смотрит на ослепленный глаз и на тот, другой, что вот-вот ослепнет. Она ждет второго удара. Она — та воля, какой свершится удар. Оба ратника и человек с алебардой — ее подручные. Силу у Самсона отняла именно она. Она держит в руках эту силу, ненавидит и боится Самсона даже сейчас; и всегда будет ненавидеть — вспоминая, как его ослепили; ради того, чтобы его ненавидеть, она и об ослеплении будет помнить всегда.



Подолгу простаивая перед этой картиной, я изучал по ней, что такое ненависть. Я испытал это чувство рано, слишком рано — в возрасте пяти лет, когда пошел с топором на подружку. Но чтобы понять что-то, недостаточно личного опыта: пережитое, прежде чем будет осознано, должно предстать перед тобой как случившееся с другими. Лишь осознание делает то, что пережито, *реальным*. Безымянное, оно долго лежит в тебе мертвым грузом и, только возникнув вдруг в виде образа — в виде сцены из чужой жизни, — претворяется в воспоминание и наконец обретает реальность.

## *Раннее увлечение интеллектом*

Молодых людей, тогдашних моих знакомцев, сколь бы разными они ни были, объединяло одно — увлеченность умственными предметами. Они разбирались во всем, о чем тогда писали в газетах, но горячили и будоражили их только разговоры о книгах. Несколько книг оказалось в центре внимания, не знать их считалось зазорным. Однако нельзя сказать, что все повторяли как попугаи чье-то авторитетное или просто расхожее мнение — каждый читал эти книги самостоятельно, избранные места зачитывали друг другу, цитировали на память. Критиковать их было не только позволительно, но и желательно, всяк норовил отыскать уязвимые пункты, которые могут пошатнуть публичную репутацию книги, и обсуждал их с пеной у рта, причем более всего в таких обсуждениях ценились логика, хлесткость и остроумие. Все, за исключением директив Карла Крауса, ставилось под сомнение, и молодежь с удовольствием подкапывалась под те или иные идеи, слишком легко и быстро пробившие себе дорогу.

В центре внимания были книги, дающие простор для дискуссии. Расцвет популярности Шпенглера, который я наблюдал во Франкфурте, за табльдотом нашего пансиона, похоже, остался позади; а может, в Вене Шпенглер не был столь популярен? Но настроения пессимизма ощущались и здесь. Книга "Пол и характер" Отто Вейнингера[1], хотя с момента ее издания прошло двадцать лет, все еще упоминалась в любой дискуссии. Все пацифистские книги, знакомые мне по цюрихским временам,

1. Отто Вейнингер (1880–1903) — австрийский философ еврейского происхождения, покончивший с собой в возрасте двадцати трех лет. Опубликованная за три месяца до его смерти книга "Пол и характер", отличающаяся антифеминистской и антисемитской направленностью, сразу стала европейским бестселлером.

когда шла мировая война, вытеснила драма Крауса "Последние дни человечества". Декадентскую литературу никто уже ни в грош не ставил. Герман Бар[1] свое отыграл, слишком часто менял он роли, и теперь ни одну из них не принимали всерьез. Реноме любого писателя определялось тем, как он в свое время относился к последней войне. Так, не трогали Шницлера[2]: из первого ряда он вышел, но его по крайней мере не презирали — пропагандой войны он, в отличие от других современников, не занимался. Для бывшей Австро-Венгерской империи тоже настали не лучшие времена. Доверие к развалившейся на куски монархии пошатнулось, мне говорили, что за монархию нынче только набожные старухи. Что Австро-Венгрию искромсали, а Вена, всем на удивление, живет себе дальше — как непомерно огромная голова, разбухшая от водянки, — это все понимали прекрасно. Но отказываться от интеллектуальных амбиций, подобающих мировой метрополии, никто и не думал. Все живо интересовались тем, что творится в мире, — причем так, словно и миру не все равно, что о нем думают в Вене, — и твердо держались издавна сложившихся венских пристрастий, в первую очередь музыкальных. Независимо от того, любишь ты музыку или нет, ты ходил на концерты в стоячий партер. Культ Густава Малера, о котором в остальном мире пока мало кто знал, здесь уже подбирался к первой вершинной точке, о величии композитора никто теперь даже не спорил.

Почти ни один разговор не обходился без упоминания фамилии *Фрейд*, не менее краткой, чем *Краус*, но благодаря дифтонгу посередине, звонкому "д" на конце — и не в последнюю очередь авторитету ее обладателя — куда более притягательной. Односложных фамилий было тогда немало, их бы хватило на самые разные нужды, но Фрейд — это дело особое, неологизмы Фрейда успели войти в речевой обиход. Влиятельные университетские профессора по-прежнему высокомерно отвергали его, но Фрейдовы *оплошности*[3] уже сделались своеобразной салонной игрой. Чтобы почаще использовать модное слово, обмолвки фабриковали безостановочно; в любом живом и, казалось бы, естественном разговоре наступала минута, когда по лицу собеседника ясно читалось: вот-вот с его губ слетит обмолвка. Вот он уже и оговорился, вот уже и пошел с важным видом трактовать свою оговорку, объяснять, почему так случилось, подробно, без устали толковать о своем, не боясь показаться назойливо откровенным, ведь все мы тогда считали, что принимаем участие в обсуждении темы, обладающей всеобщей значимостью, интересной даже и с научной точки зрения.

Вскоре я понял, что именно эта часть фрейдовского учения наиболее убедительна. Когда дело доходило до "оплошностей", мне ни разу не показалось, будто их любой ценой стараются подогнать под универсальный — и потому быстро надоедающий — шаблон. Каждый изобретал оговорки на собственный лад. Случались забавные вещи, изредка кто-то возьмет да и вправду оговорится, и по обмолвке видно, что она роди-

1. Герман Бар (1863–1934) — австрийский драматург, критик, эссеист, оказавший большое влияние на литературную жизнь Вены рубежа веков. Его жизнь и творчество отличались необычайной изменчивостью идеологии и литературных вкусов.
2. Артур Шницлер (1862–1931) — австрийский писатель и драматург, крупнейший представитель венского импрессионизма.
3. Речь идет об "обмолвках", "очитках", "описках" и прочих "ошибочных действиях" — эти феномены исследуются в работе З. Фрейда "Психопатология обыденной жизни" (1901).

лась нечаянно. Иное дело — эдипов комплекс. За него шли бои, каждый мечтал о своем эдиповом комплексе или же норовил публично сконфузить кого-нибудь этим диагнозом. И кто бы на таких сборищах ни присутствовал, в одном ты мог быть уверен: если ты сам не вспомнишь о своем эдиповом комплексе, наверняка найдется кто-нибудь, кто, бросив на тебя безжалостно-проницательный взгляд, тебе о нем напомнит. Даже, если ты появился на свет после кончины отца, ты уж как-нибудь да открывал в себе Эдипа, и под занавес все собравшиеся оказывались преступниками, все как один — потенциальные отцеубийцы и любовники собственных матерей, отуманенные мифологическим именем тайные цари Фив.

На этот счет я сомневался, может быть, потому, что с раннего детства знал чувство убийственной ревности и хорошо понимал, сколь различными бывают ее мотивы. Но даже, если бы кто-нибудь из бесчисленных адептов этой идеи и убедил меня в ее универсальном значении, я все равно ни за что не согласился бы с названием. Я знал, кто такой Эдип, я читал Софокла; идеи уникальности этой страшной судьбы вам у меня не отнять. Когда я приехал в Вену, имя Эдипа стало заезженной пластинкой, повальной модой; даже презирающий всякую стадность гордец не брезговал эдиповым комплексом.

Впрочем, не стоит забывать, что люди тогда находились под впечатлением от недавней войны. Преступления и жестокости, свидетелями которых им пришлось стать, были еще свежи в памяти. Многие из участников боевых действий вернулись домой. И помня о том, на что они — пусть даже по приказу — оказались способны, они жадно схватились за те объяснения преступных наклонностей, какие давал им психоанализ. Банальность принуждения, которому недавно подвергались целые коллективы людей, зеркально отразилась в банальности его интерпретации. Меня поражало, до чего *оправданным* чувствовал себя всякий, заполучивший свой эдипов комплекс. Миллионно растиражированная, даже самая страшная участь умаляется до песчинки. Миф мертвой хваткой вцепляется в человека, душит его и трясет. Пресловутый "закон природы", к которому сводят миф об Эдипе, — это всего лишь дудочка, чтобы заставить людей плясать.

Молодые люди, с которыми я общался, не были на войне. Зато все они ходили на лекции Карла Крауса и чуть ли не наизусть затвердили "Последние дни человечества". Для них это было возможностью теперь — задним числом — пережить войну, омрачившую их детство, а более доходчивый и вместе с тем адекватный метод знакомства с войной трудно себе представить. Так война и стояла у них перед глазами, а поскольку забывать о ней, убегать от нее нужды уже не было, она постоянно давала им пищу для размышлений. Они не пытались понять душевное состояние человека толпы, состояние, в котором люди покорно и с удовольствием шли на бойню и из-за которого они даже теперь, спустя много лет после поражения, остаются — хотя уже на другой манер — в плену у войны. Тогда эта тема не обсуждалась, теории феноменов такого рода еще не существовало. Того, что имел сказать по этому поводу Фрейд, было, как я в скором времени убедился, совершенно недостаточно. Но сверстникам моим вполне хватало психологии личности, с несокрушимой самоуверенностью предлагаемой Фрейдом. И сколько бы я ни толковал им о загадке массы, так занимавшей меня после

Франкфурта, им все казалось, что об этом и говорить-то нечего, ибо для этого не существует готовой формулы. Дескать, что несводимо к формуле — того нет, это какие-то выдумки и фантазии, ведь в противном случае если не Фрейд, то Краус наверняка бы такой феномен отметили.

Я ощущал здесь лакуну, но заполнить ее пока не мог. И вот прошло какое-то время, и первой венской зимой 1924/1925 года на меня снизошло озарение, определившее всю мою дальнейшую жизнь. Я вынужден назвать это переживание озарением, ибо ему сопутствовал особый световой фон, а нахлынуло оно неожиданно, как бурное распирающее чувство. Я шел по улице, двигаясь необычайно стремительно все то время, что длилось "озарение". Мне никогда не забыть случившегося в ту ночь. Я вспоминаю об этом как о секундной вспышке, но и сегодня, спустя пятьдесят пять лет — именно столько лет прошло с того дня, — чувствую в этом мгновении *неисчерпанность*. И хотя содержание мыслительного всполоха было столь простым и ничтожным, что воздействие его кажется необъяснимым, все же эта секунда — как момент откровения — дала мне силы положить тридцать пять лет жизни (двадцать из них целиком) на поиск решения проблемы: что же такое масса, как из массы рождается власть и каково их взаимодействие. Тогда я еще не понимал, сколь многим в своем начинании обязан тому обстоятельству, что в Вене есть такой человек, как Фрейд, который наталкивает на мысль, что ты можешь *самостоятельно*, ни у кого не спросясь, объяснять и интерпретировать все что угодно. Поскольку фрейдовские идеи меня не удовлетворяли, оставляя, как мне казалось, без объяснения самое главное, я пребывал в пусть наивном, но искреннем убеждении, что моя-то затея — это нечто совсем иное, от него никак не зависящее. Мне было ясно, что я нуждаюсь в нем как в противнике. Но что он послужит мне еще и своеобразным примером — в этом меня тогда никто не сумел бы убедить.

Итак, озарение, которое мне так четко запомнилось, случилось на Альзерштрассе. Была ночь, на небе внимание мое привлекли багровые отсветы городских огней, я шел и разглядывал их, запрокинув голову. Я не смотрел себе под ноги, раз-другой легонько споткнулся, и в одно из таких мгновений, споткнувшись, с запрокинутой головой, глядя в багровое небо, которое мне таким не очень-то нравилось, я вдруг подумал, что существует массовый инстинкт, вечно противоборствующий инстинкту личному, и что этим антагонизмом объясняется вся история человечества. Мысль была явно не нова, но овладела мною с такой неслыханной силой, что я воспринял ее как новую. Мне подумалось: все, что происходит сегодня в мире, выводимо отсюда. Еще во Франкфурте я узнал, что существует масса, теперь же, в Вене, узнал это заново; что нечто принуждает людей становиться *массой*, казалось мне очевидным и непреложным; не менее явным казалось и то, что масса распадается на одиночек и что одиночки снова стремятся соединиться в массу. В наличии этих двух тенденций я нисколько не сомневался, они казались столь сильными и слепыми, что я воспринял их как инстинкты и назвал соответственно. Но что такое сама масса — этого я не знал, эту загадку мне лишь предстояло решить, и я был уверен, что это важнейшая или, во всяком случае, первоочередная проблема нашего времени.

Но до чего же вяло, вымученно и обескровленно звучат сегодня мои слова! Вот я пишу: "Мысль овладела мною с неслыханной силой" — и это

правда, я тогда исполнился такой силы, что невольно ускорил шаги, почти побежал. Я пронесся по всей Альзерштрассе, до самого Гюртеля, как мне показалось, в единый миг; в ушах шумело, над головой стояло все то же багровое небо, как будто ему теперь всегда быть такого цвета, я бежал спотыкаясь, но не упал – спотыканье как будто стало естественной частью моего движения. Таким манером я никогда потом не двигался и не скажу, что хотел бы этот опыт повторить, – слишком уж он казался чуждым и странным, я шел гораздо быстрей, чем мне свойственно; чужое пришло изнутри, но было мне неподвластно.



## *Праотцы*

Своеобразием внешности Веца выделялась из общего ряда; везде, где бы ни оказалась, Веца привлекала к себе внимание. Андалусийка, в Севилье не побывавшая ни разу, она говорила об этом городе так, словно там прошло ее детство. Что-то похожее запомнилось мне по сказкам "Тысячи и одной ночи" – еще по тем временам, когда я читал их впервые. Не раз мелькали эти черты и на персидских миниатюрах. Но несмотря на такую ориентальную вездесущесть, в этой женщине не было ничего от бесплотной грезы: четко прорисованное лицо не размывалось, не растворялось, не теряло ни ясных контуров, ни свечения.

Против ее красоты, от которой все вокруг просто немели, я выстраивал оборону. Неопытный вчерашний мальчишка, неотесанный простофиля, чистой воды Калибан рядом с нею, неловкий, неуверенный, резкий, я тоже в ее присутствии терял тот единственный дар, каким меня все-таки наделила природа – дар речи, – и всякий раз, готовясь увидеть Вецу, подбирал нелепейшие ругательные слова, прикрываясь ими, как защитной броней: самое мягкое – "претенциозная"; а еще – "приторная", "всем угождающая", "этакая принцессочка"; знает, мол, лишь *одну* половину языка, украшательскую; а всему настоящему, самозабвенному, суровому, беспощадному остается чужда. Но достаточно было вспомнить хотя бы ту лекцию 17 апреля, чтобы все эти обвинения рассыпались в пух и прах. Зал ведь аплодировал Карлу Краусу вовсе не за украшательства, а как раз за суровость, и в антракте, когда мы с Вецей познакомились, у нее был спокойно-торжественный вид, сбегать со второй части лекции она определенно не собиралась. С тех пор я на каждой лекции – теперь я не пропускал ни одной – украдкой высматривал ее и всегда находил. Я кивал ей издалека, не решаясь подойти ближе, и бывал озадачен, если оставался незамеченным, – обычно она кивала в ответ.

Она и здесь выделялась на общем фоне странностью облика. Садилась всегда в первый ряд, так что Краус наверняка обратил на нее внимание. Я поймал себя на вопросе: интересно, какой она представляется ему? Она никогда не хлопает[1], чего он тоже не может не замечать. Но что каждый раз она здесь, все на том же месте, – это *такая* присяга на верность, что даже ему не может быть все равно. Весь первый год, никак не решаясь пойти к ней с визитом, хотя она и звала, я терялся в не-

1. Возможно, указание на биографическую деталь: у Венецианы Канетти не было левой руки.

доумении относительно этого кресла в первом ряду. А поскольку природы своего недоумения не понимал, то чего только не напридумывал. Там впереди все так громко слышно, как у нее барабанные перепонки не лопнут... В пьесе "Последние дни человечества" есть такие пассажи, что от стыда можно провалиться сквозь землю; а как быть, когда подступают слезы — например, на лекциях о "Силезских ткачах"[1], о "Короле Лире"? Как она может мириться с тем, что он видит слезы в ее глазах? Или ей только того и надо? Вдруг она, наоборот, гордится своими слезами? Присягает ему на верность тем, что публично плачет? Ведь она не бесстыжая, наверняка стесняется больше, чем кто бы то ни было другой, а вот надо же, выворачивает душу напоказ... После лекции Веца никогда не пыталась подойти к сцене: многие проталкивались вперед, а она просто стояла и смотрела. Потрясенный и взбудораженный, каким я бывал всякий раз после лекции, я тоже сразу не уходил — подолгу стоял и хлопал, до боли отбивая ладони. В таком состоянии я терял ее из виду, и, если б не иссиня-черная шапка волос с характерным пробором, мне вряд ли удавалось бы высмотреть ее в зале. После лекции она не делала ничего такого, что можно расценить как недостойную суету. Дольше других в зале не задерживалась и, когда Краус выходил на поклоны, до последнего никогда не досиживала.

Пожалуй, я искал у нее понимания, ибо после лекций мое возбуждение подолгу не спадало; заходила ли речь о "Ткачах", о "Тимоне"[2] или "Последних днях человечества", все это были вершинные точки существования. Я жил от лекции к лекции, а все события в промежутке происходили в профанно-будничном мире. В зале я держался особняком, ни с кем не беседовал и подгадывал так, чтобы выйти из здания в одиночестве. Избегая Вецы, я наблюдал за ней, не сознавая того, как мне хочется сесть с ней рядом. Но пока она в первом ряду, на виду у всех, об этом и думать нечего. Я ревновал ее к божеству, наполнявшему каждую клеточку моего существа: хоть я нигде, ни на одном участке не ставлю ему заслонов, хоть и открыт ему каждой по́рой, но это черноволосое странное близкое мне существо, что ради него и смеется, и плачет, и гнется под натиском бури, я ему не отдам. Мне хотелось быть рядом с ней, но не впереди, в первом ряду, а где-нибудь там, где божество ее не увидит, где мы взглядами расскажем друг другу, что оно с нами творит.

Еще цепляясь за горделивое решение не ходить к ней в гости, я уже ревновал ее, сам не подозревая, что набираюсь сил похитить ее у бога. А дома, когда я задыхался под градом нападок, которые сам же и провоцировал, воображение рисовало мгновение, когда я позвоню к ней в дверь. Я с силой отталкивал это мгновение от себя, как нечто вещественное, но оно надвигалось. Чтобы не ослабеть, я представлял, как потом меня захлестнут потоки Азриэлевой болтовни: "Ну, как все было? Что она говорила? Так я и думал! Такое ей не по нраву. Конечно!" В ушах уже звенели предостережения матери, которая тотчас все разнюхает. В мысленных монологах и ответных речах я предвосхитил все то, что после и вправду произошло. Стыдливо стараясь не приближаться к Вецу — поскольку не знал, как с ней заговорить, боялся показаться грубым

1. Имеется в виду пьеса Герхарта Гауптмана "Ткачи" (1892) о восстании силезских ткачей в 1844 г.
2. Имеется в виду "Тимон Афинский", поздняя драма У. Шекспира.

или невежественным, — я уже сочинил все те злые и колкие речи, какие услышу дома.

Несмотря на мною же наложенные запреты, я всегда знал, что в конце концов пойду туда, и каждая лекция, на которой я ее видел, укрепляла меня в этом знании. Но, когда я наконец созрел и выпал свободный вечер, с момента того приглашения прошло уже больше года. Я никому не сказался, ноги будто сами нашли дорогу на Фердинандштрассе, и я ломал себе голову, как объяснить свой визит, чтобы не выглядеть ни мальчишкой, ни льстивым рабом. Она упомянула в тот раз, что хотела бы быть англичанкой, — не расспросить ли ее об английской литературе? Недавно я слушал "Короля Лира", одну из самых блестящих лекций Крауса, а из всех шекспировских пьес "Король Лир" волновал меня больше всего. Образ старика среди пустоши прочно засел у меня в голове. Она наверняка знает текст по-английски. В "Короле Лире" есть нечто такое, с чем мне не примириться. Вот об этом я с ней и поговорю.

Я позвонил, она открыла сама и вела себя так, словно ждала моего прихода. Прошло несколько дней с тех пор, как я видел ее на лекции в Среднем зале Концертхауса. Случайно, как мне подумалось, я оказался неподалеку и стоя аплодировал вместе со всеми. Вел себя как помешанный, вскидывал руки и с криками "Виват, Карл Краус! Виват!" бил в ладоши. Я хлопал и хлопал, все вокруг тоже хлопали, я опустил руки, только когда заныли ладони, и тут же заметил, что рядом кто-то стоит, точно в трансе, но в ладоши не бьет. Это была она, но заметила ли она меня, я не понял.

По темному коридору она провела меня в свою комнату, где нас встретил теплый свет лампы. Я сел на стул, надо мною висели картины, стояли книги, но я туда не смотрел, потому что напротив, по ту сторону стола, села она и сказала: "Вы меня не заметили. Я ведь была на 'Лире'". Я отвечал, что нет, заметил, поэтому и пришел к ней сейчас. Потом я спросил: зачем Лир в конце умирает? Он дряхлый старик, это правда, и настрадался ужасно, но я предпочел бы уйти с мыслью, что он выстоял и уцелел. Пускай бы жил вечно. Когда в какой-нибудь пьесе умирает другой герой, молодой, то я готов принять его смерть, особенно если речь идет о всяких бахвалах и драчунах, каких обычно и величают героями, — пусть себе умирают, вся их слава на том и стоит, что они кучами отправляют людей на тот свет. Но Лир, который уже так состарился, пусть бы старился и дальше. Не надо ему умирать. В этой пьесе столько смертей. Пусть хоть один останется, и этот Один пусть будет он.

— Но почему именно он? Разве он не заслужил покоя?

— Смерть это наказание. А он заслужил того, чтобы жить.

— Это он-то, старейший? Ему, старейшему, жить? А молодые пусть уйдут раньше, лишатся жизни прежде него?

— Но со старейшим и умирает *больше*. Умирают все его годы. Тут ведь гораздо больше чему погибать.

— А вы хотите, чтобы все доживали до возраста библейских праотцев?

— Ну да! А вы разве нет?

— Нет. Могу вам показать одного такого. Он тут рядом, через дверь обитает. Может, еще даст о себе знать, пока вы тут.

— Вы говорите о вашем отчиме? Я о нем слышал.

— Вы не могли слышать о нем ничего такого, что хоть как-то приближено к правде. Правду знаем только мы с матерью.

Все вышло слишком стремительно, ей не хотелось сразу о нем рассказывать. Она сумела защитить от него свою комнату, свою сферу. Знай я, какой ценой, я, пожалуй, поостерегся бы начинать с темы старцев, которые — раз уж так долго прожили — пусть бы и дальше старились. Я явился к ней после "Лира" как бы ослепшим; из благодарности, что мы вместе услышали нечто чудесное, я невольно о нем заговорил. Я был перед Лиром в долгу, ведь это он привел меня к ней. Если б не он, то все бы продлилось еще дольше; и вот я сижу, переполненный Лиром — как же мне не пропеть ему осанну? Я знал, что́ для нее значит Шекспир, и был уверен, что ни о чем другом она бы так охотно не говорила. Расспросить ее о поездках в Англию я не успел, да и она о моем английском детстве не вспомнила — а ведь для этих рассказов и приглашала. Я невольно затронул больное место — жизнь с таким отчимом для обеих, и для нее и для матери, была мукой мученической. Ему было под девяносто, и вот прихожу я и говорю, что, мол, если уж человек так стар, то пусть себе живет и живет.

Глубоко же я задел ее в этот первый визит — еще чуть-чуть, и он стал бы для меня последним! Но она взяла себя в руки: оправившись от испуга и чувствуя, что должна оправдаться, рассказала — уже одно это далось ей непросто, — *как* она приспособилась к жизни в кромешном аду.

Квартира, где жили Веца с матерью, представляла собой анфиладу из трех больших комнат, смотревших окнами на Фердинандштрассе. Находилась она в мезонине, невысоко, с улицы было легко обратить на себя внимание хозяек. От входной двери вел коридор, по левую руку — жилые комнаты, по правую — кухня и все прочее; за кухней располагалась темная комнатка для прислуги, так далеко запрятанная, что о ней и не вспоминали.

Из трех комнат по левую сторону первая была родительской спальней. Отчим Вецы, поджарый старик лет под девяносто, или лежал на кровати, или сидел в халате, с прямой спиной в углу у камина. Соседнюю комнату — столовую — использовали, как правило, лишь для приема гостей. Третья принадлежала Веце. Обставленная в ее вкусе, в любимых тонах, полная книг и картин, воздушная и в то же время серьезная, эта комната, куда ты входил, облегченно вздыхая, и которую покидал с неохотой, настолько не походила на всю остальную квартиру, что, когда ты стоял на пороге, — строгом пороге у входа в цветник, границе, которую мало кому разрешалось переступать, — тебе казалось, будто ты грезишь.

Хозяйка комнаты каким-то невероятным образом властвовала над прочими обитателями квартиры. То не был террор, все разыгрывалось беззвучно, для изгнания с порога незваного гостя ей достаточно было поднять брови. Главным врагом был отчим Менто Алтарас. В прежние времена, каких я уже не застал, — когда война шла в открытую, границ еще не провели и было неясно, удастся ли когда-нибудь прийти к мирному соглашению, — отчим, случалось, распахивал дверь в ее комнату и угрожающе стучал клюкой о порог. Высокий поджарый старик, он стоял на пороге в халате, и его узкое, сумрачное, испитое лицо напоминало Данте, чьего имени он никогда и не слыхивал. Настучавшись, он изры-

гал проклятия по-испански, ругался и чертыхался, да так и стоял в дверях, то стуча клюкой, то бранясь, до тех пор, пока не подадут желаемого — вина и жаркого.

В отроческом возрасте падчерица спасалась тем, что обе двери своей комнаты — ту, что в столовую, и ту, что в коридор, — запирала изнутри на ключ. Когда же девочка подросла и похорошела, ключи начали исчезать, а если слесарь приносил новые, то и они исчезали. Мать отлучалась из дому, прислуга тоже не всегда бывала в квартире, а у старика, если он чего возжелал, хватило бы сил, несмотря на возраст, на всех троих: он и жену, и падчерицу, и служанку преспокойно бы одолел. Тут было чего опасаться. С мыслью об окончательном расставании мать и дочь примириться не могли. И ради того, чтобы жить вместе с матерью, Веца разработала тактику усмирения старика. Для этого потребовались проницательность, энергия и упорство, для восемнадцатилетней девушки немыслимые. Заключалась эта тактика в том, что за пределами своей комнаты старик ничего не получит. Сколько он ни стучи, ни бушуй, ни бранись, ничто не поможет. Вино и жаркое не подадут, пока он не уберется обратно к себе, а как только это произойдет, всё принесут немедленно. Этот метод Павлова Веца изобрела сама, о Павлове и не ведая. Спустя несколько месяцев старик покорился судьбе. Он видел, что, пока он воздерживается от атак, ему достаются все более сочные бифштексы, все более старые вина. А если вдруг впадет в ярость и снова явится с бранью на запретный порог, его накажут и до самого вечера не дадут ни еды, ни вина.

Бóльшую часть жизни старик провел в Сараеве. Мальчишкой он бегал по улицам, продавая горячую кукурузу. Об этой начальной поре его жизни ходило множество слухов. Она пришлась на середину минувшего века и составляла важнейшую часть его "жития" — прелюдию. Что было потом, непонятно; произошел гигантский скачок: отойдя на старости лет от дел, старик уже принадлежал к числу богатейших людей Сараева, да и всей Боснии. Владел уймой домов (поговаривали, что их сорок семь) и лесными угодьями. Сыновья, к которым перешло его дело, жили на барскую ногу и, что уж там говорить, мечтали услать старика из Сараева. Он придерживался того мнения, что жить надо бережливо и замкнуто, богатство не афишировать. Его скупость и жесткость стали притчей во языцех; он не расходовал денег на благотворительность, что считалось неслыханным позором. Без спросу приходил к сыновьям на званые вечера и, потрясая клюкой, разгонял гостей. Сыновьям удалось снарядить вдовца (ему тогда уже перевалило за семьдесят) в Вену: жениться. Овдовевшая Рахель Кальдерон, намного моложе его и очень красивая, оказалась наживкой, не проглотить которую он не мог. Спровадив старика в Вену, сыновья вздохнули свободно. Старший купил себе самолет — в те времена такое было в диковинку, — отчего его акции в родном городе сильно поднялись. Теперь он периодически появлялся в Вене и привозил отцу деньги, пухлые пачки купюр, — тот требовал, чтобы все было именно так.

Первые годы старик еще выходил из дому, никого не беря в провожатые. Он надевал мешковатое прохудившееся пальто с торчащими из-под него обтерханными штанами, а в левую руку брал ветхую, точно с помойки, шляпу; ее он хранил в тайном месте и не позволял отдать в чистку. Все удивлялись, зачем он ее берет, если на голову не надевает.

Как-то раз девчонка, служившая у них прислугой, пришла домой вся дрожа и рассказала, что господин сидит на одной из центральных улиц, на перекрестке, перед ним его шляпа, и она сама видела, как какой-то прохожий бросил туда монетку. Когда старик вернулся, его тут же призвали к ответу, но он так разъярился, что все испугались, как бы он не прибил жену своей здоровенной клюкой, с которой не расставался ни на секунду. Рахель, женщина мягкая и сердечная, всегда уступала мужу, но в этот раз проявила твердость. Отняла шляпу и снесла ее на помойку. Без шляпы он уже не ходил попрошайничать. Но "на выход" по-прежнему надевал все те же обтерханные штаны и изношенное пальто. Както раз девчонку послали за ним следить и она прошла за ним весь долгий путь до Нашмаркта[1]. Но так боялась, что в какой-то момент потеряла его из виду. Он вернулся со свертком груш и торжествуя предъявил его падчерице и жене: задаром досталось, одна торговка просто так отдала; видимо, он и вправду казался таким голодным и опустившимся, что даже видавшие виды торговки с Нашмаркта из жалости совали ему фрукты, совсем не тронутые гнильцой.

Дома его занимала другая забота: припрятывать пухлые пачки купюр в спальне, чтобы далеко не искать. Матрасы обеих кроватей были набиты деньгами, под ковром на полу нарастал еще один слой банкнот; из многих пар башмаков старик надевал лишь одну, а по остальным рассовывал деньги. В его комоде хранился добрый десяток чулок, к которым не разрешалось прикасаться и которые он самолично проверял на предмет содержимого. По назначению он использовал только две пары. Деньги для ведения хозяйства жена получала на неделю вперед, все до гроша пересчитывалось — установил этот порядок сын. Старик попытался было обманом выманить у нее часть денег, но это плохо сказалось на вине и жарком, которые он потреблял в неимоверных количествах, и больше он так не делал.

Ел он столько, что за него становилось страшно, обычного распорядка еды не придерживался. С утра пораньше требовал себе вина и жаркого, а ко второму завтраку, задолго до обеда, требовал еще. Питался он одним мясом. Когда жена попыталась побороть его голод гарнирами — рисом и овощами, — чтобы не ел столько мяса, он с презрением отослал все обратно, а при повторной попытке с яростью вывалил гарнир на ковер, съел мясо в один присест и велел принести еще — дескать, ему недодали. С его волчьим аппетитом и жадностью к кровавой плоти не было никакого сладу. Жена пригласила к нему врача, невозмутимого бывалого человека; сам уроженец Сараева, тот слышал о старике, понимал его речь и мог свободно изъясниться с ним на родном наречии. Но осмотреть себя пациент не позволил. С ним, мол, все в порядке, что худой, так он всегда таким был, единственное его лекарство — это вино и жаркое, и пусть только попробуют не давать, он пойдет и *выклянчит*. Старик заметил, что ничто не приводит домочадцев в такой ужас, как его страсть попрошайничать. К его угрозе они отнеслись серьезно; на предупреждение врача, что он протянет от силы года два, если не поменяет привычек, старик разразился бранью. Ему, дескать, надо мяса, и

1. Большой продуктовый рынок в Вене.

все тут, он отродясь ничего другого не ел и на девятом десятке становиться травоядным быком не намерен, довольно — ya basta!

Вместо него два года спустя умер врач. Старик всегда бывал рад, когда кто-нибудь умирал, а тут и вовсе на радостях потерял сон и несколько ночей кряду отмечал смерть врача вином и жарким. Домочадцы еще раз попытались было прислать к нему доктора, но тому — здоровяку, не достигшему еще и пятидесяти, — повезло еще меньше. Пациент повернулся к нему спиной, не сказал ни слова и выпроводил, даже не обругав. Второй врач тоже скончался, правда, протянул чуть дольше первого. На его смерть старик внимания не обратил. Он привык к тому, что врачи уходят раньше него, вина и жаркого хватало для его пропитания, и нужды в человеческих жертвах уже не было. Родные все же решились еще на одну попытку: когда жена захворала, она пожаловалась *своему* врачу. Она страшно недосыпает — муж просыпается среди ночи и требует, чтобы принесли еды. С тех пор как он реже выходит на улицу, дела совсем плохи. Этот третий врач, человек отчаянный — впрочем, может, он просто не знал о судьбе предшественников, — настоял-таки на осмотре: старик лежал на соседней кровати и, не обращая на больную жену внимания, поедал очередной бифштекс с кровью. Врач выхватил у него из рук тарелку, да еще и прикрикнул: что он вообще себе думает? Это смертельно опасно! Он понимает, что скоро ослепнет? Тут старик в первый раз испугался, однако причина его испуга разъяснилась не сразу.

Ел он все то же, что и раньше, но теперь совсем перестал выходить из дому и завел обычай запираться на час-другой в комнате, чего прежде не делал. На стук он не отвечал, и из-за двери слышалось, как он ворошит кочергой в камине. Зная о его пристрастии к огню, все решили, что он просто сидит у камина, а когда возжелает обычного, то уж как-нибудь даст о себе знать. Так оно каждый раз и случалось, пока падчерица, привыкшая, что ее ключи играют с ней в прятки, не взяла себе ключ от двери, соединяющей столовую и спальню, а услыхав, как старик ковыряется кочергой в огне, не отворила внезапно дверь. В руке у отчима была пачка банкнот, и он на ее глазах кинул ее в огонь; несколько пачек лежали подле него на полу, другие уже превратились в золу и пепел. "Оставь меня, — сказал он. — Мне некогда. Я еще не закончил", — и широким жестом обвел лежавшие на полу несожженные пачки. Он жег свои деньги, чтобы они никому не достались, но денег было столько, что вся спальня оказалась завалена пачками.

То, что старый Алтарас начал жечь деньги, стало первым звонком. Этот третий врач, которого и пригласили-то не к нему и которого старик принял с таким безразличием, будто ему на все наплевать; этот врач, которому он, вкушая обычную трапезу, хотел продемонстрировать полное равнодушие к жене с ее хворями — этот врач своим грубым тоном произвел на него впечатление и действительно напугал. Похоже, Алтарас засомневался, что так будет продолжаться вечно; в любом случае, угроза слепотой его смутила. Теперь он старался как можно чаще смотреть на огонь и на деньги, а больше всего любил, когда деньги сгорают в огне.

После того как его разоблачили, он уже не трудился запирать дверь на ключ и предавался своему хобби в открытую. Чтобы ему помешать, понадобилось бы несколько дюжих мужчин. Рахель не знала, что делать, и после некоторых размышлений написала в Сараево, старшему

сыну Алтараса, а тот, хоть и транжира, возмутился столь злонамеренным уничтожением денег, немедля приехал в Вену и взял старика в оборот. Чем он ему пригрозил, ни мать, ни дочь так и не узнали. Но, видно, кое-чем пострашней случайных врачебных увещеваний — может быть, сказал, что оформит над ним опекунство и поместит в лечебницу, где с вином и мясом в привычных дозах будет покончено, — как бы то ни было, угроза подействовала. Уцелевшие пачки денег, запрятанные по тайникам, остались при старике, но теперь он уже ничего не жег и должен был примириться с тем, что к нему в комнату регулярно приходят с проверкой.

То, что в возрасте восемнадцати лет Веце удалось уберечь свой мир от проклятий, брани, стучащей клюки этого жутковатого человека, оказало на нее большое влияние. Теперь уже редко случалось так, что отчим возникал на пороге ее комнаты. Разве что раз в две-три недели распахнет настежь дверь и встанет, длинный и тощий, перед каким-нибудь гостем, но всегда на почтительном расстоянии, и гостю не столько страшно, сколько странно и любопытно. Клюку Алтарас держал в руке, но о порог ею уже не стучал, не бранился, не угрожал, а только просил помочь. К запретной двери его теперь гнал страх. "У меня деньги украли, — говорил он. — Деньги горят". Поскольку никто его на дух не выносил, он подолгу просиживал в одиночестве, обуревавшие его страхи неизменно касались денег. С тех пор как старику запретили сжигать банкноты, ему стало мерещиться, что его обкрадывают или что пламя врывается в комнату, пытаясь силой взять то, что ему уже не приносят в жертву по доброй воле.

Отчим не приходил, когда Веца сидела одна, — только если из ее комнаты слышались голоса. Слух у него с возрастом нисколько не притупился, ни единый звук не ускользал от его ушей: звонок в дверь, шаги, оживленные голоса в коридоре, потом за стенкой, да еще и на непонятном ему языке — эти незримые сцены будили в нем страх, что готовится тайное нападение с целью отнять у него деньги.

Первое время, когда я начал приходить к Веце, я два-три раза видел его. Меня поражало, до чего он похож на Данте. Казалось, великий итальянец восстал из гроба. Секунду назад мы с ней говорили о "Божественной комедии", как вдруг распахивается дверь, и он встает на пороге, будто завернутый в белый саван, с клюкой — воздетой не для обороны, а с жалобой. "Mi arrobaron las paras, у меня украли деньги!" — нет, не Данте, а персонаж Дантова ада.

## *Припадок*

Это случилось 24 июля 1925 года, за день до моего двадцатилетия. С тех пор я никогда о том не рассказывал, и описать происшедшее мне нелегко.

Ханс Азриэль предложил отправиться вдвоем в поход по Карвендельским Альпам. Мы решили жить скромно, ночевать в деревенских хижинах. На такое и денег больших не нужно. Ханс подрабатывал у кожевника Брозига и как раз скопил, откладывая понемногу из своего небольшого жалованья, нужную сумму. Он был очень бережливым: иначе не проживешь — семья едва сводила концы с концами.

Он тщательно рассчитал весь маршрут, и получилось, что переход не займет и недели. После чего можно было бы, пожалуй, еще неделю отдохнуть где-нибудь в горах; я хотел использовать это время и для работы, заняться будущей книгой о массе. Поэтому предпочел бы остаться в горах один. Но четко я этой мысли не проговаривал, боялся обидеть Ханса. Тем охотней обсуждали мы во всех деталях переход через Карвендель. Методичный Ханс сидел, склонившись над картами, и просчитывал каждый отрезок пути, каждый горный перевал. Первые недели июля прошли в таких обсуждениях. Дома за столом я обо всем рассказывал. Мать слушала, не говорила ни "да", ни "нет", но по мере того как подробности умножались – в воздухе так и звенело от названий карвендельских местечек, – стало казаться невозможным, что она вдруг запротестует, мне чудилось, что в мыслях она идет по горам вместе с нами. Конечной целью маршрута был городок Пертизау на берегу Ахензее. Как-то раз мать даже обронила такую мысль: не съездить ли ей самой на каникулы в Пертизау, чтобы нас там встретить. Но это было сказано просто так и вскоре забылось, мы же с Хансом все обсуждали детали похода. И вот 24 июля, с утра пораньше, мать вдруг потребовала, чтобы я выкинул из головы всю затею – никакого похода не будет, на роскошества у нее денег нет. Другой бы на моем месте радовался уже тому, что учится в университете; не стыдно мне заявлять такие претензии, когда люди кругом вообще не знают, как выжить?

Это был тяжелый удар, очень уж внезапно он грянул, а до того мать много недель подряд благодушно, даже не без интереса слушала наши планы. Вот уже почти год как мы жили в этой квартире, и после всех распрей и трений мне было необходимо вырваться на свободу. В последнее время мать давила на меня все сильней и сильней, и после каждого тяжелого спора я спасался мыслями о походе. Мне уже рисовались голые известняковые скалы в ослепительном солнечном свете – как вдруг, за завтраком, падает неумолимый нож гильотины, отсекая дыхание и надежду.

Я готов был колотить кулаками в стены, но взял себя в руки и от бурной сцены на глазах у обоих братьев все же удержался. Все, что случилось потом, произошло на бумаге, но не так, как всегда – не в виде каких-то систематических записей; к тому же вместо обычной тетради я схватил большой отрывной альбом, почти новый, и аршинными буквами стал исписывать один листок за другим: "Деньги деньги деньги"; и так строка за строкой, строка за строкой, пока лист не заполнится; потом я его отрывал, и на следующем начинал то же самое: "Деньги деньги деньги". Рука выводила гигантские буквы, и каждый лист очень скоро кончался, весь наш большой обеденный стол был завален бумагой, листов становилось все больше, они падали на пол. Бумага уже покрыла ковер вокруг большого стола, а я все писал и писал, в альбоме было сто отрывных листов, и каждый я исписал полностью. Братья поняли, что творится что-то неладное; я все проговаривал вслух, не в полный голос, но достаточно отчетливо; через всю квартиру неслось: "деньги деньги деньги..." Братья осторожно приблизились к столу, подобрали с пола листы и прочли, что́ на них написано. "Деньги деньги деньги..." Тогда средний, Ниссим, кинулся к матери, на кухню, и закричал: "Элиас сошел с ума! Иди к нему!"

Она не пришла, велев передать: "Скажи ему, пусть сию же минуту прекратит. Бумага так дорого стоит!" Но я его не услышал, я все писал и писал, в дикой горячке и спешке. Может, в эти минуты я и *сошел с ума* — как это ни назови, но слово, в котором сосредоточилось все самое подлое и тяжелое, одержало верх, завладело всем моим существом. Я ничего не слышал: ни насмешливых выкриков братьев — правда, младший, Георг, не слишком усердствовал, очень уж он испугался, — ни слов матери, которая все же соблаговолила выйти к нам, то ли в досаде на трату бумаги, то ли засомневавшись в том, что я, как она поначалу сказала, "ломаю комедию". Я не заметил ее прихода, не замечал и братьев, я не заметил бы никого, настолько был одержим одним-единственным словом, квинтэссенцией бесчеловечности. Я писал, а энергия этого слова, подгонявшая руку, не слабела; я не ее — не мать — ненавидел, а это слово, и пока у меня еще оставалось бумага, исчерпать свою ненависть не мог. Мать больше всего была потрясена безумной скоростью, с какой совершалось это писание. По бумаге бежала рука, но я запыхался, как будто бы сам бегу; с такой скоростью я еще никогда ничего не делал. "Как скорый поезд, — рассказывала она потом, — такой тяжелый, нагруженный..." Вот оно, это слово, оно у нее с языка не сходит, а ведь знает, что для меня это мука, вот оно, сотни и тысячи раз, я транжирю его просто так, назло его сути, — оживляю и воскрешаю, как будто так оно тратится, как будто так это все может кончиться. Не исключаю, что мать испугалась и за меня, и за него, за главное свое слово, которое я вычерпывал полными горстями.

Я не заметил, как она вышла из комнаты, и не заметил, как снова вернулась. Я ничего не заметил бы, пока в альбоме еще оставались листы. Внезапно посреди комнаты вырос старенький доктор Лауб, медицинский советник, лечивший всю нашу семью. Мать стояла за ним, отвернув лицо, видная только наполовину; я знал, что это она, но не мог заглянуть ей в глаза — она спряталась за врачом, — и тут я сообразил, что секунду назад в дверь громко постучали. "Ну-с, что же с деткой такое?" — протянул доктор своим торжественным голосом. Медленный темп, паузы между фразами, ударение на каждом слове, невероятная банальность его ученых пояснений, напоминание о прошлом визите, словно в промежутке ничего не было, — в прошлый раз я болел желтухой, а сейчас то что? — все это вместе оказало воздействие и вернуло меня к рассудку. Хотя альбом еще не закончился, я сразу остановился.

"И что же мы так старательно выписываем?" — спросил доктор Лауб; фраза тянулась долго, целую вечность. Я выпал из скорого поезда, в котором несся по строчкам, и уже в другом, докторовом, темпе протянул ему последний листок. Он торжественно зачитал. Он произносил его вслух, это слово, которое я исторг из себя на бумагу, — но без враждебности, а с толком и с расстановкой, как будто следует десять раз подумать, прежде чем выпустить изо рта такую драгоценность. Он чуть проглатывал слоги, как будто из экономии; про себя я это отметил, но сохранял спокойствие, сам удивляясь, что ярость не вспыхнула заново. Доктор прочел *все*, что было написано на последнем листке, и так как я исписал уже больше половины, а читал он неспешно, чтение растянулось надолго. Он не потерял ни одного, ни единого слова, а когда подошел к концу, я неверно истолковал движение его руки, решив, что он просит подать ему следующий лист, с продолжением. Но только я его

протянул, как доктор с отстраняющим жестом сказал: "Вот и хорошо. Достаточно". А затем, откашлявшись, положил руку мне на плечо и медоточивым, вкрадчивым голосом задал вопрос: "Ну а теперь давайте-ка расскажем — зачем нам понадобились деньги?" Я уж не знаю, в силу ли своего ума или, напротив, простодушия, но он меня разговорил. Я рассказал по порядку все как было: как дома пару недель подряд слушали про Карвендель, без возражений, даже вроде с участием, — и вдруг с бухты-барахты поход отменяется. А ведь ничего такого не произошло, что изменило бы положение дел, все это чистой воды произвол, как обычно у нас и бывает. Я уйду отсюда, уеду далеко, на край света, чтобы только не слышать больше проклятого слова.



"Ага! — кивнул он, обводя рукой листки, густо усеявшие ковер. — Потому-то мы и написали столько раз это слово — чтобы уж точно знать, о чем мы больше не хотим слышать. Но прежде чем уезжать на край света, съездим-ка погулять по Карвенделю. Это пойдет нам на пользу". От этих слов сердце мое растаяло, он говорил так уверенно, будто был вправе распоряжаться деньгами, нужными для поездки, будто они *у него* в кармане. Я переключил внимание на доктора, во мне ожила надежда, и, пожалуй, сегодня я вспоминал бы о нем с благодарностью, если б он в тот же миг не испортил все свой нелепой резолюцией. "Тут кроется нечто другое. Дело не в деньгах. Дело в эдиповом комплексе. Это ясно как день. А деньги тут ни при чем". Он потрепал меня по щеке и вышел. Дверь в переднюю стояла открытой. До моих ушей донеслись робкие вопросы матери, а затем вердикт доктора Лауба: "Отпустите его, пусть едет. Лучше всего — прямо завтра. При эдиповом комплексе это полезно".

Так все и решилось. Врачей мать слушалась беспрекословно. Если дело касалось ее самой, она старалась собрать побольше различных суждений. Тогда можно выбрать из всех вердиктов такой, какой тебе больше нравится, самовольно ни одному не противодействуя. Нам же, считала она, достаточно *одного* врача и *одного* заключения, но зато уж его и надо держаться. Поход на Карвендель — дело решенное, в мелочи вдаваться не стоит. На четырнадцать дней мне разрешили отправиться с Хансом в горы. Еще два дня я пробыл в квартире. Меня ни в чем не упрекали. Считалось, что я в опасности, у меня расшаталась психика, исписанные листы подняли с пола и отложили аккуратной стопкой в сторону. Раз уж потрачено столько бумаги, ее — как симптом душевного помрачения — надо хранить.

На сердце у меня в эти дни было все так же тяжело, но теперь впереди маячил скорый отъезд. Мне удалось на время притихнуть, что совсем не в моей натуре, и мать тоже голоса не подавала.

## *Самооправдание*

26 числа мы с Хансом отправились в Шарниц. Отсюда и начался наш поход по Карвенделю. От голых, рассеченных ущельями белых скал у меня захватило дух, и меня "отпустило". Я сам еще не до конца осознал, в каком я скверном состоянии, но сейчас казалось: все с плеч долой, я избавился от ненужного, освободился от домочадцев и могу наконец начать с нуля на голых камнях, с одним рюкзачком, где почти ничего и

нет, но на четырнадцать дней — более чем достаточно. Наверное, без рюкзака было бы еще лучше. Но как-никак в рюкзаке лежали важные вещи: две тетрадки и книга, предназначенные для второй недели каникул. Я думал остановиться в каком-нибудь месте, какое понравится, и приняться, как я тогда с апломбом говорил, "за свой труд". В первой тетради я решил записывать все замечания и возражения по поводу книги, которую взял с собой, книги о массе. Я намерен был заложить основу для будущей работы, отмежеваться от мнений, уже пущенных в оборот. Бегло ознакомившись с книгой, я понял, что она меня не удовлетворит, и решил соскрести с массы все, как я говорил, "каракули", увидеть перед собой чистую нетронутую вершину и покорить ее первым, не опираясь ни на какие предвзятые мнения. А во второй тетради я буду освобождаться от гнета, накопившегося за последний год, и записывать все, что покажется мне интересным в новом ландшафте и населяющих его людях.

Этим "великим" замыслам только на пользу, что, пока мы идем по горам, мысли задвинуты в дальний угол. Инструменты для исполнения дела лежали на самом дне рюкзака, я ни разу не вынул ни тетрадок, ни книги, а Хансу даже не говорил, что они у меня есть. Зато я полной грудью вбирал в себя горы — полной грудью, как будто горами можно дышать. Хотя временами мы и карабкались на вершины, самое главное были сейчас не виды, а неизбывная пустота, что остается сзади и растилается на километры вперед. Вокруг — камни, сплошные камни, даже небо казалось недопустимой поблажкой, и, когда мы подходили к горным речушкам, мне в глубине души не нравилось, что Ханс несется к воде, вместо того чтобы пройти мимо и отказать себе в удовольствии.

Он не мог знать, в каком состоянии я отправился на эту прогулку. О домашних неурядицах я помалкивал. Гордость не позволяла мне признаться в чем-то таком, да и признайся я, он вряд ли бы меня понял. Мать пользовалась у Азриэлей большим авторитетом, была в их глазах незаурядной женщиной с оригинальными, далекими от ее мещанского происхождения, идеями и суждениями. О том, как подействовал на нее санаторий в Арозе, воскресивший в ней все прежнее, родовое, Алиса Азриэль и не подозревала. Она видела мать такой, какой та была раньше, — гордой и своенравной молодой вдовой нашей первой венской поры. Сравнивая ее с собой прежней, Алиса считала, что мать хорошо обеспечена, а поскольку никакой узости мысли, сопряженной с деньгами, она в матери не ощущала, то оставляла за ней право быть обеспеченной. Возможно, мать и сама скрывала, как сильно переменилась: разве могла бы она говорить с подругой детства о деньгах, зная, в каких стесненных обстоятельствах та живет, и не предлагая помощи? Во всяком случае, тему денег, которая в наших с ней отношениях стала главной, — монотонную, как заезженная пластинка, — она в разговорах с Алисой не обсуждала, и Хансу казалось, что у него есть все основания завидовать "здоровой" атмосфере нашего дома.

Обо всем прочем мы с ним говорили, говорили без остановки; молчать в присутствии Ханса было невозможно. Что-то все время принуждало его состязаться со мной, поэтому он не давал мне договорить буквально ни одной фразы, а сам подхватывал ее и украшал бесконечными, как мне казалось, придаточными. Чтобы успеть сказать больше меня, он частил и не тратил времени на раздумья. Благодарный за этот поход,

им придуманный, им же и подготовленный, я вел с ним странные игры: говори со мной обо всем, только темы гор не касайся. Он заметил, что сто́ит ему завести разговор о вершинах и разных путях, какими туда можно подняться, как я перевожу все на книжки, и решил, что мне скучно говорить о горах. А когда кругом одни голые однообразные камни и глазу больше не за что зацепиться, бесплодность рассуждений о ландшафте действительно очевидна. Очень скоро он и сам перестал говорить о горах, которые я хотел сохранить за собой — как некую целостную идею. Не то чтобы я тогда уже сформулировал для себя такую идею, нет, я только пытаюсь передать в двух словах, как я тогда это ощущал. Мне нужно было увидеть, как впереди вздымается голый бесплодный горный массив, ибо я собирался заняться проблемой, посвятить себя "труду", который долго не будет приносить никаких плодов. Его можно уподобить горе, но гора эта — не рудник, здесь нельзя ничего добывать и раскапывать; она должна сохранить свой угрожающий целостный облик, остаться нетронутой и в то же время не стать для меня ненавистной обузой. Из края в край, из конца в конец предстоит мне исходить эту гору, во многих точках к ней прикоснуться, однако все-таки нужно помнить, что пока она мне неведома.



Итак, *неозвученный* Карвендель, куда я попал сразу после своего двадцатилетия, знаменует начало того этапа, который стал и самым протяженным по времени, и самым содержательным этапом моей судьбы.

Даже удивительно, что за пять-шесть дней, проведенных в обществе говоруна, на чей голос я отзывался, которому возражал, — не помню, чтобы мы с ним помолчали хотя бы секунду, — мы ни разу не заговорили о местности, по которой шагали, и ни разу не упомянул я того, что так мучительно на меня давило весь последний год. Мы болтали о книгах, легкими пузырьками срывались с губ незначащие слова, и, хотя я *честно* излагал свои мысли, да и Ханс, когда находил в себе для этого силы, — тоже, мы с тем же успехом могли бы говорить о чем угодно другом. Не о тех книгах, о которых шла речь, а о каких угодно других. Ему грело душу, что он ни в чем мне не уступает, а в чем-то и опережает меня, я же был рад, что могу молчать обо всем, что по-настоящему для меня важно. Сейчас я не помню ни единой фразы, ни слова из тех разговоров, похожих на журчание ручья; главным водным источником среди сплошного известняка были наши беседы, они просочились сквозь известняк и сгинули без следа.

Но похоже, такое обращение со словами не может остаться безнаказанным, и, когда мы дошли до городка Пертизау на Ахензее, нежданно-негаданно грянула катастрофа. Ханс растянулся у воды, нежась на солнышке, я же, вместо того чтобы тоже прилечь, ходил взад-вперед по берегу. Друг мой лежал на спине, заложив руки за голову и зажмурившись. Было жарко, солнце стояло в зените, и мне показалось, что он заснул. Позабыв о нем, я прогуливался невдалеке. Под тяжелыми горными башмаками скрипел песок, и, подумав, что это может его разбудить, я посмотрел в его сторону. И тут я увидел, что глаза у него широко открыты и он следит за мной неподвижным взглядом, исполненным такой злобы, что у меня холодок пробежал по спине. Я не считал его способным на сильные чувства, как раз их-то ему и недоставало, а потому удивился этому взгляду и поначалу даже не осознал, что злоба обращена на меня и что она не может рассеяться без последствий. Я встал чуть сбоку, у перил над

самой водой, откуда мог держать его в поле зрения: он лежал молча, не шевелясь, и смотрел на меня в упор; постепенно я понял, что злоба сковала ему язык. Для меня были внове как это молчание, так и то чувство, которым, по-видимому, оно было продиктовано. Я не попытался изменить ситуацию, я отнесся к его молчанию с уважением; между нами уже было сказано так много слов, что они потеряли цену. Длилось это довольно долго. Ханс лежал как в параличе, двигались только его глаза, и под нарастающим воздействием его взгляда в голове у меня мелькнуло: "убийство". Я поднял свой рюкзак, который лежал на земле рядом с его рюкзаком, и, не надевая на спину, стал удаляться. Ханс, увидев, что я взял рюкзак, очнулся от оцепенения, вскочил и схватил свой. Вот он уже стоит — тонкий, как лезвие бритвы, — на тропинке; вот уже зашагал, не удостоив меня ни единым взглядом, вниз в сторону Енбаха.

Шагал он быстро, я чуть помедлил, пока он не скрылся из виду, и двинулся той же тропинкой вслед за ним. Я решил, что в Енбахе сяду в поезд и поеду по направлению к Инсбруку. В скором времени я заметил, насколько легче мне быть одному, совсем одному. Мы не сказали друг другу ни слова — будь сказано хоть одно, и все бы загладилось, но тут же снова хлынул бы словесный поток, и стоило мне подумать об этом, как меня затошнило. Итак, Ханс *смолчал*, тем самым разрубив все надвое. Я не пытался понять причину его молчания. Тревоги за него я тоже не чувствовал: зашагал он решительно, не объявив, вопреки своему обыкновению, что́ собирается делать. Я шел и ощупывал на ходу рюкзак — книга и обе тетради были на месте. Я не показывал их ему, даже не говорил, что взял с собой. Он знал, что я собираюсь, когда мы дойдем до цели, еще на неделю остановиться где-нибудь, чтобы, как я тогда выражался, "поработать". Захочет ли он составить мне компанию, между нами не обсуждалось. Может, он ожидал от меня внятного приглашения — провести вместе и эту вторую неделю, — но я ничего такого не предложил. В Пертизау поход окончился, Карвендель лежал позади, путь вниз по долине, до Енбаха, был недалек, там останавливались поезда; оттуда нам в разные стороны: я сяду в поезд на Инсбрук, а он поедет обратно в Вену.

Так все и вышло: я снова увидел его уже в Енбахе, когда переходил через пути. Стоял он невдалеке, на платформе, куда должен был прийти венский поезд. Мне показалось, он стоял в нерешительности, одеревенелость исчезла, с тощего плеча вяло свисал рюкзак, альпеншток словно притупился. Перейти через рельсы — ко мне на перрон — он не пытался. Может, он и двинулся за мной следом, но из-за вагонов подошедшего поезда его не было видно. Я сел в поезд и без малейших угрызений совести поехал в сторону Инсбрука, в последний момент избежав опасности примирения; к Хансу я чувствовал разве что благодарность — за то, что стоял он не на *моем* перроне, где не столкнуться нос к носу нам было бы затруднительно. И только много позднее я понял: беда его заключалась в том, что он сам, своими руками, создавал дистанцию между собой и близкими ему людьми. Он был Строителем Дистанций, в этом состоял его дар, и он строил так основательно, что преодолеть их потом не мог никто, даже он сам.

В Инсбруке я пересел на другой поезд и поехал в городок Кематен, что в устье Зельрайнской долины. Там я заночевал, а утром отправился в путь, решив дойти до деревни Грис, снять там комнату и провести неделю в одиночестве над своими тетрадями.

День был дождливый, почти грозовой, и, когда я зашагал по дороге, мне навстречу плыли клочья тумана, а в лицо хлестал дождь; я впервые путешествовал без попутчиков, и начало было не из приятных. Вскоре я промок до последней нитки, штаны и рубашка прилипли к телу; опасаясь попасть в грозу, я шел быстрым шагом и запыхался. На прошлой неделе, под ослепительным солнцем, все было легко и просто. Вот и правильно, думал я, за одиночество надо платить. По лицу текли дождевые струи, я слизывал капли и различал дорогу только шага на два вперед. Иной раз мне попадался крестьянский хутор, над дверью дома — табличка с приветствием путнику, попавшему в непогоду. Но когда с тебя течет в три ручья, в этом благочестивом радушии чудится чуть ли не издевка, и постучаться в такой нарядный, разукрашенный афоризмами домик я бы не рискнул. Через какое-то время, может часа через два, я добрался до верхнего плато Зельрайнской долины. В деревне Грис, самой большой здесь, быстро нашлась свободная комната — у крестьянина, который еще и обшивал всю деревню. Хозяева встретили меня приветливо, высушили мою одежду; к вечеру прояснилось, мне сказали, что завтра погода будет хорошая, и я мог приступать к работе.

Хозяевам я объяснил: все десять дней, что я намерен пробыть в деревне, буду заниматься — первую половину дня я решил отдавать работе. Мне выдали складной столик и разрешили поставить его в крохотном палисаднике перед домом. Я вставал чуть свет и сразу же после кофе, прихватив карандаш, тетради и пресловутую книгу, выходил в сад. Когда я начал, стояло чудное, ясное и прохладное утро. Хозяева покачивали головами, что меня нисколько не удивляло; куда больше я удивлялся себе и тому, что раскрыл-таки книгу, которая раздражала меня с первого слова, да и сегодня, пятьдесят пять лет спустя, раздражает ничуть не меньше. Это был Фрейд, "Психология масс и анализ человеческого Я"[1].

Первым делом я обнаружил в книге, как обычно бывает у Фрейда, цитаты из авторов, занимавшихся тем же предметом, главным образом из Ле Бона[2]. Смутил меня уже сам подход к теме. Большинство этих авторов отгораживалось от массы: они чуждались ее или, может, боялись, а к изучению приступали как бы с отстраняющим жестом: мол, держись от меня подальше! В массе они видели нечто наподобие проказы — род болезни, симптомы которой необходимо выявить и описать. Им казалось, что самое главное при столкновении с ней — сохранить ясную голову, не соблазниться, не потерять себя. Перед мысленным взором Ле Бона, когда он создавал единственное в своем роде подробное описание массы, вставало начало рабочего движения, а также, наверное, Парижская коммуна. Большое влияние на него оказали работы Ипполита Тэна[3], он увлекался его "Историей Французской революции", особенно эпизодом сентябрьских убийств. Фрейда же отвратили от массы иные картины. В Вене он уже в зрелом возрасте, приближаясь к шестидесяти,

1. Работа 1921 г.
2. Густав Ле Бон (1841–1931) — французский социальный психолог, врач, антрополог и археолог; автор книги "Психология народов и масс" (1896), в которой одним из первых попытался обосновать тезис о наступлении "эры масс", повлекшем за собой общий упадок культуры.
3. Ипполит Тэн (1828–1893) — французский литературовед и историк, создатель так называемого культурно-исторического метода изучения литературы и искусства.

наблюдал всплеск военного энтузиазма. От такого рода массовых действий, с которыми и я был знаком по детским годам, Фрейд защищался, и это понятно. Но для выполнения замысла ему не хватало инструментария. Всю свою жизнь он занимался личностными, индивидуальными процессами. Регулярно видел своих пациентов, являвшихся к нему на прием, пока длился долгий курс лечения. Жизнь его протекала между приемной врача и кабинетом ученого. Он не был знаком ни с армейской, ни с церковной средой. Эти два института, церковь и армия, не описывались сформулированными им понятиями. Фрейд был слишком серьезным и добросовестным ученым, чтобы не замечать значения церкви и армии, и решил в своей поздней работе вплотную этим заняться. А за неимением личного опыта обращался к Ле Бону, чьи описания выросли из совершенно других примеров функционирования массы.

То, что получилось в итоге, казалось неудовлетворительным и нелогичным даже неискушенному глазу двадцатилетнего юноши. Теорией я не владел, но узнал, что такое масса, на практике, *изнутри*. Во Франкфурте я впервые безропотно ей отдался. Тогда-то я и понял, *с каким удовольствием* человек отдается массе. И не переставал удивляться этому. Я видел массу вокруг, но видел ее и внутри себя, и никакие разграничения и пояснения меня бы не переубедили. В первую очередь мне не хватало в работе Фрейда *признания значимости* массы. Я видел в ней такой же элементарный инстинкт, как либидо или чувство голода. И вовсе не нужно пытаться ее устранить как самостоятельный феномен, сведя к особому сочетанию сил либидо. Наоборот, нужно пристально рассмотреть ее как нечто такое, что существовало всегда, а сейчас присутствует даже ощутимее, чем когда-либо прежде; взглянуть на нее как на данность и изучать "от самого основания", то есть сперва пережить ее воздействие на себе, а уж потом описывать, ибо описывать массу без опыта личной встречи с нею — это тупиковый путь.

Пока что я ни к чему не пришел — взялся за некий замысел, вот и все. Но за замыслом стояла решимость положить на его воплощение хоть всю жизнь — столько лет и десятилетий, сколько потребуется. Желая подчеркнуть фундаментальность этой темы и необходимость ее разработки, я говорил тогда о *массовом инстинкте*, который приравнивал по значению к половому. К первым своим критическим замечаниям по работе Фрейда я приходил вслепую, на ощупь. Они отражали разве что общее недовольство книгой, мой протест и решимость не дать себя "заболтать", а уж тем более — провести. Больше всего я боялся *упустить* в своем анализе нечто такое, в существовании чего не мог сомневаться, ибо сам это пережил. Разговоры с матерью показали мне, насколько слеп может быть человек, которому хочется быть слепым. А теперь я понял, что с книгами та же история, что нужно быть *зорким*; что опасно по лености откладывать критику на потом, поначалу соглашаясь со всем, что тебе предлагают.

За эти десять дней в Зельрайнской долине я научился зоркости чтения. Промежуток с 1 по 10 августа 1925 года — время рождения моей интеллектуальной свободы. Размежевание с Фрейдом совпало с началом моей работы над книгой, которая увидела свет лишь тридцать пять лет спустя, в 1960 году.

В те же дни добился я и личной независимости. День длился долго, жил я отшельником, с утра занимался часов по пять, остальное время

посвящал разговорам с самим собой. Такие внутренние монологи возникали обычно после обеда, во время прогулок. Я исходил всю долину, забирался на Праксмар и выше, до самых перевалов, ведущих в соседние долины. Два-три раза залез на гору Роскогель, что возвышается прямо над деревушкой. Мне было приятно и уставать, и достигать желаемых целей — ведь они, в отличие от большой, маячившей в необозримой дали, *достижимы*. На ходу я что-то бубнил себе под нос, видно желая облечь в слова свои мысли, упорядочить и изгнать душевную неразбериху — накопившуюся за весь год смесь злобы, желчности и подавленности. Все это я вверял воздуху, где столько простора, но есть и ясность, и направление ветра. Какое счастье, когда ветер уносит злые слова и они исчезают. Ни до чьих ушей они не дойдут, а потому и смешными никому не покажутся. Но, чтобы свобода не перешла в произвол, я выпускал наружу лишь то, что долго пролежало под спудом и хотело обрести форму. Со всей откровенностью, без оглядки на собеседника, которого пришлось бы щадить, отвечал я на обвинения, когда-то меня оскорбившие или напугавшие. Я дал выход всему, что накопилось внутри, — и все мои возражения были весомы, новы и не придерживались заданных образцов.



Адресатом всех этих отповедей была *она* – та, что стала моим заклятым врагом, что задумала вырвать из почвы все, ею же и насаженное. Так мне тогда казалось, и хорошо, что казалось так — иначе откуда бы я взял силы на сопротивление, на то, чтобы не захиреть. Справедливым я не был, какая уж там справедливость. Ведя борьбу не на жизнь, а на смерть, я не замечал того, сколько ошибок совершил сам, сколько лет своей резкостью и свирепой непримиримостью сам взращивал своего противника. То было время не справедливости, а свободы, и здесь, в горах, никто не мог переиначить мои слова, перекрыть мне дыхание.

А вечером я приходил домой, садился за стол и многое из таких отрывочных мыслей заносил во вторую тетрадь, ту, что предназначалась для личных записей.

Когда много позже, пятьдесят четыре года спустя, я нашел и перечитал тогдашний дневник, мне стало страшно. Какая необузданность, какая напыщенность! Я обнаружил здесь каждую фразу, которой мне угрожали и делали больно. Ни одна не забылась, ни одна не упущена; все самые стыдные и незаслуженные попреки запечатлены в той тетради. Но на каждый попрек нашлась и ответная отповедь, и в непомерной, бьющей через край страстности своих возражений я почувствовал смертоносные силы, о которых тогда не подозревал. И если бы дело этим и ограничилось, если бы эта страстность не обернулась отчаянной погоней за знаниями, то закончилась бы моя история скверно, и сегодня некому было бы оправдываться за те десять дней великого гнева.

Вечерами в трактире при доме портного собиралось много народу, крестьяне и пришлый люд, все выпивали и пели, но я не участвовал в общем веселье. Я сидел со стаканом вина и молча писал в тетради — тщедушный малообаятельный очкарик-студент, кому бы сам Бог велел подсесть к людям, чтобы в общей беседе за кружкой пива у него исчезло ощущение неловкости. Однако я был занят тем, что пытался оправдать себя, и хотя зорким глазом следил за происходящим вокруг, но виду не подавал и казался настолько погруженным в свою писанину, что под конец меня вообще перестали замечать. Передо мной стоял стакан муска-

теллера, так что никто не досадовал, что я зря занимаю место. Я чувствовал, что мне нельзя вступать в посторонние разговоры. Они оборвут разговор с собой, ослабят энергию самооправдания. Перед этими чужими людьми я не смогу быть самим собой. Переполняющая меня злоба покажется им сумасбродством; а разыгрывать какую-то роль мне не хотелось.

Но, несмотря на всю странность тогдашних обстоятельств, у меня завелись друзья. Каждое утро, часам к шести, под мое окно прибегали мальчишки. Их было трое, младшему лет пять, а старшему — восемь. Они в первый же день увидали, как я сижу и пишу за столиком, и это занятие показалось им до того необычным, что они поглазели немножко, а потом в один голос спросили, как меня звать. Мне так понравились эти ребята, что я сразу назвал свое имя, и тут они совсем удивились. "Элиас" с недоумением повторяли они, покачивая головами. С этим именем я стал для них еще более непонятным, чем прежде. Но старшего вдруг осенила спасительная мысль, и он объяснил товарищам: "Есть такое собачье имя!" С этой минуты они полюбили меня как домашнего пса и по утрам заменяли будильник, выкликая меня под окном: "Элиас! Элиас!" Когда я усаживался за стол, погружаясь в Фрейда и свои записи, они выстраивались рядком поблизости и долго стояли так, не мешая мне ни единым звуком. Потом им надоедало стоять и они рысцой убегали прочь, искать других псов, забавней и лучше.

После обеда, когда я отправлялся на прогулку, они уже поджидали меня под дверью, и часть дороги мы проходили вместе. Я спрашивал, как называется такой-то зверь и такой-то цветок; как зовут их матерей, отцов и других сородичей. Мальчишкам не разрешали отходить далеко от деревни, и внезапно, будто сговорившись, они останавливались. Больше всего им нравилось махать мне рукой на прощанье. Один раз я забыл помахать в ответ, и наутро они меня отчитали. Так и прошли те внешне безмолвные десять дней — трое мальчишек составляли мне компанию. В тогдашнем моем возбуждении, когда в голове постоянно мелькали угрозы, проклятия и заверения, что я еще оправдаюсь, ни одно существо не могло бы тронуть меня сильнее, чем эти дети, и когда по утрам они стояли рядком у стола — на почтительном расстоянии, чтобы не помешать, — и смотрели, как я пишу, то мне виделось в этом что-то вроде благословения, которое я заслужил. <...>

## Школа слуха (Вена, 1926–1928)

### Убежище

К середине августа я вернулся в Вену. Первой встречи с матерью я не помню. Свобода, которую я обрел благодаря "сведению счетов" в горах, перевернула мое сознание. Теперь я без чувства неловкости и вины спокойно ходил к тому единственному человеку, к которому меня тянуло, единственному, с кем я мог говорить, не кривя душой. Когда я приходил к Веце и начинался разговор о наших любимых картинах и книгах, я ни на секунду не забывал, с какой энергией и решимостью добывала себе свободу она — эту комнату, где все устроено так, как ей хочется, где она вольна заниматься тем, что соответствует ее потребностям.

Ей пришлось вести более суровую борьбу, чем мне: древний старик, все время сидевший рядом, за стенкой, хотя уже и не вторгавшийся в ее комнату, враждовал со всеми, признавал лишь свои желания, — и то, что ради освобождения от осады ей приходилось держать осаду самой, не спускать с него глаз, куда меньше отвечало природе Вецы, чем моей — борения с матерью, которые все-таки были настоящими битвами: битвами между двумя противниками, прекрасно сознающими, что́ они ставят в вину друг другу.



Отныне созданное Вецей убежище сделалось и моим. Я всегда мог туда пойти, ни разу не появился некстати, мои визиты были здесь желанны, но, с другой стороны, никто меня к ним не принуждал. Говорили мы всегда о вещах волнующих. Ты приходил переполненный и уходил не менее переполненным. В течение двух часов все, что тревожило и занимало твой ум, как бы подвергалось процессу алхимической трансмутации — и в результате очищалось и прояснялось, не утрачивая своей ценности. А потом еще несколько дней занимало тебя, но как-то уже по-другому, в ином качестве, пока не накапливалось столько новых вопросов, что пора было отправляться к Веце с очередным визитом.

Уж теперь-то мы вспомнили все, о чем позабыли в тот мой первый майский визит из-за моей горячей тирады в защиту короля Лира. Нет, на дела домашние я не жаловался. Рассказать ей всю правду не позволяла мне гордость. К тому же я и сам поддерживал то представление о матери, которое сложилось у других, будто верил, что этот образ вернет матери ее прежнее "я". Матери было всего сорок лет, ее по-прежнему считали красивой, о ее начитанности в кругах людей сведущих ходили легенды. Новых книг она, как мне кажется, тогда уже почти не читала, но цепкая память услужливо поставляла все прежнее, и, если речь не заходила о чем-нибудь, о чем мать в первый раз услышала от меня, она умела блеснуть в разговоре умом и хорошим вкусом. Только я один мог почувствовать, что прежний ее образ мыслей мертв. А на пиках взаимного озлобления она всякий раз утверждала, что виноват в этом именно *я*.

В первые месяцы моих визитов к Веце, примерно с полгода, я об этом помалкивал, но Вецу фигура умолчания вокруг моей матери не смущала. Она ставила ту на голову выше себя; о том, какие таланты она ей приписывает, я догадался, только когда Веца несмело спросила, почему, собственно, мать не печатается. Веца была твердо убеждена, что мать пишет книги, когда же я, хоть и весьма польщенный, попытался это оспорить, продолжала стоять на своем и даже нашла причину, по которой мать держит свое писательство в тайне: "Она считает нас всех болтунами. Так оно и есть. Мы восхищаемся великими книгами и без конца о них говорим. А она их *делает* — и так презирает нас всех, что никому ничего не рассказывает. Когда-нибудь мы узнаем, под каким псевдонимом она публикуется. То-то нам будет стыдно, что мы всё проглядели". Я упрямо твердил, что нет, такого не может быть, я бы точно заметил, если бы мать писала. "А она пишет только в одиночестве. Когда уезжает от вас в свои санатории. Она там вовсе и не болеет. Просто ей нужен покой для творчества. Когда-нибудь вы еще удивитесь, прочитав сочинения вашей матушки!"

Я поймал себя на желании, чтобы так и случилось, хотя прекрасно осознавал: не случится. Веца каждому помогала поверить в себя. И ма-

ло-помалу сумела внушить мне надежду — пусть слабую — относительно той, в ком я давно разуверился. Она и не ведала, как облегчает мне отделение от семьи. Ибо как только мать, не упускавшая случая попрекнуть меня неблагодарностью, принималась в мрачных тонах рисовать свой завтрашний день, — без старшего сына, который или погубит себя, или же превратится в столь жалкий нуль, что она перестанет его замечать, — во мне оживала надежда на ее потаенное сочинительство: вдруг это правда, тогда матери будет чем утешиться.

Но гораздо важнее, что во время этих визитов все становилось другим, незнакомым. Вчерашний день растворялся, я лишался прошлого. Утвердившиеся во мне ложные представления исправлялись сами собой, без борьбы. Я не чувствовал необходимости держаться за них только потому, что они подверглись атаке.

Веца знала на память много стихотворений, никому не докучая их чтением. Одно из них было общим для нас обоих — гётевский "Прометей". Она предложила мне прочитать его вслух. Я начал читать. Она не вторила, что далось бы ей без труда, шевеля губами, — она в самом деле хотела послушать, — и после ее слов: "Вы ничего не испортили" я безмерно возликовал, не сразу заметив, что сама Веца уже настроилась на стихотворение подлиннее, к которому хочет и меня приохотить, — на "Ворона" Эдгара По. Веца была одержима этим предлинным стихотворением, давно выучила его наизусть и прочла теперь от начала до конца. Мое удивление такой одержимостью нимало ее не смутило (обычно она очень чутко ловила реакции собеседника). Я чувствовал, что прерывать нельзя, и, когда у меня язык зачесался воскликнуть: "Довольно!", испугался, что, если поддамся порыву, она больше не позовет меня в гости. Так я дослушал "Ворона" до конца, после чего и сам попал в его плен. Ворон взвинтил мне нервы, я начал вздрагивать в ритме стиха; закончив чтение и видя, что я продолжаю дрожать, она радостно сказала: "Вот и вас проняло. Со мной было то же самое. Стихи всегда лучше читать вслух, а не только про себя".

Вскоре речь зашла и о Карле Краусе — как же иначе. Почему я так упорно избегаю ее на лекциях? Она, кажется, и сама уже догадалась о причине, и, если ее догадка верна, обязана с этим считаться. После лекции я, наверное, настолько захвачен услышанным, что мне не до разговоров. Я хочу уйти с нетронутым, "незаболтанным" впечатлением. Она не против того, чтобы ходить туда в одиночестве, но потом, после лекции, все же предпочла бы молчанию разговор. Ведь отнюдь не все из того, что говорит Карл Краус, вызывает у нее согласие. При всем уважении к лектору, она никогда не позволит ему предписывать, что ей читать, а что нет. И она протянула мне "Французские дела" Генриха Гейне. Знакома ли мне эта вещь? Одна из самых занятных и умных книжек на свете. Три года назад она побывала в Париже и там прочла ее, а теперь вот взялась перечитывать.

Я не осмелился даже взять томик в руки. Краус никого не обличал с такой страстью, как Гейне. Я не поверил, решил, что Веца пошутила, и ужаснулся самой этой шутке. Она же, видно, вознамерилась доказать мне свою независимость. Повертела томиком у меня перед носом, громко прочла заголовок, еще и страницы перелистнула: "Убедились?" — "Нет, не верю, что вы это читали! Уже то плохо, что у вас есть эта книга!" — "У меня полное собрание Гейне: вот, смотрите!" Она открыла дверцу книж-

ного шкафа, где стояла ее заветная библиотека, — "книги, без которых мне жизнь не в радость", — и я увидел там, пусть не на самом верху, томики Гейне. Сокрушив меня этим ударом, что явно доставило ей удовольствие, она перешла к ожидаемым мною книгам: в шкафу стояли Гёте, Шекспир, Мольер, байроновский "Дон Жуан", "Отверженные" Виктора Гюго, "История Тома Джонса, найденыша", "Ярмарка тщеславия", "Анна Каренина", "Госпожа Бовари", "Идиот", "Братья Карамазовы" и, наконец, одна из самых любимых книг — дневники Фридриха Хеббеля[1]. И это было еще не все, а только избранное, только самое главное. Веца любила романы; те, что стояли в шкафу, она перечитывала по многу раз, чем тоже доказывала свою независимость от суждений Крауса. "Его-то романы не интересуют. И картины — нет. Этот человек не интересуется ничем, что могло бы ослабить его гнев. Это великолепно. Но такое не скопируешь. Гнев должен родиться *внутри*, напрокат его не возьмешь".



Сказано так естественно, а меня будто током ударило. Я живо представил себе, как она сидит на лекции Крауса, в первом ряду, сияя глазами, само ожидание, — и при этом, может быть, час назад читала Гейне, "Французские дела". Как же она посмела явиться на глаза Краусу? Любой его тезис — приказ, и если не подчиняться, то какой смысл ходить на лекции? Сам я вот уже полтора года как не пропускал ни одной, и они заполняли меня целиком, словно тексты священной книги. Ни в одном его слове я бы не усомнился. Никогда, ни за что не пошел бы наперекор. Он — мое мировоззрение. Моя сила. Без мыслей о нем я и дня бы не выдержал всей этой идиотской лабораторной возни. Он читает "Последние дни человечества", и Вена населяется живыми людьми. Я слышу только голоса его героев. Да и есть ли другие? У него одного можно найти справедливость; нет, не найти, он сам — *воплощенная* справедливость. Он нахмурит брови, и я порву с лучшим другом. Поманит — брошусь за него в огонь.

Все это я сказал ей, не мог не сказать, сказал даже больше, высказал все. На меня накатило чудовищное бесстыдство, и я как на духу стал выкладывать всю подноготную, все самые потаенные рабские побуждения. Она внимательно слушала, ни разу не перебила, дослушала до конца. Я горячился все больше и больше, и вдруг в руках у нее — не знаю откуда — возникла Библия, и она очень строго сказала: "*Вот* моя Библия!"

Я понял, что ей хочется оправдаться. Ее не отталкивала категоричность, с которой я исповедовал веру в свое божество. Но даже не будучи человеком религиозным, она относилась к понятию "Бог" серьезней, нежели я, и права на обожествление ни за кем признать не могла. Библия была книгой, которую Веца читала чаще всех прочих. Она любила истории, которые там рассказываются, любила псалмы, притчи, пророков. А больше всего — Песнь песней. Хорошо разбиралась в библейских текстах, хотя никогда не цитировала из них. Не навязывая своего мнения другим, она, в сущности, мерила этим мерилом литературу, равно как поведение человека соотносила с заветами Библии.

Но простой перечень умственных компонентов ее жизни, как мне кажется, может дать о Веце лишь очень бледное представление. Сведен-

1. Фридрих Кристиан Хеббель (1813–1863) — немецкий драматург.

ные в один ряд, заголовки книг звучат чересчур абстрактно. Чтобы показать, сколь яркую и самобытную жизнь вели в ней герои книг, надо было бы взять какого-то *одного* героя и начертать его портрет так, как он исподволь рождался в ее рассказах. Ни один такой образ не возникал в одночасье, каждый слагался в ходе разговоров, и только после нескольких посещений у тебя появлялось чувство, что теперь ты, пожалуй, неплохо знаешь того, о ком она ведет речь. Сюрпризов можно уже не ждать, ее реакции определились, на них можно полагаться, и тайна героя уже сливается с тайной самой рассказчицы.

Меня с десятилетнего возраста одолевало чувство, будто я соткан из множества персонажей, но чувство неясное: я никогда не мог бы сказать, кто только что говорил моим голосом и почему один герой сменяет другого. То был многоликий поток, и при всей однобокости очередных моих убеждений и требований поток этот никогда не иссякал. Я желал и умел отдаваться его течению, но *не видел* его. Теперь же я встретил Вецу — человека, который для формирования *своей* многогранной личности находил и использовал образы высокой литературы. Она вживляла их внутрь себя, они давали ростки, созревали и в любой момент, когда она в них нуждалась, поступали в ее распоряжение. Меня изумляла их ясность и определенность, отсутствие всяких случайных, не относящихся к делу примесей. Все так осознанно, будто считывается с высокой скрижали. На ней они все и начертаны — чистые литературные образы, каждый с отчетливым контуром, выпуклый, ничуть не менее живой, чем ты сам, определяемый только своей правдивостью, не боящийся никакого проклятия.

Увлекательное это было зрелище: наблюдать за Вецей, медленно движущейся в кругу героев любимых книг. Это был ее тыл в борьбе с Карлом Краусом, на них он не посягнул бы, тут его власть кончалась и начиналась ее свобода. *Она* в рабынях Крауса не состояла и проявила великодушие, приняв меня, когда я пришел к ней в рабских оковах. И было в Веце еще кое-что, ощущавшееся даже сильнее, чем это потаенное богатство, а именно — ее тайна.

Тайна Вецы крылась в улыбке. Веца отдавала себе в этом отчет и могла порой улыбнуться нарочно, но, если улыбка уже появилась, не умела ее прогнать — улыбка не уходила, и казалось: вот оно, ее подлинное лицо, ее красота иллюзорна до тех пор, пока оно не озарится улыбкой. Иногда Веца, улыбаясь, прикрывала глаза, и черные ресницы опускались, касаясь щек. В эти минуты тебе представлялось, будто она глядит внутрь себя, а улыбка — это светильник. Что она видела там внутри, то была ее тайна, но, несмотря на ее молчание, ты не чувствовал отчужденности. Между ней и тобой пролегала мерцающей аркой улыбка. Нет искушения более неодолимого, чем соблазн войти во внутреннее пространство другого человека. Если же этот человек прекрасно владеет словом, его молчание разжигает такой соблазн до предела. Ты стараешься угадать слова, надеешься встретить их там, за улыбкой, где они поджидают входящего.

Сдержанность Вецы была насыщена печалью и поэтому неизбывна. Печаль свою она все время подпитывала, чутко воспринимая чужое горе; от чужого унижения страдала так, словно сама его испытала. Но ей было мало простого сочувствия, униженных она осыпáла похвалами и подарками.

И даже если горе давно утихло, она еще долго носила в себе его отзвуки. Ее печаль оказывалась бездонной — вбирала в себя и хранила любую несправедливость. Веца была человеком гордым, ранить ее ничего не стоило. Однако право на такую ранимость она признавала за каждым: ей мнилось, будто все вокруг — чувствительные натуры, нуждающиеся в ее защите, и она никогда об этом не забывала.



## Голубь мира

Поразительно, сколь многое могут исправить десять дней свободы. Эти дни, с 1 по 10 августа 1925 года, проведенные мною в одиночестве, когда я размежевался с Фрейдом, а вдобавок оправдал себя, найдя ответы на обвинения матери (о чем та никогда не узнала, что давало мне особое чувство удовлетворения: более строгое, жесткое, реальное, чем если бы кто-то его со мной разделил), когда я каждый вечер заносил на бумагу все то, что прежде, днем, высказывал ветру, — этот краткий период свободы, которого мне хватило на всю последующую жизнь, уже потому не мог не оставить глубочайшего следа в моей памяти, что я во всякое время, при всяком мало-мальски важном событии, мысленно к нему возвращался.

И пока рука выводила обличительные слова, столь воинственные, что сегодня страшно их перечесть, перед глазами, как будто некстати и не ко времени, вставало одно лицо, на котором я тогда еще не успел разглядеть улыбки; лицо человека, который, не улыбаясь, серьезно и уверенно рассказывает о войне, которую ведет. Это было лицо Вецы. Веца рассказывала о *своей* свободе, и тощий старик, о котором я знал пока только с ее слов — слов тем более страшных, что я никак не ожидал услышать их от нее, — этот тощий старик *проиграл* войну, и как я ни пытался, недоумевая, прогнать его образ, слова продолжали звучать, укрепляя меня в моем замысле. Мое десятидневное сражение за свободу Веца поддержала своей борьбой. И то, что меня по приезде так потянуло к ней, что между нами возник постоянный разговор и я приходил к ней снова и снова, что разговор этот заменил собой прежний, с другим собеседником, выродившийся в борьбу за власть и теперь утративший всякий смысл, — все это было нисколько не удивительно и озадачило лишь одного человека, проигравшего битву, а именно мою мать.

В сентябре она опять была рядом, но расстановка сил изменилась. На улице Радецкого мы прожили вместе еще два месяца. Распалявший нас жар погас. Мой июльский припадок напугал мать, тогдашний врачебный вердикт обернулся против нее. Она уже не нападала и не командовала. Я же перестал критиковать ее, ибо мог теперь беседовать с Вецей. Я не скрывал от матери, куда хожу, и пусть не во всех деталях, но откровенно рассказывал о литературных пристрастиях Вецы. И, видимо, перегнул палку, восхваляя ее эрудицию, вкус и суждения. Поначалу мать все выслушивала молча. Правда, стала впадать в сильнейшее раздражение от обычных помех во время обеда. Когда Джонни Ринг, гонимый какими-то своими надобностями, пробирался между буфетом и спинкой ее стула, она брезгливо кривила лицо, а на его приветствие не отвечала. На обратном пути он от неловкости заикался, льстивые слова

застревали у него в горле, но мать упорно хранила молчание до тех пор, пока за Джонни не закрывалась дверь.

А потом начиналось: мол, эта проклятая Вена, эта клоака, где все наперекосяк! Здесь живут одни лежебоки или эстеты, которые только о книжках и разглагольствуют. Среди белого дня часами простаивают в музеях, смотрят картины, бессовестные лентяи. Все сводится к одному: никто не хочет работать, стóит ли удивляться безработице, если вокруг нет мужчин, живущих реальной жизнью. Да если бы только клоака — но нет, Вена еще превратилась в провинцию. В мире уже никого не волнует, чтó тут происходит, при одном слове "Вена" люди презрительно морщатся. Даже Карла Крауса (вот уж в чем мать мало что смыслила) она привлекала в качестве свидетеля по делу о неполноценности Вены. Дескать, он-то знает, о чем говорит, он разбирается, неспроста люди, которых он обличает, сами же и бегут к нему — посмеяться над собственными страстишками. Когда-то, в славные дни Бургтеатра, все было подругому, тогда с Веной еще считались. Возможно, из-за старого императора: что там ни говори, а он был человеком долга. Дряхлый старец, он изо дня в день сидел над государственными бумагами. А нынче? Знаю ли я тут хоть кого-нибудь, кто не ставил бы превыше всего свое удовольствие? Разве можно воспитывать в таком городе молодежь, растить из недорослей мужчин? Безнадежно; иное дело в Париже; о да, в Париже все было бы по-другому!

Инстинктивно я понял, что эта внезапная ненависть к Вене обращена против конкретного человека, чье имя не произносится вслух. И хотя мать тщательно избегала нападок на меня лично, мне стало очень не по себе. Уже одно то, что она впервые внесла в список грехов музеи, выразив недовольство стоянием перед картинами, наводило на определенные подозрения. Не было никого, кто, упомянув в разговоре Вецу, не сравнил бы ее с картиной, а поскольку картины назывались самые разные, их бы хватило на небольшой музей. Что, если, нападая на Вену, мать вдруг выпалит ее имя? Что я сделаю? При первом же оскорблении *этого* человека уйду из дома, уйду навсегда.

Но пока суд да дело, мать к началу зимы уехала на Ривьеру, в Ментон, откуда слала мне заклинающие послания. Живописала свое одиночество среди шумной толпы: в гостинице ее невзлюбили, в чем-то подозревают; дамы, особенно если сидят со своими мужьями в буфете, пугливо отводят глаза. На меня это производило сильное впечатление, в таких описаниях прорывалась былая мощь матери. Они уснащались детальнейшими подробностями всевозможных физических недомоганий. И хотя я еще со времен Арозы догадывался, что многие из таких недомоганий — чистая фикция, от этого они пугали меня ничуть не меньше. Атмосфера все накалялась; под конец мать стала впадать в столь дикие пароксизмы слепой и бешеной злобы, что мне стало страшно за Вецу.

Теперь она в открытую называла ее по имени. Приписывала ей самые подлые побуждения, без удержу говорила гадкие вещи. Вот-де нащупала слабину, мою любовь к книгам, и теперь бесстыдно ее эксплуатирует: об одних только книгах со мной и говорит. Сама она женщина, существо праздное, может себе позволить эстетскую жизнь. Ну и пожалуйста, коли самой не противно, но втягивать в это дело юнца, которому надо готовить себя к жизненной борьбе, — чистое преступление! Она просто потакает собственному тщеславию, хочет поймать в свои

сети новую жертву — а иначе зачем умудренной опытом женщине такой зеленый подросток? Мне предстоит ужасное пробуждение, когда меня заменит другой фаворит. Я такой невинный простак, что она как мать не может обо мне не тревожиться. Она твердо решила спасти меня. Бежать, из Вены нужно бежать! В этой клоаке, где торжествуют всякие там Джонни и Вецы — неспроста эти двое кузены! — нам делать нечего.



Она намерена переехать с младшими детьми в Париж. Пусть они там пойдут в школу и там же закончат университет. Ясно, что вместе мы больше жить не можем. В двадцать один год я должен уже идти своим путем. Но есть ведь немало других городов, скажем, в Германии, где воздух не отравлен заразой эстетства и где я сумею закончить образование. Того, что я брошу химию, она теперь не боится: как-никак два года я уже продержался. Чего она боится, так это Вены, где я точно пойду ко дну. Только не надо думать, что Веца единственная, здесь тьма тьмущая ей подобных, беззастенчивых гедонисток, которым не стыдно в угоду своему тщеславию разлучать матерей с сыновьями, чтобы вскоре, как только мальчишка надоест, списать его в тиpаж. Она знает уйму таких примеров. Раньше она обходила в разговорах со мной эти темы, не хотела смущать меня, но теперь мне пора знать, как действуют женщины в реальности — совсем по-другому, чем написано в книжках.

Все то время, что мать находилась в Ментоне, вплоть до марта, я писал ответы на ее письма. Я понимал, что она там одна, и жалобы на недоверие, которое она встречает со всех сторон, вселяли в меня тревогу. Нападки на Вецу, из которых наполовину состояли ее послания, больно меня задевали. Из страха, как бы они не вылились в физическую атаку, я взялся за дело почти безнадежное: стал пытаться перенастроить мать на другую волну. Рассказывал ей обо всем, что творится в Вене, о моих диспутах с напарницей по работе в лаборатории, симпатичной мне русской эмигранткой; рассказывал об одном громогласном карлике, который недавно появился у нас в лаборатории и своим ухарством подчинил себе всех; о каждой лекции Карла Крауса — уж теперь-то, официально признав его ниспровергателем Вены, мать не могла, как раньше, воротить нос при одном упоминании его имени. В каждом письме я четко давал понять, что намерен остаться в Вене. Нападки на Вецу я отводил, пытаясь не принимать их всерьез. Изредка возмущался, когда в душе закипала обида, которую я, честно сказать, испытывал все это время. Тогда мать меняла тон и — максимум на неделю — обуздывала свою ненависть. А потом приходило очередное письмо — и все начиналось заново.

Состояние матери внушало мне тревогу, но куда больше я тревожился из-за Вецы. Я знал ее впечатлительность: Веца ощущала свою вину за все, что творилось вокруг, да и много за что еще. Если вдруг до нее дойдет хотя бы самая малость из того, что о ней думает и пишет мать, она отстранится, и конец нашим встречам. Пока она ни о чем не подозревает, все хорошо. Раз в неделю меня выбивало из колеи очередное письмо из Ментона — в такие дни я старался не встречаться с Вецей, чтобы она ничего не заметила.

С квартиры мы съехали уже к началу зимы, братьев моих приютило одно семейство, а я нашел себе комнату. В марте мать снарядилась в Париж, где жили наши близкие родственники и много хороших знакомых. Осмотревшись, стала готовить почву для летнего переезда. И объявила, что в конце мая приедет в Вену. Пробудет здесь с месяц, чтобы привес-

ти все в порядок. Вот тогда-то, через полгода после ее отъезда, мы с ней наконец и *поговорим*.

Узнав о грозящем приезде, я не на шутку перепугался. Теперь все серьезно, я должен любой ценой защитить Вецу от матери, сделать так, чтобы они не увиделись. Но сказать Веце, как сильно мать ее ненавидит, тоже нельзя, это ее смутит, и между нами все будет кончено. Выбрать линию поведения с матерью я не могу, пока та не приехала. Она решила остановиться в одном пансионе прямо за зданием оперы, то есть не в Леопольдштадте, а значит, случайной встречи можно не опасаться. Время на то, чтобы подготовить Вецу, у меня есть. Пусть узнает не больше, чем необходимо: ровно столько, чтобы внять моему желанию и держаться от матери подальше.

Я признался Веце: мать предпочла бы, чтобы я из Вены уехал. Ей внушили, что мне лучше податься в один из крупных немецких университетов, к какому-нибудь всемирно известному светилу в области химии, и написать у него диссертацию. В Вене человека такого высокого ранга сегодня нет. От диссертации же целиком зависит моя судьба. Это не означает, по словам матери, что мне навсегда заказан путь в Вену – зачем, мол, гадать о будущем. Но сейчас мать, конечно, заметила, что есть нечто такое, что держит меня в этом городе. Я писал ей, что не хочу уезжать из Вены, ни за что не хочу. Скоро она приедет, готовая ко всему, и попытается сделать все, чтобы меня переубедить. У нее ничего не выйдет, к химии я равнодушен и посвящать себя этой профессии не намерен. Кому, как не Веце, знать, кем мне хочется быть и чем я в любых обстоятельствах собираюсь заняться.

Но почему такая тревога, удивилась она. Если я не хочу уезжать, никто меня не заставит.

– А вот и нет, – возразил я, – ты плохо знаешь мою мать. Если она чего-нибудь хочет, то решится для достижения цели на любые средства. Она придет *к тебе*. Втянет *тебя* в разговор. Убедит тебя, что отъезд из Вены пойдет мне на пользу. Заговорит тебя до того, что *ты сама* начнешь меня уговаривать. Этого я тебе не прощу. Она нас поссорит. Больше всего я боюсь вашего разговора.

– Да нет же, нет! Ей не удастся!

– И все равно я боюсь. А уж как только она приедет, вообще потеряю покой. Я дрожу от одной мысли, что она здесь появится. Ты ведь сама такого высокого мнения о ее интеллекте и силе воли. Но ты и не представляешь, что́ она может выдвинуть в качестве аргументов. Да и я тоже – обычно ее вдруг осеняет, и ты видишь, насколько она права, со всем соглашаешься, и тогда... что тогда с нами будет?

– Я не стану с ней встречаться. Даю тебе честное слово. Клянусь. Тогда ничего не случится. Так тебе будет спокойнее?

– Да! Но только так!

Значит, Веце нельзя общаться с матерью ни по телефону, ни в письмах, а нужно тщательно обходить ее стороной. Это не очень трудно – мать остановится в самом центре. А если вдруг, паче чаянья, Веце придет письмо, пускай она тут же отдаст его мне, не распечатывая. Видя, как быстро она мне поверила, я преисполнился надежды. Она не только отдаст мне письмо запечатанным, она и *после*, если я попрошу, не станет его читать и на него не ответит.

Наконец мать приехала, и в первом же разговоре я уяснил, что сама она тоже не прочь избежать очной ставки: ей хотелось хранить нарисованный ею образ "врага" во всей его отвратительной целостности. Мать чувствовала, что при первой же встрече с живым человеком образ этот рассеется в воздухе. В Париже она еще раз перечитала все мои письма и сделала вывод, что сейчас я ни за что не уеду из Вены. Но теперь ей думалось, что дело не столько в Веце, сколько в лекциях Карла Крауса. Сидя в Ментоне, где она никого не знала и чувствовала себя парией, мать полагала, что я, разумеется, каждый день вижусь с Вецей. В Париже, где у нее масса родных и знакомых, это уже не казалось ей столь очевидным. Ее подозрительность пускала новые корни, стала более утонченной, она вычитывала из писем разные новые вещи, каких при первом прочтении не заметила. Однажды я написал о своей соседке по лаборатории, благодаря которой вспомнил романы Достоевского: говорить с ней о Достоевском доставляет мне чувственное наслаждение, из-за этих разговоров я теперь даже в лабораторию хожу с удовольствием. Слова "чувственное наслаждение", на которые она в Ментоне, получив письмо, не обратила внимания, теперь вдруг бросились ей в глаза. Ей представилось, как я целый день стою над пробирками. Ведь за долгими лабораторными опытами, когда занимаешься качественным анализом, разговаривать можно до бесконечности.

— А что там с Евой? — спросила она по приезде. — Этой твоей русской эмигранткой? Вы с ней видитесь хоть иногда?

— Еще бы мы не виделись! Мы почти каждый день вместе ходим обедать. Как, знаешь, заведем разговор про Ивана Карамазова — ух как она его ненавидит! — так и остановиться не можем. Идем в ресторанчик "У Регины", а по дороге все говорим, говорим; возвращаемся в институт по Веринерштрассе и ни на секунду не замолкаем. Потом опять встаем над своими пробирками и о ком, как ты думаешь, говорим?

— Об Иване Карамазове! Естественно, о ком же еще! Она, наверное, всей душой за Алешу! А вот я начала понимать Ивана. Уже несколько лет как он кажется мне самым интересным из братьев.

Мать была так довольна существованием этой коллеги, что пустилась, как встарь, в разговоры о литературных героях. Вспомнила, как больше года назад я заболел желтухой. Из всего года, что мы прожили на улице Радецкого, это было единственным приятным воспоминанием: я пару недель провалялся в постели и прочел всего Достоевского, все красное пиперовское издание от корки до корки. "Скажи спасибо, что тогда заболел! — сказала она. — А то чем бы ты щеголял сейчас перед своей подружкой?" Это "своей подружкой" резануло мне ухо; мать как будто передавала меня с рук на руки. Ева мне в самом деле нравилась, в душе был разлад. Но благодаря какому-то внезапному приступу хитроумия, поймав на себе острый взгляд матери, я проглотил пилюлю и даже воскликнул:

— Да уж точно! Как мне нравится с ней разговаривать! Она *живет* Достоевским, для нее это все серьезно. А кроме меня, ей не с кем этим поделиться.

Как только мы снова затронули литературу, я тут же потеплел к матери. Понятно, конечно, с каким умыслом она направила разговор в это русло. Ей хотелось произвести разведку, определить, на чьей стороне перевес. Привлекательной ли коллеги? Или той, другой женщины? Зна-

чит ли первая для меня что-нибудь? Будет ли значить больше? И возвращаясь к Достоевскому, мать поинтересовалась: нет ли у Евы, моей коллеги, чего-нибудь общего с женскими типами Достоевского? Вопрос показался мне предвестием новой тревоги, но тут я без особого труда сумел успокоить мать, ибо дело обстояло с точностью до наоборот. Ева была на редкость разумной особой, с яркими математическими способностями, в физической химии она разбиралась лучше иного студента. Она жила богатой жизнью чувства — что шло вразрез с ее интеллектуальным складом, — но ее эмоции *сохраняли заданный курс*, и резкие перепады настроения, которые мать имела в виду, задавая свой каверзный вопрос, ей не были свойственны.

— А ты прямо уж так уверен? — спросила мать. — Тут ведь очень легко ошибиться. Разве ты когда-нибудь думал, что однажды возненавидишь меня?

Я пропустил эту первую с момента ее приезда шпильку мимо ушей, решив не отклоняться от заданной темы.

— Еще как уверен, — ответил я, — мы ведь каждый день проводим вместе по многу часов. Уже почти год. Неужели ты думаешь, что мы хоть о чем-то не успели поговорить?

— Я думала, вы все больше о Достоевском.

— Это правда. Говорить о нем нам интересней всего. Но согласись: разве есть лучший способ узнать человека, чем обсудить с ним *все*, что описано у Достоевского?

Мы оба крепко держались за нашего "голубя мира". Ева Райхман была бы до крайности удивлена, узнай она, какую роль отвела ей мать. Ей вряд ли понравилось бы быть темой наших разговоров, ведь, по существу, все сводилось к тому, чтобы обойти стороной другую, запретную тему. Но я не кривил душой, рассказывая о Еве, и от моих же слов она становилась мне все милей. Как мать ни наседала, во мне не рождалась антипатия к Еве. Так она стала нашим голубем мира. После полугодового отсутствия матери, после столь рискованной переписки я ожидал крупной стычки. А сейчас явственно ощущалось, что мы *разряжаемся*, освобождаясь от бремени взаимной неприязни и страха.

"Revenons à nos moutons!"[1] — вдруг заявила мать. К этому любимому обороту она за все последние годы наших боев не прибегла *ни разу*. "Пора тебе узнать, что́ я задумала". На лето намечен их переезд в Париж. Для нее это будет тяжелое время. Чтобы выдержать, она хочет сперва подлечиться: съездить, как в прошлом году, в Бад-Глайхенберг, тогда курорт пошел ей на пользу. Не возьму ли я на себя заботу о братьях, пока она будет в отъезде? Им нужно как следует отдохнуть, сразу после каникул их ждут немалые испытания, им предстоит освоиться в новых французских школах, причем в старших классах, где уже и *bachot* на носу — французский экзамен на аттестат зрелости. Может, мы съездили бы втроем в Зальцкаммергут? Тогда у нее душа была бы спокойна, и я оказал бы и ей, и братьям большую услугу.

Я понял, к чему она клонит, и немедля ответил согласием. Что может быть лучше! Ведь я потом целый год, наверное, не увижусь с братьями. Да мне и самому не мешает проветриться, съездить куда-нибудь на

1. Вернемся к нашим баранам (*франц.*).

каникулы. А хорошее место мы уж точно найдем. Тут она насторожилась. Я ощутил вопрос, готовый сорваться у нее с языка. Она его не задала. Я чуть было не спросил за нее. Вышел род компромисса. Она спросила: "У тебя ведь нет других планов на лето?" Я ответил: "Какие еще планы?"



На этом разговор наш мог бы и завершиться, и для обеих сторон такая концовка была бы приемлемой. Единственное, что камнем давило на меня, это страх, как бы мать не обидела, не подвергла опасности Вецу. Сейчас имя Вецы *ни разу* не прозвучало. Но как сложатся наши дальнейшие разговоры, в те четыре с лишним недели, что мать будет оставаться в Вене? Это немалый срок. Я хотел надежно обезопасить себя, хотел, так сказать, подстелить соломки. Пребывал под благостным впечатлением от бесед о моей коллеге. Какой черт дернул меня за язык? Или это и вправду был страх за Вецу? Я сказал:

— А знаешь, эта моя коллега, ну то есть Ева, — она однажды спросила, не хочу ли я этим летом поехать в горы. Я ничего определенного не ответил. Ты не против, если бы она тоже туда приехала? Ну конечно не в то же самое место — но, скажем, в часе езды? Тогда мы с ней могли бы иногда прогуляться вместе. На мальчиков она хорошо повлияет. Мы бы изредка виделись, раз или два в неделю, а все остальное время я отдавал бы ребятам.

От этого предложения мать пришла в полный восторг:

— Но почему бы вам не видеться чаще? Получается, кое-какие планы на лето у тебя все же есть. Очень рада, что ты меня в них посвятил. Все это замечательно совмещается. Человек она тонкий. А что спросила первая, так за это на нее обижаться нельзя. В мое время такое было немыслимо. Но нынче женщины изменились.

— Да нет же, нет! Ты что-то не то вообразила. Между нами ничего нет.

— Сегодня нет, завтра будет! — отрезала мать.

Подобной неделикатности я от нее еще никогда не слыхал. Она была готова на все, лишь бы отвадить меня от Вецы. Но благодаря внезапному озарению я нащупал единственную возможность защитить Вецу. Я буду рассказывать матери о других женщинах. Сегодня выручила коллега, соседка по лаборатории. Она мне, признаться, нравилась, и недостойно было поддерживать в матери мысль, что она моя подруга или, может, кандидатка в подруги. Даже после того как я признался во всем самой Еве и она, человек понимающий и отзывчивый, задним числом одобрила мой план, — в этой затее мне виделось нечто постыдное. Но так уж случилось, и это меня навело на мысль, как поступать в дальнейшем: я буду *выдумывать* женщин и рассказывать матери небылицы. О нас с Вецей она никогда ничего не узнает. Она будет там, далеко, в Париже, а Веца останется здесь; так я спасу ее от всех тех ужасных вещей, какие способна учинить мать.

## *Фрау Вайнреб и Палачиха*

Фрау Вайнреб, хозяйка квартиры на Хайдгассе, где мне предложили хорошую, просторную комнату, оказалась вдовой журналиста, умершего в преклонных летах. Она была много моложе его и овдовела уже давно.

Вся квартира была завешана портретами ее мужа – патриарха с благостной окладистой бородой. Фрау Вайнреб, женщина с темным собачьим лицом, через слово смиренно упоминавшая мужа, будто он и за гробом оставался намного умнее и нравственнее ее, живой, малую толику своего почитания перенесла на студентов. Из каждого еще мог получиться этакий герр доктор Вайнреб, хозяйка всегда называла мужа так и никак иначе, – непременно "герром" и "доктором". На групповых портретах с коллегами, перед которыми мне полагалось замедлить шаг и минуту-другую постоять, покойный выделялся не только бородой, но и тем, что всегда стоял в центре. Хозяйка редко говорила "мой муж" – даже сейчас, спустя долгие годы после его кончины, она, похоже, не свыклась с выпавшей ей честью такого замужества, – если же вдруг проговаривалась случайно, сразу испуганно замолкала, точно позволила себе богохульство, и после секундного замешательства машинально, как автомат, вставляла официальное: "герр доктор Вайнреб". Видимо, она долго звала его так до заключения брака, а потом, когда они поженились, уже не могла расстаться с давнишней привычкой.

Квартиру фрау Вайнреб мне порекомендовало семейство наших друзей – их сын прожил там целый год. Кончилось дело нехорошо; ниже я расскажу почему. Этот застенчивый молодой человек, известный своим голубиным нравом, попал в щекотливое положение и угодил на скамью подсудимых. Предостережения друзей касались не столько самой вдовы, сколько двух ее компаньонок. Мне сразу представилось нечто вроде притона, но возможность пожить в этой местности – недалеко, но и не слишком близко от Вецы – казалась очень заманчивой, а Хайдгассе, переулочек сбоку от Таборштрассе, подходил как нельзя лучше: пусть не в прямом соседстве с центральной улицей Пратерштрассе, в орбите которой вращалась моя тогдашняя жизнь, но все же неподалеку. Когда я пришел смотреть комнату, меня поразили порядок и чистота, более бюргерское жилье трудно себе и помыслить: повсюду портреты почтенного старого господина, и перед каждым вдова останавливается, чтобы в очередной раз пропеть осанну супругу. В моей будущей комнате тоже витал дух хозяина, но эти стены хотя бы не были так густо завешаны: на всю комнату – три-четыре портрета. До моих ушей донеслись слова хозяйки: она, мол, предпочитает брать в жильцы студентов. Мой предшественник служил в банке, зарабатывать-то он зарабатывал, на шее у матери не сидел, но зарабатывал так себе, очень скромно, а без высшего образования все равно бы далеко не пошел. Впрочем, фрау Вайнреб явно старалась не сболтнуть лишнего, упомянула его только потому, что он тут жил до меня и с тех пор комната пустовала, – но ни хорошего, ни плохого о нем не сказала. Ее "надзирательница", она же зачинщица того судебного процесса, находилась рядом, на кухне. Все двери были открыты, и фрау Вайнреб то и дело запиналась, боязливо прислушиваясь к звукам, доносившимся с кухни.

Очень скоро, еще в тот первый визит, я почувствовал, что хозяйку гнетет что-то тяжелое и неизбывное. Едва ли не в каждой фразе она вспоминала покойного мужа, и я подумал, что между ее вдовством и этой гнетущей тяжестью есть некая связь. Возможно, она не так хорошо ухаживала за стариком, как тому хотелось. Правда, в это не очень верилось: другому мужчине, как я понимал, в ее жизни места бы не нашлось. Но хозяйка ежеминутно вслушивалась в какой-то голос, зависела от его приказаний, и то не был голос покойного.

Экономка, жившая вместе с ней на той же квартире, отворила мне дверь и, передав меня на руки госпоже, тотчас скрылась на кухню. Здоровая тучная особа среднего возраста — примерно так я представлял себе палачей. У нее были широкие скулы и свирепая физиономия, которая от улыбки казалась еще страшней. Я бы не удивился, если бы в качестве приветствия она наградила меня оплеухой. Вместо этого она по-кошачьи прищурилась, но прищур был сообразен ее габаритам и потому особенно жуток. Это была та самая компаньонка, о которой меня предупреждали друзья.

Фрау Вайнреб размашистым жестом распахнула дверь сдаваемой комнаты — у нее была такая развинченная походка, что все время чудилось, будто она вот-вот упадет лицом вниз, — вошла следом за мной и, убедившись, что дверь сзади настежь открыта, выкрикнула в коридор какое-то, подумалось мне, бессмысленное: "Уже, уже!", вроде того, как прислуга кричит госпоже: "Уже иду!", после чего принялась расхваливать преимущества комнаты, особенно напирая на портреты покойного мужа. После каждой фразы хозяйка делала паузу, ожидая то ли согласия, то ли одобрительного кивка.

Сперва я решил, что согласия ждут от меня, но вскоре сообразил, что нет, от кого-то другого, а поскольку в квартире никого больше не увидел, то отнес ожидания хозяйки на счет страшноватой особы, открывшей мне дверь, и все время, что я пробыл в комнате, воображение рисовало мне ее фигуру. Однако она сидела на кухне и в разговоры не вмешивалась.

Я спросил себя, где же третья особа, которая, по идее, тоже должна жить здесь, — та, по чьей милости, собственно, мой предшественник и угодил под суд. Но она не показывалась: может быть, уже съехала, а может, именно из-за скандала, что разгорелся вокруг нее и осложнил сдачу комнаты, девушку удалили. О ее деревенской красоте, необыкновенных соломенных косах — говорили, что волосы у нее в распущенном виде длиной чуть ли не до пола, — о ее прельстительной силе я был наслышан, правда, слухи ходили весьма туманные. Мне очень понравилось и хорошо запомнилось ее имя, я любил богемские имена, особенно имя Ружена. Видимо, я надеялся, что *она* и откроет мне дверь, но на пороге выросла ее тетка, она же Палачиха, так что своим любопытством я вполне заслужил оплеуху, которой ждал. Возможно, свирепый прием означал предупреждение. Судебное дело попало в газеты, и было ясно, что в дом повадятся посетители, которым любопытно взглянуть не на комнату, а на Ружену.

Но сейчас я был рад, что Ружены и след простыл; комната мне понравилась, и я мог, не опасаясь будущих осложнений, тут же ее снять. Хозяйке мое желание въехать немедленно пришлось по душе; я даже не стал просить времени на раздумья, лицо у нее разгладилось, и она сказала: "Вам тут хорошо заживется в его атмосфере. Такой ученый был господин!" Теперь я и без имени понял, о ком она говорит. Проводив меня до выхода, она крикнула в кухню: "Молодой человек сейчас вернется — только за вещами сходит!" Экономка, чьего имени я не помню, поскольку с самого начала мысленно называл ее Палачихой, выглянула из кухни и сказала, все с той же улыбкой: "А чаво бояться-то? Никто ему тут ничаво не откусит". Она встала в проеме, целиком заполнив его своей рослой тучной фигурой и ручищами навалясь на дверной косяк — будто готовясь к прыжку. Я отвернулся и пошел за вещами.

На протяжении первых дней, проведенных мною в новой комнате, в квартире царила тишина. Утром я уходил в химическую лабораторию, в полдень оставался вблизи университета, там же, в ресторанчике "У Регины", обычно и перекусывал. Вечером, перед закрытием лаборатории, за мной заходила Веца. Мы или гуляли, или сразу шли к ней, так что к себе на Хайдгассе я добирался поздно, часам к одиннадцати. И всякий раз меня встречала пышно взбитая, неведомо кем расстеленная постель. Об этом я не задумывался: видно, решил, что о постели заботится экономка. По ночам я не слышал ни шороха. Фрау Вайнреб, жившая и ночевавшая за стенкой, передвигалась по квартире бесшумно, в мягких войлочных туфлях; я представлял, как она скользит в них от одного портрета к другому, совершая свой поминальный обряд.

Однажды в конце недели я вернулся раньше обычного: меня пригласили в театр, и я завернул домой, чтобы переодеться. В комнату я вошел с ощущением, что там кто-то есть; вошел и застыл столбом. Перед моей кроватью стояла, наклонившись, девица крестьянского вида. Запустив пышные белые руки в перину, она усердно ее взбивала. Моего прихода она как будто и не заметила — наклонилась еще ниже, выкатив мне навстречу невероятных размеров задний фасад, и во всю мочь колотила дальше, как будто задавшись целью избить перину. Заплетенные в толстые косы золотистые волосы обрамляли голову венчиком, который из-за согбенного положения девушки то и дело касался высокой перины. Крестьянку в ней выдавала юбка до самого пола, в широкую складку. Юбка колыхалась у меня перед носом, и я хорошо ее разглядел. Девица хлопнула по перине еще раз-другой, будто и не догадываясь, что я стою сзади. Я не хотел начинать разговор, не видя ее лица, и смущенно покашлял; кашель она соблаговолила услышать: выпрямилась и развернулась, да так размашисто, что чуть меня не задела. Мы стояли нос к носу — на расстоянии, может быть, сантиметра, не больше. Она оказалась выше меня ростом и хороша, словно северная мадонна, а руки держала наизготовку, точно вместо перины сейчас обнимет меня. Вот она медленно опустила их и покраснела. Я почувствовал, что девица умеет краснеть нарочно. От нее исходил запах подошедшего теста. Она была так хороша собой, что меня проняло, и будь она вся, как ее руки, обнажена, я потерял бы голову от такой близости — кто угодно бы потерял, — однако я не шелохнулся и промолчал. Тут она наконец открыла малюсенький ротик и пискляво сказала: "Я, барин, Ружена-с". Это имя, с которым я носился уже довольно долго, на меня, признаться, подействовало; да и "барин" не пропал даром — вообще-то мне полагалось не больше "барчука". Своим обращением она придала мне статус опытного мужчины, которому женщины кротко повинуются. Но весь эффект от ее наружности и от безответной покорности напрочь сгубил этот писклявый голос. Как будто жалкий цыпленок попытался заговорить — и все, что ты видел секунду назад: и молотившие по перине сильные белые руки, и золотистые косы, и горной кручей вздыбленный зад, который не то чтобы меня прельщал, но казался каким-то загадочным, — все растворилось в жалобном лепете, даже имя ее, только что наполнявшее мое сердце неясным томлением, вмиг утратило блеск: подумаешь, имя как имя. Руженины чары растаяли без следа; каким же убогим должно быть создание, которое можно соблазнить таким голосом...

Все это пронеслось у меня в голове за секунду, прежде чем я поздоровался — так холодно и равнодушно, что она, перейдя на скороговор-

ку, пропищала какие-то извинения за свое вторжение. Она, дескать, не хотела мне помешать, пришла только постель расстелить; каждый вечер стелет ее и не думала, что сегодня я так рано вернусь. Тут я совсем уж сподличал: процедил сквозь зубы "Ну-ну!" и, пока она, для своего веса довольно прытко, удалялась из комнаты, прокрутил в памяти ту историю, о которой знал из газет, а вдобавок по устным рассказам.



Молодой человек (мой предшественник) однажды вечером вернулся из банка и нашел ее возле кровати. Она втянула его в беседу и тотчас же соблазнила. Молодой человек был робок и крайне неопытен, даже подружки и то не имел, что для Вены большая редкость. Тетка раскусила его и привлекла к суду, обвинив в том, что он, мол, обещал жениться и не женился. Он все отрицал, и уже по одному виду этого простофили суд поверил бы в его невиновность, но Ружена оказалась беременна, и его присудили к штрафу. Из-за своей беспомощности он стал всеобщим посмешищем, никто не верил в его отцовство, почему дело и произвело такую сенсацию. Людей забавляло, что, как нарочно, именно такой человек обвинен и признан соблазнителем и неверным женихом.

Еще раза два или три Ружена пыталась постелить мне постель. Но уже поняла, что дело не выгорит: тетка давно разведала, что у меня есть подружка, которая по вечерам иногда забирает меня из дому, а сообразив, что приходит все время одна и та же, перестала чего-либо ожидать от возни Ружены вокруг кровати. Редкие попытки такого рода совершались разве что по привычке. Вскоре я забыл обо всем и только через несколько недель, когда стряслось нечто, изрядно меня напугавшее, снова задумался о Ружене.

Как-то раз ближе к вечеру — в тот день я вернулся раньше обычного — из кухни послышались странные звуки. Шлепки, точно по сырой отбивной, писк и визг, причитания и мольбы, резкий свист и — хрясь! хрясь! хрясь! — а между всем этим низкий и очень суровый голос; слова я различил только после того, как узнал его обладателя. Голос гудел по-мужски, но явно принадлежал тетке: "Вот тебе! Вот тебе! На! Получай!" Писк и скулеж звучали на все более высоких тонах, не прекращались, наоборот, нарастали, и одновременно с ними набирали силу, следуя все чаще, угрозы басовитого голоса. Мне казалось, что скоро все кончится, и я затаился было у себя в комнате, но ничего не кончалось, шум только усиливался. Я вышел на кухню, и передо мной предстала такая картина: перед столом стояла на коленях, обнаженная до пояса, Ружена, над ней — тетка с плеткой в руке; вот рука поднялась и — хрясь Ружену по голой спине.

Сгруппированы они были так, что входящий видел сцену крупным планом, все как на ладони: груди Ружены, спина Ружены, разъяренная физиономия Палачихи, свистящая плетка. Но отсюда звуки уже не пугали так, как из комнаты: как только к ним добавился визуальный образ, я сразу же *перестал верить*, все было словно в театре, только гораздо ближе и слишком уж хорошо поставлено — чтобы зритель не упустил ни единой детали. К тому же я понял, что сейчас все кончится: несмотря на шум, я сумел обратить на себя внимание. Вместо того чтобы опустить плетку, тетка задержала ее на весу, а Ружена по оплошности заверещала, словно настигнутая очередным ударом. Тетка прикрикнула: "Ить не стыдится! Голая же! — и, поворачиваясь ко мне: — Плохая девчонка. Не слушает тетю. Надобно наказать!"

Ружена перестала пищать и, как только ей приказали стыдиться, прижала обе руки к груди, отчего груди вздулись и сделались только заметней, а затем огромной рептилией, не уступающей в массивности тетке, которая все еще стояла передо мной как вкопанная, медленно-медленно заползла под стол. Тетка же тем временем продолжала ей выговаривать — нагоняй должен был послужить объяснением сцены. "Слушайся, детка. Кроме тети ведь никого и нету. Скверная девка. Без тети пропадет. Но тетя смотрит! Тетя следит!" Слова не вылетали второпях, а падали тяжело, увесисто, и после каждого услужливо дергалась плетка. Но бить не била, до спины провинившегося дитяти, враскорячку сидевшего под столом, плетке было не достать. Из укрытия нагота Ружены ощущалась еще более явственно, дразнила откровенной женственностью, но то, что такое дебелое существо распекали, как дитя неразумное, придавало этой наготе нечто идиотическое. От Руженина покорности, являвшей собой, видимо, самую суть показанной сцены, мне стало еще тошней, чем от теткиного палачества. Я вышел из кухни так, словно *поверил*: деваху наказали за непослушание. И то, что я с непонимающим видом скрылся из кухни и вернулся к себе, сделало в их глазах идиотом *меня*; очевидно, именно это и спасло меня от дальнейших посягательств.

Теперь меня оставили в покое, и больше я их вдвоем не видел, как не видел и саму Ружену. Временами из соседней комнаты доносились внушения Руженинои тетки, обращенные к фрау Вайнреб. Ударов не слышалось, но меня поражало, что тетка и с ней говорит тем же тоном, будто с ребенком. Правда, не столько грозит, сколько увещевает. Очевидно, фрау Вайнреб делала что-то такое, чего делать не полагалось, но вообразить, что именно, я не мог и до поры до времени не пытался вникнуть в суть дела. Слышать голос Палачихи прямо за стенкой было, признаться, не очень приятно, и я был в любую минуту готов к неловкой сцене. Но за стенкой никто не пищал и не скулил, до моих ушей долетало лишь нечто похожее на клятвенные заверения. У фрау Вайнреб был низкий, грудной голос, который мне нравился; бывало даже жалко, когда она замолкала.

Однажды ночью я проснулся и увидел в комнате человеческую фигуру. Стоя в халате перед портретом мужа, фрау Вайнреб осторожно сняла фотографию со стены и, как будто ища что-то, стала осматривать ее обратную сторону. Я видел хозяйку очень отчетливо: комнату ярко освещал фонарь с улицы, занавески на окнах были раздернуты. Осторожно придерживая портрет обеими руками, она заскользила носом по обоям. Потом, столь же медленно, обнюхала обратную сторону портрета. В комнате было так тихо, что я слышал, как она втягивает воздух. В лице хозяйки, которого я сейчас не видел — она стояла ко мне спиной, — мне с самого начала мерещилось нечто собачье. Быстрым движением вернув фотографию на место, она скользнула к соседней стене, к следующему портрету. Этот был гораздо больше, в тяжелой раме; я спрашивал себя, хватит ли у нее сил удержать его в одиночку. Но из кровати на помощь не выскочил, мне подумалось, что она лунатичка, и я боялся ее испугать. Второй портрет она тоже сняла со стены и крепко зажала в руках, но обнюхать обои оказалось непросто, было слышно, как она кряхтит и охает от усилий. Затем она вдруг оступилась и, казалось, вот-вот уронит портрет, но в последний момент изловчилась-таки поста-

вить его на пол, изнанкой вперед, не разжимая пальцев. Потом выпрямилась и, не убирая рук с верхней рамы, стала обнюхивать стену в том месте, где висел портрет. Покончив с этим, она присела на корточки и принялась за изнанку портрета. Я решил, что она снова нюхает, звуки были все те же, и за короткое время я успел к ним привыкнуть. Но теперь я с удивлением разглядел, что она не обнюхивала, а облизывала изнанку. Она очень старалась, язык у нее свесился, как у собаки, и сама она превратилась в собаку, чем, кажется, была крайне довольна. Прошло много времени, прежде чем она справилась, портрет был большой. Потом она встала, с некоторым усилием подняла его с пола и, даже не взглянув на изображение и не прикоснувшись к нему, водрузила картину обратно на гвоздь, после чего бесшумно и поспешно скользнула к следующей. В моей комнате висело четыре портрета хозяина, и вдова не забыла ни одного, каждому отдала должное. Третий и четвертый, к счастью, не превышали размерами первого, и она могла совершить свое дело стоя, а так как на корточки уже не присаживалась, то облизывать портреты ей не пришлось, она довольствовалась обнюхиваньем.



Затем она вышла из комнаты. Я представил, сколько фотографий покойного мужа висит на ее половине, и подумал, что процедура запросто может занять полночи. Не заходила ли она ко мне и раньше с той же целью, пока я спал и ничего не видел? И я решил приучить себя к более чуткому сну, чтобы такое не повторилось; я хотел бодрствовать, когда она окажется в моей комнате.

## *Бакенрот*

К началу третьего семестра я перебрался из старого, закопченного здания, что в самом начале Веринерштрассе, в новый химический институт на углу Больцмангассе. За качественным анализом двух первых семестров последовал количественный, под руководством профессора Германа Фрая. Этот низенький тщедушный человечек, не мучая ближних своей любовью к порядку, на добрую половину из нее состоял, а значит, идеально годился для дела, которому посвятил жизнь. Делал он все осторожно и изящно, любил показывать студентам, как провести тот или иной опыт, а поскольку для лабораторного анализа требуются крохотные дозы вещества, сам казался почти невесомым. Его горячая благодарность за всякое сделанное ему добро выходила далеко за пределы принятого в нашем отечестве. Воспламенять юные умы смелыми научными идеями он не умел; практика, выполнение технических задач — вот где была его стихия, и тут откуда только брались у него и ловкость, и уверенность, и проворство; тут уж профессор Фрай, при всей своей хрупкости, действовал весьма решительно.

Из всего, что он говорил, больше всего поражали вновь и вновь повторяемые заверения в совершеннейшем почтении. В прошлом ему довелось поработать ассистентом у профессора Либена, впоследствии составившего ему протекцию, и он привык ссылаться на своего покровителя, прибегая к сложному велеречивому обороту: "Как имел обыкновение говорить мой глубокоуважаемый наставник профессор доктор Адольф Либен..." Химик Либен снискал себе добрую репутацию, существовало даже общество, носившее его имя, которое содействовало раз-

витию химии и заботилось об адептах этой науки. Наш профессор превратил Адольфа Либена в мифологического персонажа, причем без каких-либо пространных повествований, а лишь благодаря интонации, с какой произносил это имя. Но еще более значимым для Германа Фрая был другой представитель минувшей эпохи, хотя разговор о нем профессор заводил не так часто, а если и заводил, то не упоминая имени. Вызывал он его из небытия определенной, всегда одной и той же фразой, и в эти минуты его маленькая тщедушная фигурка исполнялась такой страстной силы, что нельзя было не залюбоваться, притом что во всем Химическом институте не нашлось бы ни одного человека, кто разделял бы взгляды профессора Фрая.

"Если вернется мой император, я приползу в Шёнбрунн[1] на коленях!" Профессор Фрай был единственным, кто жаждал возвращения императора, и памятуя о том, что десять лет назад старый Франц Иосиф еще жил и здравствовал, впору удивляться, что никто, ни один человек просто не понимал такого желания. Все, и лаборанты, и студенты, видели здесь какую-то блажь, может, поэтому профессор и выражал свое кредо столь бурно и категорично, ибо на сей счет даже он, несмотря на все свое простодушие, не обольщался — в этой страстной мечте о возвращении императора он был совершенно одинок. Я спрашивал себя, кого он имеет в виду под словами "мой император": молодого ли Карла, о котором ни у кого нет четкого представления, или таки воскресшего Франца Иосифа?

Возможно, памятью о глубокоуважаемом наставнике Адольфе Либене, выходце из семьи известных еврейских банкиров, объяснялось то обстоятельство, что профессор Фрай не выказывал ни малейшего раздражения против евреев. Радетель за справедливость, он о каждом судил по заслугам. И даже имена и фамилии галицийских евреев произносил точно так, как и любые другие, хотя большинству лаборантов подобные имена представлялись донельзя комичными. И за спиной у профессора кто-нибудь то и дело пропевал их, со смаком растягивая по слогам. В лаборатории был один парень, которого звали, подумать только, Йосиас Кольберг; этот плутяга и живчик, как ты там ни растягивай с вопросительной интонацией его имя, бодрости не терял, работал споро и аккуратно, ни перед кем не заискивал, не угодничал и не чувствовал ни малейшей охоты общаться с кем-нибудь из лаборантов иначе, нежели строго по делу. Меланхоличный Альтер Горовиц, работавший за соседним столом, был его полной противоположностью: говорил приглушенным голосом и двигался медленно. Если, увидев Кольберга, ты представлял себе игрока на футбольном поле, то Альтер Горовиц хорошо бы смотрелся в библиотеке, склоненным над книгой, — хотя я ни разу не застал его с книгой по какой-то иной, не сугубо химической теме.

Они идеально дополняли друг друга, были неразлучны, как близнецы, за всякое дело принимались вдвоем, и казалось, им больше никто не нужен. Но кто так думал, ошибался: за соседним столом работал еще один уроженец Галиции, по фамилии Бакенрот. Не помню, как его звали по имени — то ли не знал и тогда, то ли со временем позабыл. Он был единственный *красивый* человек в нашем зале — высокий и стройный, с

1. Дворец Шёнбрунн — венская резиденция австрийских императоров.

очень светлыми, глубокими лучистыми глазами и рыжеватыми волосами. Плохо владея немецким, он редко с кем-нибудь разговаривал и почти не смотрел в глаза. Когда же такое случалось, на ум приходил молодой Христос, каким его иногда рисуют художники. Я ничего не знал об этом студенте и робел рядом с ним. Но хорошо изучил его голос: с обоими земляками он разговаривал на идише или по-польски, и видя, что он заговорил, я непроизвольно пододвигался ближе, желая вслушаться в непонятную мне речь. Звучала она мягко и странно, а главное, очень нежно, и я задумывался, не щебечущие ли польские звуки создают такую иллюзию нежности? Однако голос не изменялся и переходя на идиш, и тогда я сказал себе, что идиш тоже нежный язык, — но так ничего и не понял толком.



Я подметил, что со своим соседом Горовиц и Кольберг говорят иначе, нежели друг с другом. Горовиц перестает предаваться хандре, изъясняется более деловито, чем обычно, а Кольберг серьезнеет, точно с мячом в руках вытягивается перед Бакенротом по стойке "смирно". Ясно было, что оба ставят его выше себя, но я не задавался вопросом, почему они его так уважают или щадят. Он был не только выше их ростом, но также наивней и впечатлительнее, и им, похоже, приходилось посвящать Бакенрота в известные житейские обстоятельства, а может, оберегать его от столкновения с таковыми. Но свет, излучаемый Бакенротом, ни на секунду не меркнул. Один мой приятель по лаборатории, с которым я об этом заговорил и который не хотел поддаваться воздействию странного света, ощутимого и для него, отделался шуткой, заметив, что тут все дело в цвете волос: они, мол, и не рыжие, и не белокурые, а что-то посередине, и потому сияют как солнечные лучи. Надо сказать, что и лаборанты робели перед Бакенротом. Общались они с ним, в силу языковых затруднений, через Горовица и Кольберга, и удивительно, насколько по-другому — сдержанно, именно что робко — произносили они фамилию *Бакенрот*, в то время как по поводу фамилий *Горовиц* и *Кольберг* были очень даже не прочь съязвить.

Я сознавал, что оба, в особенности Кольберг, стараются оградить Бакенрота от оскорблений, которым *сами* научились давать отпор, с которыми *сами* свыклись. Но была ли в том необходимость? Мне казалось, он и так защищен — и незнанием немецкого языка, и еще чем-то, что я не без некоторой неловкости определил бы как блеск, ибо идея величия, в светском ли или в религиозном смысле, не находила во мне в те годы ни малейшего отклика, и я был большим охотником соскрести внешний лоск и придраться к чему угодно. Но я ни разу не вошел в лабораторию, не бросив взгляда на Бакенрота, не убедившись, что он на месте: в белом халате, над колбами и горелками, которые так не вяжутся с его обликом. Его лабораторные занятия казались мне чуть ли не маскарадом, я не доверял этой маске, все ждал, когда же он сбросит ее и покажет, наконец, свое подлинное лицо. Но четкого представления об этом подлинном лице у меня не было, знал я только одно: к хлопотливому быту химиков, которые вечно что-нибудь растворяют, перегоняют, взвешивают и дистиллируют, Бакенрот отношения не имеет. Он казался кристаллом — но не бездушным, не твердым, а чувствующим, не дающимся в руки.

Посмотрев в его сторону и убедившись, что он на месте, я успокаивался, но ненадолго — на следующий же день опять начинал бояться,

что он больше не придет. Ева Райхман, та самая русская эмигрантка из Киева, моя соседка и конфидентка, была единственной, с кем я мог поделиться своими опасениями. Я слегка заигрывал с этими страхами, принимал их не так уж всерьез, за что она с очаровательной серьезностью — для нее было свято все, что касается человека, — выговаривала мне: "Вы так говорите о нем, будто он чем-то болен. Но он вовсе не болен. Он просто красив. Почему на вас столь сильно воздействует мужская красота?" — "Мужская?! Он красив красотой святого. Не понимаю, что ему здесь понадобилось. Что может понадобиться святому в химической лаборатории? В один прекрасный день он исчезнет".

И мы подолгу рассуждали, как именно он исчезнет. Растворится в красноватой дымке и поднимется к солнцу, откуда он родом? Бросит химию и перейдет на другой факультет? На какой? Еве Райхман хотелось видеть в нем нового Пифагора. Ей казалось, что сочетание геометрии, астрономии и учения о музыке сфер — это как раз для него. Ева знала на память много русских стихов, любила прочесть мне что-нибудь вслух, но не любила переводить. Студенткой она была превосходной, физическая химия давалась ей легче, чем любому однокашнику-мужчине. О математике она отзывалась так: "Проще не бывает. Как только дело доходит до математики, все превращается в детскую игру".

Ева была высокой и пышнотелой, с кожей нежнее, чем у плода. И пока она с пленительной легкостью выдавала одну за другой математические формулы, — в тоне обычной беседы, а не торжественно, как стихи, — мне хотелось погладить ее по щеке; о Евиной груди, бурно вздымавшейся во время наших словесных дуэлей, я старался не думать. Кажется, мы были влюблены друг в друга, но не признавались — ведь все совершалось как бы не наяву, а в романе Достоевского; и только сегодня, полвека спустя, я различаю и в ней, и в себе — тогдашних — все приметы влюбленности. Наши фразы переплетались, словно пряди волос, объятия наших слов длились часами — благо времени за долгими химическими процедурами вполне хватало, — и поскольку любящим свойственно лишать окружающих самоценности, включая их в свой любовный разговор и пользуясь ими для пущего возбуждения чувств, мы постоянно возвращались мыслями к Бакенроту. Мы то и дело с тревогой повторяли, что *потеряем* его, и ощущение угрозы, которая, как потом выяснилось, и в самом деле нависала над ним, испарялось в словах.

Я спрашивал Еву Райхман, не хочет ли она побеседовать с Бакенротом. Она решительно отнекивалась: "На каком языке?"

Ева получила русское воспитание. Ей было двенадцать, когда семья, одна из самых обеспеченных в городе, покинула Киев. Они оказались в Черновицах, где Ева училась в немецкой школе, но мягкий русский выговор в ее немецком так и не сгладился. Семья потеряла бóльшую часть состояния, хотя далеко не всё, но о русской революции Ева отзывалась без злобы, с глубокой убежденностью повторяя: "Нет, нельзя быть *такими* богатыми!", и хотя речь шла о каких-то нажившихся на инфляции богатеях тогдашней Австрии, чувствовалось, что она имеет в виду и когда-то существовавшее богатство своей семьи. На идише она дома никогда не говорила. У меня создалось впечатление, что для нее это такой же чужой язык, как и для меня: идиш не пленял ее своеобразием, она не относилась к нему с той нежностью, какую питаешь к уходящему языку. Ее судьбой стала великая русская литература: Ева была одержима ею, дума-

ла и чувствовала образами русских романов, и хотя трудно было бы отыскать человека с более естественным и живым восприятием, в ней все принимало формы, знакомые ей по русской литературе. Она упрямо сопротивлялась моему предложению поговорить с Бакенротом по-польски (я полагал, что при известном желании русский непременно поймет польскую речь), то ли и вправду не понимая этого языка, то ли потому, что впитала с молоком матери идеи Достоевского, в том числе и его антипольские убеждения. Всякую настойчивую просьбу такого рода она отбивала моим же оружием: "Неужели вы хотите, чтобы я коверкала их язык? Поляки свой язык очень ценят. Я их литературы не знаю. Но она у них есть. Как и у русских". Конец получался скомканным: Ева принципиально отвергала всякую национальную спесь и дальше этого "Как и у русских" не шла.



За неимением средства языкового общения она избегала бесед с Бакенротом. При том завышенном представлении о нем, какое сложилось у нас обоих, ее слегка раздражало, когда до ее ушей долетали обрывки его разговоров с Кольбергом и Горовицем. Кольберга она презирала за сходство с футболистом и манеру вечно что-то насвистывать себе под нос, а Горовица находила неинтересным: "Еврей как еврей". Всерьез Ева принимала только тех евреев, которые, приобщившись к литературе другого народа, полностью ассимилировались, усвоили его язык, не став при этом ревностными поборниками чужого национализма, — и, запрещая себе предубеждения национального толка, она все же сохраняла предубеждения против евреев, застрявших на полпути к такому свободному мировидению. Ева была отнюдь не уверена, что Бакенрот в этом смысле так уж продвинут. "А может, он просто молодой хасидский раввин? — огорошила она меня однажды. — Только сам пока не догадывается". Оказалось, она не любит хасидов. "Они фанатики, — заявила она. — Преданы своей вере в чудесное, пьют вино да скачут. Нет у них в душе математики". Что математика воплощает *ее* веру в чудо, об этом Ева не думала. Но разговоры о Бакенроте поддерживала. Такой любовный разговор мы себе *позволяли*. Ведь я принадлежал другой женщине, и Ева видела, как та вечерами заходит за мной в лабораторию. Ева Райхман была слишком горда, чтобы безоглядно увлечься человеком, дающим ей понять, что он связан. Пока мы говорили о Бакенроте, о нашей увлеченности друг другом можно было умалчивать, и страх, что Бакенрот вдруг исчезнет, был, по сути, страхом, что угаснет сама эта увлеченность.

Однажды утром Бакенрот не пришел; его место оказалось незанятым. Я решил, что он запаздывает, и промолчал. Потом заметил, что Ева нервничает и отводит глаза. "Все трое не пришли, — наконец сказала она. — Что-то случилось". Кольберг и Горовиц тоже отсутствовали, чего я не заметил, она же воспринимала Бакенрота не так изолированно, как я, она всегда видела его в обществе тех двоих, единственных его собеседников. Это ее слегка успокаивало, она не хотела признать, что он настолько одинок, как со страхом подозревал я.

"Они пошли на какой-нибудь религиозный праздник", — неуверенно сказал я, пытаясь усмотреть нечто положительное в отсутствии всех троих. Ее же именно это, кажется, и смущало. "Нет, это не к добру, — возразила она. — С ним что-то случилось, и они с ним остались". — "В смысле он заболел? — я почувствовал легкое раздражение. — Но не ста-

нут же оба пропускать из-за этого занятия". — "Ну хорошо, — сказала она примирительно. — Если он заболел, то один останется у него, а другой придет". — "Нет, — сказал я. — Эта парочка неразлучна. Вы когда-нибудь видели, чтобы они хоть что-то делали порознь?" — "Поэтому, наверное, и живут вместе. Вы у них бывали?" — "Нет, не бывал. Но знаю, что они вместе снимают комнату. А он живет совсем рядом, через три дома". — "И все-то вы знаете! Вы что, профессиональный сыщик?" — "Один раз я проследил за ними, когда они вышли из лаборатории. Кольберг и Горовиц проводили его до дома. Простились с ним церемонно, как с чужим, а потом прошли обратно — пару шагов — до своей квартиры. Меня не заметили". — "А зачем это вам понадобилось?" — "Я хотел знать, один ли он живет. Может, ему одиноко, а тут вдруг, как бы случайно, подхожу я и здороваюсь: 'Добрый вечер'. Я притворился бы удивленным, он бы и впрямь удивился — глядишь, и разговорились бы". — "Но на каком языке?" — "Подумаешь, пустяки. Я могу объясниться даже с тем, кто ни слова по-немецки — ни слова. Дед научил". — "Объясняться на пальцах? — улыбнулась Ева. — Нехорошо. Не к лицу это вам". — "Вообще это не в моих правилах. Зато мы растопили бы лед. Знаете, как давно я хотел с ним поговорить!" — "Наверное, надо мне было все-таки попытаться — по-русски. Я не знала, что для вас это так важно".

Мы продолжали говорить о нем и только о нем, а между тем никто из троих так и не появился. Миновал полдень; мы старались об этом не думать. Чтобы сменить тему, я завел разговор о книге, которую начал читать накануне, — о сборнике новелл Эдгара По; она не знала этих новелл, и я стал пересказывать ей одну из них, "Сердце-обличитель", приведшую меня в неподдельный ужас. Но пытаясь, пересказывая историю, сбросить с себя этот ужас, я при каждом взгляде на пустующее место чувствовал нарастающую тревогу, и вдруг фройляйн Райхман сказала: "Мне дурно от страха".

В эту минуту в дверях появился профессор Фрай со своим эскортом (обычно его сопровождали двое, но сейчас за спиной у него стояло четверо лаборантов), неопределенным жестом подозвал нас поближе и, подождав, пока подойдет большинство, сказал: "Очень печальная новость. Считаю своим долгом вам сообщить. Сегодня ночью господин Бакенрот скончался, отравившись цианистым калием". Он еще постоял немного, а потом покачал головой и добавил: "Кажется, он был очень одинок. Неужели никто этого не замечал?" Ответа не последовало, слишком ужасным было известие, в зале не оказалось никого, кто не почувствовал бы вины, а ведь никто ему ничего не сделал. В том-то и дело: никто ничего не пытался сделать.

Как только профессор со свитой вышел из зала, фройляйн Райхман, потеряв всякое самообладание, расплакалась навзрыд, будто лишилась родного брата. У нее не было брата, а теперь им стал Бакенрот. Я понимал, что и между нами двумя что-то произошло, но по сравнению со смертью человека двадцати одного года это мало что значило. Понимал я и то — да и она понимала, — что мы использовали образ странного юноши в наших беседах. Месяц за месяцем он стоял между нами, его красота горячила нам кровь, он был нашей тайной, скрываемой от самих себя, равно как и от него. Мы так и не заговорили с ним — ни она, ни я, — и каких только не придумывали отговорок, чтобы оправдаться друг перед другом за это молчание. Наша дружба разбилась о чувство ви-

ны. Я ни себе не простил, ни ей. И когда сегодня в памяти снова звучит ее речь, которая так чаровала мне слух своей чуждой мелодией, меня берет злоба, и я понимаю, что упустил единственную возможность спасти Бакенрота: я не попытался пробудить в ней любовь к нему — вместо того чтобы самому с ней заигрывать.



## *Соперники*

В нашей лаборатории работал еще один молчаливый студент, однако его молчание не объяснялось незнанием языка. Родился он на селе, наверное, в какой-нибудь верхнеавстрийской деревушке, вид имел робкий и вечно голодный. Неважная одежонка, которую он никогда не менял, болталась на нем, как на вешалке, — то ли все было с чужого плеча, то ли он так исхудал от недоедания с тех пор, как приехал в город. *Его* волосы не лучились, и их блеклый, уныло-рыжий оттенок подходил к болезненно бледному лицу. Звали студента Хунд, то есть "пес", но хорош же пес: рта не откроет, даже не поздоровается в ответ; он если и замечал, что его приветствуют, то разве только угрюмо кивал, обычно же отводил глаза. Никогда не просил совета и помощи, ни у кого ничего не одалживал. Сейчас он рассыплется, думал я всякий раз, когда его видел. Хунд не отличался сноровкой и подолгу возился над каждым опытом, но по движениям его рук, скупым и точным, не было видно, как тяжко он мучается. Времени на раскачку ему не требовалось, он как-то весь подбирался, и только принялся за дело — смотришь, уже и закончил.

Как-то раз он нашел на своем столе кем-то подсунутый бутерброд, в обертке. Мои подозрения пали на фройляйн Райхман, сердобольную душу. Хунд открыл пакет, осмотрел содержимое, снова завернул бутерброд и пошел с ним по залу. Подходил, протягивал сверток, язвительно спрашивал: "Это не ваше?" и направлялся к следующему студенту. Он не пропустил ни одного; это был единственный раз, когда Хунд обратился к каждому в зале, но дальше трех повторяемых слов разговор не пошел. От свертка все отреклись. Подойдя к последнему человеку и услышав последнее "нет", он потряс пакетиком в воздухе и грозно вскричал: "Есть кто голодный? Выбрасываю!" На призыв никто не откликнулся, все боялись признаться в неуместном благодеянии, и Хунд с яростью, будто вдруг преисполнясь невероятной силы, швырнул сверточек в мусорное ведро, а когда несколько голосов осмелилось протянуть: "Как жаль", прошипел сквозь зубы: "Ну, так выньте и съешьте!" Такой решимости и способности столь четко выражать свои мысли от Хунда никто не ждал. В результате он снискал всеобщее уважение, и подаяние не пропало впустую.

Через несколько дней Хунд пришел в лабораторию с небольшим бумажным пакетом и положил его рядом с собой, на место того бутерброда. Не торопясь открывать его, приступил к своим долгим, ненужным занятиям. Не я один мысленно задавался вопросом: что там внутри? Догадка, что он прихватил с собой бутерброд, который намерен всем нам продемонстрировать, вскоре отпала — из пакета выпирали острые уголки. Наконец Хунд взял пакет в руки, подошел ко мне, помахал им у меня перед носом и произнес: "Фотографии! Пойдемте покажу!" Слова прозвучали властно, что мне понравилось. Для всех явилось полным сюрп-

ризом, что Хунд намерен кому-то что-то показывать, и если раньше все замечали его полную отчужденность, то сейчас мгновенно сообразили, что он предлагает нам нечто, подошли к моему столу и плотным кольцом обступили Хунда. Он спокойно, словно ему не впервой, подождал, пока все соберутся, а затем распечатал пакет и стал один за другим доставать и показывать снимки, превосходные фотографии, на которых чего только не было: птицы, ландшафты, деревья, предметы, люди...

Так Хунд из голодающего бедняги превратился в одержимого фотографа, который все деньги пускает на утоление своей страсти, *вот почему* он так скверно одет, *вот почему* голодает. На восхищенные возгласы он отвечал все новыми и новыми снимками, их оказались десятки — в тот раз, наверное, пятьдесят или шестьдесят, — и все поражали контрастами, за несколькими однотипными внезапно следовали совершенно другие. Он как-то неожиданно возвысился над нами, и когда одна дама воскликнула, причем очень искренне: "Господин Хунд, да вы художник!", улыбнулся и возражать не стал; было заметно, что слово "художник" пришлось ему очень по душе, показалось слаще любого лакомства. Когда представление кончилось, всем было жаль расходиться. "Как же вы находите мотивы, господин Хунд?" — спросила все та же коллега. Спросила серьезно, с той же серьезностью, с какой только что любовалась его работами, и Хунд с достоинством, но лаконично отрезал: "Все дело в тренировке!", на что какой-то любитель расхожих речений выпалил: "Дело мастера боится!", однако же смеяться никто не стал.

Итак, наш Хунд — мастер, готовый ради искусства пожертвовать чем угодно. Пока он в силах фотографировать, он равнодушен к еде, да и к учебе, похоже, тоже. Прошел месяц-другой, прежде чем Хунд явился с новым пакетом. Коллеги тут же сбежались, все опять не скупились на похвалы — вторая порция не уступала в разнообразии первой, — и вскоре мы пришли к единому мнению, что Хунд только затем и посещает лабораторию, чтобы время от времени огорошить нас, свою публику, новыми снимками.

Довольно скоро после этого второго Хундова показа внимание лаборатории привлек к себе новый студент — карлик Франц Зигхарт. Он был соразмерных пропорций, тоненький, даже хрупкий; приборы Зигхарт устанавливал не на столешнице, слишком высокой для его роста, а на полу. Благодаря своим ловким маленьким пальцам карлик управлялся быстрее нас всех и, принимаясь внизу за кипячение и возгонку, пронзительным хрипловатым голосом тараторил без умолку и без устали, стремясь убедить нас в том, что изведал все радости, о которых знают "большие", и это еще не все. Объявил, что ждет в гости брата: он выше нас всех, метр восемьдесят девять, армейский капитан, они похожи как две капли воды, не отличишь одного от другого, вот придет в мундире в лабораторию, и не разберешь, кто тут химик, а кто офицер. Всезнайке Зигхарту нередко верили, его речи отличались завидной убедительностью, и все же в существовании такого брата кое-кто усомнился.

"Ну, был бы он, скажем, метр шестьдесят пять... — протянула фройляйн Райхман, — но метр восемьдесят девять... Нет, не верю. И почему непременно в мундире?" В первый же день, провозившись час-другой на полу, Зигхарт сперва добился признания у нас, а чуть погодя, предъявив результат своего первого анализа, произвел впечатление и на дежурного лаборанта. Справился он намного быстрей, чем обычно требовали

эти весьма трудоемкие операции, стремительный темп соответствовал ловкости его крошечных пальцев — но, объявив так рано о скором приезде брата, он допустил оплошность. Гость заставлял себя ждать. И хотя никто не был столь бестактен, чтобы напомнить ему об обещанном визите, Зигхарт, казалось, угадывал мысли соседей и время от времени сам заводил разговор о брате. "На этой неделе ему не приехать. У военных служба суровая. Вы сами не понимаете, как вам тут сладко живется! Он уже сколько раз пожалел, что пошел по военной части. Только вслух нипочем не признается. Ну а куда же ему еще-то было податься, такому верзиле!" И Зигхарт на все лады повторял, как трудно пришлось в жизни брату с его высоченным ростом. Вообще говоря, он жалел его, но кое-какие заслуги за ним признавал, уважая за то, что такой молодой, а уже дослужился до капитана.



Наконец всем это надоело, и его перестали слушать. Как только речь заходила о брате, все затыкали уши. Привыкший к вниманию аудитории, Зигхарт наткнулся вдруг на глухую стену и вмиг сменил объект своей мании. Оказалось, у него есть не только брат, но и девушки. Все его приятельницы, положим, не такого исполинского телосложения, как брат, но все же вполне приличного роста. Упирал он, однако же, не на их высокий рост, а на разнообразие и количество. Нет, Зигхарт вовсе не был неделикатен, сокровенных деталей их внешности он, конечно, не выдавал; отменный рыцарь и кавалер, он горой стоял за каждую из своих барышень. Не называя их по именам, он для понятности и чтобы мы знали, о ком идет речь, присвоил девушкам номера и всякую новость об очередной подруге предварял ее номером. "Нумер Три дала мне сегодня от ворот поворот — задерживают в конторе. Ну и ладно. Сходим в кино с нумером Четыре".

Всех девушек он снимает на пленку. Фотографирует каждую. Барышень хлебом не корми — дай только посниматься. На рандеву первым делом вопрос: "Скажи, ты ведь сегодня сделаешь несколько снимков?" На это он отвечает: "Терпение, главное, терпение! Поспешишь — людей насмешишь. Всему свое время". Особенно девушки любят сниматься в обнаженном виде. Нет, все очень скромно. Но показывать можно, только если не видно лица. А то еще обвинят в нарушении приличий. Ну да ладно, кое-какие карточки он, так и быть, покажет. Принесет когда-нибудь целую кучу. И всё сплошные *ню*. Но с этим он не торопится. Придется нам потерпеть. Тут только начни — тебя сразу замучают: "Зигхарт, принесли еще голеньких?" Но у него и без девушек забот полон рот, есть чем заняться. А нам придется пока поучиться смирять свое любопытство. В надлежащий момент он попросит дам отойти в сторонку, это зрелище не для их целомудренных глаз. Дело сугубо мужское. Но заруби-те себе на носу: он делает только скромные снимки.

Зигхарт умело подстегивал любопытство аудитории. Настал день, когда он принес в лабораторию аккуратно перевязанную обувную коробку и для начала запер ее в свой шкафчик. Потом вдруг забеспокоился, вынул коробку, пихнул обратно и, почесав в затылке, со словами "Нет, лучше так!" снова достал из шкафа, решительно заявив: "Осторожность превыше всего. Я ведь не должен был вам ничего рассказывать. Там сплошные *ню*. Среди вас, надеюсь, нету воришек". Он находил все новые и новые поводы повертеть коробкой у нас перед носом. "И чтоб никто не вздумал открывать ее за моей спиной. Я помню, как завязал ве-

ревку. Точно помню. Если увижу, что что-то не так — унесу коробку домой, и никому ничего не покажу! Всем понятно?" Говорил он грозно, и тут было чего опасаться — что про коробку он не соврал, все уже поверили. И сколько бы чопорная фройляйн Райхман ни повторяла: "Ваша коробка, господин Зигхарт, никому не интересна!" — карлик знай себе многозначительно хмыкал и подмигивал каждому представителю мужского пола; иные подмигивали в ответ, и все понимали, как им хочется ознакомиться с содержимым коробки.

Много недель подряд Зигхарт водил нас за нос. Когда ему рассказали, что есть среди нас некто Хунд, великолепный фотограф, он потребовал дать точное описание снимаемых им сюжетов. После чего поморщился и заявил: "Вчерашний день! Старомодно! Раньше-то, может, и были такие фотографы. Вы не подумайте, я тоже не против природы. Но этак всякий сможет. Выехал на природу, чик-чик — и нащелкал дюжину снимков. Нет, это, знаете ли, старомодно. А легко-то как! Вот я сперва должен поискать своих девушек. Потом, найдя, поухаживать. Ну конечно, летом на речке это не трудно. Но зимой ты должен сперва ее 'разогреть'. А то скажет нет — и пиши пропало. Ну, да я опытный, мне от ворот поворот не дашь. У меня всякая снимется. Думаете, из-за роста? Думаете, я для них вроде ребенка? А вот и нет! Ошибаетесь. Я даю им понять, что меня самого забирает. Для них я такой же мужчина, как вон тот или этот. Они сперва покрасуются перед камерой — да с *какой* фанаберией, вы бы видели! — а потом еще и портретец получат. По одному экземпляру, не больше, с каждой съемки *по одному*, если все хорошо получилось. За это я денег не беру. Но о расходах не забываю. Хочешь больше копий — изволь заплатить. А такое бывает, что нужно, для друзей, для приятелей, глядишь — я и подзаработал. Я же вам говорю: деньгами пренебрегать нельзя".

Вот чем объяснялось обилие Зигхартовых подружек. "Дружба" сводилась к тому, что барышни отвели ему роль лейб-фотографа, однако Зигхарт умел напустить туману по этой части, для чего изобрел оригинальное выражение: "Нет, доложу я вам, подробностей вы от меня не дождетесь. Конфиденциальность, видите ли. Для меня это дело чести. И мои подруги об этом знают. Они меня знают так же досконально, как я — их!"

Однажды утром в дверях возник исполин в военном мундире. Он спрашивал Франца Зигхарта. В ожидании снимков барышень мы напрочь забыли о брате и теперь во все глаза смотрели на долговязого капитана с насаженной поверху крохотной головой, вместо лица — подобие маски Франца Зигхарта, о котором он спрашивал. Кто-то указал ему место малютки: тот стоял на корточках на полу и осторожно подносил к пробирке со спиртом миниатюрную бунзеновскую горелку. Увидев над собой ноги брата в военных штанах, Зигхарт вскочил и прокукарекал: "Привет! Добро пожаловать в зал количественного анализа. Химики приветствуют тебя! Позволь представить тебя коллегам. Сперва — дамам. Только прошу, без церемоний!" При этих словах капитан зарделся. "Стеснительный, — пояснил карлик. — Гоняться за *ню* — это не по его части!"

От этой двусмысленности его брат окончательно растерялся. Намек прозвучал в тот момент, когда капитан хотел поклониться одной из наших дам, и, уже склонив было голову, он отшатнулся, побагровел как

индейский петух — Зигхарт так никогда бы не покраснел; сейчас лица братьев были совсем разными. "Не трусь! — подбодрил его карлик. — Я тебя не обижу. До чего же он вежливый, вы даже не представляете. Ему надо, чтобы все было как по линеечке, как на параде. Значит, так. Вот эта дама — гречанка, а эта — русская. А еще, для разнообразия, у нас тут есть урожденная венка: фройляйн Фрёлих[1]. Делает честь своей веселой фамилии, хохочет без всякой щекотки. Только тсс! Русская дама не любит подобных шуток. Ей никто не осмелится ножку пощекотать. Даже я. Хотя мне-то как раз по росту". Фройляйн Райхман с неудовольствием отвернулась. Легким пожатием плеч капитан выразил сожаление о дерзости брата, и тот мигом сообразил, что сдержанность фройляйн Райхман пришлась капитану по вкусу. "Тонная дама! Высокообразованная, из хорошей семьи. Тут тебе ничего не перепадет. Ишь чего вздумал. Тут всякий клюнет. Как говорится, не выпускай вожжи. Держи себя в руках. Тебе, офицеру, не привыкать".



Затем подоспела и *наша* очередь. Но Зигхарт и тут держал брата на привязи, не отпуская от себя надолго. Он познакомил с ним каждого, каждого припечатал метким насмешливым словом. Оказалось, все это время он зорко за нами следил, и хотя аттестовал коллег совсем не потоварищески, а довольно злобно, все прокручивалось с такой быстротой — удар, еще удар, — что мы заходились от смеха, не поспевая за калейдоскопом характеристик; ты еще хохотал над одним коллегой, а карлик уже переходил ко второму и третьему. Счастье, что в этот день в лаборатории не было Хунда. Фотограф с самого начала, еще до того как речь зашла о *ню*, бросал на Зигхарта откровенно враждебные взгляды. Казалось, он сразу почувствовал, какую беду готовит ему неуемная живость карлика. А Зигхарт, хотя и осведомлялся о роде его фотографий и не скрывал своего презрения, ни разу не обратился к фотографу напрямую. Но сейчас ему точно пришлось бы назвать Хунда по имени и как-то отрекомендовать: брату представили всех, даже Вунделя, нашего "дурачка", конспиратора и подпольщика. Значит, карлик и о Хунде неизбежно сказал бы несколько слов, что при явной обидчивости фотографа добром бы не кончилось.

Вообще говоря, представление длилось не так уж и долго; все мы, включая брата, оказались у Зигхарта под колпаком, откуда он нас по очереди извлекал и, щедро наградив каждого, отставлял в сторону. Но брат попадал из огня да в полымя, ему одному досталось столько издевок, сколько нам всем вместе взятым. Я начал понимать, почему он в мундире. От тирании и вечных насмешек карлика он сбежал в армию: там хоть все предсказуемо, все по команде, и можно не опасаться внезапных причуд малютки. Я спросил себя, зачем он вообще приехал — наверняка ведь понимал, что́ придется стерпеть от братца. И сразу же после того, как капитан откланялся, получил ответ на этот вопрос.

"Я сказал ему, чтобы приехал да посмотрел, как химики живут, коли смелости хватит. Тут тебе не армейская дисциплина, за работой можно и поболтать. А он заладил свое — за работой, мол, разговорчиков не бывает. Сиди да помалкивай, как новобранец. Вы не поверите, сколько я его уламывал, чтобы приехал! Трус ты, говорю, трус и есть. Жизни на-

1. Fröhlich — веселая, радостная (*нем.*).

стоящей не знаешь. В армии вы как у Христа за пазухой. С вас там пылинки сдувают. Но — война закончилась. Новой войны не будет. На кой черт тогда армия? Трусам она нужна, которые жизни боятся. Метр восемьдесят девять вымахал — а химиков боится! Перед каждой бабой краснеет. У нас в лаборатории пять дам, так он пять раз покраснел. Мне бы тогда из краски вообще не выбраться, с моей-то восьмерочкой, ровно восемь ведь набралось. Кстати, про наших дам я ему рассказывал. Особенно про тонную русскую даму. Смотри и учись, говорю, эта направо-налево головой не вертит, да не из трусости — от *образованности*! Ну, он боялся, боялся, а под конец таки взял да приехал; видали его, дубину стоеросовую, метр восемьдесят девять, прямо *стыд* берет за такого верзилу. И всего-то боится! Передо мной — трепещет! В детстве, бывало, до слез его доводил, так он меня боялся. Теперь, небось, виду не подает. А все равно — трепещет. Никто не заметил: он *боится* меня! Заячья душа! Господин капитан — а боится! Умора! Вот я ничего не боюсь. Брал бы с меня пример".

Временами громогласное фанфаронство Зигхарта надоедало, но работе оно не вредило. Он легко и быстро справлялся со своими заданиями, однако же благосклонно взирал и на "дурачка" Вунделя, отъявленного плута, когда тот с осторожной кривой ухмылкой крался по залу, зажав в кулаке стеклянную баночку с веществом и пряча руку в правом кармане халата. Передвигаясь по лаборатории сложным, непредсказуемым зигзагообразным маршрутом, он бесшумно скользил от стола к столу, а в какой-то момент неожиданно вырастал перед тобой, просительно заглядывал в глаза и говорил: "Коллега, вы же это вещество точно знаете! Лесом пахнет". Он совал тебе под нос открытую баночку, ты втягивал запах, рассматривал содержимое и отвечал: "Знаю, конечно. У меня такое уже получалось", или: "Нет, не знаю". В первом случае Вундель интересовался, как получилось вещество, и просил тетрадь с выкладками и расчетами. Ему ненадолго давали тетрадь. Тогда он тихонько списывал и потом уверенно брался за дело, заранее зная, каким будет результат.

Нам было ясно, что Вундель — мошенник, но никто его не выдавал. Он так ловко обделывал свои делишки, что всей подноготной никто не знал. Когда он устанавливал приборы и в колбах начинало побулькивать, когда, закусив губу, он взвешивал тигели, то казалось, будто он тоже работает и только сверяет полученные результаты с цифрами, которые выклянчил у других. Отдавай мы себе отчет в том, что вся его работа, от начала и до конца, — сплошное притворство, что, если он чем-то и занят, так только тем, что *изображает* работу, вряд ли бы кто-нибудь решился ему потакать. Он никогда не подходил по два раза к одному и тому же человеку, выстраивал зигзагообразный маршрут таким образом, чтобы не столкнуться с тем, кто однажды уже оказался ему полезен, и хотя регулярно все видели, как он тенью скользит по лаборатории, о результатах его тайных разведок никто до конца не знал. Его талант состоял в искусстве казаться полным ничтожеством. От этого ухмыляющегося блина никто не ждал столь продуманной хитрости. А маска, которую носил Вундель, была именно такова. Глаза его, как у заядлого грибника, вечно шарили по земле, что одинаково не вязалось ни с кривой ухмылкой, ни с высоким тягучим голосом.

Поскольку действовать ему приходилось втихую, он всеми силами избегал громогласного Зигхарта, однако тот вскоре распознал в нем

азартного грибника и поспешил поприветствовать. "Коллега! Да мы же знакомы! — звонким голосом закричал он, напрыгивая на Вунделя, — тот испуганно съежился. — А знаете откуда? Мы с вами давно знакомы! Ну-ка сообразите! Что, не догадываетесь? Я-то все примечаю. Памятливый!" Вундель беспомощно забарахтался, как тонущий пловец, но поздно: карлик крепко схватил его за нижнюю пуговицу халата и зачастил: "Что, забыли? Да мы же с вами в один лес за грибами ходим, откуда же еще! В лесу, в лесу я вас вижу, когда вы грибы собираете. Только вы-то все больше себе под ноги смотрите, вам только грибы подавай! У вас и корзинка всегда полнехонька. Ну да я тоже парень не промах, даром что от земли не видать. Еще как посмотреть, у кого корзинка полней — у вас или у меня. Но я-то и на людишек смотрю — любопытный шельма. Привычка фотографа. Вот что вы скажете, если я сейчас снимочек покажу, как я вас на грибах поймал?" Слово "поймал" Вунделю не понравилось, благосклонные речи карлика доставляли ему мучение. Он как мог старался прокладывать свой путь по такой извилистой траектории, чтобы не встретиться с Зигхартом, но, увы, это не всегда получалось. Карлик воспылал к нему нежной страстью. В того, к кому он хоть раз обращался, осененный внезапной догадкой, карлик вцеплялся крепко, и Вундель, действительно страстный грибник, стал его излюбленной жертвой.

Впрочем, это были безобидные сшибки. Карлик, видимо чувствуя хитроумие Вунделя, симпатизировал ему и на всякий презрительный отзыв о "дурачке" решительно заявлял: "Этот-то? Никакой он не дурачок. Парень себе на уме. Не болтает лишнего". Но с одним из коллег Зигхарт и вправду решил расправиться — только из-за того, что тот стяжал себе славу фотографа.

Вожделенная обувная коробка лежала у него в шкафу уже очень давно. Правда, время от времени Зигхарт вынимал ее оттуда, подолгу вертел в руках, даже, бывало, тянул за веревку, завязанную сложным узлом, — но как только коллеги обращали на это внимание и делали два-три шажка, подбираясь поближе, он, как по команде, останавливался, говоря: "Нет, сегодня я не хочу. Не заслужили! Сперва извольте-ка заслужить!" Чем можно заслужить такую награду, Зигхарт не пояснял. Он ждал чего-то — неизвестно чего — и довольствовался пока тем, что у иных болванов при виде того, как он распутывает шнурок, начиналось слюнотечение. Вскоре он отправлял коробку обратно в шкаф, и даже репликами наподобие "Ой да ладно, ничего там нету, в этой коробке!" не удавалось сбить его с толку.

Но вот пришел день, когда Хунд снова явился в лабораторию с пакетом, на сей раз весьма объемистым, и шмякнул его на стол. Такая резкость была совсем не в его манере, Хунд определенно научился ей у Зигхарта; карлик вообще многим импонировал, и кое-кто перенимал его ухарские замашки. Хунд выждал паузу, правда уже не такую длинную, как в прошлые разы, и громче обычного сообщил: "Я принес новые фотографии! Кто желает посмотреть?" — "*Желаю* ли я посмотреть!" — прокукарекал малютка, сломя голову ринулся к Хунду и тут же пристроился сбоку от его стола. "Ну-с, я жду!" — с вызовом сказал он. Остальные тем временем, в гораздо более медленном темпе, тоже обступили Хунда. На сей раз подошли все, кто только мог отложить работу. "А мне-то досталось самое лучшее место!" — весело бросил Зигхарт, но сквозь деланную веселость проскальзывало ехидство, и столь же ехидно прозвучала от-

ветная реплика Хунда: "Да вы лучше вперед встаньте, а то с вашей фигурой ничего не увидите!"

"Дело не в фигуре, дело в картинках. Я мечтаю на них поглядеть. А потом сразу открою мою коробку. Там ведь сплошные *ню*. Надеюсь, коллега, вы не перешли на *ню*, меня бы это очень расстроило — или мы всё больше по части природы? Кошечка на окне? Тополек на ветру? Заснеженный горный пейзаж, снятый минувшей зимой? Хорошо бы сейчас увидеть славную деревенскую церковку, чтобы вокруг погост и несколько благочестивых крестов. О мертвых правда ведь нужно помнить? А может, у вас и петушок на куче дерьма найдется, только вы не подумайте, я вовсе не намекаю, что вы тут нам дерьмо собрались показывать, прошу вас, коллега, не поймите меня превратно, я имею в виду настоящего петуха на настоящей куче!"

"Если вы сию же секунду не уйдете, — отрезал Хунд, — я ничего не покажу. Убирайтесь, а то ничего не покажу". — "Ничего не покажет, да как же нам после этого жить! Тогда мне ничего другого не остается, — карлик перешел на крик, — как возместить вам, господа, потерю. Сейчас я продемонстрирую вам обнаженных барышень! За мной, господа! Сейчас такое увидите — не пожалеете, не то что тут!"

Зигхарт ухватил под локоть сразу двоих коллег и, энергично подмигивая, повлек их к своему столу. Остальные потянулись следом. Наступил долгожданный момент. Кому теперь интересны брачные игры зябликов, запечатленные каким-то Хундом? Рядом с фотографом остался только один человек; еще один, уже было отойдя, нерешительно обернулся.

"Идите, идите! — замотал головой Хунд. — Я ничего показывать не буду. Сегодня принес кое-что особенно интересное, но вы идите, идите смотреть его пакости!"

Он оттолкнул локтем того единственного, кто — видно, из жалости — сохранил ему верность, и остался, как обычно, один как перст. Помешать представлению Зигхарта он не пробовал. Угрюмо и тихо стоял над пакетом со снимками, прикрывая его правой рукой и словно готовясь в любую минуту отразить нападение.

А Зигхарт тем временем развязал заветную коробку. Произошло это молниеносно — раз-два, и коробка открыта; вот он уже зачерпнул целый ворох снимков и небрежной рукой рассыпал их по столу.

"Прошу, господа! Дамы на любой вкус, выбирай, кому какая понравится. На каждого — по нескольку. Только без ложной скромности! Пусть каждый наберет себе небольшой гарем. Да что это с вами? Ловите судьбу за хвост! Что вы мнетесь? Мне что, каждого брать за ручку? Струсили, господа? Вот уж не ожидал. Вы только представьте, что я-то все это в натуральном виде перед собой имел! Тут не зевай да щелкай; ну а как вы думаете, если бы я замялся — разве юные дамы разделись бы во второй раз? Да и что бы они обо мне подумали? А что юные дамы о вас подумают, ежели вы даже карточку взять не решаетесь?!"

Он схватил одного из студентов — того, что стоял ближе всех, — за кисть руки и направил руку прямо в фотографии, заставляя ее подрагивать, как будто студенту страшно прикоснуться к рассыпанным по столу сокровищам. Всучив молодому человеку добрый десяток снимков, он крикнул: "Прошу, господа! Кто следующий?" Остальным зрителям помощь не понадобилась, и вскоре все уже глупо таращились на раздетых

девиц, смотревших со снимков ничуть не соблазнительно — пошловато и плутовски. Мероприятие казалось рискованным: что будет, если в зал вдруг нагрянет лаборант, а то и профессор со свитой? Но фотографии в самом деле не производили непристойного впечатления, иначе иной коллега, пожалуй, и не отважился бы на виду у всех взять их в руки. Чувство неловкости возникло разве что из-за неучастия в просмотре дам, а перед фройляйн Райхман, чей стол стоял рядом, — она глядела в пространство перед собой и притворялась, будто ничего не слышит, — всякий испытывал угрызения совести.



О Хунде тем временем забыли, никто даже не помнил, что он все еще тут. Внезапно он вклинился в толпу студентов, глянул на фотографии, плюнул и крикнул: "Шлюхи, все шлюхи!" И хотя сам он сразу удалился, все уже было не то. Зигхарт обиделся за подружек. "Такого обращения мои девушки не заслуживают, — сказал он и быстро-быстро собрал фотографии. — Если бы знал, ни за что не принес бы снимки. Не дай бог девушки прознают. Тогда между нами все кончено. Прошу господ соблюдать конфиденциальность. Ни словечка о происшедшем не должно выйти из этого зала. Извинения тут не помогут: даже если мы всей толпой явимся к девушкам и будем хором умолять о прощении, толку не будет. Молчание, только молчание. Я могу полагаться на вашу скромность, господа? Никакой коробки никто не видел. Никаких оскорбительных слов не звучало. Я тоже буду молчать. Даже верзиле-брату не расскажу".

## *Рыжий мормон*

Лето 1926-го мы с братьями провели в Сент-Агате, что между Гойзерном и Хальштеттер-Зее. В местечке была одна — старая, живописного вида — гостиница, бывшая кузница, а при ней — большое питейное заведение. Я решил, что с мальчиками-подростками здесь жить не годится. Но в двух шагах от гостиницы мы обнаружили более современный, не такой большой дом, хозяйка которого, дама преклонных лет, сдавала комнаты с пансионом; заведение называлось "Агатова кузница". Комнаты здесь были узенькие и скромные, ненамного больше и столовая, где помещалось от силы три-четыре стола. За одним из них мы и обедали, в обществе хозяйки, энергичной старушки, строгой скорее с виду, чем по взглядам: оказалось, она без предубеждений и пускает к себе любовные пары.

Единственными постояльцами, кроме нас, здесь и была такая пара: потрепанный режиссер средних лет, темноволосый взлохмаченный остроумец, и юная стройная дева, на голову выше своего спутника, — не лишенная прелести пепельная блондинка, одурманенная бесконечными монологами режиссера. Он все и всем норовил объяснить, не находилось темы, в какой он не был бы докой. Со мной режиссер охотно вступал в разговоры, ибо я ему возражал — он слушал и даже, казалось, всерьез относился к моим словам. Но вскоре брался за дело: отметал мои рассуждения, смеялся, подшучивал, ерничал, шикал, менял роль за ролью, точно на сцене, — а под конец непременно пронзал подругу властным взглядом. Девушку звали Аффи. Ей казалось само собой очевидным, что последнее слово остается за режиссером. Мне же так не каза-

лось. И если она никогда не пыталась ввернуть словечко-другое, то я еще как пытался. Он только уложит меня на обе лопатки, как я — скок — и опровергаю его, после чего немедленно следует *его* ехидное опровержение. Господин Бретшнайдер был человек не злой и не вредный, но право безраздельного обладания Аффи предполагало, что девушка не должна преклонять слух к речам иного представителя сильного пола, пусть даже недоросля. Хозяйка, фрау Банц, слушала нас молча, ни на чью сторону не становясь и ни малейшим движеньем лица не выдавая, кому отдает предпочтение, но было заметно, что она внимательно следит за каждым витком разговора.

Бретшнайдер и Аффи жили в соседней комнате, и через тонкие стены мне были слышны все звуки — то свист, то подтруниванье, то хихиканье, то какое-то довольное бурчание. Тишина не воцарялась ни на минуту; может, во сне господин Бретшнайдер иной раз и замолкал, но даже если и так, я этого не замечал, потому что сам крепко спал.

Неудивительно, что мы обращали внимание на этих двоих — единственных наших соседей. Впрочем, гораздо сильнее меня тем летом занимало другое: ласточки, несметные стаи ласточек, гнездившихся в старой кузнице. Когда я утром выходил в сад и, усевшись за деревянный стол, доставал свои тетради, они проносились над головой низко-низко, почти задевая меня крыльями. Как зачарованный, я часами следил за ними. Временами, когда братья собирались выйти из дому, говорил: "Идите вперед — я догоню. Мне тут надо еще кое-что дописать"; но писать я почти не писал, все смотрел на ласточек, не находя в себе сил с ними расстаться.

На два дня в Сент-Агату приехала ярмарка. Для меня это самое яркое воспоминание того лета. Вокруг развесистой липы, возвышавшейся посередине площади перед старой кузницей, выросли будки и лавочки; они подступали к самым стенам нашего пансиона. И прямо под окном моей комнаты какой-то парень поставил стол, заваленный мужскими рубахами. Быстрым и энергичным движением разметав свой товар по столу, торговец подбрасывал в воздух то одну, то другую рубаху — обычно по две или три за раз, — а потом швырял их обратно в кучу. При этом он громко кричал: "Эх, была не была — бери задарма!"

В крике слышались убежденность, нервозный жест: мол, надоело, отдам за так. И в надежде перехватить у торговца что-нибудь на дармовщинку к столу то и дело подходили крестьянки. Иная, сомневаясь, с видом знатока проверяла товар на прочность, тогда парень выхватывал рубаху из ее рук и тут же швырял ей обратно — дескать, дарю; и ни одна женщина из тех, кто прикоснулся к товару, не ушла без покупки: рубахи словно прилипали к рукам. Когда покупательницы доставали кошельки, он и на деньги как будто не смотрел, их он тоже бросал — в большую, быстро наполнявшуюся картонку; и стопки рубах буквально таяли на глазах. Я наблюдал за ним из окна, впервые видя такую бойкость, — и снова и снова до моих ушей долетал его крик: "Эх, была не была — бери задарма!"

Я заметил, что его — мнимая — беззаботность передается крестьянкам: женщины с удивительной легкостью расставались с деньгами — рубахи вмиг оказывались раскуплены, вот уже все сметено подчистую, и торговец, взмахнув рукой, с криком "Стоп! Минуточку!" исчезает за углом улицы, прихватив набитую деньгами картонку. Из окна мне было не

разглядеть, куда он уходит, и, думая, что все кончилось, я отступал от окна, но не успевал пересечь свою крохотную комнатушку, как с новой силой слышался крик: "Эх, была не была..." И вот на столе опять громоздятся стопки рубах, а он то со скорбной миной подбросит рубаху в воздух, то с усмешкой швырнет на стол. И снова стекаются отовсюду крестьянки, глотая наживку.



Ярмарка была небольшой: прогуливаясь между лавчонками, я то и дело выходил к его столику; в торговле он понимал, как никто другой. Парень меня заметил — он видел, как я стоял в окне, — и в одну из редких минут, когда у его стола не толпились покупатели, спросил, не студент ли я. Вопрос меня нисколько не удивил — торговец и сам походил на студента, вскоре он действительно достал из кармана матрикул Венского университета и повертел им у меня перед носом. Сообщил, что учится на правоведа, уже четвертый семестр, а подрабатывает на ярмарках. "Видите, как это просто, — сказал он. — Я что угодно могу продать. Но с рубахами проще всего. Эти глупые бабы и вправду верят, что им что-нибудь отдадут задарма". К своим жертвам он относился с презрением: через неделю эта дрянь разорвется в клочья, такую рубаху можно надеть раза четыре, от силы пять, а потом... да какое ему дело: пока они сообразят, что к чему, его уж и след простыл. "А через год?" — удивился я. "Через год? Через год! — Вопрос поставил его в тупик. — Да может, я через год подохну. А не подохну, так буду уже далеко. Неужто вы думаете, я еще раз сюда приеду? Ну уж нет, не рискну. Вы, что ли, приедете? Тоже, поди, не рискнете. Вы — из-за скуки, я — из-за этих рубах". Я подумал о ласточках — ради них я, пожалуй, вернулся бы, — но сказать это вслух не решился, так что последнее слово осталось за торговцем.

На ярмарке и кроме него было на что посмотреть, но приятельские отношения у меня завязались только с одним человеком — рыжий и одноногий, он сидел на крыльце перед старой гостиницей, положив на ступеньки костыль и выставив деревянную ногу. Я терялся в догадках: что он тут делает? Что он просит милостыню, мне и в голову не приходило. Но в какой-то момент я заметил, что порой ему бросают монетку, на что он с достоинством отвечает: "Бог тебе воздаст!" Меня так и подмывало спросить, из каких он краев: он выделялся среди толпы огромными рыжими усами, но свое "Бог тебе воздаст!" выговаривал чисто, как местный житель. Из чувства неловкости я не стал обращаться к нему как к нищему и, сделав вид, будто не понимаю, зачем он здесь, не бросил ему монету, решив про себя, что еще успеется. А затем наконец спросил, откуда он родом, и хотя ни малейшей нотки высокомерия в моем голосе не прозвучало, рыжий не назвал ни города, ни страны, а сказал, к величайшему моему изумлению: "Я из мормонов".

Я не слышал, чтобы в Европе водились мормоны. Может, он побывал в Америке и там жил в этой среде? "А как долго вы пробыли в Америке?" — "Да я там сроду не бывал!" Сознавая, что ответ меня удивит, рыжий выдержал паузу, после чего пояснил, что мормоны есть и в Европе, даже в Австрии, причем в немалых количествах. Они встречаются на собраниях, связаны в общую сеть. Если хочу, он покажет мне их газету. В какой-то момент у меня возникло ощущение, что я мешаю ему работать — ему ведь нужно следить за людьми, которые выходят из трактира и входят в трактир, — и со словами, что я еще подойду, я откланялся. Но

потом мой новый приятель куда-то исчез, и я удивился, как мог не заметить его ухода. Костыль, деревянный протез и огненно-рыжая шевелюра — все это очень бросалось в глаза.



Когда я вошел в битком набитый трактир, то за одним из столов, заполнявших огромный зал, вдруг увидел мормона: он преспокойно сидел в окружении других посетителей, а на столе перед ним стоял стаканчик вина — такого же цвета, как его волосы. Похоже, он пришел сюда без компании: с ним никто не беседовал, а может, он сам не вступал в беседы. Меня удивило, что он как ни в чем не бывало уселся за стол в том самом трактире, перед которым только что попрошайничал. Но его это, кажется, не смущало: рыжий сидел спокойно, осанисто; мне только показалось, что вокруг него больше свободного места, чем вокруг других. Огненная голова, а главное, невероятные усищи отличали его от всех прочих; даже не будь того разговора, я выделил бы за этим столом его одного. Он сидел с воинственным видом, хотя никто с ним не спорил. Заметив меня, мормон радостно помахал рукой, приглашая к столу. Ему пришлось только немного подвинуться, освобождая мне место, а неподалеку даже нашелся свободный стул — кто-то как раз встал и вышел. И вот мы уже уселись плечом к плечу, как два старых приятеля, и он настоял, чтобы я угостился за его счет стаканом вина.

Похоже, сказал он, не тратя лишних слов на вступление, что мне интересны мормоны. Все вокруг против мормонов. С ним вот никто дела иметь не хочет именно из-за этого. Думают, он многоженец. Люди если и знают что-нибудь про мормонов, то только насчет многоженства. Вздор это все, у него вообще жены нету, сбежала — вот он и подался к мормонам. Народ они славный, трудолюбивый; никто не лежит на боку, не пьет, этого у них и в заводе нет, не то что у некоторых — и он яростно ткнул пальцем в сторону моего стакана, хотя сам меня угостил: свой он уже допил, а может, просто забыл о нем; после чего широким жестом обвел остальные столы, заставленные стаканами. Он всем всегда говорит, что мормоны — хорошие люди. А все только злятся: стоит ему открыть рот, как они сразу: "Заткнись!", или: "Ну и вали к своим мормонам в Америку!"

Его уже из пивных выталкивали — чего, мол, пристал со своими мормонами. Все на него ополчились, и всё из-за этого. А ведь ему ничего не надо, сидит себе в заведении и никого не трогает, разве что на крыльце у кого попросит, но им-то что, жалко, что ли? Нет, их просто раздражает, что человеку нравятся мормоны, для них они вроде язычников или сектантов, его даже спрашивали: а правда, что рыжие все мормоны? Жена, бывало, говорила: "Рыжий, держись от меня подальше. Ты опять назюзюкался и воняешь". Тогда он еще выпивал, — случалось, рассвирепеет да как треснет супружницу костылем. Вот она и ушла. А все из-за выпивки. И тут попался ему один человек, приходит и говорит: мормоны, они исцеляют пьяниц, у них пьяниц нет, все непьющие. Тогда он к ним и подался — и правда, они его исцелили, теперь он ни капли в рот не берет; тут рыжий снова вытаращился на мой стакан, который я все не решался допить.

Я чувствовал недовольство соседей, сидевших за тем же столом. На их стаканы он хоть и не таращился, но го́лоса не понижал. Проповедь в защиту трезвости набирала силу, звучала все громче; вино свое рыжий давно допил, а нового не заказывал. Угостить его напрямую я не осме-

лился. Отлучившись из-за стола, подошел к прислуге и попросил принести моему соседу вина, только не сразу, а чуть погодя, когда я вернусь на место. Прочтя на лице девицы немой вопрос, я поспешил заранее расплатиться. И вот перед ним уже снова стоит до краев налитый стакан, и со словами "Бог тебе воздаст!" он залпом опрокидывает в себя его содержимое: за здоровье выпить не грех, как же иначе, ведь и у мормонов так полагается. До чего же они хорошие люди, просто невероятно, — всякий тебе подаст, пожалеет бедного-горемычного, бывало, скинутся всем столом и давай угощать, и пьют за здоровье бедняги, пока не упьются, да только из *милосердия*, а это особая статья, из *милосердия* отчего же не выпить... Ну да что же я с ним не чокаюсь, он мне из милосердия заказал стаканчик вина, а теперь и ему вот тоже прислали из милосердия, тут можно спокойно выпить, у мормонов так полагается, а уж они-то строгие, и если такие строгие не запрещают, то тут никто слова поперек не скажи...



Но никто и не думал ничего говорить; как только он начал пить, вся враждебность соседей улетучилась. Глаза мужчин, сидевших за нашим столом, — а среди них было несколько дюжих парней, у которых только что явно чесались руки хорошенько его отдубасить, — озарились пониманием и дружелюбием. Чокнулись за Америку. Мормон сообщил, что я тоже оттуда, приехал его навестить: а ну давай, скажи что-нибудь, пусть услышат, как хорошо ты знаешь американский язык. Я смущенно промямлил несколько фраз по-английски, и они потянулись чокаться, наверное, проверяя, стану ли пить — мысленно связав меня с ним, они, несомненно, решили, что я тоже посланник мормонов.

## Школа слуха

Приходя домой, на квартиру к фрау Вайнреб, я невольно вслушивался в злобное бормотание Палачихи, доносившееся из кухни. После первого ночного визита хозяйки я спал более чутко, в любую минуту готовый к новым инцидентам того же рода. Суета вокруг развешанных по стенам фотографий покойного мужа вселяла в меня тревогу. Портретов было великое множество; помимо размеров и обрамления, они мало чем отличались, но каждый имел некий смысл, каждый был значим. Совершая перед портретами свой ритуальный обряд, фрау Вайнреб подчинялась какому-то ритму, но днем меня не бывало дома, и уловить этот ритм я не мог. Чутье подсказывало, что хозяйка заглядывает ко мне ежедневно: разве может она обойти вниманием портреты, висящие в моей комнате?

В ту ночь, когда я видел хозяйку, она была в трансе; как обстоит дело днем, когда не спит Палачиха, которая отслеживает каждое ее движение? Всегда ли она в таком состоянии или впадает в него только при виде портретов — впрочем, глядящих на нее во всякое время и с каждой стены? Одна пара глаз сменяет другую, однако глаза неизменно те же, и устремлены они на нее. На всех фотографиях герр Вайнреб выглядел стариком, снимков времен его молодости, видимо, не сохранилось, так что без бороды фрау Вайнреб его не видала; если же после смерти и обнаружились изображения юного Вайнреба, то наверное, их отложили в сторону, приняв за портреты незнакомого человека. Впрочем, нельзя

сказать, что вид у покойного был суровый: его глаза излучали мягкую благожелательность и смотрели всегда с одинаковым выражением. Даже на тех фотографиях, где он представал в кругу сослуживцев, у него был не угрожающий, а ласковый взгляд — взгляд примирителя, посредника и арбитра. Тем необъяснимей казалось мне беспокойство хозяйки. Что́ заставляет ее неутомимо сновать по квартире, от одного портрета к другому, какой наказ оставил ей муж, почему она ни на миг не смеет присесть, погружается в "рассеянный гипноз" перед каждым портретом?

Когда мы сталкивались в передней и обменивались приветствиями, я всякий раз совершал усилие над собой, чтобы не справиться о самочувствии герра Вайнреба. И всякий раз она разъясняла мне, какой он был хороший, добрый и благородный, какой ученый человек — господин доктор Вайнреб. А когда я однажды со вздохом посетовал: "Как жаль, что он так давно нас покинул", — хозяйка испуганно встрепенулась: "Вовсе не так уж давно!" — "А когда?" — спросил я, пытаясь казаться таким же доброжелательным, как покойный старик, что из-за отсутствия у меня бороды получалось не вполне естественно. "Не могу сказать, — пробормотала хозяйка. — Не знаю", — и шмыгнула в дверь своей комнаты. Как только я переступал порог квартиры, мне передавалась тревога вдовы, но я не показывал виду, а на неприятные мне портреты старался вообще не смотреть. Их рамы всегда были вытерты, стекла начищены до блеска. Я нарочно так фокусировал взгляд, чтобы видеть только стекла и рамы. Казалось, я ежеминутно ждал катастрофы, страшной развязки — уничтожения фотографий.

Однажды ночью мне приснилось, будто Палачиха в моей комнате — вообще говоря, кухарка, она же тетка Ружены, обычно ко мне не заглядывала, но тут она шла, скаля зубы, с огромной зажженной спичкой, от одного портрета к другому, и преспокойно их поджигала. Спичку она несла на вытянутых руках, а двигалась плавным скользящим шагом. Ее ног я не видел — их скрывала длинная юбка до полу. Портреты вспыхивали мгновенно, но бесшумно, как свечи. Комната стала храмом, хотя я помнил, что вот кровать, и я в ней лежу; я проснулся в ужасе от того, что кощунствую: лежу в кровати посреди храма.

Я рассказал о своем сновидении Веце. К снам она относилась серьезно, никогда не старалась умалить их силу расхожей трактовкой. Веца уже успела заметить, что иконослужение фрау Вайнреб внушает мне страх. "Может, — предположила она, — Палачиха и есть тайная пружина этого культа? Кухарка знает о нем и с помощью портретов держит свою госпожу в подчинении. Может быть, это сатанинская церковь, а ты в ней живешь, ночуешь, и пока ты не съедешь с этой квартиры, тебя будет мучить тревога". Я ощутил, что Веца в нескольких фразах сумела перевести мой сон на наш с ней общий язык, не перепутав ни одной из тончайших связующих нитей.

Было ясно, что мне пора съезжать из этой комнаты, из этого дома, из этого переулка, из этой местности. Правда, отсюда было всего минут десять ходу до квартиры Вецы, почему я, собственно, и согласился тут жить. В любой момент я мог заглянуть к Веце на огонек, встав под ее окном и свистнув условным свистом; так, истерзанный беспокойством, я контролировал Вецу. Всегда мог проверить, дома она или нет, в одиночестве или с гостями — в любой миг, когда бы я ни соизволил явиться, даже если она читала или чем-нибудь занималась, Веца кивала мне, при-

глашая подняться наверх. Она ни разу не дала понять, что я появился некстати, но даже если представить, что я всегда приходил "кстати", мои визиты все-таки ограничивали и ее свободу (ибо Веца никогда не могла быть уверена, что я не приду), и мою, ибо тянуло меня туда иной раз по мотивам, не очень-то и достойным: я хотел точно знать, чем она занята.



Однако я не мог удержаться от этих визитов — что может быть прекрасней, чем сидеть рядом с Вецей, любоваться ею и рассказывать, не сводя с нее глаз, обо всем, что думаешь и что делаешь. Она слушала, чутким ухом ловила каждое слово, берегла его в памяти, — но всегда оставляла за собой право иметь независимое суждение и на своем стояла неколебимо. Всякую остроумную мысль брала на заметку и позже вплетала в беседу. Я тогда понял, что занятия умственными предметами — отнюдь не досужее дело, в этом нет снобизма, это естественно. Бывает так, что чужая мысль отзывается в тебе эхом и укрепляет то, до чего ты додумался сам. Веце это было знакомо: скажем, она открывала дневники Хеббеля и находила там точное повторение моих слов, что меня не смущало, поскольку хеббелевых речений я в ту пору не знал. Приводимые ею цитаты никогда не "давили", их воздействие всегда было животворным. Кое к чему она, благодаря своей эрудиции, приходила самостоятельно. Между прочим, именно Веца познакомила меня с Лихтенбергом[1]. Тем не менее соглашался я с нею не во всем — скажем, мне не нравился быстро мною подмеченный у нее своего рода женский шовинизм. Восхвалителям женщин Веца сдавалась без боя, и того же Петера Альтенберга[2], которого ей не раз доводилось видеть — еще девочкой она встречала его на аллеях в городских парках, — боготворила не меньше, чем сам он боготворил женщин и маленьких девочек. Мне это казалось нелепым, о чем я прямо и говорил. Хорошо, что какие-то расхождения во взглядах помогали мне немного отстраниться от Вецы, не то я бы точно пал жертвой ее начитанности. Против ее Альтенберга я выдвигал швейцарцев — "Черного паука" Иеремии Готхельфа[3] и "Трех праведных гребенщиков" Готфрида Келлера[4].

Было и несколько существенных разногласий: она предпочитала Флобера, а я — Стендаля. Вызывая меня на спор, раздраженная моей мнительностью и безмерной ревнивостью (которую — в малых дозах — уже имела случай испытать на себе), Веца задевала меня за живое разговорами о Толстом. Больше всех его героинь она любила Анну Каренину — едва разговор заходил о Карениной, начинала так горячиться, что договаривалась до объявления войны Гоголю, *моему* великому русскому. Требовала, чтобы я восторгался Анной, наводившей на меня скуку: уж очень мало в ней было общего с Вецей, — а натолкнувшись на сопротив-

1. Георг Кристоф Лихтенберг (1742–1799) — немецкий физик, астроном и публицист, автор сатирической эссеистики и афоризмов, член Петербургской академии наук.
2. Петер Альтенберг (наст. имя Рихард Энглендер; 1859–1919) — австрийский писатель, представитель венского литературного импрессионизма, автор сборников короткой прозы "Сказки жизни", "Сумерки жизни" и др. Одна из основных его тем — мир женской психики.
3. Иеремия Готхельф (наст. имя Альберт Битциус; 1797–1854) — швейцарский пастор, автор романов и новелл из крестьянской жизни. Новелла-притча "Черный паук" (1842) о сделке с дьяволом считается одним из лучших его произведений.
4. Готфрид Келлер (1819–1890) — классик швейцарской литературы, автор романов "Зеленый Генрих" (1854–1855; 2-я редакция 1879–1880) и "Мартин Заландер" (1886), новелл и стихотворений. Сатирический рассказ "Три праведных гребенщика" входит в сборник новелл "Люди из Зельдвилы" (1856).

ление (в подобных вещах я проявлял стойкость мученика за веру и скорее позволил бы разорвать себя на куски, чем принес бы жертву самозваной богине), без стеснения пускала в ход свои пыточные орудия и набрасывалась, вместо меня, на Гоголя. Зная его слабые стороны, атаковала первым делом Тараса Бульбу, этого казака, напоминавшего ей героев Вальтера Скотта.

Тараса Бульбу я, положим, не защищал, но когда пытался перевести разговор на поистине грандиозные вещи — "Шинель" и "Мертвые души", — Веца притворно вздыхала: как жаль, что так мало осталось от второй части романа. Может, следующие главы оказались бы лучше первых; и что я, кстати сказать, думаю об этих последних годах в России, когда Гоголь вернулся на родину и, испуганный воздействием своих книг, решив любой ценой доказать свое благочестие и законопослушность, написал смехотворные "Выбранные места из переписки с друзьями", а главное сочинение бросил в огонь?

Во всей истории мировой литературы, говорила Веца, не найдется примера ужасней последних лет жизни Гоголя, а ведь ему было всего сорок три, когда он скончался. Как можно испытывать уважение к такой боязливой душе, пусть даже движимой страхом перед геенной огненной? И как мне на этом фоне видится поздний Толстой, который прожил в два раза дольше и уже после "Анны Карениной" — в которой я ровным счетом ничего не смыслю — создал много такого, чего даже я, отъявленный женофоб, не могу не оценить? А самое главное, Толстой до последних минут жизни выказывал стойкость, мужество, беспримерное величие духа — все то, что у англичан именуется *spirit*. Нет, она не может всерьез принимать человека, который ставит Гоголя выше Толстого.

Так меня разгромили, но и разгромленный я не сдавался. Какие же *испытания* выпали этому графу Толстому, будто бы столь мужественному? — спрашивал я. — Его посадили в тюрьму? Привлекли к суду? Прогнали из барского дома? Он скончался в изгнании?

Его испытанием стала *жена*, отвечала Веца, а из "барского дома" его в самом деле прогнали, и он скончался в изгнании.

Тогда и я вступался за честное имя Гоголя. Он всю жизнь продолжал свои поиски. В тех его книгах, какие ему зачтутся, он смелее кого угодно. Гоголь сам не сознавал своей смелости, а когда вдруг осознал, до полусмерти испугался себя. Увидел в себе все пороки, которые обличал в других, а ревнители веры, обступившие Гоголя, когда он вернулся из-за границы, грозили ему преисподней, муками ада за созданные им образы — ужасный конец писателя только подтверждает их силу и новизну. Веца может смеяться над ним, но выходит, она смеется над верой Гоголя. А что, как не веру, так уважает и чтит она в позднем Толстом?

Но Веце не нравилось, что я ставлю "на одну доску" чудовищную фанатичную веру православных митрополитов, влиявших на Гоголя, и добытую личным поиском, неустанно поверяемую совестью веру Толстого. Это несовместимые вещи, заявляла она. Через какое-то время наша затяжная междоусобица вылилась в своего рода компромисс — им, сообразно литературному предмету спора, тоже стало литературное произведение, но такое, которым оба мы одинаково восхищались. Я принес ей заметки Горького о позднем Толстом. Это лучшее из всего, что он написал: сметанные на живую нитку эскизные зарисовки, которые долго

лежали в столе, прежде чем автор их напечатал, не погубив неуместным наведением глянца.

Горьковский образ Толстого до крайности взволновал Вецу. Эта книга — самый прекрасный подарок из всех, какие я ей дарил, призналась она. Приблизившись к *нему*, мы поняли, что худшее позади. И она сказала слова, от которых у меня сердце оборвалось: "Вот чего бы мне больше всего хотелось. Чтобы когда-нибудь и ты писал так же".



Такие цели нельзя себе ставить. И дело не только в их недостижимости. Недостижимо многое, но и к далекому берегу можно плыть. Просто глубина горьковских заметок о позднем Толстом определена скорее самим предметом, нежели мастерством автора. Есть ли сегодня в мире писатель, подобный Толстому? И если да, то способны ли люди его оценить? И сумею ли я с ним встретиться, даже если буду достоин такой встречи? Желание дерзкое — и, пожалуй, Веце не стоило высказывать его вслух. Но хотя я потом ни разу не вспоминал эту фразу, не ощутив ту же острую боль, какую почувствовал в самый первый момент, мне кажется, что проговаривать недостижимое — нужно. После ты уже не станешь размениваться на мелочи, а недостижимое остается недостижимым.

Самое удивительное в тех наших разговорах — что мы не оказывали влияния друг на друга. Она твердо держалась выработанных ею мнений. Кое-какие мои суждения ее привлекали, однако перенимала она лишь то, что уже пустило ростки в ней самой. Мы сражались, но никто не одерживал верх. Сражения растягивались на месяцы, а как оказалось впоследствии, и на годы; но никто не капитулировал. Каждый из нас *ждал*, но не предвосхищал суждения собеседника. Если то, что должно прозвучать, будет выражено не так, как надо, — мысль задушит сама себя. Именно этого Веца и старалась не допустить: своей тайной заботой, ласковым попечением, — причем вовсе не "материнским", ведь мы с ней были на равных. Несмотря на свойственную ей запальчивость, Веца ни разу не дала мне почувствовать свое превосходство. Но никогда бы и не сдалась без боя, никогда не простила бы себе, если бы из миролюбия или по слабости умолчала о своем мнении. Пожалуй, слово "сражение" не подходит для наших диспутов, ибо ты не просто оценивал силы и боевую готовность соперника, а полностью понимал его и принимал. Веца никогда не могла бы нарочно сделать мне больно. Я тоже ни за что на свете не решился бы ранить ее. Но необходимость в духовной правде ощущалась нами не менее остро, чем я ощущал ее в ранние годы.

От нетерпимости, полученной по наследству, я и тут не избавился. Но благодаря Веце я научился интимному диалогу с *мыслящим* человеком, когда важно не только услышать, но и постараться понять каждое слово, подтверждая свое понимание точной, без искажений, ответной репликой. Уважение к человеку начинается с внимания к его словам. И хотя учение это сопровождалось таким обилием слов, мне хочется назвать его *тихим*, ибо другое, противоположное, которое я постигал в то же время, было шумным и сенсационным.

Что с чужими словами можно делать все что угодно — это я понял благодаря Карлу Краусу. Он с ошеломляющей легкостью манипулировал всем прочитанным. Мастерски умел обвинить человека, сославшись на его же слова. А затем еще и припечатать *своими*, весьма выразительными. Он прекрасно умел и то и другое — и разбивал любого

противника. А ты наслаждался этим спектаклем, ибо признавал закон, которым диктуются такие слова; а еще потому, что ты был не один и ощущал чудовищный резонанс, именуемый массой, когда человек не чувствует трения о границы своего "я". Отказаться от этого переживания невозможно, и я использовал каждый шанс. Даже больной, с высокой температурой, все равно шел на лекцию. И предавался там пороку нетерпимости и пристрастности, присущему мне от рождения, теперь же, так сказать, легитимно раздувшемуся до невероятной степени.

Однако гораздо важней, что в то же время я проходил школу *слуха*. Всякое слово, где, когда и кем бы оно ни произносилось, жаждало быть воспринятым; передо мной открылось новое, дотоле неведомое мне измерение мира, а поскольку дело здесь в сопряженности человека и языка, во всех вариациях, мне вдруг показалось, что измерение это — самое главное и уж наверняка богатейшее. Слушанье такого рода предполагало полный отказ от собственных побуждений. Запуская в движение механизм слуха, ты сам отступал назад, целиком превращаясь в воспринимающий орган и сознательно не позволяя никакому суждению, возмущению или восторгу помешать себе слушать. Существеннее всего здесь — неподдельный и чистый образ, ни одна из этих "акустических масок" (как я впоследствии их назвал) не должна была смешиваться с другими. Очень долго я сам не сознавал размеров набираемого мною запаса. Чувствовал только неутолимую жажду все новых речений: таких, которые четко и ясно отграничены друг от друга; которые можно положить на ладонь, как предмет; которые вдруг, без какой бы то ни было связи, приходят тебе на ум, так что хочется громко произнести их вслух, не уставая дивиться их гладкости, отшлифованности и той слепой самоуверенности, с какой они исключают все остальное, что может быть сказано (почти все, а может, и вправду все), ибо единственный признак, который их объединяет: они повторяются вновь и вновь.

Потребность в таких как бы самодостаточных "акустических масках" я в первый раз ощутил — если отвлечься от тех, что я расслышал в "Последних днях человечества" Карла Крауса и к тому времени уже знал назубок, — кажется, именно в Сент-Агате, летом 1926-го, пока часами следил за ласточками, за их быстрым и легким мельканьем, и слушал однообразный щебет в воздухе. Несмотря на повторы, щебет не утомлял, как не утомляли и чудесные траектории их полета. Потом я, должно быть, забыл бы о ласточках, не случись эта ярмарка, не встань под мое окно торговец рубахами со своим монотонным: "Эх, была не была..." Зазывалы мне нравились с детства, ребенком я все мечтал, чтобы они задержались подольше, не уходили так быстро. Зазывала из Сент-Агаты простоял под моим окном целых два дня, не трогаясь с места. Когда же я все-таки уставал от шума и гама, уединялся в саду и садился за деревянный стол, где обычно писал в тетрадях, то снова встречал своих ласточек: ничуть не смущаясь ярмарочной суетой, они знай себе совершали все те же круги да издавали все те же звуки. Все у них повторялось, движения были сплошным повтором, неотвязные звуки тоже сплетались из повторений, и, хотя вскоре выяснилось, что маску торговец надел *фальшивую*, хотя из нашей беседы стало понятно, что он студент-правовед, прекрасно знающий, чего хочет и что́ нужно говорить, его упорное цеплянье за маску, в сочетании с однообразным, но естественным щебетом ласточек, произвело на меня столь сильное впечатление, что сразу

по возвращении в Вену я начал неутомимый поиск подобных присказок и словесных оборотов, часами бродя по ночным улицам и трактирам Леопольдштадта.

К концу года мне стало тоскливо в моем районе. Захотелось более длинных улиц, долгих путей, новых лиц. Вена была огромной, но с Хайдгассе до Фердинандштрассе — рукой подать, да и центральная Пратерштрассе, где мы с братом прожили несколько месяцев, как мне казалось, исчерпала себя. Все пути и дороги стали привычными. У себя на квартире я ночь за ночью ждал катастрофы. Видимо, я потому и бежал к Веце на огонек, чтобы увидеть свет в ее комнате и успокоиться. Если свет не горел — а значит, ее нет дома, — я злился на Вецу, хотя она предупреждала заранее, что уйдет. Что-то во мне надеялось, что она, несмотря на все дела и обязанности, всегда будет на месте.

Мало-помалу я понял, что возможность контроля над ней, близость ее дома, искушение поддаться любому порыву такого рода — все это усилило мою подозрительность и стало опасным для нас обоих. Между нами необходимо было создать дистанцию, наступило время съезжать с Хайдгассе, и лучше всего, если бы нас разделяла Вена во всей ее протяженности: чтобы всякий раз по дороге к Веце и на обратном пути мне представлялась возможность познакомиться со всеми улочками, переулками, подворотнями, окнами и трактирами города, спокойно вслушаться в их голоса, отдаться их власти, вобрать их в себя — но при этом остаться открытым для новых впечатлений. Мне захотелось найти, создать себе собственное пристанище на другом конце города, Веца же пусть изредка навещает меня, избавляясь на время таких визитов от тирании усмиренного ею злобного старца, к которому дома вечно должна вполуха прислушиваться: кто знает, не оторвется ли он вдруг от горящего в камине огня, не вторгнется ли из своей преисподней в святые пределы?

## *Выдуманные женщины*

На пасхальные каникулы 1927 года я отправился в Париж, в гости к матери и братьям. С их переезда прошел почти год, и за это время они успели обжиться на новом месте. Братья быстро освоились в новых школах, французский язык, выученный в раннем возрасте — за два года жизни в Лозаннском мужском пансионе, — для них не представлял трудностей. Им нравилось жить в Париже, и особенно младший — Георг, теперь переименованный в Жоржа, — развивался в том направлении, о котором когда-то мечтал для себя я. Высокий и темноглазый речистый юноша, он блистал на занятиях по философии. Для меня его пристрастие к логическим операциям явилось полным сюрпризом (моим влиянием оно уж точно не объяснялось), ему же, шестнадцатилетнему, придавало известную независимость, что он весьма успешно и демонстрировал как в длинных письмах, которые слал мне в Вену, так и в наших беседах во время того визита. Он был умен и находчив; в школе предполагали, что он целиком посвятит себя философии. Французский оказался ему так же по сердцу, как мне — немецкий, хотя ни тот, ни другой не были нашими первыми языками. Друг с другом мы, впрочем, общались по-немецки; Георг, как и я, был верным читателем "Факела", который я ис-

правно присылал ему из Вены, а к качествам брата, внушавшим мне уважение, относилось и его умение изъясняться на любом освоенном языке (таких со временем набралось немало) не хуже — как правило даже лучше, — чем носители этого языка.



Обладая острым и ясным умом, Георг был ласковым мальчиком; его забота о матери не знала границ. Он заменил ей то, чего она лишилась в моем лице, и старался как мог избегать конфликтов с нею. Ему было ясно, как глубоко я обидел ее. Не по возрасту зрелый душевно, брат сумел разглядеть самую суть семейной коллизии, и он постоянно держал это в поле зрения. Терпеливо выслушивал суровые обвинения матери против меня, не возражая, но и не поддерживая их настолько, чтобы путь к примирению показался наглухо закрытым. Приняв, будто по эстафете, мою любовь к матери, он обогатил и облагородил ее недостающей мне нежностью. Для всей семьи, равно как и для меня, было счастьем, что я зажил самостоятельно. И все же для полного счастья, моего и семейного, нужно было вынуть из материнского сердца засевшую там занозу; а "заноза" эта имела конкретное имя.

Еще до их переезда в Париж я понял, что единственный способ облегчить муки матери и, что еще важней, защитить Вецу от ее ненависти — выдумывать женщин. Начало этому я положил в переписке, а вскоре вошел во вкус. Женщин должно быть *несколько*: любая, к которой я отнесусь чересчур серьезно и которая быстро упрочит свое положение, вызовет в матери страх и ненависть. Опасаясь чужого влияния, мать станет демонизировать ее образ и лишится спокойного сна, так что тут необходимо разнообразие. Перепробовав разные варианты, я вышел на оптимальный: пускай у меня будут *две* очень разные женщины, между которыми я будто бы колеблюсь; пусть одна живет за пределами Вены, а вторая — тоже не слишком близко, чтобы от этой лишней нагрузки не пострадала учеба; кроме того, ни одна, ни другая не должна одерживать верх, ибо это опять же создаст угрожающий перевес сил; как написала мать, я "отдамся ей с потрохами". Я сочинял свои небылицы без зазрения совести, не считая их враньем в тривиальном смысле; Одиссей, давно взятый мною за образец, помогал совладать с неловкостью положения. Искусный вымысел — это история, а не вранье; а что затея преследует добрую, даже благую цель, в скором времени подтвердилось ее результатами.

Тяжелее всего мне было ввести в курс дела Вецу. Без ее ведома и согласия я не стал бы плести свои небылицы, поэтому мне пришлось — не сразу, а постепенно, в небольших дозах, с максимальной осторожностью — рассказать Веце правду о глубокой враждебности к ней со стороны моей матери. К счастью, Веца прочла достаточно хороших романов, чтобы сразу сообразить, что к чему. А поскольку за осуществление замысла я уже взялся, повернуть события вспять она не могла. Однако Веца боялась, что кто-нибудь расскажет матери правду и это только ухудшит положение дел. Я объяснил, что нам важно *выиграть время*. По прошествии скольких-то лет, когда мать свыкнется с моей независимостью или я издам книгу, которую она без оговорок сможет принять, осознание истинной ситуации причинит ей куда меньшую боль. Мои уговоры увенчались успехом — Веца и сама интуитивно понимала, как сильно я опасаюсь открытого проявления материнской ревности по отношению к ней.

Но кое-чего я все-таки не учел, а именно — сколь живительное воздействие окажут на фантазию матери мои не такие уж и хитрые истории. К моменту приезда в Париж у меня, согласно моим письмам, были две подруги: в Зальцбурге — некая Мария, а в Родауне — скрипачка по имени Эрика; тогда как с Вецей я почти перестал встречаться, да и вообще она мне разонравилась. И вот я стою в прихожей парижской квартиры, мне ее еще не показали, мы едва поздоровались, а мать уже спрашивает об Эрике; когда же мы на минуту остаемся одни, без братьев, она интересуется: "Мальчикам я ничего не говорила, но все-таки — как поживает Мария? Ты сейчас прямо из Вены? Не заглянул по дороге в Зальцбург?" Мать полагала, что братьям не следует знать о моем двойном любовном романе: на мальчиков это может подействовать разлагающе. Про одну девушку, Эрику, она им уже рассказала и надеется, что я на нее за это не в обиде; теперь, когда устрашающий призрак окончательно изгнан из нашей семьи, она может не волноваться, думая о моей жизни в Вене.

Так теперь обстояли дела, и мне приходилось удовлетворять любопытство матери, осыпавшей меня градом вопросов. Ей хотелось знать все, но вопросы менялись в зависимости от того, задавала ли она их в присутствии братьев или же с глазу на глаз. Ей страшно нравилось, что зальцбургская Мария — наш общий секрет. И она советовала мне даже не заикаться об этом никому из родных, чтобы не подмочить репутацию. Как-никак в глазах посторонних все это слегка отдает распутством, хотя сама она, по правде сказать, даже не надеялась дождаться от меня такой мудрости в вопросах практической жизни. Но наверное, все получилось само собой, и не стоит хвалить меня за случайное стечение обстоятельств...

А через несколько дней, когда мы с Георгом отправились на нашу первую большую прогулку — он хотел показать мне много такого, чего я еще не видел, хотя и бывал в Париже, — и сперва обсудили все прочие, важные, "настоящие" (то есть умственные) предметы, брат сказал, что матери полегчало. На нее чудотворным образом повлияло то, что история с Вецей окончилась. Потом он очень серьезно посмотрел на меня и как будто замялся, не решаясь высказать свою мысль. Я стал настаивать, хотя уже почти догадался, что́ сейчас будет сказано. "Лучше не спрашивай, как к этому отношусь *я*, — сказал наконец Георг. — Надеюсь, что ты не станешь со всеми играть так, как с Вецей, — а после паузы добавил: — Ты хоть справлялся, как у нее дела? Вдруг она что-то с собой сделает? Неужели ты не боишься?"

Я всегда любил Георга, а теперь полюбил еще больше. И про себя решил, что ему первому скажу правду. Но это потом, сейчас это было бы преждевременно. На душе у меня скребли кошки, меня угнетало, что Георг уверен, будто я меньше забочусь о судьбе столь близкого мне человека, нежели он, знакомый с Вецей шапочно. Такого результата своих нелепых россказней я не предвидел — и хорошо, что хоть сейчас осознал.

Георг же, когда мы оставались вдвоем, думал об этом непрестанно. Он был убежден, что женщине, которую так подло бросили, грозит опасность, что она нуждается в особом попечении. Бережную заботу, которой в Париже он окружил мать, Георг мысленно распространил и на далекую Вецу. Не заговаривая о ней прямо и уж конечно не резонер-

ствуя, он старался пробудить во мне теплые чувства к "брошенной". Временами мы с ним заглядывали в Лувр: остановившись перед "Мадонной с младенцем и святой Анной" Леонардо, он долго всматривался в лицо святой Анны, а потом перевел глаза на меня. Улыбка святой напомнила ему Вецину; получается, он хорошо запомнил лицо Вецы, хотя виделись они всего несколько раз и даже парой слов не перемолвились. С таким видом, будто речь идет о художниках, ни о чем другом, Георг спросил, что́ я думаю о Леонардо. Некоторые полагают, будто улыбки, которые изображал Леонардо, – приторные, а вот ему так не кажется. Все зависит от того, сказал я, встречались ли тебе люди, которые в самом деле так улыбаются, хотя жизнь у них вовсе не состоит из одних радостей. Георг остался доволен моим ответом. Я чувствовал, что ему хочется выяснить мое истинное мнение о Веце, с которой я поступил так дурно, и что им движет жажда справедливости: дома он слышал о Веце много плохого, но не противоречил матери, хотя и догадывался, что это неправда.

Мы подошли к восхищавшему нас обоих "Плоту Медузы" Жерико. Меня поразило, что мой шестнадцатилетний брат не может отвести глаз от этой картины. "Знаешь, почему эти лица такие *правдивые*?" – и Георг рассказал, что Жерико, работая над этюдами для "Плота", срисовывал лица казненных. "Я бы никогда так не смог!" – воскликнул я, пораженный рассказом Георга. "Поэтому ты и не стал врачом. Ты бы не мог заниматься аутопсией". По этим словам я догадался, что брат не оставил мысли об изучении медицины, и порадовался тому, что философией, вдруг выдвинувшейся для него на передний план, дело не ограничится. Его участливость, понимание чужой боли, способность вынести, не падая духом зрелище смерти; его терпение и природное чувство справедливости, умение в каждом человеке увидеть нечто, достойное уважения, – все говорило о том, что он прирожденный врач и что там, где я, несмотря на свой трепет перед этой профессией, дал бы осечку, Георг выдержит молодцом.

Мы старались перещеголять друг друга по части основательности; смешно вспоминать, как мы подолгу стояли перед картинами, к которым были равнодушны, хотя нас тянуло к другим – любимым и изученным вдоль и поперек. Брат учтиво поинтересовался, не желаю ли я посетить вавилонские залы, намекая на мое пристрастие к Гильгамешу[1]. Он и этого не забыл, ничего не забыл, смутный год на улице Радецкого не вытеснил в нем памяти о минувшем. Зная, что вавилонцы ему скучны, я отказался от его предложения, и тогда он в качестве вознаграждения подвел меня к "Четырем калекам" – великолепной миниатюре Брейгеля. "Это чтобы ты снова приехал к нам, – улыбнулся он. – Думаешь, я не знаю, почему ты сидишь в Вене? Все дело в Брейгеле, Карле Краусе и..." Раньше он бы назвал эту третью причину, но сейчас не решился.

Мы сблизились, как никогда прежде; от его беспокойства за человека, который был мне важнее всех и перед которым я провинился, на душе у меня стало легче. Разумеется, я понимал, что ни в чем не повинен, – разве могло быть иначе? – но вину все-таки ощущал и только

1. Герой шумерских и вавилонских сказаний, в том числе – записанного в ассирийскую эпоху знаменитого "Эпоса о Гильгамеше".

наедине с матерью (видя, как она расцветает, расспрашивая меня о Марии и получая обстоятельные ответы) освобождался от неприятного чувства. Мать интересовалась только Марией; другая выдуманная женщина — скрипачка, уже дающая концерты и замеченная критикой, — была ей безразлична. Она сочувствовала Марии, которая живет в Зальцбурге, так далеко от меня, — но именно эта дистанция ей и нравилась. Восхищалась красотой Марии, повторяла, что повезло, — не особенно удивляясь, как это я умудрился понравиться такой девушке, хотя по сравнению с прехорошеньким младшим братом выгляжу вполне заурядно. "Ты сочинитель, — заявила вдруг мать в тот момент, когда я как раз сочинял для нее продолжение очередной истории. — Умеешь выдумывать. С тобой, в отличие от многих других молодых людей, не скучно. В таком городе, как Зальцбург, люди падки на сочинителей. Мария видит в тебе отнюдь не химика. Тебе повезло".

Я пробыл в парижской квартире на рю Коперник три недели, и не прошло ни дня, чтобы мать не выманила у меня какой-нибудь новой подробности насчет Марии. Она так мастерски задавала вопросы, что отвертеться не получалось. Не скрывал я и некоторых сомнительных обстоятельств — рассказал, например, как Мария страдает от отвратительной скупости своей матери. "Такое случается и в лучших семействах, — прозвучало в ответ. — Вспомни отчима Вецы!" Уже одна эта реплика говорила о резкой перемене. Стало быть, мать тоже задумывалась о том, под каким страшным давлением живет Веца. А на прощание, за полчаса до вызова такси, которое должно было отвезти меня на вокзал, мать в порыве великодушия заговорила в тоне наших прежних бесед: "Сын мой! Не будь к ней жесток. (Имелась в виду Веца.) Она разбита и повержена. Не рассказывай ей всего. Ей не надо знать, как хороши твои милые. Не забывай, что теперь ей придется коротать век одной. После такого краха женщине трудно сохранить уважение к себе. Для женщины нет ничего труднее, чем одинокая жизнь. Она не успела тебе навредить, ведь ты ускользнул из ее сетей. Второго вроде тебя ей уже не найти — такого невинного простодушия ни у кого больше нет. Я воспитала вас в чистоте, и она это сразу поняла. То, что она положила глаз именно на *тебя*, говорит в ее пользу. Заходи к ней иногда — но не слишком часто, чтобы не бередить ее ран. Скажи, что чаще не получается: учеба стала отнимать много времени — ты готовишься к жизни, это не пустяки, и транжирить время попусту не годится".

Эти слова звучали во мне, когда я уходил от матери. Мне было приятно, что Бургтеатр не умер в ней окончательно. Но еще больше я радовался тому, что ее ненависть сменилась жалостью. Воодушевленная моими историями, мать без опаски сделала выбор в пользу одной из женщин. Какая больше по сердцу *мне*, это не обсуждалось; мать все гирьки бросила на чашу Марии. Всегда лучше думать о ком-нибудь на расстоянии. Когда люди рядом, приходится подстраиваться друг к другу, чувства блекнут, да и скрипка привносит в отношения что-то не то. Любишь ведь человека, а не его инструмент, иначе можно было бы просто ходить к нему на концерты. Только пусть я не думаю, что она намерена свести знакомство с Марией. Вполне вероятно, что наши отношения продержатся еще два года, до конца университета — а все потому, что Мария живет не в Вене, а в Зальцбурге. Ей, конечно, было бы любопытно взглянуть на девушку: я склонен преувеличивать, и еще неизвест-

но, в самом ли деле она такая красавица, как утверждаю я. Но знакомство с матерью предполагаемого жениха может побудить девушку возомнить о себе лишнее. Мне ни в коем случае не следует себя связывать, передо мной открыта вся жизнь; глупец тот, кто в двадцать два года свяжет себя обещанием.

## Вид на Штайнхоф

В Кольмаре я целый день простоял перед Изенгеймским алтарем[1], не помню ни когда пришел, ни когда уходил из музея. Когда залы начали закрывать, мне захотелось сделаться невидимкой и остаться там на ночь. На тело Христа я смотрел без жалостливого чувства, от ужасного состояния этого тела веяло правдой, и, столкнувшись с такой правдой, я осознал, что́ меня смущало прежде в сценах распятия — их красота, их просветленность. Просветленность уместна в ангельском хоре, но не на кресте. В этой сцене распятия было схвачено то, от чего ты с содроганием отворачиваешься в реальности: она вызывала в памяти ужасы, совершенные человечеством. Тогда, весной 1927 года, война и смерть от удушающих газов были еще достаточно памятны всем, чтобы зритель чувствовал правдивость изображенного здесь. Видимо, слишком часто забывается самая насущная задача искусства, не сводимая ни к очищению, ни к утешению, ни к умению расположить фрагменты реальности так, будто все обязательно кончится хорошо, — благополучного исхода не предвидится. Были чума, моровая язва, всяческие муки и беды; чуму мы победили, но наверняка измыслим кошмар пострашнее. Чего стоят все утешительные обманы в сравнении с этой правдой; она неизменна, так пусть же будет перед глазами. В распятии Грюневальда предвосхищено то ужасное, что нам еще предстоит. Невероятных размеров перст Иоанна указует: смотрите, это повторится. А что означает агнец посреди пейзажа? Был ли агнцем этот гниющий на кресте человек? Затем ли он повзрослел и стал человеком, чтобы его пригвоздили к кресту и назвали агнцем?

Все то время, что я находился в зале, перед алтарем стоял некий художник. Он копировал Грюневальда. Он не казался ни подавленным, ни смущенным, подолгу обдумывал каждый мазок. Мне хотелось, чтобы он куда-нибудь исчез: кроме нас двоих, в зале не было ни души, и я боялся, что он заведет со мной разговор; но копиист и не думал затевать разговоры, ему тоже хотелось тишины и покоя — если и была в нем какая-то странность, то только полная погруженность в себя. Я старался не думать о его копии. Встал так, чтобы не видеть ее. Но не думать о ней не мог. К тому же мне было неловко, что я так долго стою в этом зале. Стою себе и стою без дела — копиист вроде тоже стоит и никуда не уходит, но у него в руках кисть и он трудится. Крепкий мужчина средних лет с бесстрастным лицом, на котором не видно следов страдания; с трудом верилось, что рядом с его лицом — другое, на алтаре, что оба присутствуют одновременно, в одном и том же пространстве, и что копиист, не

1. Знаменитый алтарь работы Матиаса Грюневальда (ок. 1470—1528), крупнейшего немецкого живописца эпохи Возрождения, работавшего при дворе майнцских архиепископов и курфюрстов.

отрывающий глаз от картины, общается с неповторимым шедевром как с произведением ремесла.

Этот копиист до того смущал меня, что время от времени я заходил за алтарь, притворяясь, будто рассматриваю другие его части. Я чувствовал необходимость прятаться и от копии, и от распятия, художник же, по-видимому, решил, что я удаляюсь из деликатности. Может быть, он менялся в лице, оставаясь один, может, корчил гримасы, чтобы выдержать "очную ставку". Когда я опять выходил к распятию, в его чертах проступала мягкость, как будто даже улыбка. Я следил за копиистом, а он — за мной. Стоит ли удивляться тому, что рядом с распятием обращаешь внимание на реального человека? Он нужен тебе, ибо он не висит на кресте. Пока копиист занят работой, он в безопасности. Эта мысль поразила меня как громом. Единственная защита от того, что видишь, это смотреть. Спасение именно в том, чтобы *не* отводить глаз. И это не спасение для малодушных, не подтасовка. Не получается ли тогда, что копиист — олицетворение спасения? Нет, ибо он *расчленяет* видимое. Он спасается деталями, до поры до времени не слитыми воедино. Пока он рисует их, каждая существует сама по себе. Потом они соберутся в целое. Впрочем, бывает и так, что он вообще не способен увидеть целое, поскольку слишком увлечен одной деталью, от точной передачи которой зависит все остальное. Копиист — это внешнее, кажимость. Его нельзя сравнить с перстом Иоанна. Его палец не указует, а движется и выполняет работу. *Ви́дение* копииста есть воплощенная непредвзятость. Копиист не меняется от увиденного. Если сам он изменится, копия у него не получится.

Забыл я об этом копиисте не сразу, а только через несколько лет, когда мне удалось найти и развесить на стенах моей комнаты огромные фототипии с изображением Изенгеймского алтаря. Но вернувшись из Кольмара, я должен был сперва найти ту комнату, где потом будут висеть фототипии. И я сразу, буквально с налету нашел ее, даже не подозревая, как много со временем она будет для меня значить.

Мне хотелось, чтобы рядом были деревья, много деревьев, — а самые старые, как я знал, растут на окраине Вены, в Лайнцском парке Тиргартен. И в первом же объявлении о сдаче жилья я наткнулся на комнату в этом районе. По городской железной дороге я доехал до конечной станции Хакинг, перешел жалкую речку, именуемую Веной, о грозном прошлом которой в народе ходили самые невероятные слухи, поднялся по склону, пересек Архиепископский переулок (он тянется вдоль глухой стены до самого Обер-Санкт-Вейта, я давно полюбил эту улочку) и свернул на Хагенберггассе. Здесь, в самом начале улицы, во втором доме по левую руку, вверх по холму, и сдавалась та комната, что значилась в объявлении.

Хозяйка провела меня по лестнице — комната занимала весь третий этаж — и открыла окно. Как только я выглянул из окна, решение было принято: вот где мне нужно жить, вот где я задержусь надолго. Впереди, над пустой игровой площадкой и Архиепископским переулком, шумели высокие кроны — я решил, что деревья относятся к Архиепископскому саду. А поверх крон, на холме по ту сторону долины, высился Штайнхоф, город сумасшедших — в старые времена за длинной стеной, опоясывающей больницу, и впрямь поместился бы целый город. В Штайнхофе был свой кафедральный собор: купол церкви, сооруженной Отто

Вагнером[1], сиял в лучах солнца, — сам же больничный комплекс, как оказалось, состоял из множества корпусов, издали напоминавших особняки. С момента моего приезда в Вену мне часто рассказывали об этой больнице: по слухам, в городе сумасшедших обитало шесть тысяч человек. Несмотря на изрядное расстояние, все хорошо просматривалось: мне почудилось, будто я даже могу заглянуть через окна в палаты.

Хозяйка — женщина лет шестидесяти, в юбке до полу — по-видимому, превратно истолковала мой взгляд из окна и произнесла целую речь о нынешней молодежи и о картошке, которая вдвое подорожала. Я внимательно выслушал — видно, уже догадался, что в будущем мне предстоит прослушать ту же тираду не раз и не два, — и, чтобы пресечь на корню все возможные недоразумения, как только хозяйка закончила, объявил: за мной должно оставаться право принимать у себя подругу. "Фройляйн невесту", — уточнила хозяйка, добавив непререкаемым тоном, что приходить сюда разрешается только фройляйн невесте. Тогда я объявил, что привезу с собой книги, у меня большая библиотека. К этому она, похоже, отнеслась благосклонно: господину студенту так и положено. Но вот с картинами, которые я собирался развесить по стенам, — репродукции фресок Сикстинской капеллы сопровождали меня повсюду еще со времен цюрихской "Виллы Ялта", и я ни за что не хотел с ними расставаться, — вышла заминка. "Неужели обязательно кнопками?" — засомневалась она, но вскоре сдалась: с платой за комнату, довольно, впрочем, умеренной, я сразу согласился, а упоминание библиотеки внушило ей доверие — хозяйка не любила менять жильцов, тот же, кто въезжает с библиотекой, задержится надолго.

Итак, я вселился в новую комнату, развесил там репродукции фресок Сикстинской капеллы, но по-прежнему помнил о главном: что должен найти фототипии Изенгеймского алтаря и прикнопить к стенам все фрагменты, какие только удастся заполучить. Я долго искал то, что нужно, и наконец нашел. В этой комнате я прожил шесть лет — и сразу же, как только меня окружили репродукции Грюневальда, начал писать "Ослепление".

С хозяйкой, располагавшейся вместе с мужем и взрослыми детьми на первом этаже, я виделся нечасто: раз в месяц, когда отдавал деньги за комнату, а она сразу после того поднималась ко мне с квитанцией об оплате. Но иногда в мое отсутствие ко мне заходили знакомые; подкараулив меня внизу, у входной двери, хозяйка давала подробный отчет о наружности, манерах и пожеланиях гостя. К каждому посетителю она относилась с большим недоверием, а если заглянет за книгой кто-нибудь из соседей, с кем я по случайности познакомился, настойчиво предостерегала меня от людей с дурными намерениями, которые только затем и приходят, чтобы разведать, где что плохо лежит, а потом украсть. И о чем бы ни заводила хозяйка речь, все выливалось в тираду о нынешней молодежи.

Внизу, в подвальном этаже дома, ютилась на правах привратницы вдова-лесничиха, прожившая бóльшую часть жизни в сторожке мужа, в самой гуще Тиргартена. Ей было поручено стелить мне постель и при-

1. Отто Вагнер (1841–1918) — один из самых известных архитекторов венского модерна, автор градостроительных проектов. Здесь имеется в виду церковь Св. Леопольда ам Штайнхоф (1904–1907).

бираться в комнате. В дни, свободные от работы в лаборатории, когда утром я оставался дома, она делилась со мною воспоминаниями о тиргартенских временах. Фрау Шихо была приветливой седоволосой толстой старушкой с красным лицом: при малейшем усилии, буквально при каждом движении, привратницу бросало в пот, и в нескольких случаях, когда мне довелось присутствовать при уборке, комната, хотя двери и окна стояли открытыми настежь и вовсю сквозило, моментально заполнялась крепчайшим запахом. Не то чтобы отвратительно едким — пахло скорее маслом не первой свежести, но все-таки не прогорклым. Уже из-за этого запаха я предпочел бы пойти прогуляться, но фрау Шихо умела рассказывать так, что мне было не устоять перед соблазном ее послушать. Повествовала она не о лесном хозяйстве, не о сторожке — разве что я вдруг примусь расспрашивать о кабанах да филинах, и она охотно, но без особого энтузиазма начнет разъяснять, что к чему; нет, она любила мысленно возвращаться к тем редким дням, когда в Тиргартен приезжали высокие гости, а с ними и сам император в сопровождении свиты. С гордостью, но без неуместного пафоса, рассказывала фрау Шихо о так называемом Дне трех монархов, когда Франц Иосиф и два других императора, российский и германский, остановили своих коней у сторожки и она поднесла им приветственный кубок. Она живо видела перед собой всех троих, подробно описывала султаны, мундиры, лица, помнила, на каких лошадях они прискакали и в каких словах поблагодарили за поднесенный напиток. В рассказе слышалось не раболепие, а живое присутствие всего, о чем она говорит, и когда фрау Шихо протягивала вперед руки, показывая, как подавала августейшим особам вино, на лице ее проскальзывало удивление: почему же никто не берет кубок у нее из рук? Все кануло, где они, те императоры, и разве так может быть, что все без следа исчезло? Хотя старушка об этом не заговаривала и вслух ни о чем не жалела, я чувствовал, что для нее это загадка не меньшая, чем для меня, вот почему и рассказывает она с такой живостью и наглядностью.

Я решил не завтракать в новой комнате, не хранить там даже фрукты и хлеб. Мне всегда хотелось иметь пристанище, свободное от еды и вообще от всего, что мешает, что кажется незначительным и докучным. В шутку я говорил: не хочу мусорить в комнате, и Веца, когда заходила ко мне, относилась к моему желанию тактично, не порывалась по-женски наладить мое хозяйство. Стремление не мусорить в новой комнате она истолковывала по-своему, оригинальным и лестным для меня образом: я, дескать, веду себя так из уважения к сивиллам и пророкам, которые смотрят со стен, а также к самому Микеланджело, который мог бесконечно долго работать, забыв о еде.

Но все это не означало, что я в чем-то себе отказывал, а уж тем более — что голодал. На Аухофштрассе, в пяти минутах ходьбы, если спуститься по склону холма, находилась молочная лавка — здесь можно было купить йогурта, масла и хлеба и, сев за крошечный столик на единственный стул, спокойно перекусить. Здесь я завтракал перед тем, как поехать в лабораторию. А в свободные дни, случалось, спускался туда и пообедать — питался я в те годы в основном хлебом с маслом да йогуртом, а все, что только можно было скопить, тратил на книги.

Хозяйка молочной лавки, фрау Фонтана, ни в чем не походила на фрау Шихо. У нее был колкий язык и остренький нос, который она ус-

певала сунуть повсюду. Пока я завтракал, она сообщала мне все подробности о каждом покупателе, который выходил из лавки или должен был с минуты на минуту войти. Исчерпав эти темы — что происходило отнюдь не скоро, — молочница заводила рассказ о своей супружеской жизни, где с самого начала все как-то не заладилось. Первый муж попал в плен к русским и угодил в Сибирь, прожил там несколько лет, а потом заболел и умер. Из Сибири вернулся его приятель — с последним прости, обручальным кольцом и снимком: групповой фотографией, запечатлевшей покойного, его приятеля и других пленных; с этим драгоценным изображением владелец ни на минуту не расставался, но охотно показывал его всем желающим. Пленные отрастили длинные бороды, никого было не узнать. Владелец снимка тыкал пальцем в одну из бород — вторую справа в нижнем ряду — и объявлял: "Да вот же я! Что, не узнаёте? Эх, было времечко!" Затем напускал на себя торжественность и, тыча пальцем в другую бороду — вторую слева в нижнем ряду, — пояснял: "А это мой бывший товарищ. Предшественник. Так прямо и говорите: Фонтана Первый. Хотя фамилия у него, понятное дело, была другая. Да вы поспрошайте о нем жену. Она ему вечно дифирамбы поет".

Второму мужу фрау Фонтана никаких дифирамбов не пела. Вставала она засветло, лавочка открывалась рано; муж до полудня спал, потом отправлялся по своим делам и домой возвращался на последнем поезде, около часу ночи, — а иной раз являлся и позже, пешком, просидев весь день в одном городском кафе, где был завсегдатаем; жена к тому времени крепко спала, и они практически не виделись. После обеда, когда фрау Фонтана сидела в лавке, муж вставал и снова ехал в город к своим дружкам.

Молочница отличалась сварливостью, и господин Фонтана старался поменьше встречаться с супругой. Но пополудни, перед тем как отправиться в город, изредка подменял ее в лавке. Так мы с ним познакомились. Он рассказывал мне про Сибирь. Но года через два обстановка накалилась до того, что жена указала ему на дверь. Не муж, а черт знает что, заявила фрау Фонтана, они почти и не видятся. Он приходит к ней в дом как в ночлежку, а так и словом не перемолвится. Когда она на ногах, он дрыхнет, а только она отправится на боковую, как муж просыпается.

Наконец он сбежал, о чем она мне тут же и сообщила — довольным и в то же время горестным тоном. Он пришел к ней гол как сокол, без гроша в кармане, но уходя прихватил с собой все, что имел, даже несколько ржавых гвоздей забрал. "Вы подумайте, ржавые гвозди унес! Ни одного не оставил!" Как будто она с удовольствием сохранила бы себе ржавый гвоздь — на память? чтобы смотреть на него и досадовать? — а он и гвоздя ей не подарил. И были бы они новые, но ведь нет, речь шла о старых ржавых гвоздях...

Господин Фонтана был невысокого роста и ходил подавшись вперед, изогнувшись, как передвигаются люди с грыжей. Голова у него была лысая, вид потрепанный, а глаза будто всегда на мокром месте, хотя слез я ни разу не приметил. В часы его дежурства в лавку, случалось, заглядывала пышнотелая графиня, жившая неподалеку со своим семейством, — рослая статная дама, лихая наездница и охотница (правда, сам я никогда не видел ее ни верхом, ни в охотничьем снаряжении); она го-

ворила громко, а товара набирала в таких количествах, словно лавка только ради нее и работает. Впрочем, приобретала графиня в конце концов не так уж и много — ей вечно не хватало наличных. Иногда она приходила с детьми, тремя малышами, при виде которых невольно возникала мысль о великолепном бюсте их матери — у господина Фонтана аж глаза вылезали на лоб. Он с раздражением относился ко всякому, кто входил в лавку в часы его дежурства, но графиню обслуживал с удовольствием. И едва за ней закрывалась дверь, бывало, поворачивался ко мне, с восторгом и на сей раз уже действительно со слезой приговаривая: "Вот кобылица! Настоящая кобылица!"



Приходил он в лавку, по-моему, только ради нее — так-то, видимо, предпочел бы поспать, — она же, словно по уговору, всегда появлялась в одно и то же время и покупала только у него. На прилавке вырастала гора продуктов, после чего графиня, сбиваясь и путаясь, принималась считать, на что у нее хватит денег. Господину Фонтана было приятно смотреть на покупательницу, и он не торопил ее, даже помогал считать. Денег у нее всегда не хватало, но, несмотря на благоволение хозяина, ей не отпускали в долг, и продукты один за другим исчезали с прилавка. Графиня к этой процедуре давно привыкла и не смущалась своей бездарностью в арифметике: зато она понимает толк в лошадях. Она без малейшего неудовольствия возвращала одно за другим, и в какой-то момент господин Фонтана позволял себе ласковым нажатием пальцев открыть графине сжатую в кулачок руку, мгновенно подсчитывал деньги и подавал сигнал, что процесс возврата окончен: "Теперь все сходится. На это у вас как раз таки и хватит!"

Когда он ушел из дома, она опечалилась — теперь ее обслуживала хозяйка, которая к отсутствию арифметических навыков относилась без понимания, подозревая за этим тайное плутовство. У молочницы тоже были свои любимые изречения — когда дама с детьми выходила за дверь, она начинала ворчать: "В школе не училась. Считать не умеет. Писать не умеет. Вы подумайте, что было бы, если б такая стала вести дела в моей лавке!" Графиню неприятно задевала враждебность хозяйки, и, выходя на улицу, она обращалась *ко мне*: "Как жаль, что ушел этот милый господин. *Он* был такой деликатный!" Было ясно, что о ржавых гвоздях графиня не слышала.

Я тоже скучал по господину Фонтана, особенно по его сибирским рассказам. Ведь мысленно он так и остался жить в тех краях. Да и дружки, собиравшиеся в кофейне, ценили его как рассказчика. Он *должен* ходить туда каждый день, объяснял он мне, — друзья его ждут, хотят продолжения. А там еще рассказывать и рассказывать. Он бы мог написать о Сибири целую книгу. Но ему легче так рассказать. Дома он чуть заикнется насчет Сибири — у жены сразу глаза слипаются. У нее свет клином сошелся на обручальном кольце. Его еще друг покойный предупреждал, ее первый муж: ради всего святого, верни ты ей это кольцо, а то ведь она изведется! Для нее это ценная вещь. Он, между прочим, мог бы и прикарманить. Но раз он что обещал, да еще покойному другу, то слово свое сдержит. Даже если бы это кольцо стоило миллион, он бы его все равно отдал. И что же он получил в награду за свою честность? Вместо графини ему навязалась на шею молочница...

Через год после его ухода в этой местности вновь оживился интерес к Сибири.

В Ибби Гордон меня подкупали остроумие, веселый нрав и словесные экспромты. Мне не довелось услышать от Ибби ни одной предсказуемой фразы, с ней тебя поминутно ждали сюрпризы. Даже свое венгерское происхождение она умела повернуть неожиданной стороной: из каждого неловкого речевого оборота рождался экспромт. Смысловые оттенки каких-то слов я впервые осознал именно в разговорах с Ибби; если немецкое слово приходилось ей по душе, она присваивала его себе, извлекая потом на свет божий только в виде неологизмов, которые напоминали, что слово куда-то исчезло, но в переиначенном виде, всякий раз по-новому, отсылали к пропавшей вокабуле. Ибби не тараторила, не проглатывала окончаний, каждый слог у нее был ударным. Ни одно слово не подгоняло, не вытесняло другое, но поскольку *думала* она быстро, многое дожидалось где-то внутри своей очереди, радовалось себе еще прежде, чем становилось слышимым. Вереница таких всполохов радости, все новых и новых, рождала нескончаемое веселье, не оставлявшее места ужасу и печали, досаде и страху. Рядом с Ибби вообще не верилось, что на свете бывает грусть, ибо все неприятное, что ей случалось увидеть и пережить, перерождалось в нечто иное, невесомое и крылатое, а поскольку она никогда не жаловалась на собственные невзгоды, люди охотно прощали ей смех над чужими страхами.

Внешностью, классической деревенской статью Ибби напоминала скульптуру Майоля[1], а лицо у нее светилось, как напоенный соками плод. Она будто питалась всем несообразным и гротескным, что замечала вокруг. Кое-кто принимал ее насмешливость за безжалостность, но она ведь и к себе относилась так же. Даже удивительно, до чего на пользу ей шло ее остроумное злоязычие. Воплощенное здоровье и жизнелюбие, Ибби нередко перебивалась с хлеба на воду, на что, впрочем, даже не намекала — разве только затем, чтобы посмеяться: какой, мол, отъевшейся кажется она мужчинам, если они так пожирают глазами ее плечи.

Все связанное с происхождением, с распорядком, с регламентом будничной жизни не оставляло в ее душе ни следа. О своем прошлом Ибби говорила с таким равнодушием, словно его и не было. Название города, где она родилась, — Мармарош Сигет в восточной Венгрии, у подножия Карпат, — запомнилось мне по созвучию с мрамором, из которого, как мне представлялось, изваял ее Аристид Майоль. Имя Ибоя, по-венгерски "фиалка", вызывало недоумение, но к счастью, забылось, вытеснилось сокращенным Ибби. Девичья фамилия, Фельдмессер, нравилась мне куда больше, но Ибби — возможно, из-за семьи, о которой я ничего не знал, — стеснялась своей фамилии. Как поэтесса она взяла псевдоним Гордон, к которому и прикипела душой — казалось, только это и было ей в себе дорого.

В Будапеште она встретила Фридеша Каринти, знаменитого на своей родине венгерского сатирика[2]; я не читал его, но, судя по рассказам

1. Аристид Майоль (1861–1944) — французский скульптор и живописец, часто изображавший обнаженные женские фигуры.

2. Фридеш Каринти (1887–1938) — известный венгерский писатель, автор фантастико-сатирических романов и новелл, переводчик А. А. Милна и Дж. Свифта; его романы "Путешествие в Фа-ре-ми-до" (1915) и "Капиллария" (1921) написаны как продолжение путешествий Гулливера.

Ибби, он писал в духе Свифта. Она стала его подругой, сочиняла стихи, которые ему нравились, и, как говорили, очаровала его и стихами, и своей красотой. Жена писателя, Аранка, – по описаниям Ибби, горячая натура, смуглая цыганская красавица – из ревности выбросилась с четвертого этажа, покалечилась, но чудом осталась жива. Этот жест отчаянья произвел на Каринти столь сильное впечатление, что он решил немедленно порвать отношения с Ибби и *выслал* ее, ради спасения супруги, из Будапешта – за пределы Венгрии.



Его приятель перевез Ибби через границу и доставил в Вену, куда она прибыла без всякого багажа, с одной зубной щеткой, которую охотно всем демонстрировала. Судьба нелегкая, но Ибби не жаловалась. Она одинаково мало сочувствовала и себе, и Аранке – если что-то и ощущала, то только комизм своего положения. Знаменитый писатель назначил ей в конвоиры своего надежного друга. Тому полагалось следить, чтобы Ибби не прошмыгнула через границу обратно в Венгрию. Он снял для нее комнату на Штроццигассе, и она ежедневно должна была приходить к нему в определенное кафе, для проверки. Тогда он сразу шел к телефону и звонил в Будапешт Коринти: "Ибби в Вене. Ибби не убежала". После чего ей приносили поесть. Жилье ей оплачивали, но денег не давали – из опасения, что она купит билет в Будапешт. Если она не являлась в кафе, друг писателя сам навещал ее на Штроццигассе, но поесть уже не предлагал. Такой она и предстала перед моими глазами в первый раз – богиней Помоной с зубной щеткой в руке вместо яблока.

Не прошло и нескольких недель, как Ибби вдруг оказалась среди золотой молодежи Вены, в центре некоего кружка, где за нее вступили в борьбу два брата. Остальные члены кружка тоже имели на нее виды, но поскольку воздыхателей было много и все они добивались ее благосклонности одновременно, Ибби удалось, призвав на помощь свое хитроумие, столкнуть лбами всех и все посягательства отразить. Однако с братьями ей пришлось нелегко – им было не до шуток. Она пробыла в Вене почти год; мы с ней часто виделись, встречались в одной кофейне, где она в своей безучастной, спокойной манере, холодная и сияющая, с восхитительным юмором рассказывала обо всем, что творилось вокруг нее. Я *не мог* не слушать, а она не могла не рассказывать. Она была благодарна мне за то, что я, так сказать, не улаживаю под шумок собственные делишки. Со мной она отдыхала от своей, как она говорила, безвинной красоты, чувствуя, что я эту красоту воспринимаю так же, как и она: как тяжелый крест, который, хочешь не хочешь, придется нести.

Один из двух братьев владел крупной книготорговой фирмой, доставшейся ему по наследству от отца; второй же, считавшийся более умным и образованным, изучил уйму разных наук – он перепархивал с факультета на факультет и как раз в тот момент занялся философией. Книготорговец Рудольф – абсолютный нуль, невзрачный и худосочный – старался произвести на людей благоприятное впечатление продуманностью своего гардероба и тщательной укладкой двух-трех оставшихся волосин. Он точно так же, как брат, подпал под власть Ибби, но в силу полной бесцветности его личности и скудости воображения ему было трудней пробудить к себе ее интерес, нежели второму брату, который, выслушав собеседника, обычно обрушивал на него, слегка заикаясь, кучу советов. Рудольфу, который сам нуждался в советах и никому

таковых не давал, оставалось лишь полагаться на новые книги, в особенности художественные альбомы из собственной книжной лавки. Ими он удивлял и занимал свою пассию. Однажды он принес Ибби альбом "Лик вечности" – только что вышедшее издание посмертных масок. Я подоспел как раз в ту минуту, когда Ибби открывала альбом, и с самых первых страниц книга нас покорила. Случилось непредставимое: мы оба замолчали. Уселись на диване бок о бок, и в какой-то момент, не выдержав этого молчаливого сговора, Рудольф оставил нам книгу и удалился.

Я никогда прежде не видел посмертных масок, для меня это было нечто совершенно новое. Я чувствовал, что приблизился к мгновению, о котором знаю меньше всего.

Название альбома, в котором были собраны маски – "Лик вечности", – я принял не задумываясь. Разнородность людей всегда приводила меня в восхищение, но я никак не ожидал, что она нарастает до самой минуты смерти. Поразило меня и то, сколь многое в лице сохраняется. Исчезновение умерших с детства причиняло мне боль. То, что в людской памяти остаются имена и произведения, казалось недостаточным. Мне не хватало телесности ушедших, характерных черточек и мимолетных мимических движений. Всякий раз, когда у меня в ушах начинал звучать голос, оставшийся в памяти, я тщетно пытался припомнить лицо его обладателя: оно приходило во сне, помимо желания, но вызвать его усилием воли не получалось. И даже когда – очень и очень редко – я его видел, оно представало другим, чем при жизни, подчиняющимся каким-то своим законам распада. И вот теперь я видел перед собой всех тех, чьими мыслями и творениями жил, кого любил за их дела, кого ненавидел за преступления, неизменных, с закрытыми глазами – как будто веки еще могут подняться, как будто еще не случилось непоправимое; *существуют* ли еще эти ушедшие для самих себя, слышат ли то, что говоришь им одним? Я неуверенно переходил от одного к другому, словно каждого хотел бы ухватить за край одежды и крепко держать. Трудно было поверить, что тут они собраны вместе. Я боялся, что они могут разбрестись в разные стороны, кто куда. По лицу, не глядя на подпись, я узнавал немногих. Без имени умерший обречен на безвестность и беспомощен. Но как только ты соотнесешь его имя и лицо, он чувствует, что ему больше не грозит разрушение. И вот я листал страницы альбома, потом неожиданно переворачивал их назад – но нет, мертвецы никуда не ушли, все на месте, никто не ретировался, рассердившись на тот контекст, в который его поместили; случай, соединивший всех вместе в книге, не оскорблял их достоинства.

Последний миг перед распадом: человек словно собирает разные ипостаси своего "я", предварительно дав согласие на это последнее предъявление. Впрочем, *согласны* не все – есть маски ранящие, маски-разоблачения. Они вскрывают ужасную правду, ту доминанту, что проявилась в конце жизни: жизненные тяготы Вальтера Скотта, острое помешательство престарелого Свифта, тяжелую, изнурительную болезнь Жерико. Во всех масках можно искать только ужасное – ужас смерти. То есть видеть в них маски погубленных. Но это бы исказило суть дела: в масках есть и нечто иное, помимо печати смерти.

Задержанное дыхание, но как будто оно не пресеклось... Дыхание – самое драгоценное, что даровано человеку; у последней черты оно до-

роже всего, а маска сохраняет этот последний вздох, сохраняет как зримый образ.

Но можно ли запечатлеть дыхание зримым образом? На странице, которую я открывал, перелистывал и к которой возвращался снова и снова, была репродукция посмертной маски Паскаля.



Боль нашла в этой маске завершенность, здесь она обрела свой смысл, который человечество так долго искало. Боль, которой дано воплотиться в мысль, достигает верха возможного. И если бывает смерть без стенаний и жалоб, то вот она перед тобой. Приближение к смерти — исподволь, несказуемо мелкими, крошечными шагами, — продиктованное желанием переступить порог, чтобы там, за ним, отыскать неведомое. О верующих и подвижниках, жаждущих ради потустороннего бытия избавиться от земной жизни, можно много чего прочесть, но в маске Паскаля тебе является *зримый образ* одного из таких подвижников, причем запечатленного в ту минуту, когда он достиг *желаемого*; это подвижник, который хотя и умел умерщвлять свою плоть, но в бесконечно большей степени был мыслителем, чем умерщвляющим плоть аскетом. И все, что он предпринимал против горестей земной жизни, отразилось в зеркале его мысли. *Его* лицо мы действительно вправе назвать ликом вечности, ибо оно и есть отражение вечности, волновавшей Паскаля при жизни. Паскаль *упокоен* в боли и не желает с ней расставаться. Он готов испытать такую боль, какую может вместить в себя только вечность, — и, достигнув той меры, какая ему отпущена, он принесет свои страдания в дар вечности и войдет в нее.

## *15 июля*

Через несколько месяцев после моего вселения в новую комнату случилось нечто такое, что оказало на мою последующую жизнь глубочайшее влияние. Произошло одно из тех публичных событий — не слишком-то частых, — которые настолько захватывают весь город, что потом он уже не может быть прежним.

Утро 15 июля 1927 года застало меня не там, где обычно — в химическом институте на Веринерштрассе, — а у себя дома. Я сидел в кафе на Обер-Санкт-Вейте и просматривал свежие газеты. До сих пор помню чувство негодования, охватившее меня, когда я взял в руки "Рейхспост"; на первой полосе аршинными буквами значилось: "Справедливый вердикт". В Бургенланде стреляли, погибли рабочие. Суд оправдал убийц. И вот газета правящей партии объявляет — нет, трубит во все концы, — что такой вердикт "справедлив". И, может быть, даже не столько сам оправдательный приговор, сколько эта насмешка над элементарным чувством справедливости вызвала чудовищное волнение среди венских рабочих. Сомкнутыми рядами они отовсюду, из всех округов Вены, потянулись к Дворцу Правосудия, уже одно имя которого стало для всех воплощением несправедливости. Реакция была совершенно непроизвольной — насколько непроизвольной, я почувствовал на себе. Я немедля примчался на велосипеде в город и тут же присоединился к одной из колонн.

Приученные к дисциплине рабочие, доверявшие своим социал-демократическим вождям и довольные тем, как образцово те управляют местным муниципалитетом, в тот памятный день вышли на улицы *без* вождей.

Когда они поджигали Дворец Правосудия, дорогу толпе преградила пожарная машина, на которой стоял, подняв руку, бургомистр Зайц. Жест бургомистра не подействовал — Дворец Правосудия *запылал*. Полиция получила приказ стрелять. Девяносто человек было убито.

Это случилось пятьдесят три года назад, но я и поныне чувствую свое тогдашнее возбуждение. То было самое близкое к революции событие, какое мне довелось пережить на собственной шкуре. С тех пор я точно знаю, мне даже не нужно об этом читать, как обстояли дела при штурме Бастилии. Я стал частью массы, растворился в ней, не испытывал ни малейшего несогласия с ее действиями. Удивительно, что я в таком состоянии не утратил способности схватывать отдельные, вполне конкретные сцены, которые разыгрывались на моих глазах. Расскажу об одной из них.

На боковой улочке, недалеко от горящего Дворца Правосудия, но все же отдельно от всех, резко контрастируя с основной массой, стоял человек: в отчаянии заломив простертые к небу руки, он сокрушенно вскрикивал: "Документы горят! Все документы погибнут!" — "Пусть лучше документы, чем люди!" — отозвался я, но он меня не услышал, у него на уме были одни документы, и я подумал, что он, должно быть, архивный чиновник, имеющий отношение к горящим бумагам: человек казался безутешным и почему-то, несмотря на трагизм положения, забавным. Но все равно меня взяла злость. "Там же в людей стреляют! — гневно воскликнул я. — А вы беспокоитесь о документах!" Он невидящими глазами посмотрел сквозь меня и жалобно повторил: "Документы горят! Все документы сгорят!" Он стоял в стороне, но явно рисковал, причитая так громко, — я, например, прекрасно его услышал.

Затем наступили дни и недели глубокой подавленности, когда ты был не в состоянии думать о чем-либо, кроме событий, очевидцем которых стал, — ночь за ночью в мозгу прокручивались пережитые сцены — и в это время только *один* человек обеспечивал легитимность литературы: Карл Краус. В те дни мое благоговение перед ним достигло вершинной точки. На сей раз я испытывал к Краусу благодарность за его общественное деяние — трудно вспомнить, кому и за что я был когда-либо так благодарен. Под впечатлением от страшной бойни 15 июля Краус развесил по всей Вене плакаты с требованием, чтобы начальник полицейского управления Йоганн Шобер, давший приказ стрелять и ответственный за девяносто смертей, ушел в отставку. Краус действовал в одиночку, был единственным публичным человеком, решившимся на такой поступок, и в то время как прочие знаменитости, которых в Вене всегда хватало, предпочли не лезть на рожон — а может, побоялись показаться смешными, — он один нашел в себе мужество возмутиться. Только его плакаты в те дни и поддерживали меня. Я переходил от плаката к плакату, останавливался перед каждым, и мне казалось, что буквы, из которых слагается имя Краус, вобрали в себя всю справедливость этой земли.

Репортаж о событиях и последствиях 15 июля 1927 года был написан мной уже довольно давно; здесь я хочу привести его целиком в надежде, что именно в силу своей лаконичности он позволит ощутить всю значимость происшедшего.

С тех пор я нередко пытался подойти, подступиться к этому дню — после того как умер отец, пожалуй, самому важному в моей жизни; я намеренно пишу "подступиться", ибо подойти к нему вплотную очень

трудно: этот день вместил в себя многое, его события охватывали пространство большого города и были связаны с движением, для многих и для меня тоже: я тогда изъездил на велосипеде всю Вену вдоль и поперек. Ощущения, которые я испытал тогда, все устремлялись *в единое русло*. Ни один другой день не запомнился мне столь *отчетливо*, но так получилось только потому, что ощущение этого дня, на всем его протяжении, оставалось единым.



*Кто* указал огромным демонстрациям, бушевавшим в разных районах города, общую цель — Дворец Правосудия, — я не знаю. Хотелось бы верить, что так получилось само собой, но не верится. Наверняка кто-то первым крикнул: "Вперед, к Дворцу Правосудия!" Впрочем, не столь существенно знать, кто именно, — призыв сообщился каждому, кто его услыхал, и, воспринятый всеми без сомнений, колебаний и размышлений, без задержек и проволочек, неудержимо повлек людей в одном направлении.

Казалось бы, главный смысл 15 июля целиком вместился в "Массу и власть". Но будь это так, я вряд ли мог бы вернуться к исходному переживанию, к чувственным компонентам этого дня, представить их себе более или менее полно.

Помню, что долго крутил педали. Дороги не помню. Не помню, где впервые встретил людей. Я плохо *вижу* себя в этот день, но до сих пор *чувствую* свое тогдашнее возбуждение — как быстро обгоняю кого-то, как увертываюсь; чувствую *текучесть* движения. Все подчиняется слову "огонь", а потом — самому огню.

В голове *жахнуло*. По какой-то случайности я не видел, как нападали на полицейских. Зато видел, как стреляли в толпу и как падали люди. Выстрелы напоминали удары хлыстом. Вот люди разбегаются по переулкам, вот снова выныривают и сбиваются в толпы. Я видел, как демонстранты падают, видел лежащих на земле мертвецов, но в непосредственной близости от них ни разу не оказывался. Ужасный страх, особенно перед этими мертвецами... Я приближался к ним, но, уже почти приблизившись, в последний момент *уклонялся*. От волнения мне казалось, будто они *разбухают*. Пока не подбегали шуцбундовцы, поднимавшие их с тротуаров, вокруг них обычно зияло пустое пространство, все как будто ждали, что сюда снова ударят выстрелы.

Особенно страшное впечатление производили кавалеристы — может быть, потому, что они сами боялись.

Бежавший впереди меня человек презрительно сплюнул и ткнул большим пальцем куда-то через плечо: "Вон он висит! С него штаны сняли!" Кому адресован этот плевок? Убитому? Убийцам? Я не увидел того, на кого он показывал. Женщина впереди меня пронзительно заголосила: "Пеппи! Пеппи!" У женщины были закрыты глаза, она шаталась. Толпа понеслась вперед. Кричавшая упала на землю, хотя в нее не попали. В ушах раздался топот копыт. Вместо того чтобы подойти к ней, я побежал со всеми. Я чувствовал, что должен бежать. Хотел завернуть в подворотню, но не мог отделиться от бегущей толпы. Здоровенный мужчина рядом со мной бил себя кулаком в грудь и на бегу орал во весь голос: "Сюда стреляйте! Сюда! Сюда! Сюда!" Вдруг он исчез. На землю он не упал. Куда же он делся?

Вот это, пожалуй, и было самое жуткое: ты видишь и слышишь человека, который привлекает к себе внимание ярким жестом, вытесняющим

в твоем сознании все прочее, и тут же именно этот человек словно под землю проваливается... Земля проседала, везде открывались незримые ямы. Но связь не рвалась; даже оказавшись вдруг один, в стороне от всех, ты чувствовал, как тебя куда-то тянет и тащит. Это из-за того, что отовсюду что-нибудь *слышалось*, в воздухе пульсировало нечто ритмичное — нехорошая музыка. Именно музыка, и она словно приподнимала тебя над землей. У меня не было чувства, что я иду своими ногами. Всех словно подхватило порывом звучащего ветра. Передо мной мелькала рыжая голова — вверх-вниз, вверх-вниз, как поплавок на воде, то поднимаясь, то опускаясь, — и я все искал ее глазами, как если бы должен был подчиняться ее указаниям; сперва я думал, что это рыжие волосы, потом, присмотревшись, увидел: голова повязана рыжим платком; и отвлекся.

Я не встретил в толпе ни одного известного мне человека, если с кем-то и говорил, то только с незнакомыми. Но говорил я мало, больше вслушивался: вокруг постоянно раздавались какие-то звуки, пронзительнее всего — вопли негодования, когда в толпу стреляли и люди падали. В голосах была неумолимость, особенно в женских, отчетливо различимых. Сперва мне казалось, что вопли провоцируют стрельбу. Но вскоре я отказался от этой мысли: выстрелы слышались и тогда, когда вопли уже смолкали. Они раздавались повсюду, щелкали рядом и вдалеке.

Устойчивость толпы: секунду назад рассыпавшаяся, вот она уже снова стекается ручейками из боковых переулков. Огонь крепко держал людей: Дворец Правосудия горел несколько часов, и на время пожара пришелся пик возбуждения. День выдался жаркий, и даже там, откуда пожара не было видно, багровое небо пахло горелой бумагой, тысячами и тысячами документов.

Шуцбундовцы, маячившие повсюду в заметных издалека штормовках, с повязками на рукавах, отличались от полицейских тем, что не имели оружия. У них были только носилки, на которых они уносили раненых и мертвецов. Бросались в глаза их усердие, готовность прийти на помощь; они не реагировали на вопли негодования и с толпой не сливались. Они мелькали повсюду; нередко их появление сигнализировало, что имеются жертвы, — прежде, чем сам ты замечал убитых и раненых.

Я не видел, как подожгли Дворец Правосудия, но еще до того, как заполыхал огонь, догадался о происшедшем по изменению настроя толпы. Люди перекрикивались, передавая друг другу новость, и поначалу я ничего не понял: в криках слышалась радость — не одержимость, не исступленность, а именно радость освобождения.

Огонь крепко спаял людей. Он ощущался повсюду, заполнял собой все вокруг, и даже там, откуда пожара не было видно, пылал в головах; притяжение, исходившее от огня, было такое же, как у массы. Толпа отвечала на выстрелы криками возмущения, а вслед за криками полиция снова стреляла, но куда бы ты ни убегал от выстрелов, где бы ни пытался укрыться, связь с остальными — явная или незримая, в зависимости от места, где ты оказался, — не прерывалась; кружными путями, ибо иначе туда было не попасть, тебя тянуло обратно, в сферу господства огня.

Этот день, прошедший под знаком одной эмоции — ощущения колоссальной волны, накатившей на город и затопившей его (когда все утихло, с трудом верилось, что город выстоял), — этот день состоял из бессчетного множества разнообразных деталей, из которых каждая глу-

боко впечаталась в мою память, ни одна не пропала. Они самоочевидны, памятны и различимы, но каждая составляет лишь частицу той колоссальной волны, без которой все теряет смысл и кажется плоским. И осознать здесь нужно не частности, а характер самой волны; я многократно пытался это сделать — весь следующий год и потом, снова и снова, — но всегда безуспешно. Об успехе здесь говорить не приходится, ибо нет явления более загадочного и таинственного, чем масса. Если бы я тогда ее понял, то не носился бы тридцать с лишним лет с идеей разгадать ее тайну и по возможности полно описать и осмыслить, поставив в ряд прочих явлений человеческой жизни.



И даже если бы я трезво — без прикрас и умалений, но и без преувеличений — перечислил все те разрозненные детали, из которых сложилось для меня 15 июля, — все равно мне не удалось бы передать его суть, 15 июля состояло из большего. В ушах шумела волна, выносящая частности на поверхность, и только в том случае, если бы получилось воплотить в словах и образах эту волну, можно было бы согласиться, что да, тут в самом деле ничего не убавлено.

Чем рассказывать о деталях, скажу лучше о влиянии, которое оказал этот день на движение моей мысли. Ему я обязан важнейшими из тех выводов, что вошли впоследствии в книгу о массе. Все, что я обнаруживал в далеко расходящихся между собой источниках, все, что извлекал оттуда, сверяя, выписывая, читая, а потом, как в замедленном кино, перечитывая заново, — все это я сличал с тем оставшимся у меня в памяти узловым событием; оно так и не потускнело, какие бы события ни происходили потом — пусть даже более масштабные, с бóльшим числом участников и более важными последствиями для мирового сообщества. Обособленность событий 15 июля, их ограниченность пределами Вены, в позднейшие годы, когда мое возбуждение и негодование притупились, придали этому дню характер модели: то было событие с четкими границами в пространстве и времени, с безусловно имевшим место начальным толчком и четким ярким сценарием.

В тот день я раз и навсегда получил представление о явлении, которое позже назвал *открытой массой*, — увидел, как она формируется из стекающихся отовсюду, из разных районов людей; как эти люди длинными, уверенными колоннáми неудержимо движутся в направлении здания, именуемого Дворцом Правосудия, но из-за несправедливого приговора ставшего символом неправедного суда. Я понял, что масса неминуемо распадается, — и увидел, как она страшится такого распада, как делает все, чтобы его избежать; как она узнает себя в разожженном ею пожаре и удерживается от распада, пока пожар не погаснет. Как дает отпор всякой попытке его потушить: ведь срок ее жизни зависит от долговечности пламени. Как позволяет обратить себя в бегство, рассеять и разогнать, но потом вновь собирается, хотя на улицах, на виду у всех, лежат жертвы, раненые и мертвые, а у нее нет оружия: собирается, потому что огонь продолжает гореть, окрашивая небо над площадями и переулками. Я убедился, что масса может спасаться бегством, не впадая в панику; что массовое бегство не обязательно связано с паникой. До тех пор, пока масса не распадется на отдельных бегущих людей, озабоченных каждый собой, своей отдельно взятой персоной, она продолжает существовать, пусть даже в состоянии бегства, — и если сумеет остановиться, способна вновь перейти в наступление.

Вопреки всем прежним теориям, я уяснил, что для формирования массы не нужен *вождь*. В тот день моим глазам предстала масса, возникшая *без вождей*. То тут, то там, крайне редко, попадались люди, ораторы, говорившие от ее имени. Но значение их было минимальным, они оставались анонимными и ни в малейшей степени не способствовали разжиганию страстей. Всякое описание этого дня, приписывающее вожакам центральную роль, искажает смысл тогдашних событий. Если и было нечто из ряда вон выходящее, что распаляло толпу, то это картина пылающего Дворца Правосудия. Залпы полиции, подобные ударам хлыста, не разгоняли, а собирали людское стадо. Спасение бегством — иллюзия: многие и на бегу понимали, что кто-то сейчас упадет и больше не встанет. И лежавшие на земле жертвы не меньше огня разжигали гнев массы.

В тот ярко освещенный страшный день мне открылась подлинная картина массы — ключевого явления нашего века. Открылась с такой очевидностью, что потом я не мог не возвращаться к ней, отчасти по своей воле, отчасти по необходимости. Снова и снова стоял я перед Дворцом Правосудия, вглядываясь в происходящее; и до сих пор чувствую, как трудно мне оторваться от этого зрелища, ибо пока что мне удалась лишь малая часть задуманного — осмысления массы.

## *Письма в дупле*

Весь следующий год прошел под знаком событий 15 июля. До лета 1928-го этот день прочно сидел у меня в голове. И более чем когда-либо я ощущал решимость докопаться до сути явления, так глубоко меня захватившего — изнутри и извне. Казалось бы, жизнь шла своим чередом: я продолжал заниматься химией и приступил к написанию диссертации, но поставленная передо мной задача была настолько неинтересна, что едва задевала самую внешнюю оболочку моего духа. Каждую свободную минуту я тратил на изучение вещей, представлявшихся мне по-настоящему важными. Разными и, на первый взгляд, весьма кружными путями искал подступы к тому, что воспринял как массу. Отслеживал ее в истории, причем в истории *всех* культур. Все сильнее захватывали меня история и ранняя философия китайцев. К грекам я обратился гораздо раньше, еще когда учился во франкфуртской школе; теперь углубился в античных историков, прежде всего — в Фукидида. Разумеется, я не смог обойти стороной и историю революций — английской, французской и русской, — но попутно начал осознавать, сколь важную роль играет масса в истории религий; жажда знать все обо всех религиях, которая сопровождает меня всю жизнь, зародилась именно в ту пору. В надежде найти сведения о феномене массы у животных я читал Дарвина, штудировал книги о "государствах" насекомых. На сон времени не хватало: я читал ночи напролет. Кое-что записывал, пытался писать статьи. Все это были предварительные этюды к книге о массе, и они едва ли имеют самостоятельное значение — слишком скудны были на тот момент мои знания о предмете.

На самом деле это было для меня началом новой интеллектуальной эры, этапа активного расширения моих знаний сразу во многих направлениях, и хорошо, что я не ставил себе границ. Разумеется, я преследо-

вал определенную цель: найти свидетельства существования и влияния массы во всех сферах жизни; но поскольку на это мало кто обращал внимание, свидетельств набиралось немного, и, собственно, главным результатом моих поисков стало то, что я собрал уйму разнообразных сведений, не имеющих к массе ни малейшего отношения. Познакомился с китайцами, а в скором времени и с японцами, начал так же свободно ориентироваться в их истории, как еще школьником ориентировался в истории древних греков. Читая переводы китайских классиков, я натолкнулся на Чжуан-Цзы[1], который стал самым близким мне философом, и под впечатлением от его текстов начал писать работу о даосизме. Чтобы оправдать в своих глазах столь далекий отход от главной темы, я убеждал себя, что никогда не пойму массу, не уяснив прежде, что такое предельная *обособленность*. Но в действительности я всерьез увлекся этим самобытнейшим течением китайской философии (чего тогда не осознавал) из-за того значения, какое оно отводит *метаморфозам*. Оглядываясь назад с позиций сегодняшего дня, я убеждаюсь, что во мне сработал верный инстинкт: увлекшись метаморфозами, я смог уберечь себя от полного погружения в мир абстрактных понятий, на периферии которого всегда пребывал.



Странно, с какой ловкостью — иначе и не скажешь — обходил я абстрактную философию. О массе, феномене конкретном и очень значимом, я не нашел тогда в философских трудах ни намека. И только гораздо позднее распознал те обличья и формы, в каких масса все же встречается и у некоторых философов.

По-моему, ничего из этих многообразных знаний, которые я так жадно и быстро усваивал, не пропало: все пустило корни вглубь, распространилось и на соседние области. Между удаленными друг от друга "предметами" образовались, так сказать, подземные связи. Эти связи долго оставались для меня скрытыми, что даже к лучшему: с тем большей убедительностью и очевидностью проступили они годы спустя. Я не согласен с расхожим мнением, что разбрасываться опасно. Жизнь и так все сужает, и хотя мы не можем радикально препятствовать сужению, в наших силах его приостановить, оказать ему противодействие — стремлением к максимально широкому охвату реальности.

Отчаянье как непосредственная реакция на события 15 июля — своего рода столбняк, который нападал на меня временами, делая невозможным продолжение работы, — длилось недель шесть или семь, до начала сентября. Плакат Карла Крауса, появившийся в городе в это время, вызвал во мне катарсис, освободил от столбняка. Но чуткости к голосу массы я не терял. Тот день был наполнен бешеными воплями негодования. Это были предсмертные крики, на них отвечали стрельбой, и они усиливались в моменты, когда людей настигала пуля и они падали. В одних переулках крики смолкали, в других нарастали; яростнее всего звучали они возле охваченного пожаром дворца.

И вот прошло не так много времени, как вдруг я услышал, как они раздаются поблизости от моего дома. Минутах в пятнадцати ходьбы от Хагенберггассе, где я снял комнату, — по другую сторону долины, в местечке Хюттельдорф, — находился стадион клуба "Рапид". Там проводи-

1. Чжуан-Цзы — один из крупнейших китайских философов, живший предположительно в IV веке до н. э.; основоположник даосизма.

ли футбольные состязания. В выходные дни туда устремлялись толпы людей, жаждущих попасть на чемпионат с участием знаменитой команды. Я был равнодушен к футболу и не обращал на это внимания. Но в одно из воскресений, уже после 15 июля, — опять стояла жара, и в ожидании гостей я открыл окно — до моих ушей внезапно донесся крик толпы. Я принял его за вопль негодования и, все еще полный впечатлениями того дня, растерялся: начал было высматривать огонь, озаривший 15 июля. Но нигде ничего не горело — далеко на холме сиял в лучах солнца позолоченный купол штайнхофской церкви. Опомнившись, я рассудил, что крики доносятся со стадиона. И в подтверждение моей мысли звук в скором времени повторился — напрягшись всем телом, я вслушался: нет, это не вопли негодования, но это в самом деле выкрик толпы.

Я жил здесь уже три месяца и никогда ничего подобного не слышал. А ведь, должно быть, сюда не раз уже долетал этот шум, столь же мощный и странный, но я был к нему глух, и только 15 июля заставило меня вслушаться. Я замер на месте и прослушал весь матч. Возгласы ликования относились к забитому голу — кричали болельщики побеждающей стороны. Иногда тональность менялась, слышался возглас разочарования. Из окна я не видел футбольного поля: его заслоняли деревья и дома, да и расстояние было слишком большим, — но я слышал массу, и только ее, как будто игра происходит где-то совсем рядом. Я не мог знать, какая из двух сторон кричит. Я не знал, кто они такие. Не обращал внимания на названия команд и не пытался их выяснить. Спортивные страницы газет намеренно перелистывал не читая, а в будние дни ни в какие футбольные разговоры не вмешивался.

Но за шесть лет, что я прожил на Хагенберггассе, я не упустил ни одной возможности послушать шум стадиона. Внизу, на станции железной дороги, из вагонов выходили люди. Замечая, что наплыв больше обычного, я понимал, что скоро начнется матч, и занимал место у подоконника. Трудно описать, с каким волнением я следил издали за невидимым состязанием. Я ни за кого не болел и не знал, кто против кого играет. Единственное, что я знал: на стадионе — две массы, одинаково возбужденные и говорящие на одном языке. Именно тогда, в отрыве от места событий, не отвлекаясь на сотни второстепенных деталей и обстоятельств, я инстинктивно воспринял то, что позже осмыслил и попытался описать как "двойную массу". Иногда, если дел было очень много, я во время матча сидел за столом, в середине комнаты, и писал. Но что бы ни выводила рука в тетради, ни малейший звук со стадиона "Рапид" не ускользал от моего внимания. Я так и не смог *привыкнуть*, на меня действовал каждый звук. И в сохранившихся у меня рукописях того времени я, кажется, и сегодня узнáю место каждого подобного выкрика, как если бы все они были записаны тайным нотным письмом.

Близость стадиона, без сомнения, поддерживала во мне интерес к главному моему замыслу — даже тогда, когда я временно обращался к другим вещам. Регулярно, с небольшими интервалами, стадион давал мне шумовую подпитку. Живя на окраине города, в полном уединении, искать которого у меня были основания и которому я обязан всем тем немногим, что сумел сделать за венские годы, я регулярно наблюдал, иной раз вопреки своему желанию, самый для меня важный, непроясненный, загадочный феномен массы. Он мог в любую минуту без спро-

су ворваться в окно и вернуть меня к замыслу, от которого, сложись все иначе, я бы, пожалуй, отказался и переключился на задачи попроще.

С осени я снова ежедневно ходил в химическую лабораторию — работать над диссертацией, к которой не испытывал ни малейшего интереса. Я воспринимал диссертацию как побочное дело, которое, раз уж за него взялся, нужно закончить. Необходимость доводить до конца все начатое — это непонятный мне самому закон моей личности; даже химию, которую я, казалось бы, так презирал, бросить не получалось: слишком уж я втянулся. Свою роль тут играло и тайное уважение к этой науке, в котором я ни за что бы себе не признался: ведь она дает знание ядов. После гибели Бакенрота это не выходило из головы, и первая мысль, которая посещала меня, когда я пересекал порог лаборатории: как легко может каждый из нас добыть себе цианистый калий.



В лаборатории были студенты, пусть не прямо, но недвусмысленно намекавшие на неизбежность войн. Это мнение разделяли отнюдь не только те, кто уже тогда симпатизировал национал-социалистам. А таких было немало, хотя не могу сказать, что те из них, кого я знал по своему ближайшему окружению, по работе в лаборатории, вели себя агрессивно или враждебно. В повседневной жизни они не афишировали своих убеждений. Я ощущал по отношению к себе разве что некоторую сдержанность, которая порой резко менялась на искреннюю симпатию, когда собеседник замечал мое отвращение к любым формам корыстолюбия. Среди студентов попадались деревенские пареньки, отличавшиеся крайней бережливостью — иначе им было бы не потянуть учебу; они были счастливы, когда им отдавали что-нибудь "за просто так", без денег. Мне нравилось видеть озадаченное лицо какого-нибудь деревенского малого, знакомого со мной только шапочно, который — вопреки всем наружным признакам — подозревает во мне умело замаскировавшегося сына богатея-скотопромышленника.

Но встречались мне и такие, чьему наивному простодушию я до сих пор удивляюсь. Как-то на лекции я познакомился с одним студентом, привлекшим мое внимание лучистым взглядом и особой пластикой движений: он пробирался сквозь толчею энергично, но деликатно и осторожно. Мы с ним затеяли разговор, а потом еще раз-другой встречались. Он оказался сыном судьи и заявил мне, что, в отличие от отца, верит в Гитлера. Для этой веры у него имелись собственные резоны, о которых он сообщил без утайки, что было даже по-своему обаятельно: нельзя, дескать, чтобы повторилась война, это худшее, что может стрястись с человечеством, а единственный, кто способен спасти нас от войны, — Адольф Гитлер. Когда я выразил свою, противоположную точку зрения, парень не согласился: однажды он слышал Гитлера, и тот *сам так сказал*. Поэтому он за Гитлера, и его ничем не собьешь. Я растерялся и потом специально несколько раз встречался с ним, чтобы продолжить разговор. А он отвечал все теми же или еще более прекрасными словами о мире и согласии. Вижу его как сейчас, этого пламеноликого апостола мира, и надеюсь от всей души, что ему не пришлось поплатиться за веру в Гитлера жизнью.

Химия существовала настолько *помимо* меня, что, когда я думаю о том времени, в памяти всплывают лица и разговоры, не имевшие к ней ни малейшего отношения. Может быть, я потому так исправно ходил в лабораторию, потому неизменно посещал все необходимые лекции,

что это давало мне возможность встречаться с огромным количеством молодых людей, которых не нужно было где-то искать, ведь они были прямо тут, под боком. Так я знакомился со всеми современными воззрениями — мимоходом, естественным образом, не превращая это в особый предмет изучения. По большей части люди тогда не задумывались о войне всерьез, а если и задумывались, то только о минувшей. Страшно вспомнить, как далеки мы были по своим ощущениям — тогда, в 1928 году, — от новой войны. И то, что она так внезапно стала реальностью, причем *идейной* реальностью, имеет прямое касательство к природе массы, так что вовсе не ложный инстинкт побуждал меня вникать в суть этого коварного феномена. Тогда я не сознавал, как много всего узнаю из, казалось бы, бессмысленных или малозначимых разговоров в лаборатории. А ведь я там вступал в общение с адептами всех идеологий, определявших на тот момент судьбы мира, и будь я уже тогда, как ошибочно мнил о себе, открыт для живой жизни, мне удалось бы сделать на основании этих якобы пустячных бесед целый ряд далеко не пустячных выводов. Но слишком еще велик был мой пиетет перед книгой, и на путь к настоящей Книге — отдельному, затянутому в переплет своей личности человеку — я в то время только ступил.

С тех пор как я поселился на Хагенберггассе, меня отделяло от Вецы большое расстояние, между нами пролег весь город, от края до края. Ранними воскресными вечерами она приходила ко мне, и мы шли на прогулку в Тиргартен. Тон наших разговоров не изменился, я по-прежнему отдавал ей каждое новое стихотворение, и она бережно хранила их все в плетеной соломенной сумочке, а на неделе посылала мне чудные письма, которые я, не менее бережно, складывал у себя. Между нами было много воздуха, а в Тиргартене дело даже дошло до настоящего культа деревьев. Попадались великолепные экземпляры; мы с видом знатоков отыскивали такие и садились у их подножий.

Одному из деревьев выпала незаурядная роль. Благодаря Ибби Гордон, самому жизнерадостному человеку на свете, я узнал, что такое посмертные маски. Они настолько взволновали меня, что я подарил альбом Веце. Не подумав, что это большая бестактность: смерть и все, что с ней связано, относились к владениям Вецы. Когда я вручил ей альбом, о котором уже успел рассказать, она со злой вороньей гримасой гневно отшвырнула его. Я поднял — она опять отшвырнула, не пожелала даже открыть. Это принадлежит не ей, а другой — той особе, что выдает себя за поэтессу и знай хихикает, через нее я и пришел к маскам. Веца так и сказала "хихикает": она не была знакома с Ибби, но слышала от меня о ее веселом характере, а поскольку чего-чего, но веселости Веце решительно недоставало, думала про себя, что только по этой причине, из-за веселого нрава, я и считаю Ибби поэтессой, и уж никак не могла потерпеть, когда та еще и вторглась в мой мир со своими посмертными масками.

Мне пришлось унести альбом — Веца грозилась выбросить его в окно и наверняка выбросила бы. Мне понравилась эта ревность, которой я прежде в ней не замечал. Я рассказывал ей обо всем без утайки, и Веца знала и верила, что нас с Ибби ничего, кроме слов, не связывает. Но неотъемлемой частью наших встреч было то, что Ибби читала мне по-венгерски свои стихи. Как-то я пришел к Веце в полном восторге и на-

чал хвалить достоинства венгерского языка, звучание которого мне прежде не нравилось. Заявил, что венгерский, несомненно, один из прекраснейших языков мира, а затем стал рассказывать, как Ибби пытается переводить написанные по-венгерски стихи на свой потешный немецкий. Я приводил в порядок этот невозможный, пестрящий ошибками немецкий, и Ибби записывала исправленные варианты. А стихи, между прочим, занятные, сказал я, не то что мои, дикие и исступленные. В них есть прохлада и остроумие, пишутся они с определенных, раз от разу меняющихся ролевых позиций. Веца внимательно выслушала мою речь, и хотя я четко дал понять, что, вообще говоря, не считаю подобные конструкции стихами — тогда я действительно так думал, — по моему довольному виду было заметно, как охотно я их слушаю и выправляю.



Так оно все и продолжалось какое-то время, пока не случился скандал с посмертными масками. Рассказывать о дальнейшем мне нелегко. Придется рассказать, как Веца пришла в мое отсутствие на Хагенберггассе, поднялась ко мне в комнату и, зная, где я храню ее письма, взяла их и отправилась в лайнцский Тиргартен. Шла довольно долго, пока в стене не нашелся пролом, через который она без труда перебралась в парк. Затем отыскала дерево, разветвлявшееся на уровне ее глаз, с дуплом — туда она положила пухлый пакет со всеми своими письмами. После чего вернулась на Хагенберггассе и на сей раз застала меня дома. Я обратил внимание на ее взвинченность и вскоре дознался правды: ее письма исчезли, она забрала их; сказала, что выбросила в лесу. Я запаниковал, стал умолять ее показать мне то место, там ведь наверняка никто еще не прошел (Тиргартен в тот день был закрыт для публики), мы точно найдем и спасем пакет. Моя паника смягчила Вецу — по мне было видно, как важны для меня ее письма, — она растрогалась и, поддавшись на уговоры, сразу же повела меня в Тиргартен. Проделав довольно длинный путь, мы перелезли через стену, она нашла дерево, которое хорошо запомнила, и велела мне сунуть руку в дупло — я сделал это и тотчас нащупал бумагу. Я сразу понял, что это те самые письма, вытащил пакет из дупла, прижал к груди и расцеловал. Прыжком перемахнул через стену, а всю дорогу до Хагенберггассе пританцовывал. Веца шла рядом, но я ее не замечал, сосредоточив все внимание на вновь обретенных письмах; прижимая их к груди, как ребенка, я взлетел по ступенькам в комнату и положил в ящик стола, где они хранились раньше. Вся эта процедура чрезвычайно ее взволновала, ревность растаяла без следа: Веца поверила в силу моей любви.

Кажется, после этого случая мы с Ибби стали видеться реже, но все-таки виделись, и, когда встречались в нашем кафе, я спрашивал ее о новых стихах. Она с удовольствием декламировала — для начала мне всегда хотелось послушать их по-венгерски, — а потом, когда я наслушаюсь, мы вместе садились за перевод. Помню, одно из стихотворений называлось "Самоубийца на мосту", другие — "Больной начальник над людоедами", "Бамбуковая люлька", "Памела", "Эмигрант на Ринге[1]", "Городской чиновник", "Дежавю", "Девушка с зеркалом". Со временем у Ибби на-

1. Ринг — бульвар в форме подковы, обрамляющий центральную часть Вены.

брался некий запас немецких переводов, но все время, что она жила в Вене, стихи эти нигде не печатались, радовались им только мы двое. Не услышь я эти стихи впервые на языке, в котором ни слова не понимаю, я, вероятно, остался бы к ним равнодушен. Но уж очень нравились мне эта их невесомость, это отсутствие всякой претензии на возвышенность или глубину, эта речитативность с легчайшими, всегда внезапными поворотами — словом, все то, что раньше мне не приходило в голову считать поэзией. Показывать ей свои стихи я не отваживался из робости. Ибби же на основании наших бесед, искрометных и пестрых, сделала вывод, что мои стихи — это нечто необыкновенное, что она не достойна их слушать. Она решила, что я не навязываюсь из деликатности. Не хочу ее посрамить — так она подумала; и, чувствуя благодарность, занимала меня всевозможными анекдотами о глупых мужчинах, которые пристают к ней и тщетно пытаются добиться ее благосклонности.

Все это тянулось вплоть до весны. Потом, наконец, ей стало невмоготу. Разгоревшийся между братьями бой принял нешуточные масштабы. Ибби все надоело, прискучило, и однажды она исчезла. Месяца два от нее не поступало вестей. И вдруг, когда я почти уже отчаялся, пришло письмо из Берлина. Дела у нее идут хорошо, писала она, сделанные мной переводы ее стихов принесли ей удачу. Уж не знаю, чьими рекомендациями она запаслась, уезжая в Берлин — она и позже об этом ни словом не обмолвилась, — но Ибби вдруг очутилась в самой гуще интересных людей, познакомилась с Брехтом и Дёблином, Бенном и Гроссом[1], ее стихи взяли в "Квершнитт" и "Литерарише вельт"[2] и вот-вот напечатают. Затем пришло второе письмо — с уговорами поскорей приехать в Берлин, хотя бы на время летних каникул. У меня ведь будет свободное время, целых три месяца — с июля до начала октября. Один ее друг-издатель готов пригласить меня, он ищет помощника, который собрал бы материал для его книги. Со здешними знаменитостями я справлюсь играючи, а у нее накопилось столько новостей, что их и за три месяца не расскажешь.

Чем ближе к лету, тем чаще приходили письма и тем настойчивей они становились. Неужели мне так уж необходимо каждое лето отправляться в поход по горам? Горы я и без того знаю, да и вообще, что может быть скучней гор? У гор есть одна пугающая особенность — они никогда не меняются, а значит, никуда от меня и не убегут. А вот надолго ли Берлин останется таким интересным городом, как сейчас, это большой вопрос. И что она будет делать, когда у нее закончатся все переводы? Лучше меня она никого не найдет; да это же вовсе и не работа, мы просто сидим себе вместе и болтаем, и вдруг на тебе — получились стихи. Неужели я так жесток, что обреку ее на голодную смерть, когда наконец-то у нее появилась возможность прокормиться стихами?

1. Бертольт Брехт (1898–1956), Альфред Дёблин (1878–1957), Готфрид Бенн (1886–1956) — на тот момент крупнейшие представители немецкого литературного экспрессионизма; Георг Гросс (1893–1959) — выдающийся немецкий график и живописец, карикатурист; в 1933 г. эмигрировал в США, в Германию вернулся в 1958 г.

2. "Квершнитт (Профиль) — журнал актуальных вечных ценностей" — один из важнейших немецких литературно-художественных журналов 20-х гг., выходил в Берлине в 1924–1933 гг., потом был запрещен нацистами. "Литерарише вельт" — влиятельный немецкий литературный еженедельник, издававшийся в Берлине Эрнстом Ровольтом и Вилли Хаасом в 1925–1933 гг.; с 1998 г. снова начал выходить как воскресное приложение к еженедельнику "Вельт".

Наверное, Ибби и вправду думала о переводах, но мне хотелось бы верить, что куда больше ее привлекали наши беседы: ведь мне она может сказать решительно все, может язвить напропалую, не рискуя поссориться с тамошними друзьями. Как найти в себе силы, чтобы о столько помалкивать? Однажды она написала, что если я в самом ближайшем будущем не приеду, то скоро прочту в газетах ужасное сообщение о том, как одну поэтессу в Берлине из-за вынужденного молчания разорвало на части.



Сообщения Ибби так умело дозировались, что недоговорки бросались в глаза: дескать, о чем в письме не напишешь, о том она расскажет в Берлине. Здесь столько занятного и диковинного — смотришь и глазам своим не веришь.

С каждым новым письмом мое любопытство росло. Все, кого Ибби упоминала, уже успели прославиться. Из поэтов, которых она называла, я мало кого читал, хотя знал, как и всякий, их имена. Но важнее всех них, вместе взятых, был для меня Георг Гросс. Мысль о том, что я смогу увидеть этого человека, определила мое решение.

15 июля 1928 года — семестр только-только закончился — я поехал на лето в Берлин.

# Людвик Вацулик

*Людвик Вацулик с книжкой "Исправленные песенки". Прага, сентябрь 2007*

## *Эссе*

*Переводы с чешского*
*Вступление* Сергея Скорвида

Прага, лето 1968 года. "Проявлением открытого и координированного наступления реакции стало опубликование 'Двух тысяч слов' — контрреволюционной платформы, служившей прямым руководством к насильственным действиям и разрушению социалистического строя. Это контрреволюционное воззвание зашло особенно далеко в разжигании ненависти к Советскому Союзу и даже открыто угрожало нашим союзникам вооруженным конфликтом", — так по прошествии времени преподнесен был тем, кто не знал или же "знал, но забыл", этот выстраданный манифест чехословацких поборников социализма с человеческим лицом в резолюции декабрьского 1970 года Пленума ЦК КПЧ "Уроки кризисного развития в компартии Чехословакии и обществе после XIII съезда КПЧ"[1]. Автором "Двух тысяч слов" был Людвик Вацулик (р. 1926), в ту пору ведущий чешский публицист, признанный глашатай поколения "пражской весны", а также с жадностью читаемый и бурно обсуждаемый прозаик.

С 1965 года Вацулик печатался в главных реформаторских периодических изданиях страны (газетах "Литерарни новины", "Литерарни листы" и "Листы"), а в 1967 году привлек к себе внимание, заявив на III съезде Союза чехословацких писателей, что "за двадцать лет у нас не был разрешен ни один человеческий вопрос", после чего его исключили из КПЧ. В литературу же он всерьез вступил лишь

© Ludvík Vaculík, 1990, 1991
© Нина Фальковская. Перевод, 2008
© Юзеф Пресняков, наследники. Перевод, 2008
© Сергей Скорвид. Вступление, 2008
Фото Сергея Скорвида.
Редакция благодарит Людвика Вацулика за любезно предоставленное право безвозмездной публикации его эссе на страницах журнала.
1. Уроки кризисного развития в компартии Чехословакии и обществе после XIII съезда КПЧ. – Прага: Орбис, 1988. С. 31.

за год до этого — романом "Топор" (1966), где, опираясь на знание жизни родной ему Моравии, показал столкновение идеалистических устремлений молодого мечтателя с бесчеловечностью новой власти. "Топор" наряду с "Шуткой" Милана Кундеры видный чешский критик Вацлав Черны оценил как "роман почти великий".



"Но раз уж мы так откровенно высказались и настолько раскрылись в своем намерении очеловечить этот режим, то теперь нам остается лишь довести дело до конца. Иначе старые силы жестоко нам отплатят... Время, которое наступает, станет решающим на много лет вперед, — писал Вацулик в 'Двух тысячах слов' и продолжал в манере, что до сих пор узнается в его очерках и фельетонах: — Время, которое наступает, — это лето, пора каникул и отпусков, когда нам по старой привычке захочется все забросить. Но спорим, наши милые оппоненты не дадут себе отдыха... Будем же следить за тем, что происходит, стараясь это понять и дать ответ".

Что еще тем же летом произошло, хорошо известно: старые силы и вправду отплатили жестоко. В 1970—1980-е годы. Людвик Вацулик выступал активным деятелем культурной и политической оппозиции в Чехословакии: как один из организаторов чешского самиздата выпускал серию "Засов", в которой увидело свет несколько сотен произведений запрещенных авторов, был сооснователем общественного движения "Хартия-77", за что преследовался органами госбезопасности. В творчестве вслед за экспериментом в жанре триллера "Морские свинки" (1973 — в самиздате, 1977 — в Торонто) вновь обратился к публицистике: начиная с 1975 года, писал каждый месяц по фельетону; после "бархатной революции" они были изданы в сборниках "Весна наступила" и "Августовский год" (1990; первый выходил и в самиздате, 1987). Более ранние фельетоны конца 60-х годов объединил сборник "Старая дама развлекается" (1991), а более новые, первой половины 90-х, — сборник "У озера паршиво играть" (1996). Вацлав Гавел, характеризуя фельетоны Вацулика, очень верно написал: "Это какая-то новая, совершенно специфическая форма, в которой различные общие размышления, конкретные впечатления и наблюдения, злободневность и личный опыт переплавлены и весьма своеобразно и искусно скомпонованы в определенного рода художественные микроструктуры, воздействие которых во многих отношениях выходит за рамки того, чего обычно ожидают от фельетона".

С рубежа 1979—1980-х годов автор начал работать в новом жанре беллетризованного дневника. На основе дневниковых записей он создал, пожалуй, самое значительное свое произведение — о судьбе человека в тоталитарной Чехословакии — "Чешский сонник" (самиздат, 1981; Торонто, 1983; Брно, 1990), а позднее в форме дневника написал роман "Как делается мальчик" (1993). Во второй половине 90-х годов он опубликовал еще две мемуарные книги, "Дорогие однокашники" (1995) и "Невоспоминания" (1998), а в начале XXI столетия закончил рукопись, начатую в 1969 году, выпустив ее под названием "Дорога на Прадед" (2001); составил очередной сборник фельетонов 1989—2001 годов "Последнее слово" (2002); в развитие темы романа "Как делается мальчик" сочинил историю любви, взрывающей все возрастные барьеры "На прощание — к девственнице" (2002); издал сборник своего любимого моравского фольклора (ибо Людвик Вацулик как истинный мораванин превосходно поет!) — "Исправленные песенки" (2006); вернулся к жанру беллетризованного дневника в книге "Уроки игры на фортепьяно" (2007); наконец, составил еще один сборник из фельетонов, выходивших в газете "Лидове новины" все в той же его рубрике "Последнее слово" с 2002-го по 2007 год, под названием "Деревянная мысль" (готовится к изданию).

Как можно видеть, фельетоны, а часто также памфлеты, вырастающие порой в пространные эссе, на протяжении более тридцати лет составляют "сквозной" жанр творчества Людвика Вацулика. Ряд таких его эссе разных лет в переводе Юзефа Преснякова уже печатался в журнале "Иностранная литература" (2001, № 5). Ту публикацию открывал актуальнейший для последних десятилетий нашей истории текст "Моя Европа", о котором Милан Кундера совсем недавно, в выступлении по

случаю присуждения ему Государственной премии Чешской Республики в области литературы за 2007 год, вспоминал:

"Двадцать лет назад я опубликовал во Франции в своем переводе эссе Людвика Вацулика 1987 года 'Моя Европа'. К тому времени я уже многое написал по-французски, но поверьте, в смысле языка никакой французский текст не давался мне с таким трудом. Потому что у Вацулика нет ни одной фразы, которая сама себя воспринимала бы всерьез, каждая из них мудра, но нарочно притворяется наивной, и это как раз стиль, к которому французский язык не привык, так что я был горд тем, что смог ему этот стиль "навязать". В своем эссе Вацулик с двадцатилетней дистанции бросает провидческий взгляд на Европу наших дней. С востока и с запада она окружена двумя огромными пространствами, совершенно унифицированными и замкнутыми в себе, в то время как богатство Европы кроется именно в ее разнородности, разнообразии и многообразии, и если она от этого когда-либо откажется, то откажется и от самой себя".

В этом номере читателю предлагаются еще четыре фельетона, или эссе, яркими штрихами рисующих Чехию последних сорока лет ее истории в контексте столь изменившейся за это время Европы.

## В*дох*

Событие 1968 года, ту Пражскую весну, я переживал в большей степени как событие моей личной жизни. И место я ему определил соответствующее: постепенное забвение. Поэтому меня всегда удивляет и тревожит, когда кто-нибудь задает мне вопрос о том времени. "А тебе-то что?" – думаю я. Для меня это дело прошлое, я его пережил и уже никогда к нему не вернусь.

Но правда и то, что без этого я был бы не таким, каков я есть, да и все чешское общество было бы не таким, каково оно сейчас. Может, оно было бы "восточнее". Стоит хотя бы взглянуть на Словакию, где в 1968 году демократические изменения проходили медленнее; собственно, они были тенью, эхом происходившего в чешских землях. Роль и место Александра Дубчека нас с толку не собьют: им, ведущей фигурой чехословацкой Коммунистической партии, двигали силы, сформировавшиеся здесь. Этот процесс проходил в Словакии иначе и позже, уже после августовской оккупации: с Дубчеком во время гусаковской нормализации поступили как с чехом! А в Словакии и так называемая нормализация была менее резкой, что явно стало одной из причин разногласий, приведших к разделению Чехословакии. Этим объясняется и то, что после ноября 1989 года словаки воспринимали Дубчека как возможного президента республики, а для нас, чехов, он был в основном политической фигурой, принадлежащей прошлому, и значение имел лишь символическое.

В чешском политическом сознании Дубчек обладал некоторым весом только для тех людей, кто не смог верно оценить Пражскую весну, а потому не понял, что с ее поражением закончился и ее смысл. Державы, задушившие нашу попытку реформировать социализм, задушили и наше доверие к социализму: с этим было покончено. Движение мысли уже не останавливалось на "социализме с человеческим лицом", оно шло дальше, заставляя думать о восстановлении либеральной демократии. Экономически это означало обновление капитализма; однако понять его новую критику, постичь его ошибки, приведшие у нас к социализму, на мой взгляд, не удалось. Вот почему трудно критиковать нынешнюю систему так, чтобы не подыгрывать при этом коммунистам. Наверное, в том числе и с этим связаны неудачи социал-демократии. То, что восстанавливается у нас под эвфемистическим названием "ры-

ночная экономика", имеет много общего со старой капиталистической эпохой первоначального накопления. За прошедшие сорок лет у нас не только не возникло никакого нового социалистического человека, мыслящего ответственно и неэгоистично, но еще и было потеряно время, когда можно было бы культивировать западный капитализм.

Конечно, если говорить о назидании остальному миру, то поражение Пражской весны оказалось более важным, чем ее эвентуальное выживание и медленная деградация или же долгий трудный путь к полной демократии, который лишь продлил бы во времени европейские иллюзии о социализме. Так что, хоть у меня и нет причин возвращаться к 1968 году, значение его велико: это был вдох. За несколько бурных месяцев в людях проснулось нечто, что они еще помнили из довоенной демократической республики. В период свободы слова старшие поколения успели высказать мысли и истины, сформулировать, словесно оформить опыт, который не довелось пережить поколениям молодым. На страницах газет и на улицах воскресла атмосфера дискуссий эпохи Масарика. А еще тогда был ошеломительный подъем того, что зовется национальной гордостью и чего чех с его самоиронией часто стесняется: когда на улицах наших городов появились танки, они ровным счетом ничего не добились. Мне представляется человек, загнанный под воду, но сумевший на несколько секунд поднять над ее поверхностью голову и сделать вдох. Пережив следующие минуты, он получает надежду на спасение. Не будь вдоха в 1968 году, кто знает, в каком состоянии застали бы нас европейские перемены.

Когда кто-нибудь спрашивает меня о том давнем событии, я не знаю, проявляет ли этот человек вежливый интерес "по случаю юбилея" или надеется извлечь какой-либо урок. А меня и нас уже заботит иное: что такое эта самая объединенная Европа, чем плохим она нам грозит, чего хорошего можно от нее ожидать. И как в ней защититься от потребительства и рынка. Но главное: есть ли нам что защищать?

*26.8.1993*

## *Осень наступила*

Солнце перевалило через меридиан и уходит к югу. Дни становятся короче, а ночи длиннее. Земля еще излучает тепло, но небо все холоднее. Когда наступает вечер, на траву ложится роса. По утрам в долинах стелется белый туман. Листья на деревьях желтеют и опадают с веток. Лето ушло, и начинается осень.

Когда наступает осень, на полях прибавляется работы. Крестьяне уже свезли в амбары богатый урожай зерна и теперь копают картошку. Сахарная свекла тоже ждет заботливых рук работниц. Поля опустели, только палисадники пестреют осенними цветами. И садоводы пожинают плоды своего труда. Стоя на лестнице, они срывают яблоки и груши и кричат детям: "Дети, несите еще корзины!" На лугах пасутся стада. Коровы будто чувствуют, что недолго им осталось, и пасутся спокойно и старательно. Только пастуший пес резвится, бегает за каждым зайцем, а как почует в траве мышь, так принимается бешено разрывать дерн. Вендулка над ним смеется: "Вот глупый, тебе ее не поймать! Ее там уже давно нет!" Когда прилетает ветер, мальчишки запускают змеев. У кого змей лучше и веревка длиннее, тот запускает его выше всех. Солнце рано клонится к западу, но над полями еще долго вьется дым.

В школе весело. Начался новый учебный год. Дети вновь сели за парты как ни в чем не бывало. Учительница начинает их учить: "Повнимательнее, дети!" И потом рассказыва-

ет, что наступила осень. Листья с деревьев опадают, птицы улетают в теплые края, люди собирают урожай, и природа готовится ко сну. Потом учительница ведет детей на прогулку, чтобы они увидели, что так оно и есть. Они идут по лугу, усыпанному цветами-безвременниками. С деревьев на опушке леса падают желуди. Дети собирают желуди. Дома они будут с ними играть. Вендулка с Витей заходят в лес, надеясь найти там грибы. Но учительница кричит им: "Витя! Вендулка! Не ходите в лес! Там в этом году много чужих солдат!"

Пришла осень и в город. Засыпала пестрой листвой дорожки в парке. На лавочках сидят старики, дремлют или читают газеты, хотят насладиться последним теплом и светом. Мамы приводят сюда маленьких детей. Дети играют в песке, а мамы тем временем разговаривают. Но осень в городе приносит и заботы. Когда приходит осень, надо заготовить в подвале запас угля и картошки. Об этом позаботится папа. А вот мама позаботится о том, чтобы у всех была теплая одежда. Поэтому в один из выходных дней мы все отправляемся за покупками. В нашем городе много магазинов. Но и людей в нем тоже много, и все они знают, что зима на носу. Прямо не протолкнешься!

На заборе появились свежие афиши. Они сообщают про новые развлечения для детей и взрослых. Каждый найдет для себя что-нибудь интересное. Кто-то пойдет в театр, кто-то больше любит кино. А если холодный ветер принесет дождь, то многие останутся дома, чтобы слушать радио или смотреть телевизор. Да и хорошая книга пригодится. Много чего надо приготовить на зиму. Нам нужны теплые пальто, крепкая обувь, интересные фильмы и спектакли, а главное — много хороших книг. Зима может быть суровой!

В один из осенних дней на домах появляются флаги. Да и во всех окнах висят красно-сине-белые флажки. "Это почему?" — спрашивает папу Иржик, глядя во все глаза. Папа молчит, а Витя отвечает Иржику: "Это в память о дне, когда возникла наша свободная Чехословацкая Республика". Витя точно знает, им учительница говорила. А Иржик не понимает. Он еще маленький. Папа, Иржик и Витя идут в гости к дяде. Дядя всегда ругается, а папа с ним спорит. "Ну уж и заварили они нам кашу!" — бранится, как обычно, дядя. "Успокойся, им же ее первым и расхлебывать", — возражает папа. Они бы так и спорили без конца, если бы тетя не перевела разговор на другое. "Зима на носу", — говорит тетя. Дядя отвечает ей: "Эту зиму правительство не переживет". (Витя думает про себя: это они про меня, про Витю.) А за Витю бояться нечего. У него есть пальто, ботинки, коньки, лыжи и много хороших книг. Он-то зиму переживет.

*2.10.1968*

*Перевод* Нины Фальковской

## *Похвала цензору*

Времен без цензуры я, собственно, и не знал. Когда я начал публиковаться, цензура уже твердо стояла на ногах. У нее было свое ведомство, называлось оно Государственным управлением контроля печати (ГУКП). В каждом крупном издательстве или органе печати, на радио и на телевидении сидел "гукэпэшник", имевший свои особые знак и номер, без ссылки на которые ничто не могло выйти в свет. Ему представляли оттиски страниц или отснятые программы. Удручающей особенностью было то, что цензор отказывался читать вашу работу заранее, в рукописи, хотя для редакции это было бы удобнее. Нет, он копался в уже готовой работе. Причем после изъятого абзаца или строчки

не должно было оставаться пустое место: нельзя, чтобы читатель догадывался о цензуре. Рядовой редактор, как правило, с цензором не общался, для этого были главные редакторы. Правда, на радио я своего цензора знал, но мы обменивались с ним только партийным приветствием "Честь труду", а никак не мнениями. И лишь однажды, на самом пороге свободы печати, весной 1968 года, он сказал мне: "Товарищ Вацулик, с тобой бывало нелегко, однако читал и слушал я тебя с большим удовольствием". Из чего следует, что у него выработался кое-какой вкус и что человек он был неплохой. Фамилия его была Смолик.

О цензорах рассказывали смешные истории. Главные редакторы с удовольствием описывали их примитивность, догматичную упертость и феноменальную несообразительность. "Что же это за зверь такой — цензор?" — задавался я иногда вопросом. Некоторые и впрямь напоминали туповатых медведей: ничего не понимали и были запрограммированы на отдельные слова, которые единственно и вызывали их автоматическую реакцию. Таких можно было провести, употребив какое-нибудь другое слово. Например, прочитав "совесть", такой цензор тут же делал стойку и начинал принюхиваться ко всему тексту. Но вместо слова "совесть" можно было сказать слово "ответственность". Партия всегда требовала от людей ответственности, хотя и толковала ее по-своему, а вот "совесть" отдавала враждебной идеологией. Поэтому цензор предлагал словосочетание "партийная ответственность", и главный редактор передавал его пожелание автору. На это вы пойти не могли, потому что слушатель или читатель тут же записал бы вас в партийные пропагандисты. Но вы-то имели в виду ответственность перед всем народом; а цензор к тому же хотел заменить слово "народ" словами "трудящиеся" или "социалистическое общество". То есть вас спихивали в область избитых газетных клише, которых вы как раз и хотели избежать, употребив слово "совесть". Сейчас я объясню, как лично я действовал в подобных случаях. Например, в моем тексте было: "Порядочный человек из хорошей семьи знает, что он *должен* делать". Цензорский карандаш растерянно ёрзал по этим словам, решая, как поступить. И когда, устав от раздумий, он все же застревал на словах "что он должен делать", я предлагал вариант: "Порядочный человек знает, что он *не должен* делать". Этот пример я придумал прямо сейчас, на ходу, как некую модель. Но если бы кто-нибудь в то время попробовал записывать все варианты, предложенные мною ради того, чтобы обойти цензуру, то могла бы выйти книга поувесистее тома из собрания сочинений Ленина.

Однажды я написал некий текст и отдал его тогдашнему главному редактору "Литерарних новин" ("Литературной газеты") поэту Иржи Шотоле. Он прочитал его, скептически хмыкнул, но все же отослал в набор. На другой день, скорбно качая головой над оттиском полосы, он показал мне место, где рукой цензора были отмечены примерно четыре строчки. Я без промедления переписал их. Шотола прочитал и сказал уныло: "Получилось еще хуже!" А потом послал оттиск в отдел контроля. Полоса вышла без изменений — видимо, цензор просто взглянул, переделаны ли обозначенные им строки. Впрочем, такое могло сойти с рук, а могло и не сойти. Я привожу этот случай в доказательство того, что цензура страшна прежде всего тогда, когда и автор, и главный редактор заранее смиряются с ней и норовят обойти ее на цыпочках, как злую собаку, что сидит под весьма условно оправдывающей ее действия табличкой "Злая собака".

Итак, кого-нибудь из цензоров и впрямь можно было перехитрить, но порой случалось, что разнос делала более высокая инстанция. Однажды я написал заметку строчек примерно на двадцать о смерти моего знакомого рабочего: написал, как он был честен, каким был хорошим специалистом, какой у него был строптивый ха-

рактер... подчеркнул, что жил он скромно и похоронили его без почестей. Заметка понравилась, ведь о рабочих полагалось писать как можно чаще. Но озаглавил я ее: "Опять умер не тот". Главным редактором был тогда Милан Юнгман; шеф-редакторство в "Литературке" временами напоминало работу домен: пять минут — и новая плавка! Юнгмана за этот заголовок вызвали на ковер, цензор тоже схлопотал выговор: за мной, мол, нужен глаз да глаз... В вину же мне вменялось следующее: "Так кто, по-вашему, товарищ Вацулик, должен был умереть?" "Да кто-нибудь из вас, сволочей!" — правильно читал между строк наш читатель.

Однако попадались и смышленые, даже в какой-то степени образованные цензоры... впрочем, к культуре и образованности они относились очень цинично. Такие люди, признавая на словах вашу правоту, тут же приводили вам причины, по которым вы не должны говорить правду. Они разделяли мнение редакции, но при этом руководствовались засекреченной информацией, полученной сверху. Поэтому они цензурировали вас якобы с сожалением и как бы не навсегда, обнадеживая, что ситуация когда-нибудь может измениться к лучшему. Это были иезуиты, а некоторые из них наверняка являлись еще и тайными еретиками, державшими дома целые библиотеки запрещенных произведений. Если бы человек мыслящий, которому выпало стать цензором, собрал воедино все то, что он навычеркивал у разных писателей, он получил бы в свое распоряжение картину действительности более точную и объемную, чем ту, что рисовал по отдельности каждый из авторов.

Я говорю здесь о пятидесятых и шестидесятых годах, когда цензура в Чехословакии имела свои помещения, свой адрес, свой кодекс и свою мораль. Цензура была "коммунистической и принципиальной", и с ней можно было спорить о принципах. Редакция могла апеллировать к высшим инстанциям и — при условии наличия крепкого, толкового главреда и не сволочного парткома — имела даже шанс выиграть. На радио не раз случалось, что зарубленную программу передавали на закрытое прослушивание, где сидели цензор, директор программ, ответственный редактор, представитель парткома, а нередко и я, автор. Спор шел о том, кто, собственно, лучше служит интересам партии, правильнее воплощает в жизнь ее последние постановления. Иногда использовались всевозможные маневры: цензор шел на уступки, если редакция обязывалась в следующей передаче "выпятить" другой аспект проблемы. Была разработана методика и тактика уравновешивания "коммунистической критики" и "коммунистической самокритики", "коммунистической открытости" и "коммунистической дисциплины". На этой почве даже возник новый жанр радиопублицистики — так называемые проблемные программы. Тогда, в начале шестидесятых, это был потрясающий прогресс: партия признала, что проблемы существуют и что о них пора заговорить вслух. Из недельного потока пустых словес и пропаганды, на которую никто давно не обращал внимания, слушатель вдруг получил возможность выуживать пятнадцатиминутные и получасовые передачи о том, что было ему действительно интересно. Люди начали читать газеты и слушать радио. Они принялись писать в редакции письма, работа журналиста стала находить отклик, политическая линия радиовещания была выбрана верно, так что цензор сидел себе да радовался! Разве не был и он соавтором смелых экспериментальных передач? Ведь это он их не задавил! Весь этот двадцатилетний подготовительный процесс между 1948-м и 1968-м был годами воспитания Цензора, то есть воспитания Коммунистической партии Чехословакии. Знаменитая Пражская весна 1968 года наступила как раз в соответствии с таким сценарием: злая собака переставала рычать; сидя под надписью "добрая собака", она позволяла "социалистическому обществу" чесать себя за ушами, то и

дело добродушно напоминая: "Я уже не такая злая, и это целиком моя заслуга!" По подобному сценарию работает сегодня и Горбачев.

Я принадлежал тогда на радио к группе застрельщиков этих самых "проблемных передач"; другие передачи меня вообще не интересовали. С риском для себя и для своего доброго начальства я заходил все дальше. В один прекрасный вечер, как раз когда я получал правительственную награду за "проблемные передачи" (кажется, ее вручал министр культуры), по радио шла очередная такая программа; она настолько рассердила вышестоящие партийные органы, что они потребовали от радиопартийцев исключить меня из своих рядов. Однако моя парторганизация не могла отказаться от выпестованного ею самой бунтаря: в этом ощущается тлетворное влияние некоей европейской добродетели, разъедавшей неевропейские диктатуры изнутри. В результате партком выторговал смягчение наказания: мне предстояло провести месяц на заводе, выбранном по моему собственному усмотрению. "Но, товарищи, это вовсе не значит, что в дальнейшем мы будем бояться и избегать проблем!" — восклицал директор программ на партийном активе. Это была его любимая присказка на протяжении всего "процесса возрождения" шестидесятых годов — вплоть до той августовской ночи, когда, отвечая тайным желаниям нашего директора, танки наконец-то избавили его от всех проблем. Зовут этого человека Карел Хофман.

На случай, если мой текст будет читать иностранный читатель: я должен вам кое-что разъяснить. Я описываю здесь ситуацию в коммунистическом государстве, где работать в сфере культуры и в средствах массовой информации дозволялось только коммунистам или так называемым надежным беспартийным. Однако кроме них в стране существовал еще целый слой авторов и творческих работников, которые не имели чести знать своего цензора и не могли вести хитроумную борьбу с цензурой, так как сразу после победоносного февраля 1948 года она полностью отрезала им доступ к арене этой борьбы. За поведение, которое я в шестидесятых годах искупал месяцем увлекательного пребывания на заводе, беспартийный в пятидесятые годы отправился бы прямиком за решетку.

Когда я читаю сегодня, что наши люди пишут о тех "замечательных временах" (причем потом эти их писания переводятся и печатаются за границей), то говорю себе: это же чистой воды иллюзии! Иностранец может подумать, что до прямой русской оккупации в 1968 году чехословацкий социализм был неким зеленым побегом на дуплистой вербе европейской демократии. Что у нас привольно жилось свободному мышлению, оригинальному творчеству и всяческому гуманизму. И что зло, мол, явилось только в ночь с 21 на 22 брежневбря. "Нет, опять нет и еще раз ни фига подобного!" (Шмилауэр). Просто нашему народу чуть-чуть повезло: в том Победоносном феврале, когда коммунистическая партия захватила всю власть, в ней оставалось много принципиальных и честных людей, мечтателей, простачков, поэтов и сумасбродов, которых она вобрала в себя ранее и без которых ни за что не смогла бы получить такое влияние и такой кредит доверия. Избавиться от этих людей единым махом партии не удалось, и именно они и делали свое дело на протяжении целых двадцати лет. А русские потом попросту исправили прежнюю ошибку. Они, собственно, и пришли для того, чтобы сказать: "Этим людям не место в нашей партии вашей страны, их место еще с 1945 года было в наших концлагерях!"

Сегодня в Чехословакии нет официальной цензуры, ведь мы довоспитали ее до самороспуска весной 1968 года. И тем не менее у нас все-таки есть цензура, причем тяжеловесная и тупая, как танк. Спорные статьи и передачи имеют теперь своим результатом не принципиальную дискуссию, а немедленный за-

прет. Борьбу с цензурой вести уже невозможно, потому что бороться не с кем. Это произвол без правил, послушание без принципов и цинизм без стыда, так как любой редактор и его начальник знают, как обстоят дела в действительности. Где-то вы теперь, честные и глупые товарищи из Государственного управления контроля печати?..

И пусть это станет наукой для вас, французы, итальянцы и более башковитые немцы! Когда у вас победит коммунизм (или близкая ему разновидность социализма), то несколько лет непременно уйдет на борьбу между отдельными личностями, в которой, разумеется, победят самые неуступчивые. А когда эта борьба закончится, когда прочно установится новая власть, без промедления требуйте цензора! Требуйте, чтобы у цензуры были собственное здание и почтовый адрес, а в Германии еще и униформа. Требуйте в цензоры человека — глупого или умного, толстого или тонкого. С ним можно будет двадцать лет договариваться. И не исключено, что вам удастся вернуть себе двадцатую часть утраченной свободы.

С детства я мечтал стать писателем. Я непрерывно писал, так сказать, в частном порядке. И вот я стал большим, обзавелся временем, чтобы писать и публиковаться, но осознал вдруг, что не спешу делать это. А почему, собственно? Да потому, что посмотрел, что именно печатают, и понял: это не для меня!

Первой вещью, которую я написал и которую опубликовали, была заметка о почтовых марках, появившаяся по случаю всемирной филателистической выставки в Праге. В том, 1956-м, хрущевском году (критика Сталина) начал выходить молодежный литературный журнал "Кветен" ("Май"). У меня там взяли парочку вещиц, кто-то на радио обратил на них внимание, и меня пригласили обсудить возможное сотрудничество с молодежной программой.

Люди, среди которых я родился, смотрели тогда на журналистов как на своих врагов: мои близкие принадлежали к тем крестьянам, у кого во имя социализма уводили со двора скот и выкорчевывали бульдозером деревья с межи... а особо неподатливых отправляли в концлагеря. Быть журналистом при президентах Готвальде и Запотоцком считалось позорным! Когда я стал им при Новотном, в почти таких же условиях, я долго стыдился этого, пока у меня не появились боевые заслуги в борьбе с диктатом глупости. На собеседование на радио я пришел заинтригованный и настороженный. Меня приняла старшая редакторша Дагмар Максова на пару с редакторшей Дитой Скаловой. Как-то они не очень мне понравились: держались по-мужски деловито да к тому же обе курили. Они стали объяснять мне профиль своей программы, мы поговорили на разные темы, я предложил написать о вреде курения, они отнеслись к этому с юмором, и передача вышла в эфир. За год я создал для них с десяток аполитичных текстов о воспитании, и они пригласили меня работать на радио. Это было признаком не только успеха, но и опасности. Не окажусь ли я пристегнутым к поводку? И я решился сказать вот что: "Должен предупредить, что я, возможно, не тот, кто вам нужен... Я не верю в ведущую роль рабочего класса". Обе партийки расхохотались.

Наша радиоредакция, состоявшая примерно из десяти человек, была составной частью отдела, занимавшегося передачами для детей и молодежи, для школ и родителей, для воинских частей; в программу входили также музыка, литература, радиоспектакли и языковые курсы. Пугающая вывеска государственного радиовещания у многих вызывала отвращение, а я обнаружил за нею мозаику личностей, взглядов и талантов. Знакомясь с людьми, я часто не мог взять в толк, как они туда попали и там удержались. И лишь со временем я начал понимать, как много приходится претерпевать, преодолевать всеми правдами и неправдами человеку, которому есть что отстаи-

вать. Монолит общепартийных взглядов и политики крошился здесь на кусочки, образовывавшие самые разные конфигурации. Радиослушатель даже не догадывался, что одновременно с его борьбой за сохранение деревьев где-то рядом идет борьба за сохранение старинных сказочных персонажей. Когда сельскохозяйственная программа трубила ему о новаторских методах, согласно которым телят нужно как можно раньше отнимать от матери и держать в холодных деревянных одиночках, он не мог знать, что вся музыкальная редакция, подобно ему, уверена в том, что теленок должен быть под теплым бочком у коровы.

Наше радиовещание обязано было приучать юношество к политическому мышлению и гражданской активности: мол, **вы** — молодые граждане, будущие мастера и министры, учитесь, организуйтесь, осознавайте свои запросы и мечты и упорно претворяйте их в жизнь, боритесь с подлостью, будьте скромными, но гордыми... Могли ли мы знать, что, когда они начнут осуществлять всё это на деле, однажды ночью в страну нагрянут со скрежетом русские танки?..

Я бы сказал, что в то время, когда все вокруг нас старались избежать цензуры, мы намеренно шагали прямо в ее объятия. Я даже почти готов заявить, что в то самое время, когда большинство просто пыталось хоть как-то вынести, выдержать этот навязанный социализм, мы чуть ли не намеревались воплотить его в жизнь, словно бы сами придумали его и хотели продемонстрировать на радость всему миру. Поэтому хорошо, что 21 брежневбря мы схлопотали по затылку. Даже если социализм и осуществим, при нынешнем состоянии русской империи жаль тратить на него силы, время и здоровье.

Ну, а дальше я буду говорить только от своего имени. Даже в условиях полной свободы человеку нелегко бывает взяться за какое-то важное дело, разобраться в нем, а потом как можно более четко высказать то, что он узнал. У меня же все усложнялось необходимостью протолкнуть результаты раздумий через цензуру. Если не пропускали какое-то мое мнение или зарисовку из жизни, я предлагал очерк, если его тоже не удавалось пробить, я брался за притчу; не принимался я разве что за стихи. Цензура учила нас писать и читать. Она выпестовала двоякий смысл, подтекст и аллегорию. Сделала юмор утонченным. Под ее штемпелем расцвели метафорический способ выражения и дискретное мышление, за прыжками которого были не в состоянии уследить ни иностранец, ни идиот. Шестидесятые годы отмечены у нас развитием словесных искусств и кино, невероятного по своей "отдельности" от режима. Искусство просто перешагнуло через цензуру, отвергнув доступный для нее язык. Между творцами и публикой развилось понимание, невозможное для того, кто не прошел такую же школу. Сегодня мы часто с сожалением наблюдаем за тем, как неточно и порой неверно истолковывает некоторые созданные в нашей стране произведения западный читатель и зритель — даже при наличии самой доброй "политической" воли. На свой лад преодолел эту пропасть Кундера: он... как бы это выразиться поточнее... переводит нашу жизнь в плоскость, доступную западному пониманию.

Пожалуй, повсюду, где пишут и творят, так или иначе подает свой голос цензура — тихо или громко, на короткое или на долгое время. Если задуматься, то в европейской истории она непостижимым образом всегда оказывалась компонентом культуры. И каждый раз живое слово воскресало заново. То, что случилось с нами, — это преступная попытка лоботомии. Пациент, у которого эта операция пройдет успешно, до самой смерти остается идиотом. Именно такими мы им и нужны.

*Апрель 1988*

Последнее слово в этой газете я сегодня использую для заявления более или менее личного характера. Наконец-то я сниму с себя часть ответственности, которую я — в том числе, возможно, и из-за завышенной самооценки — культивировал в себе двадцать лет; я задумываюсь над обнадеживающими перспективами, не зная, чего мне теперь ждать от самого себя.

Режим пал способом, о котором можно было только мечтать: его попросту разбил паралич. Хотя потери, в том числе и людские, нам пока точно неизвестны. Ужасы, которых мы опасались, могут еще начаться. По-прежнему существует вооруженная Госбезопасность, это ведомство интриг против населения, которого должен бояться старый и новый Урбанек. Человек по имени Адамец не разочаровал меня — в том числе и своей отставкой. Радостным открытием стали студенты с их веселой строгой дисциплиной. Реабилитировали себя артисты. По-новому выглядели на своих старых местах многие журналисты, а также техники и работники всяческих вспомогательных служб радио и телевидения. Мы все время слышали о том, что у оппозиции нет якобы ни программы, ни готовности действовать, — а у нее оказалось и то, и другое, как только она впервые получила возможность объединиться в Гражданском форуме. Я не верил, что доживу до сегодняшнего дня. Однако упоение победой, которое я наблюдаю у молодежи, напоминает мне психическое состояние коммунистов после выборов в мае 1946 года. Вот об этом и пойдет сейчас разговор.

Сегодняшняя великая свобода слова и собраний началась для меня с цензурного вмешательства, самого поучительного из всех в моей жизни. В последнюю ноябрьскую субботу, когда на Летенском Поле проходил митинг, я с утра тоже попросил слова у организаторов. Мне сказали: приходите в полдень на место митинга. Там я узнал, что на мое выступление не рассчитывают, но что я могу пройти на трибуну. Я сказал, что не буду работать декорацией ради дела, о котором нельзя говорить. "А о чем бы вы хотели рассказать?" — спросили они. "Таких вопросов мне не задавала даже парторганизация перед съездом писателей в 1967 году", — ответил я и ушел.

Оскорбленный до самой глубины своих зимних ботинок, я принялся раздвигать толпу, валившую мне навстречу, и выбрался наконец на свободное пространство. Почувствовал дуновение свежего воздуха, увидел, как летят снежинки на солнечном свету. И от этой чистоты и ясности во мне поднялся — от ботинок вверх — торжествующий смех: "Это ведь не впервые с тобой, Людвик, помнишь? Подобное уже случалось!" А я и в самом деле вспомнил: в 1946 году я вступил в коммунистическую партию и буквально на другой же день с удивлением и обидой увидел ее нутро. Я чувствовал тогда, что обречен на недовольство собой и, возможно, даже на несчастье, но не догадывался, что пройдет целых двадцать лет, прежде чем я получу возможность забрать назад данное тогда слово и освободиться. И в том 1968 году я действительно решил, что навсегда освободился от коммунистической партии. Какой самообман! Нет, я освобождаюсь от нее только здесь, сейчас: да, я покидаю поле боя с компартией в связи с избытком бойцов. Молодость возвращается ко мне, повторял мой внутренний голос, когда я шел сквозь толпу, над которой радостно реяли флаги, теплые шарфы и дети.

Дальнейший ход этого события я наблюдал по телевидению. Ничто личное не могло испортить мою праздничную уверенность в том, что мы побеждаем. Однако позиция стороннего наблюдателя позволила мне осознать, что я и впрямь имею что сказать и что это очень хорошо, что я не выступил сегодня, так как

завтра я наверняка сумею высказаться лучше. Вечером я сообщил организаторам о своем желании. "А о чем вы собираетесь говорить?" — спросил голос в телефонной трубке. Я объяснил; он сказал, что все понял и что передаст мои слова другим. Утром меня пригласили прийти на митинг. Когда я уже стоял на пороге, раздался звонок и незнакомый голос сказал, что мое выступление по тактическим соображениям сочтено нежелательным. Я рассвирепел, никуда не пошел и революцию, усугубленную крепчающим морозом, опять смотрел по телевизору. Это восхитительное действо невозможно было испортить моими личными обидами; я даже радовался, что мне опять не дали слова, так как теперь-то я точно знал, чего именно не хватает в этом супе и как сообщить об этом самым кратким и выразительным образом.

На другой день утром я позвонил в штаб и заявил, что хочу выступить на Вацлавской площади; "...а если мне не дадут слова, — заорал я, точно партфункционер, которого оттесняют от власти, — то я найду свою собственную площадь!" Приятный женский голос пытался успокоить меня с помощью аргументов, которые ненароком выдали характер их споров о моей персоне: мол, мое главное дело — писать, а для моих речей момент сейчас неподходящий. Со злостью, которую я уже теперь разыгрывал просто смеха ради, я сказал: "Короче, передай им, что свое дело и свой подходящий момент я привык определять для себя сам!"

Этот подходящий момент наступил, как мне кажется, именно сейчас, и я сообщаю вам, что отныне моим главным делом будет что-либо иное, ибо, если забыть о том, что я рассказал чуть выше, я совершенно удовлетворен ходом вещей, хотя и не участвую в них. Может, организаторы и были правы, не дав мне слова; к тому же я привык, что они всегда в большинстве. Делается смешно и грустно, когда подумаешь, как мало весит одиночка, даже если его сила тоже приводит в движение общее большое дело.



В малодушной жалости к себе и в обиде я признаюсь только потому, что они помогли мне определиться заново: никогда больше я не стану чьим-то глашатаем, не приму ничей заказ, никто больше не призовет меня ни к порядку, ни даже к порядку дня. Уметь оборачивать поражение себе на пользу — именно этим я издавна и занимаюсь. С падением старого режима ко мне вернулась молодость — правда, на нее у меня уже осталось меньше времени и сил. Но я получаю то, о чем мечтал когда-то, хотя прежде ошибочно определял это как "свободу трудового народа". Самая тяжкая задача писателя не в том, чтобы быть с народом, а в том, чтобы выстоять самому или же с несколькими себе подобными либо родными людьми.

Поучительный случай времен новейшей революции помог мне найти себя. Он напомнил мне о том, чего ждал от общей свободы лично я. И надо же, ведь я чуть было не изменил своему пониманию вещей и тому своему решению, которое принял в куда более тяжелые и мрачные времена, когда Милан Шимечка с товарищами был в тюрьме, а я, ходивший тогда в его ботинках, написал следующее: "Ситуация может измениться так, как мы сегодня даже не можем себе представить... И улицы будут полны народа, который словно бы только теперь понял то, что мог понять намного раньше... но меня там не будет" (эссе "Ботинки Шимечки", февраль 1982).

*11.12.1989*

*Перевод* Юзефа Преснякова

# *Культура и медиа*

МГУ, 21 октября 2007[1]

## Борис Дубин

(Левада-Центр)

## *Литература и медиа? Литература как медиа. Литература в поле медиа*

Как социолога меня интересует не собственно классическая позитивистская социология – мол, вот пришли медиа, забрали у нас читателя. Мне все более интересна литература и словесные ремесла как тип особой организации опыта, все больше интересует человек как антропологический проект. Почему человеку понадобилась литература на определенном этапе его совместного существования, а потом – аудиовизуальные медиа и так далее? Что в его опыте произошло, почему стали нужны именно такие типы организации, хранения опыта, передачи другим? Куда важнее для меня вопрос не о том, отобрали ли аудиовизуальные медиа читателя у классической – привычной нам – бумажной литературы, а вопрос о том, что́ аудиовизуальные медиа как более поздний тип коммуникации открыли или могут открыть нам в самой литературе.

Так что я надеюсь прийти к самой проблеме типологии нынешнего читателя чуть позже, а пока хотел бы проработать само поле и подойти к литературе как форме или типу человеческого опыта.

Сама проблема очень непростая.

Проблемой и предметом нашего сегодняшнего разговора будет существование человека в смысловом мире: его способность создавать некий смысл, изобретать способ, форму хранения этого смысла с тем, чтобы передавать его другим, в том числе через пространство, время и прочее. Собственно, эта способность человека и будет предметом нашего разговора, по крайней мере, на первой стадии.

Классическую позитивистскую постановку вопроса – медиа отобрали читателя у литературы – давайте отодвинем сразу, потому что литература и есть первый тип массовых медиа, который сложился в мировой истории. Конечно, для этого ей пришлось вступить в союз, например, с газетой, стать романом-фельетоном, соответственно породить целые жанры в форме этого самого романа-фельетона (детективный роман, судебный роман, криминальный роман, сентиментальный роман и так далее). Характерно, что литература очень легко на это пошла, увидев в этом серьезные возможности не только для литературы, но и для литератора. Карьера Эжена Сю могла закончиться ролью светского льва, которую он исполнял, но он увидел в этом типе литературы – массовой литературе, идущей к читателю через газету, – возможность нового высказывания, обращенного к другим, непривычным кругам публики, и нового, поперек сословий, типа карьеры для самого себя и себе подобных.

Итак, литература как первый вид медиа. Давайте посмотрим на

1. В данную публикацию материалов "Круглого стола", проходившего в рамках Международной конференции "Литература и медиа: меняющийся облик читателя", не включены сообщения философов. (*Прим. ред.*)

нее из мира, к которому мы привыкли, где есть аудиовизуальные каналы коммуникации, Интернет. По каким осям стала развиваться литература как новая форма кумулирования, представления, организации опыта?

Я в чисто типологических целях хотел бы говорить, очень огрубленно, о двух модусах литературного высказывания. Они хорошо видны на том этапе, на котором литература только начинается (условно говоря, середина XIX века).

1. Путь повествования, путь сюжета.

2. Полюс визуальных искусств или полюс поэзии. Они тоже занимаются тем, что организуют наш опыт во времени, но они не рассчитывают и подгоняют время, как сюжетное повествование, торопящееся к финалу, — они время замедляют или даже останавливают.

Какой смысл в ускорении и в замедлении, остановке времени? Я перейду к выводам социологов из этого культурного материала. Какова функциональная роль сюжетного убыстряющего повествования? Таким способом литература может представить одну из главных осей, на которой строится вообще осмысленное социальное действие, — ось соревнования, ось достижения и успеха: герой достигает неких ценностей или целей. Ось сюжета и "отвечает" за эту ускоряющую, состязательную сторону действия.

Другая ось — замедление или остановка времени — представляет чувство солидарности, причастности через владение чем-то общим для данного сообщества или объединение читателей через то, чего мы не можем понять, через то, что мы потеряли или еще не обрели, но вот-вот найдем. Загадка объединяет нас в некое незримое сообщество. Чаще всего на ранних стадиях существования литературы эту сторону человеческой солидарности, единения берут на себя визуальные искусства, например, фотография. Мы объединяемся перед тем, что для нас очевидно. Вот оно! Только объединившись, мы увидели, что́ перед нами (représenter le présent — сформулирует эту задачу модерного искусства Бодлер). Литература не просто не чужда этому культу форм и образов, но литература XIX — середины XX начинается с этого "культа образов". Например, бодлеровская эстетика — его образность. У него же появляется характерная тема того, что невозможно увидеть: маски, вуали, ночи; того, что закрывает нам видение, осложняет простое, прямое зрение.

Литература, верная сквозному принципу модерной эпохи, принципу дифференциации, разделению разных типов деятельности, выделяет две специализированные формы для представления этих разных способов организации действия: визуальные искусства, или поэзию — для представления остановленного или разорванного действия, и роман (остросюжетный роман, детективный роман, приключенческий роман) — для представления достижения, соревнования, стремления к цели.

Итак, литература как медиа. Все классические позитивистские работы по социологии литературы так ее и рассматривают: как одно из средств коммуникации; и здесь же возникают пять основных вопросов к коммуникативному сообщению (их сформулировал Гарольд Ласуэлл): кто передает, что передает, кому передает, по какому каналу и с каким эффектом. Оставим их в стороне как более или менее готовые. Не менее важно, по-моему, создание незримого сообщества, внутри которого это сообщение передается и которым эта циркуляция создается. Литература в этом смысле не только средство общения, но и способ приобщения к этому самому сообществу. Всегда в литературном сообщении, как мне кажется, нужно выделять две драматические составляющие, которые находятся в конфликтном отношении друг с другом, и этот конфликт важен, он смыслотворческий, это одна из пружин литературного высказывания. С одной стороны, передать смысл, а с другой — указать или породить сами условия, дающие возможность создания этого смысла, очертить некое сообщество, через приобщение к которому мы становимся не только восприемниками этого смысла, но, в некотором роде, и его творцами. В акте

единения с этим незримым сообществом, воспринимающим, понимающим сообщение, мы воссоздаем себя как людей, которые живут смыслом, которые создают и понимают смыслы и которые передают порожденные и понятые ими смыслы другим. Искусство, литература в их новом, модерном понимании — это воссоздание себя в качестве человека, способного порождать смыслы не только для себя и для других, тебе известных, но и для неведомых других, неких "третьих лиц", которых здесь и сейчас вообще нет. Или, по-другому, это воссоздание сообщества, через причастность к которому мы и получаем возможность читать смыслы сообщения. Мы прочитываем сообщение не потому, что знаем язык, а потому что принадлежим к этому вот сообществу. И здесь один из планов коммуникации уступает условиям другого, они связаны друг с другом и поддерживают друг друга. Они, в этом смысле, находятся в постоянном магнитном сопряжении. Мы можем видеть в разных типах литературы, в разных ее жанрах, в разных типах поэтики преобладание той или иной тенденции: тенденции передать сообщение или передать, как говорил Вальтер Беньямин, "ауру" нашего единства, нашего совместного существования как людей, причастных к смыслу.

Неслучайно, как вы видите, я хожу возле сфер, которые принято называть религиозными, сакральными. Отсюда слова "приобщение", "причащение", "причастность" и так далее. Среди множества того, что новая литература наследует, она, конечно, наследует и опыт существования человека в сферах сакральных: наше отношение к предметам, которые лежат за пределами нашего существования. Но которые именно потому, что они лежат за пределами нашего опыта, выступают в качестве его условий, условий нашего совместного существования как существ разумных, понимающих друг друга и несущих друг другу какой-то смысл. Литература выступает своего рода аналогом, заменой такого рода практик.

И последнее — в связи с возможностями поэзии, визуальных искусств. Они не только наследуют сакральным практикам, они делают значения сакрального или генетически связанные с сакральным принципом построения высказывания. Что мы делаем, когда читаем стихи? Ведь мы не читаем строчка за строчкой. Смысл стихотворения возникает не из движения нашего глаза за ними, одной, потом другой и так далее. Смысл стихотворения вертикален. Иначе говоря, через прямое сообщение идет другая составляющая, вертикальная ось, которая сразу выводит на смысл, и только предчувствие этого смысла помогает нам воспринимать слово за словом, предложение за предложением. Мы исходим из презумпции того, что вся полнота смысла уже дана. Она нам не явлена, но она есть. Это допущение является условием возможности всякого частичного сообщения, предложения, стихотворения и так далее.

Это что касается поля. Теперь — к нынешней ситуации и возможности типологизации читателей.

Мне кажется, что мы сегодня, здесь и сейчас, в России 1990-х, а потом 2000-х годов, присутствуем, участвуем и живем в некоторой стадии очередной кристаллизации или, быть может, омертвения литературы и медиа в качестве средств сообщения. Между различными способами коммуникации, различными типами текстов, от литературы до визуальных (Интернет и др.), происходит очередной пересмотр отношений и вместе с тем рутинизация, отделение от разных типов коммуникации сложившихся, готовых, привычных для нас слоев, как бы сбрасывание этой "кожи" и вынесение из поля обсуждения.

Теперь о литературе в кругу массмедиа. Нам говорят, массмедиа отбирают читателя. Действительно, в телесмотрение ушли целые слои людей, ранее читавших. Преобладающая часть интеллигенции в 90-е годы перешли на трех-четырехчасовое смотрение телевизора, при этом не чувствуя, что эти часы у нее что-то "отбирают". Нынешнее телевидение построено как бы на двух типах коммуникации. Оно построено на сериале и на клипе, что очень похоже на то, что я раньше говорил о литературе. Клип останавливает время, взрывает или разрывает его. Сериал

постоянно жует и вытягивает это время, раз за разом вставляет пропущенные части, делает наш опыт непрерывным изо дня в день и к тому же ведет к благим, прекрасным целям (свадьба, богатство). И клип, который в этом смысле нас ставит в тупик: что мы перед собой видим? Повествование останавливается, и некоторая загадка данного нам визуального образа, всегда недостаточного, отсылающего куда-то не сюда, не наглядного, а заставляющего нас думать, что за этим, — это другой тип телеповествования. Очень характерно, что любители телесериала не выносят рекламы, потому что это переключение самого устройства опыта.

Другой читательский полюс сегодня я хотел бы представить в типологическом смысле. Это — читатели поэзии, абсолютно исчезающий человеческий вид, но он ведь всегда находится в состоянии некоего исчезновения. Это способ существования, который дает ощущение пограничности, а это совершенно по-другому организует опыт: тут человек не боится вступать в воды последнего дня. Поэзия заставляет его соприкасаться с таким опытом, который предел, небезопасен, который в любом случае проблематичный, загадочный.

Но это полюса, а что между ними? Между ними, мне кажется, с одной стороны, осколки и обломки того, в чем мы жили, поскольку в культуре, литературе ничего не исчезает, оно уходит в другое место, на другие роли и получает в общем узоре другой смысловой заряд. Так возникает другой тип аудитории: публика нарастает вокруг нового коммуникативного канала.

Еще одно образование, сравнительно новое, хотя как способ организации реальности сам тип опыта достаточно старый, по крайней мере, одновременный с модерностью, только для постсоветской России он новый, — это модная литература. Возникла модная литература. Можно называть ее глянцевой, гламурной. Гламурная литература не должна "грузить". Целый ряд компонентов текста сигналят читателю модной литературы, что это его книга. Можно попробовать вывести формулу такой глянцевой литературы.

Тут видишь, что литература проделала путь от путешествия "сквозь ад" у Бодлера и Рембо до приятного приключения на отдыхе. Мы можем все это проследить: как выделялись разные типы литературного высказывания, как они кристаллизовались в различные жанры, в различные формы издания, в различные типы брендов. Нам эта картина открыта. Мы живем в послевремена.

Что же сегодня медиа делают для литературы, вместе с литературой, рядом с литературой? Медиа не отбирают, а изменяют читателя: в модерном проекте литературы чтение понималось по-другому. Медиа сегодня проводят границы внутри литературы, между старой и новой литературой, ее разными типами. Проводят границы и вменяют значения: что есть что. Есть очень важное соображение Андрея Битова (в "Пушкинском доме") о том, из чьих рук мы получаем культуру. Сегодня одни читатели покупают то, что рекомендует журнал "Elle", другие — что вошло в шортлист премии "Букер".

Медиа создают или поддерживают новый тип персонажа и автора как персонажа: они создают звезд, создают репутации. Мы сегодня, беря книгу NN, уже знаем о нем из медиа. Его репутация создана, и мы получаем его как такой же готовый продукт, что и написанная им книга.

Медиа поддерживают литературу, но заставляют ее перенимать техники массовой раскрутки: продвижение литературы к читателю, подготовка будущей аудитории в виде форм промоушена, рекламы.

Медиа меняют нечто в техниках самого письма, что легче показать не на примере телевидения или кино, а на примере Интернета. На наших глазах уже сложилась сетература как особый тип литературы, который даже и не собирается уходить в бумажную форму.

Интернет построен как сообщество сетевое, горизонтальное. Мы привыкли к мысли, что литература при любом ее горизонтальном распространении немыслима без верти-

кальной, иерархической оси. Ее может представлять классика, школьный учитель, какой-то другой авторитет. А сетература работает без оси иерархии. Я наталкиваюсь на такие формы словесности, которые вообще не предусматривают идею иерархии, классики, традиции. Вот свежий пример: существует турецкая немецкоязычная литература в Германии. Это не турецкий и не немецкий, это социолект, на котором говорят турки в Германии. Он обозначен отрицательным, с точки зрения немца, названием – "язык чужака". Эта словесность не собирается встраиваться в немецкую. Это литература без традиций. Она не попадает в школы. Она существует как сеть для своих. Литература сегодня не отсылает нас к воображаемым сообществам, она прямо создает тип сообщества, который состоит из читателей этой литературы.

**Вопрос (РГГУ).** Литература держится на иерархии. Что уничтожает сеть? Литературу или наше восприятие? Сеть уничтожает иерархию, но поддерживает словесность?

**Б. Д.** Для социолога литература – это институционализированная словесность (а не все написанное). Что такое сетевая словесность – прививка или пляска на костях? Увидим.

Читатели (кроме самых первых) всегда получают литературу из чьих-то авторитетных рук и потому читают особым образом. Книги, которые мы читаем по совету преподавателя или по рекомендации журнала "Elle", – это разные книги по смыслу, даже если это физически одна и та же книга.

Вот мы согласились нечто считать классикой. Важно помнить, что это мы́ согласились. И сегодня преподаватель или литературный критик – не арбитр и не советчик, ему еще придется побороться за свой авторитет. В то же время становится важно, как тетка, которая ничего, кроме сериалов, не смотрит, перескажет "Преступление и наказание". Тем самым активизируются какие-то потенции литературы, культуры.

Вертикаль не исчезает, она меняется. Может быть, сегодня главной фигурой становится не автор, а читатель. Он стал сегодня ориентиром. Иерархия переносится в читательское сознание. Это не заговор против литературы, это партизанские отряды. Как раньше партизанами были писатели-авангардисты.

## Дейна Джойа

(Национальный фонд по делам искусств Конгресса США)

## *Литература и медиа: меняющийся облик читателя*

Мы живем в век перемен. Цифровые технологии охватывают все большие пространства. Будем ли мы и дальше читать книги, или они будут вытеснены цифровыми носителями и забыты? Нет сомнения в том, что медиа, которые репрезентируют действительность, не являются нейтральными. Содержание повествования, в зависимости от средства (медиума) его трансляции, решительным образом меняется. Меняется и поэзия, которая в Америке сегодня переживает, на мой взгляд, свое возрождение, поскольку как нельзя лучше отвечает запросам новой культуры.

Мы все время пытаемся упростить нашу действительность, в то время как она все более усложняется, и на данный момент у нас нет языка, на котором можно было бы говорить о ней. Как мы представля-

ем себе действительность? Как мы употребляем слова? Как мы воспринимаем мир?

К примеру, в рыцарских романах изображались великие люди в решающие моменты жизни: на поле битвы или на смертном одре, и об этих моментах рассказывалось как бы со стороны, извне.

Двумя столетиями позже мы замечаем сдвиг от рифмованного стиха в сторону прозы — к изобретению романа, причем роман меняет и фокус внимания (то, что выбиралось из действительности в качестве объекта изображения), и наше отношение к главным героям: это история об обычных людях в необычных обстоятельствах. Как не вспомнить Робинзона Крузо: он оказался на необитаемом острове, ему приходится заново открывать для себя жизнь, и весь роман посвящен его внутренней жизни: "Что мне делать? Я вижу следы на песке. Кто эти люди?" Роман как жанр переносит читателя из мира подвигов и великих дел, аристократов, сильных мира сего — в мир средних людей, обычно не самых бедных и не самых богатых, в их повседневное существование, вскрывает разницу между их внутренней жизнью и реальностью жизни внешней.

Этот контраст между внешним и внутренним показывает, как сложна наша действительность. Самый известный пример тому в западной литературе — "Дон Кихот": главный персонаж воображает себя героем и думает, что сражается с великаном, а мы знаем, что перед ним ветряные мельницы. Само собой, эта дистанция обыгрывается для создания комического эффекта. В романе, иначе говоря, всегда присутствует ирония: расхождение между внутренней и внешней жизнью, между устремлениями персонажа и окружающей его действительностью.

Итак, контраст между внутренним и внешним соответствует новому видению действительности, будь то в жанре романа романтического (romance) или бытового (novel). Обращаясь к крупной повествовательной форме, рожденной цивилизацией XX века, — кинофильму, мы сразу замечаем, как способ повествования опять меняется. Конечно же фильм не является идеальным средством для изображения внутренней жизни персонажей. Он делает это косвенно, с помощью намека, который зритель подмечает в физическом образе. К примеру, актриса в какой-то момент делает особенное движение плечом, и в нем открывается вдруг то, чего мы не знали: насколько привлекателен для нее находящийся рядом мужчина.

В итоге меняется тип рассказываемых историй и характер присущего им драматизма. Вообразите себя в обществе образованных, думающих людей, регулярно проводящих за чтением по три часа в день. Они читают истории о жизни других людей, погружаются в повседневность их существования, в их личные проблемы, чему нагляднейший пример, на мой взгляд, — великая традиция русского романа. Тургенев с его размышлениями о новом человеке или Достоевский с его портретами нигилистов — писатели, пытающиеся выделить новые социальные типы и представить их обществу. Коллективная рефлексия многих тысяч читателей повседневно осваивала внутреннюю (психологическую, социальную, экономическую, политическую) природу людей, на них не похожих, — и это постепенно трансформировало природу общества в целом. А что мы видим теперь? Каковы сегодня привычное повествование и восприятие?

Наблюдаемые изменения можно уподобить глобальному потеплению. Глобальное потепление означает, что среднегодовая температура атмосферы Земли повышается примерно на 2 градуса, что не катастрофично, но мы знаем, что это приводит к трансформациям экосистемы всей планеты: уровня воды, атмосферы, погоды, растительности, миграций животных. Именно такого рода изменения происходят сейчас. Для молодого поколения чтение является одним из многих возможных вариантов выбора, и существует целый ряд альтернатив, которые всё продолжают появляться и для выражения которых в языке еще не существует готовых средств. Сообщения, которые вы се-

годня отправляете по электронной почте своим друзьям, написаны иначе, чем если бы вы их печатали на машинке или писали от руки (вы используете характерные сокращения и так далее и тому подобное). Как же все это влияет на поэзию?

Сегодня в поэзии мы наблюдаем следующую картину: отношение человека к языку все меньше обусловлено опытом взаимодействия с печатной книгой и все больше — с опытом испольвования устного слова. Новости мы получаем по радио и телевизору, доверительное общение с друзьями осуществляем по телефону. Растущее преобладание устной речи над письменной, естественно, сказывается на нашем языковом опыте и — изменяет природу поэзии. Я не большой знаток современной русской поэзии, хотя за те три раза, что был в России, имел возможность наблюдать схожие с США тенденции. Но в этом я все же не специалист, поэтому буду говорить о поэзии американской.

Одной из постоянных тем в американском литературоведении XX века была тема смерти поэзии. В частности, в известном эссе американского критика Эдмунда Уилсона "Умирает ли стих?" говорилось о том, что поэзия как важный особый тип коммуникации больше не является частью художественного мейнстрима. Все меньше и меньше людей читают стихи. А ведь еще 120 лет назад поэт Генри У. Лонгфелло по своей популярности превосходил любого романиста, практически каждый американец знал несколько его стихотворений наизусть, особенно "Псалом жизни".

Но в XX столетии все изменилось, поэзия стала самой узкой из всех литературных специальностей. В начале 1970-х, когда я учился в Гарварде, следующие убеждения считались бесспорными истинами:

1. Поэзия никогда не будет вновь популярна.

2. Поэзия обречена становиться все более и более сложной, серьезной, интеллектуальной, а в итоге — превратиться в литературную теорию. Я запомнил определение поэзии, которое дала тогда одна американская поэтесса: "Поэзия — это слова, открывающие границы собственного смысла". А сам-то я, признаться, всегда думал, что поэзия — это слова о любви, смерти, смене времен года и мимолетности времени...

3. Наконец, все мы были убеждены, что рифма и метрика мертвы и возрождение не предвидится.

А вот три самых очевидных факта, касающихся жизни американской поэзии сегодня:

1. Поэзия популярна.

2. Поэзия стала более простой и более склонной к непосредственности выражения, чем когда-либо прежде.

3. Этот ее новый облик получает официальное научное признание.

Поэзия в Америке сегодня популярна как никогда. Рэп и хип-хоп, поэтический перформанс и импровизации ковбоев прекрасно себя чувствуют в контексте цифровых технологий и коммерческих развлечений. Все эти новые формы трансформируют саму природу поэзии, поэтому как литературный термин это слово стало практически бесполезно: слишком разные, слишком далекие друг от друга явления оно пытается описать. Если бы я пятьдесят лет назад спросил вас, что такое поэзия, вы, отвечая на мой вопрос, почти наверное имели бы в виду аудиовизуальную поэзию (audio visual), то есть то, что существует на бумаге как печатный текст и в то же время может быть прочитано вслух. В отличие от нее, поэтический перформанс предполагает использование физического тела автора в той же степени, в какой сам он использует звуки и слова для создания цельного образа. Эта поэзия носит чисто устный (oral) характер, так же как и хип-хоп. Многие исполнители хип-хопа говорят, что у них не бывает написанного текста, они каждый раз импровизируют. К традиционной поэзии относится также письменная поэзия (scribal), возникшая еще в IV веке в Древней Греции. От нее существенно отличается визуальный верлибр (visual free verse): стихи, достигающие выразительности за счет графики, расположения букв и строк на странице. Еще дальше на той же оси располагаются конкретная по-

эзия (concrete poetry) и визуальные искусства.

Для описания каждой из этих форм поэзии нам сегодня остро не хватает слов. Требует новой постановки и вопрос об отношениях поэта с аудиторией. Контакт с ней может быть непосредственным, как в перформансе, или опосредованным – звукозаписью, текстом, особым расположением символов на странице, и при этом отношения складываются всякий раз по-разному. Как бы то ни было, поэт сегодня находится в лучшем положении, чем романист или драматург. Ему легче осваивать цифровые технологии, ориентированные на краткие художественные формы и на преобладание устной речи над письменной. Поэзия возрождается именно потому, что форма стихотворения хорошо вписывается в новую, становящуюся культуру.

*Перевод с английского*
Натальи Чернушкиной



Татьяна Венедиктова
(МГУ)

# К *апологии "наивного читателя"*

Слово "литература", заметил английский литературовед Джон Эллис, похоже в своем функционировании на слово "сорняк". Оно может обозначать любую траву, если она заведомо не имеет ценности и предполагает некий определенный род действий – удаление с грядки. Так и словом "литература" обозначаются тексты (вообще-то на удивление разные!), которым приписывается заведомо повышенная ценность и в отношении которых приняты особые практики производства, а также восприятия – хотя эти последние как особый предмет систематического внимания стали выделяться лишь недавно. История литературы сложилась как история писателей, и иерархия пишущих и читающих многими по сей день воспринимается как естественная, даже – культурообразующая. Автор – это фигура с именем и авторитетом, уподобляемая отцу-зачинателю, а то и Богу-творцу; читатель, напротив, – фигура анонимная, подчиненная, инертная, пассивная, массовидная, невидимая.

Впрочем, высшее место в вышеупомянутой иерархии (внутри литературы как сложившегося культурного института) принадлежало всегда не писателям, а экзегетам – авторитетным толкователям, знатокам, наделенным правом определять и тем самым стабилизировать "истинный смысл" произведений. Остаточно-сакральный статус, каковой литература сохраняла в европейской культуре Нового времени, способствовал устойчивому воспроизведению такого порядка, и поддержание его не составляло проблемы, пока пишущие, читающие и выносящие суд представляли собой сообщество, хоть и обширное, но с обозримыми границами.

История чтения, однако, была историей расширяющегося доступа к тексту. Новая степень доступности всякий раз ассоциировалась с опасностью со стороны "новичков" – лиц, не принадлежащих или принадлежащих к не вполне образованной элите, отмеченных тем или иным видом культурной "незрелости", инаковости. Кто оказывался в "группах риска"? Женщины, дети, простолюдины – не вымуштрованные школьной дисциплиной и потому, как правило, страдавшие слабостью к так называемому "наивному" чтению. Последнее подразумевало незнание условности письма или пренебрежение ею, неспособность выдержать соответствующую дистанцию по отношению к воображаемому миру, неспособность отличить второстепенные, поверхностные, субъективные смыслы от глубинных, предполагаемо – имманентных тексту. Образец тому – казус Паоло и Франчески в "Божественной

комедии" Данте. Эти беспечные, слишком юные читатели, предавшиеся чтению романа наедине, в отсутствие благого учительского попечения, прочли вместо назидания, заключенного в тексте, желаемое для себя – сладкий соблазн и в итоге оказались обречены на вечную муку.

У несчастных любовников – обширная родня из "малых сих", в разное время павших жертвами букв и строчек, безобидных только на первый взгляд. "Микроисторик" Карло Гинзбург в книге "Сыр и черви"[1] представил нам такого безвестного героя – мельника Меноккио, любителя чтения, жившего в XVI веке в затерянном среди гор селении на севере Италии. Выбор книг, доступных Меноккио, был невелик – Библия, "Декамерон", некая анонимная "Легенда Страшного суда", и главное заключалось вовсе не в том, *что* он читал, а в том, *как*. Из книг, вполне благонамеренных, он умудрялся вычитывать странную ересь, за которую был дважды судим святой инквизицией и в конце жизни, упрямец, взошел на костер. "Восприятие книжного текста, – комментирует Гинзбург, – было у Меноккио односторонним и произвольным: он как будто лишь искал подтверждения своим уже прочно укоренившимся идеям и убеждениям... выхватывал... отдельные слова и фразы, которые при этом не могли не искажаться... соединял разведенные в источнике места, устанавливал между ними неожиданные аналогии". И здесь речь идет о "неправильном", дробном, поверхностном чтении, чрезмерно эмоциональном, субъективном, нестойком к соблазнам метафоры и не рассчитанном на удержание в памяти последовательности аргументов... Что это – исключительный и печальный случай, курьез? Или Меноккио (как и Франческа, и Паоло) – в каком-то смысле "всечеловек", и его относительная необученность делает ситуацию не исключительной, а всего лишь ярко выраженной? Ведь мы *всегда* читаем *не совсем то*, что написано. Художественный текст, в силу самой своей образно-иносказательной природы, не только дает право, но даже обрекает на своеволие, необходимость выбора "своего" смысла из многих возможных – выбора творческого по самой своей сути. Это право мы реализуем в меру сил, бессознательно вовлекая в процесс все ресурсы личности, но лишь частично его поверяя (контролируя) рассудочным суждением, – благо, что, став приватной практикой, чтение не предполагает ни обязательного публичного отчета, ни суда столь же строгого, как инквизиция.

Есть основания предполагать, что в определенных ситуациях казусы, подобные двум описанным, умножаясь, складываются в критическую массу, а ее наличие в культуре начинает проявляться как симптом революционного сдвига.

## *Революция первая – читательская*

Термином "читательская революция" (Leserrevolution) сегодня уже устойчиво обозначается совокупный эффект секуляризации общественной жизни, распространения рыночных практик в культуре, развития печати и количественного роста читающей публики. Все это наблюдалось во второй половине XVIII века и сопровождалось, как считают исследователи, массовым переходом от интенсивного чтения (медленного, исполненного пиетета, предполагавшего многократное перечитывание избранных, часто священных текстов) к экстенсивному – в режиме однократного, беглого восприятия многих разных текстов, по преимуществу светских. Эта оппозиция, предложенная Р. Энгельсингом, принимается, впрочем, не всеми и не буквально. Американский исследователь Р. Дарнтон указывает, например, на специфическую интенсивность "экстенсивного чтения" – своевольную, простодушную свободу, с какой в текст начинают инвестироваться личные эмоции. Свобода эта шокировала еще современников и описывалась нередко как губительная

1. Карло Гинзбург. Сыр и черви (Картина мира одного мельника, жившего в XVI веке). – М.: РОССПЭН, 2000.

разнузданность страстей. Из авторитетнейших уст (И. Канта, С. Джонсона, У. Вордсворта и других) звучали на удивление сходные жалобы: все нынче бросились читать, в том числе и те, кому не надо бы, и — Боже! — что они читают и как читают! Библиомания, одержимость чтением романов (жанр воспринимается пока как "низкий": время его восхождения к славе впереди. — *Т. В.*) часто описывались как недуг, чреватый физическим заболеванием или еще худшим ущербом для жизни.

И впрямь волны "романной лихорадки" прокатывались то по Франции (вослед "Эмилю" Руссо), то по Англии (вослед "Памеле" Ричардсона), то по Германии (вослед публикации "Вертера" Гёте). Симптомы всякий раз отмечались сходные. Поверхностное, рассеянное восприятие текста в режиме грезы наяву плюс "чрезмерная" непосредственность, избыточная острота аффективных реакций широкого спектра: от проливаемых самозабвенно слез до подражательного самоубийства. К такому чтению, кстати, очень рано начинает применяться метафора потребления почти буквально — поедания, бесконтрольного приема внутрь. Романы уподобляются сластям ("конфектам", варенью, пуншу и т. п.), на что особенно падки дамы и от чего — ни для дам, ни для потребляемой ими словесности — не ожидают ничего, кроме вреда. "Потребить" произведение искусства значит воспринять его *неправильно*, в пределе — *уничтожить* его или даже себя в акте восприятия (таков буквальный смысл слова "consumere", от которого произошел современный "консьюмеризм").

Укротить беспредел небезопасной словесной магии призвано становление института литературы в его современном виде. Цензура и школа выступают как средства дисциплинирования массового литературного чтения, а литература, в свою очередь, начинает широко опознаваться как воплощение регулятивных норм культурности. XIX век был веком великих критиков, которые чтили авторов, но тайно были уверены в своем над ними превосходстве. Литература, учил один из них, Мэтью Арнольд, толкует жизнь, учит истине и добру, дает образцы духовного равновесия, возвышая над низшими (эмоциональными, тем более телесными) реакциями. Отсюда представление о "подлинном" художественном произведении как о прекрасном объекте, в отношении которого законны прежде всего умственные, герменевтические реакции и которому *должна быть* поэтому присуща некоторая благородная холодность. То в эстетике, что связано с непосредственным чувственным опытом, ссылается "вниз", к восприятию популярного сенсационного чтива, а возвышается — связанное с оценкой, заданием нравственной и эстетической иерархии, внутреннего канона. Эта система приоритетов сохраняется, кстати, и в XX веке как основа для различения литературы "серьезной" и "несерьезной", достойной внимания (с точки зрения элиты, "экспертов по культуре") — и недостойной.

## *Революция вторая — медийная*

Фраза "конец литературы" звучит сегодня часто, отдает дешевой драматизацией и отсылает к тому (очевидному) факту, что печать — медиум, с которым литература тесно и не только внешним образом связана, — утратила былое господство в системе коммуникаций. Один из парадоксов сегодняшнего дня: в то время как в качестве особого института и/или академического, школьного предмета "литература" хиреет, бледнеет, утрачивает центральное место в культуре и образовании, ее гибридизированные формы, рождаемые взаимодействием печатного текста с визуальными, аудиальными, электронными медиа, цветут и множатся на зависть. Если бы Шекспир жил в наши дни, он писал бы кино- или телесценарии. Вполне вероятно, что живет и пишет, а это на "конец" уж никак не похоже. Откуда тогда такой погребальный тон? Как правило, соответствующие формулировки исходят от людей, "ответственных за литературу", — тех, для кого утрата предметом литературы знакомого контура и ряда традиционно

важных функций ассоциируется с потерей этими людьми собственной идентичности и культурного статуса. Меняется привычный властный баланс между хранителями и охранителями, учителями литературы и ее массовым "потребителем". Этот самый потребитель все более расположен руководствоваться собственным вкусом и в выборе материалов для чтения, и в определении способа взаимодействия с книгой. Что может вести к культурным потерям (в ряде случаев они слишком даже очевидны и ощутимы), но не только.

Нынешняя растерянность школьного литературоведения всех уровней связана, *во-первых и причем прямо*, с кризисом культурной идеологии, которая долго служила обоснованием литературы-как-ценности. *А во-вторых* (что гораздо важнее, но в то же время и гораздо слабее исследовано!), *косвенно* это симптом более широких изменений, происходящих с практиками, привычками, мотивациями, установками восприятия – тем комплексом, что описывается иногда обобщающим словом "чувствительность" (sensibility).

Движение от печатного слова к кинообразу, а от него к электронно генерированной виртуальной реальности связано с нарастанием эффектов непосредственности восприятия: телесные реакции опережают (иногда кажется – вытесняют, отменяют!) рефлексию. Увлеченное чтение романа сравнимо с погружением в виртуальную реальность, но сравнимо только отчасти. Декодировка печатного текста все же требует от вполне грамотного человека минимального усилия, благодаря которому создается микроскопический зазор времени, в который и вклинивается рефлексия. Читатель, даже очень увлеченный, все время колеблется между ролью соучастника воображаемого действа и ролью внешнего, отстраненного созерцателя и примеряет попеременно то одну, то другую. В кино этот двойственный статус удержать труднее, и еще труднее – в виртуальном пространстве. Печать повествует, кино показывает – иначе говоря, они транслируют некоторые *представления* об опыте. А электронное гиперпространство позволяет воплощать *опыт как таковой*, предъявляя во множестве стимулы, реакция на которые предельно непосредственна.

В таком описании нынешняя ситуация выглядит одновременно и новой, и не новой. Как по поводу романа в конце XVIII века и по поводу кино в начале XX, так и в наши дни по поводу компьютерных игр и иных электронных продуктов звучали и звучат похожие разговоры: об опасностях – потери себя (для индивида) и безвозвратного упадка ценностей (для культуры). С другой стороны, рассматривая литературную культуру в "обратной перспективе", из современного медийного контекста, мы начинаем замечать и выделять в ней то, что прежде казалось несущественным. Что же? Чтение как *процесс*. Процесс *творческий* и притом *аффективный, телесный* – требующий осмысления именно в этих, до сих пор маргинализированных качествах.

В качестве эпиграфа к моему выступлению стоило бы предпослать слова Вальтера Беньямина: "Масса – это матрица, из которой... всякое привычное отношение к произведениям искусства выходит перерожденным". Описывая становление современного типа культуры, Беньямин говорил именно о переходе от чтения сосредоточенного, развертывающегося в пространстве, которое ответственно проработано сознанием, требует высокого, фиксированного уровня компетентности и концентрации, – к иному модусу, который описывался раньше не иначе как под знаком сомнительной легитимности, плебейства, незрелости или вырождения. Это чтение, развертывающееся в бессознательно освоенном пространстве, рассеянное; оно общедоступно и массовидно, поэтому не случайно сравнивается со смотрением кино. Чем интересен Беньямину этот откровенно "внешкольный", быстро и бесконтрольно распространяющийся тип чтения? Тем, что (по его предположению) в ситуациях широкого, революционного преобразования чувствительности именно в нем и посредством него срабатывает эффективный механизм адаптации, *творческого приспособления к будущему.*

"Развлекательное, расслабляющее искусство незаметно проверяет, какова способность решения новых задач восприятия"[1], – мы замечаем, что решение новых задач стало привычкой, когда оказываемся способны решать их в расслабленном, несобранном состоянии.

Эстетическая природа текста все охотнее связывается современными теоретиками вослед Беньямину (и не только ему, разумеется) со способностью генерировать чувственно-эмоциональные, бессознательно-телесные реакции, эмоции и желания. Литература их культивирует, отливает в образцовые формы и в то же время расщепляет, распыляет, сообщает им игровую свободу. Серьезная аналитическая работа в этом обширном поле идет уже весьма активно. Для филолога это возможность заново увидеть свой традиционный предмет, литературу, как *медиум* (то есть "расширение") человеческого *воображения*. Соответственно, заново открыть и литературоведение – как актуальный вид культурной антропологии.

## Ирина Каспэ
(ИГИТИ ГУ-ВШЭ)

# *Чтение как приватный и общий опыт*

Мое выступление будет посвящено возможностям исследования чтения. Как ни странно, несмотря на то, что на протяжении по меньшей мере трех последних десятилетий проблемы рецепции занимают одно из центральных мест в literary studies (будь то литературная теория, литературная критика или социология литературы), несмотря на существование "рецептивной эстетики" и "критики читательского отклика", сегодня мы все еще плохо представляем себе, как устроен читательский опыт – что происходит с читателем, когда он остается один на один с текстом.

Зазор между "чтением по правилам" и "наивным чтением", о котором шла речь в докладе Татьяны Венедиктовой, пожалуй, и есть самая проблемная (если не сказать "проблематичная") зона рецептивного анализа. Ставший столь заметным в конце XX века интерес литературной теории к вопросам рецепции начинался со своеобразного чувства вины – с признания того факта, что на протяжении всей истории существования науки о литературе фигура исследователя, ученого, эксперта (литературно эрудированного, отстраненного, хладнокровного и при этом безупречно внимательного к тексту) почти полностью подменяла собой фигуру читателя. Следующий за этим признанием шаг – возникновение аналитической конструкции "обычного читателя"; появляется задача обнаружить "обычного читателя", застигнуть его врасплох в "естественных условиях" (не в университетской аудитории, а дома на диване) и в крайних случаях защитить от манипулятивного воздействия авторитетных (или даже авторитарных) интерпретативных институтов (таких, как школа, критика, издательство, осуществляющее отбор произведений, книжный магазин, их классифицирующий, etc.).

Мне, однако, хотелось бы несколько сместить акценты с оппозиции эксперт/обычный читатель. Коль скоро все мы (пусть и в разной мере) обладаем и навыками чтения по правилам, и потребностью читать без правил, провести грань между искушенным и наивным чтением в действительности окажется не слишком просто. Возможно, более выигрышным было бы противопоставление не двух антропологических типов читателя, а двух социальных характеристик читательского опыта: с одной стороны, чтение помечается в культуре Нового времени как пре-

1. В. Беньямин. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. – М.: Ad Marginem, 1996.

дельно персональная, приватная практика, с другой стороны — эта практика социально структурирована, она была бы невозможна без механизмов поддержания читательской общности, формирования норм читательского поведения, складывания готовых способов реакции на текст, стандартов вкуса.

"Таков фундаментальный парадокс всякой истории чтения: ей приходится постулировать свободу практики, в которой она в общем и целом может уловить одни детерминации", — заметил много занимавшийся и историей, и социологией чтения Роже Шартье. Действительно, признавая чтение приватной практикой, мы вынуждены говорить только о ее публичных проявлениях. Собственно, гастрономические метафоры чтения, а также алкогольные ("читать запоем"), сексуальные ("эротика искусства" в манифесте Сьюзен Сонтаг "Против интерпретации", позднее — "камасутра языка" в бартовском "Удовольствии от текста") — подчеркивают именно эту непереводимую на публичный язык, недоступную постороннему (исследовательскому) взгляду сторону опыта. История гастрономии или история сексуальности нередко находят выход из положения, семиотизируя свой объект, приписывая ему свойства текста. У истории чтения нет и этой лазейки.

Итак, в какой степени мы ощущаем свою причастность к воображаемому сообществу читателей, когда держим книгу в руках? Как представляется, можно (конечно, сильно схематизируя) выделить несколько литературных ситуаций — режимов чтения, — в которых читательский опыт приобретает повышенную структурированность, а его "коллективная" сторона становится особенно заметной и значимой.

Наиболее тотальный из этих режимов связан с понятием "классики", литературного канона. Ведь в отличие от домодерного канона, основанного на воспроизводстве образцовых текстов и образцов письма, современный (модерный) взгляд на литературный канон подразумевает прежде всего тиражирование высоких образцов *чтения*, представлений о том, *что* следует читать каждому образованному члену общества и (пусть с меньшей категоричностью) *как* это следует делать. Таким образом, возникают и транслируются стандартные принципы обращения с текстом — включая негативные практики "пародирования", "низвержения" классики или ее "осовременивания". При этом модели интерпретации текста настолько устойчивы, что можно разделить с другими коллективный читательский опыт даже при отсутствии опыта индивидуального: не обязательно читать классическое произведение для того, чтобы овладеть канонами суждения о нем. Иными словами, "каноническим", "классическим" можно назвать произведение, которое не только наделяется повышенной ценностью, но и предполагает особенно жесткий режим социализации читательского опыта; нельзя признать ту или иную литературу классической, не имея в виду определенную читательскую общность — прежде всего политическую ("национальная классика").

Представление о чтении как о коллективной практике не обязательно должно быть "высоким", привитым в школе и санкционированным академическим литературоведением. На таком представлении основано и понятие "массовой литературы" — сам этот термин указывает на фигуру коллективного читателя, которая активно поддерживается коммерческой литературной индустрией (институтами маркетинга, рекламы, СМИ и проч.). Благодаря этим институтам мы постоянно помним, что успешное произведение хорошо покупается другими ("бестселлер"), нам сообщают о его "рейтинге" и "объеме продаж". Мы ясно представляем себе, *как* следует читать детектив или дамский роман — стандарты интерпретации здесь зафиксированы внутри повествования, заключены в определенной "формуле", которая воспроизводится от текста к тексту. Наконец, складываются стереотипы чтения как телесной практики — можно говорить о массовом чтении как об одном из типов поведения человека в современном мегаполисе:

когда недорогие покетбуки покупаются на лотках (по дороге на работу) и перелистываются в метро, чтение оказывается публичным опытом; в транспорте мы можем увидеть не просто уставших, уткнувшихся в книги попутчиков, но — читательскую аудиторию, публику.

Еще один литературный режим, существующий при условии, что читательская общность осознается в значительной степени, — "культовая литература". Причем важно подчеркнуть: опыт чтения текстов с культовым статусом в гораздо меньшей степени, чем чтение "классическое" и "массовое", структурирован работой собственно интерпретативных институтов; пожалуй, лишь институт критики может быть причастен к возникновению и воспроизводству культа, основную же роль здесь играет сверка впечатлений внутри неформальных читательских сообществ (Б. В. Дубин анализирует такие неинституционализированные "культовые" практики в статье "Классик — звезда — модное имя — культовая фигура: О стратегиях легитимации культурного авторитета"[1] и отчасти говорил о них сегодня). Это может быть фэндвижение, обладающее четкими границами и собственным уставом, или просто необязательная коммуникация, когда два малознакомых собеседника способны распознать друг в друге "своих" по одной случайно брошенной цитате (современные интернет-технологии, конечно, способствуют укреплению читательских коммуникативных сетей и позволяют увидеть их в действии: на сайтах "культовых" авторов или в специальных "комьюнити" на базе блогов происходит активный обмен суждениями и сведениями об объектах культа). Наконец, литературный культ провоцирует появление воображаемых сообществ, поддерживая разнообразные формы коллективной идентичности, в первую очередь (и об этом тоже сегодня уже говорилось) — поколенческой.

Подобные типы общности переживаются весьма сложным образом, ведь чаще всего опыт "культового" чтения распознается как персональный и даже интимный, и, как ни парадоксально, именно поэтому его так важно разделить с другими. По мере того как этот опыт оказывается разделен и публично выражен, формируются "общие" способы чтения. Мы можем увидеть это, проследив за тем, как строится коммуникация адептов литературного культа. С одной стороны, "культовое" чтение предполагает смакование нарративных излишеств, всего, что кажется избыточным и одновременно притягательным, — развернутых и смачных диалогов, детальных описаний, бытовых подробностей. Это чтение-узнавание (повседневного, обычного, своего) или (а нередко и вместе с тем) чтение-экзотизация — возможность вообразить иное, иностранное, фантастическое (сошлюсь на статью Натальи Самутиной "Культовое кино: даже зритель имеет право на свободу" — литературный культ в этом смысле не только аналогичен кинематографическому, но и прямо заимствует некоторые модели восприятия из опыта кинозрителя). С другой стороны, обмен суждениями о "культовых" литературных текстах будет отличаться апелляцией к "здравому смыслу", повышенной рациональностью, семиотичностью — характерно желание выяснить, что "означают" те или иные элементы повествования, разъяснить себе и другим "подлинное значение" тех или иных сюжетных ходов, расшифровать зашифрованное, досказать недосказанное автором, etc. Иными словами, если первая сторона выраженного таким образом читательского опыта отвечает за "аффект" (в той терминологии, которую использует Елена Петровская), то вторая — за "правила", отражая потребность воспроизвести навык чтения, каким он был понят и принят. Обе стороны вместе способствуют формированию *других правил*. Мы можем наблюдать, как, обнаруживая себя, "чтение без правил" или "чтение по упрощенным (искаженным, профанированным) правилам" становится изобретением правил, чтением по другим правилам.

1. См. также: Круглый стол: "Классик, современный классик, культовый автор, модный писатель". "ИЛ", 2007, № 5. (*Прим. ред.*)

Наталья Самутина
(ИГИТИ ГУ-ВШЭ)

# *Современные концепции синефилии и читатель/зритель в актуальной медиасреде*

Современные процессы в медиасреде, вообще процессы трансформации нашей вовлеченности в актуальные культурные практики заставляют, на мой взгляд, употреблять понятия "читатель" и "зритель" с большой долей условности, предполагают обязательную проблематизацию и позиции воспринимающего, и способов восприятия. Одним из ярких примеров саморефлексии на эту тему может служить следующий пост активного интернет-пользователя (женщины, журналиста), встреченный мною недавно во френдленте. Приведу этот пост дословно:

Знакомый жалуется: "Вот читаю я ваши ЖЖ и многих совершенно не понимаю: что хотели сказать, какая там мысль? Вроде посмотришь – все слова знакомы, и даже если предложение отдельно взять, тоже ясно. А пытаешься вчитаться хотя бы в абзац – все, завяз по шею, смысл потерял, мысль куда-то убрела и не вернулась. Все распадается. Вообще непонятно, на чем тексты держатся. Это даже не поток сознания, это – полная аморфность. Как вы там друг друга вообще понимаете? У вас, наверное, есть свой тайный язык, свои особые внутрижежешные языковые знаки, за которые вы цепляетесь, чтобы восстанавливать текстовую логику".

Между прочим, искренне недоумевает. Кстати, я помню свои ощущения, когда впервые мне случайно попался текст из ЖЖ. Было это года четыре назад. Там были стихи и рассуждения интимно-дневникового типа. Признаться, я очень удивилась, что такое люди выкладывают в Интернет, и тогда же подумала, что никогда такого не сделала бы. Что со мной произошло за это время? Почему то, что раньше мне казалось верхом неприличия, сейчас стало частью моей жизни? Ведь ничего не случилось с тех пор такого, что в корне могло изменить меня.

Так странно.

Это высказывание удивительно точно указывает на эффект восприятия того, что на первый взгляд выглядит обычным текстом, и на момент разрыва между восприятием "инсайдера" и человека, читающего интернет-пост так, как если бы он был опубликован в книге. В чем причина этого эффекта? С чем мы чаще всего сталкиваемся в тот момент, когда пользуемся какой-либо из современных информационных или коммуникативных форм в Интернете?

Прежде всего мы имеем дело с экранной культурой, со ставшим уже "естественным" восприятием пространства как различным образом соотнесенных между собой окошечек и рамок. Для интернет-среды характерна предельная фрагментация, "клиповость" и любого текста, который должен быть ограничен в объеме, дабы не выпасть за пределы быстрой схватываемости скользящим взглядом, и фотографий разного формата. Фрагментация предполагает также мультимедийность, то есть соединение в одном видимом пространстве кусочков разной природы: текста, фотоизображений и любых других статичных изображений, движущихся изображений (кино- и видеофрагментов, в том числе сопровождающихся звуком), специальных графических знаков. Восприятие этого фрагментированного пространства неразрывно связано с понятием скорости, скольжения по множественным поверхностям, легкого перескакивания с сайта на сайт – то есть активного и быстрого движения. Тот, кто не умеет листать сайты, оперативно находить информацию, коротко и емко отвечать на комментарии на своей страничке, тот, в сущности, недостаточно компетентен как пользователь; но интернет-среда предоставляет неограниченные возможнос-

ти для самообучения, это медиум высокой доступности. Причем доступность, можно даже сказать, универсальность оболочки распространяется предельно широко: например, Интернетом можно пользоваться, практически не зная языка, на котором написаны тексты, в том случае, если компетентный пользователь понимает принцип устройства самой оболочки — так, можно заказать билет на самолет на иностранном сайте или найти там необходимый интернет-адрес.

Существование пользователя сети Интернет протекает в таком режиме как интерактивность; и коммуникация, которая в этом режиме возникает, никоим образом не может быть увидена как взаимодействие субъектов. Интернет-активность, интернет-восприятие предполагает принципиальную десубъективацию за счет многочисленных предусмотренных формой высказывания масок, полуанонимности, вписанности любых реакций и действий в предусмотренные технологией коммуникативно-образные потоки. Любой пользователь, выстраивающий какое-то высказывание в интернет-среде, создает свою собственную "маску" из текста и изображения, формирует мультимедийный комплекс (зачастую из готовых элементов, фрагментов чужих "высказываний", полуприсвоенных и в свою очередь открытых новому присвоению, не принадлежащих никому, адресованных всем). Любое действие здесь предполагает ежесекундное присутствие коммуникативной инстанции "здесь и сейчас", предполагает множественных других, всегда потенциально формирующих случайное сообщество, что делает все появившееся перед кем-то из нас в данную секунду не текстом, а единицей отношения, поводом вступить в медиакоммуникацию. Кроме того, аффективная составляющая этой коммуникации, значительной части интернет-высказываний существенно перевешивает традиционно текстовую, смысловую составляющую. Продолжительные "бессодержательные" беседы, ситуации неконтролируемого аффективного производства потоков высказываний (феномен интернет-перебранки), стирание границы между частной и публичной областью в сообщении, отсутствие четкой маркировки высказываний как "недопустимых", наконец, та же графомания (проанализированная Олегом Аронсоном) в значительной мере формируют поле явлений, поражающих и отталкивающих тех, кто изначально определяет свою позицию как читательскую, как нацеленность на восприятие если не литературы, то хотя бы понятно устроенного текста. Какая же инстанция восприятия соответствует подобным условиям, неразрывно связана с ними?

Мое принципиальное утверждение заключается в том, что эта новая инстанция восприятия стоит все же гораздо ближе к одному из вариантов зрительской, а не читательской инстанции; к тем условиям современности, той антропологии восприятия, которые на протяжении XX века прицельно сформированы кинематографом. На текст, вывешенный в Интернете, смотрит своеобразный зритель особого вида кино, продолжающегося здесь уже без кинематографического аппарата, — зритель, приобретший в процессе своего развития активную функцию, можно сказать, завоевавший самостоятельность. Именно анализ кинематографического восприятия и интерес к тому, как в современной кинотеории описываются практики культового кино и синефилии с их фигурой активного зрителя, оказывается ключевым для описания фигуры воспринимающего в Интернете. За неимением возможности развернутой аргументации просто отмечу тезисно основные моменты, позволяющие выстраивать рассуждение в этом направлении.

1. Первый этап очередного реструктурирования человеческого восприятия, связанный с появлением кино, приходится на начало XX века — на тот момент в 1910-х годах, когда складывается современное кино как нарративная и институциональная система, когда массовый "человек читающий", уже в значительной мере подготовленный институтами литературы и СМИ к новым переменам, с легкостью становится "человеком смотрящим". Западные общества, реализуя конструкцию современности (с

ее универсальностью, массовостью, демократизмом, потребностью в способах эффективной трансляции нормативных образцов, в формах повышенной емкости), производят на свет массовые читательские, а потом и зрительские аудитории. Получившийся в результате "человек смотрящий" реализует уже имеющиеся компетенции в рамках новых медиа: в число этих компетенций входит привычка к экранной культуре, готовность к постоянному увеличению скорости получения информации и скорости трансляции образов, к разделению воспринимаемого на информацию и шум, причем рамки шума бывают очень подвижны, в зависимости от поставленных задач. "Человек смотрящий" привычен к микрошокам восприятия, к тому, что он вынужден постоянно реагировать на возбуждения зрительного аппарата и эмоций (об этом много написано западными исследователями, такими, как Том Ганнинг, Мэри Энн Доан, Мириам Ханзен, в связи с массовой культурой модерна, с культурой аттракционов и ранним кино, а также Скоттом Бьюкатманом, Бруксом Лэндоном, Валерием Подорогой в связи с современным кино "прямого воздействия", с резким повышением количества и статуса цифрового "кино аттракционов": блокбастеров, фильмов-катастроф, фантастического кино). Наконец, "человек смотрящий" адаптирован к современной реальности за пределами экрана — воспринимая ее и через "подвижный виртуальный взгляд", который включен в конструкцию кино, и с помощью фрагментированности восприятия, — практически уравнивающей в статусе кино и современное городское пространство. Кино "переформатирует" наше зрение под визуальные медиа, а Интернет получает это зрение, саму возможность так воспринимать мир от кино в наследство.

2. Среди современных кинотеорий, посвященных анализу кинематографического восприятия, важное место занимают теории культового кино и синефилии. В отличие от крупных семиотических проектов 1970-х годов, склонных приравнивать киновосприятие к чтению сложно организованных знаков, а фильм — к тексту ("психосемиотика" 1970-х, объединяющая очень разных исследователей, таких, как Р. Барт, К. Метц, У. Эко, группа журнала "Screen"), и в отличие от теорий кинематографического аппарата, с различными допущениями описывающих базовую позицию кинозрителя как "вуайеристскую", как часть изображения и в первую очередь нарратива, как неотменимую включенность в ткань повествования, теории культового кино и синефилии выводят на первый план активного зрителя, альтернативную инстанцию киновосприятия. Зритель-синефил, зритель, практикующий "культ" кино, — это не пассивный зритель-вуайер, но активный зритель-"эксгибиционист", реализующий через ритуалы, единение со случайными сообществами, особые практики зрения и удовольствия свою зрительскую любовь. И культовый зритель, и синефил с некоторыми различиями прокладывают свои собственные тропы восприятия, осуществляя постоянный рефрейминг всего того, что связано с добычей, хранением, правильной демонстрацией, просмотром и приемлемым описанием кинематографического изображения, а также формируя случайно и неслучайно возникающие аудитории поклонников фильма — и общую, неопределенную, но ощутимую аудиторию культового кино. Аудиторию, которая, говоря словами первого теоретика культового кино Тимоти Корригана, "неизменно приходит подготовленной и вооруженной собственным текстом, делающим текст фильма фактически вторичным" и, соответственно, "читает и перечитывает *себя* в большей степени, чем фильм".

Коммуникация друг с другом посредством фильмов, коллективные аффекты активного восприятия, сложные стратегии борьбы синефилов с попытками консьюмеристской культуры присваивать позиции синефильского восприятия и коммодифицировать их, необходимость держать в уме разные темпоральности, справляться с мобильностью объектов, нестабильностью образов, вброшенных в обращение, множественностью их значений и так далее (все это предельно содержательно описано в статье: Elsaesser T. Cinephilia or the Uses of Disenchantment ("Сине-

филия или о пользе освобождения от чар")[1]) – все эти особенности кинематографического зрения синефилов позволяют говорить о нем как о принципиально другом типе, об иной кинематографической антропологии. И нетрудно заметить, как много общего имеют между собой вот этот активный зритель-синефил, культовый зритель – и современный пользователь Интернета.

3. Неудивительно, что современные формы зрительской синефилии и Интернет находятся в теснейшей взаимосвязи; Интернет предлагает новые возможности как для реализации "активного зрения", так и для организации личного синефильского опыта и поддержания жизни синефильских сообществ. В первом случае мы можем говорить о практиках работы с кино в интернет-форматах: самый характерный пример – это ролики из Youtube[2], позволяющие зрителям сжимать визуальный поток, кристаллизовать образ или даже перекраивать фильмы, менять их смысл и содержание и использовать результат для выражения своих эмоций, делиться с другими столь своеобразно пересмотренным фильмом. Особенно распространены в данном формате пародии – способы маргинализации и переоформления культовых фильмов, как и положено в случае с культовостью – через мелкие детали, будь то декораций, предметов или монтажа (таковы, например, десятки пародий на фильм Питера Джексона "Властелин колец", от "How The Lord Of The Rings should have ended" и "Titanic of the Rings" до "Which of hobbits is gay"[1]). Во втором случае речь идет об опыте "охоты на фильмы" в бесплатных сетях, обо всех практиках обмена и взаимопомощи, об участии в интернет-сообществах, любительских интернет-журналах, специализированных чатах о кино и так далее. Говоря о другом зрении, исследователи говорят сегодня и о другой – весомой и значимой – форме организации знания о кино в целом, о тех пространствах, которые подведомственны страстной и заинтересованной активности синефила.

Иными словами, подводя итог: у "нас", пользователей сети Интернет, действительно есть "свой тайный язык", свои "особые знаки", только мы не восстанавливаем по ним "текстовую логику", но каждую секунду удостоверяем присутствие друг друга в этом поле изменившегося восприятия, каждым действием воссоздаем новую конфигурацию нашего опыта и в очередной раз иначе смотрим то "кино", основы существования которого были заложены задолго до возникновения кинематографического аппарата.

1. Cinephilia. Movies, Love and Memory. Ed. by M. de Valck and M. Hagener. Amsterdam UP, 2005.
2. Youtube – популярный сайт для обмена и просмотра видеозаписей.

1. "Чем бы следовало закончить Властелина Колец"... "Титаник Кольца"... "Кто из хоббитов – голубой" *(англ.)*.

# Наталья Мавлевич
## *Начало традиции*

В Москве уже привыкли в тому, что каждый год во время ноябрьской выставки "non/fiction" среди других литературных премий вручается учрежденная посольством Франции премия имени Мориса Ваксмахера за лучший литературный перевод с французского на русский. И вот теперь, начиная с 2007 года, аналогичная премия (за лучшую переводную книгу с русского) вручается французским переводчикам. Учредители ее – Фонд Первого Президента России Б. Н. Ельцина и основанная в начале 90-х годов ассоциация "Франция–Урал", которая осуществляет гуманитарные и экологические программы в России и бывших советских республиках. Надо сказать, что поддержка русского языка в мире – одно из приоритетных направлений деятельности Фонда Ельцина. Благодаря ему существуют ежегодные премии за лучший перевод с русского на английский (ROSSICA) и на итальянский ("Россия–Италия. Сквозь века"), проводится международный литературный конкурс "Русская премия", в котором участвуют писатели стран СНГ и Прибалтики. Во Франции, где уже довольно давно отмечают премиями переводчиков с английского, итальянского, немецкого, венгерского языков, русисты до сих пор были обойдены вниманием. Между тем именно здесь издается больше русских книг, чем где бы то ни было. Культуры двух стран, как известно, издавна питают друг к другу особую симпатию.

"Премия называется 'Русофония', так как она обращена в будущее: в сферу ее внимания входит любая, а не только российская литература на русском языке, – рассказывает координатор проекта Кристин Местр. – Понятие русофонии (связанное с появлением в мире все растущего числа русскоговорящих, но не обязательно русских людей) выдвинули журналист, президент ассоциации 'Франция–Урал' Димитри де Кошко и Союз русофонов Франции. Это феномен, который позволит русскому языку стать, наряду с французским, португальским, испанским или арабским, противовесом вездесущему английскому. Цель премии – знакомство читателей с литературой на русском языке, привлечение к ней их интереса и поощрение издателей к публикациям написанных по-русски книг".

Любопытно, что именно французы, со свойственным им стремлением к рациональному осмыслению реальности, обратили внимание на явление, о котором в самой России пока еще мало задумываются. Мы по инерции продолжаем ставить знак равенства между российской и русской литературой, тогда как сегодня по-русски думают, говорят и пишут на Украине, в Средней Азии, Прибалтике, а также в Германии, Соединенных Штатах, Канаде, Израиле, Австралии люди, живущие в другой реальности и часто озабоченные другими проблемами. Границы русофонии гораздо шире границ России. Если же взглянуть еще и на безграничное виртуальное пространство Интернета, то придется признать, что этногеографическое представление о русской литературе и сфере распространения русского языка безнадежно устарело.

© Наталья Мавлевич, 2008

Одинаково неконструктивны сожаления о гибели империи, где русский был официальным и доминирующим языком, и желание новых государств отринуть его как напоминание о "колониальном прошлом". "По-русски могут беседовать узбек с литовцем, израильтянин с болгарином, болтать в чате получивший образование в СССР конголезец с австралийским потомком казаков или ученый-белорус из Оклахома-Сити с переселившимся в Нюрнберг поволжским немцем... Русофония – одно из проявлений многополярного, разноликого мира", – пишет Д. де Кошко. Язык – посредник, язык – миротворец и проводник культуры способен поддержать авторитет России в мире ничуть не меньше, чем военная мощь или нефтяные трубы.

Неслучайно в 2007 году жюри премии возглавлял Андрей Макин, выходец из Советского Союза, ставший французским писателем и даже гонкуровским лауреатом 1995 года, а в 2008-м – известный украинский русскоязычный писатель Андрей Курков. Кроме них в состав жюри вошли ученые-слависты, переводчики, преподаватели русского языка. Некоторые из них хорошо известны в России: так, Анн Дюрюфле несколько лет работала культурным атташе в посольстве Франции в Москве, Ирина Кривова – бывший главный редактор газеты "Русская мысль". Почетный председатель жюри – Татьяна Борисовна Юмашева.

Премия вручается в торжественной обстановке, непривычной для переводчиков, чей труд, как правило, остается за кулисами. Церемония вручения – настоящий праздник, заметное событие парижский культурной жизни, в котором участвуют писатели, издатели, ученые и дипломаты и которого ждут любители русской литературы. Переводчики-лауреаты читают отрывки из книг-победителей на французском языке, молодые актеры ГИТИСа – на русском.

В 2007 году лауреатом "Русофонии" стал Жан-Батист Годон. Перевод повести Евгения Замятина "На куличках" – первая его опубликованная работа. В пятерке лучших новый перевод "Мертвых душ" Гоголя, выполненный преподавателем русской литературы университета "Париж IV – Сорбонна" Анн Кольдефи-Фокар, переводы Анри Абриля "Случаев" Даниила Хармса, Жака Эмбера – "Пятерых" Владимира Жаботинского, Анн Кишилов – соловецкой летописи Бориса Ширяева "Неугасимая лампада". Сам перечень произведений – не просто свидетельство интереса, но преданной, благоговейной любви к русской литературе и культуре.

Жюри всех подобных премий обычно стремится поощрять знакомство читателей с самыми последними новинками. Однако среди представленных на первый конкурс работ переводов современной литературы было не так много. Логичное объяснение этому дал Андрей Макин. "По моему глубокому убеждению, – сказал он, – мы не можем судить о том, что пишется непосредственно сейчас. Должно пройти лет 40–50, чтобы можно было сказать: вот это великий писатель, хотя в свое время он остался незамеченным, а это – ничего не стоящий, хотя вокруг него было столько шуму"[1].

И все же на следующий год переводов современных авторов стало значительно больше, и премию "Русофония-2008" получила Жоэль Дюбланше за перевод "Патологий" Захара Прилепина и "Года обмана" Андрея Геласимова. Жюри особо отметило Лили Дени, одну из старейшин цеха русских переводчиков, она была удостоена почетной награды за перевод романа Василия Аксенова "Москва-Ква-Ква" и за многолетние заслуги перед русской литературой и французской публикой. Отмечены также работы Любы Юргенсон ("Обмененные головы" Лео-

1. Здесь и далее цитируются, с разрешения составителей, каталоги "Prix Russophonie. Paris 2007" и "Prix Russophinie. Paris 2008". Тексты 2007 года – в переводе М. Кожевниковой.

нида Гиршовича) и Николая Струве ("Письма Марины Цветаевой Константину Родзевичу"). На будущее жюри высказало пожелание "удостоить премии безупречные стихотворные переводы".

Всего на конкурс уже в первый год было представлено около четырех десятков книг разных жанров, на следующий год — около полусотни. Диапазон интересов издателей и переводчиков (а значит, и читателей) чрезвычайно широк: от Радищева до Сорокина, от Чехова до Пелевина. Стихи Ахматовой, поэзия и проза Мандельштама, воспоминания и письма Цветаевой, эссе Ольги Седаковой, детские стихи Михаила Яснова и целый сборник русской детской поэзии (Саша Черный, Чуковский, Маршак, Хармс, Заходер, Берестов, Сапгир, Сеф, Мориц, Григорьев), составленный и переведенный Анри Абрилем. Все, что читают у нас, довольно быстро появляется во Франции: Людмила Улицкая, Б. Акунин, Анна Политковская, Евгений Гришковец, Михаил Шишкин, Дина Рубина, Марк Харитонов. Есть и довольно неожиданные, на наш взгляд, находки: "Буря" Николая Островского, "Голова профессора Доуэля" Александра Беляева, поэма Максимилиана Волошина "Святой Серафим".

"Русофония" — это еще и прекрасно изданные каталоги, где собраны высказывания писателей, переводчиков (русских и французских) и членов жюри, а также представлены отрывки из произведений-финалистов на двух языках. Эти размышления и сопоставления наглядно показывают тонкие различия национального мышления и дают редкую возможность взглянуть на себя со стороны.

Носителям языка трудно самим судить о тех его особенностях, которые становятся явными при сравнении. Билингвы, такие, как Андрей Макин, в этом более компетентны. "Как передать по-французски русское мышление с его законами, его нормами и запретами? — пишет он. — Один из излюбленных примеров — сфера эмоций: русские в этой области куда более сдержанны и менее красноречивы. У французов же имеется огромный запас слов на эту тему. Дело тут не в языке, а в принципиальной установке не касаться определенных предметов". Опытные переводчики согласятся с ним.

Анн Кольдефи-Фокар, на чьем счету, помимо "Мертвых душ", "Носа" и "Шинели" Гоголя, переводы Достоевского, Пильняка, Платонова, Солженицына, приводит слова немецкого философа Эрнста Кассирера о том, что различия в языках отражают различия в мышлении народов. По ее мнению, понятие совершенного и несовершенного вида глаголов, которого нет во французском, "выражает иное отношение к времени, а значит, и к миру". "Переводчик, — продолжает она, — сталкивается с тройными трудностями: это, во-первых, разница мировоззрений двух языков, во-вторых, особенности языка, а следовательно, и мировоззрения переводимого автора, и в-третьих, отношения с потенциальным читателем (крайне важный фактор, которым часто пренебрегают), без которого перевод не имеет смысла". "Переводчик — обезьяна", — говорил переводчик Фолкнера Морис Коэндро, поскольку он должен изучить и воспроизвести жесты, мимику — а то и гримасы — своего автора. "Переводчик — обманщик", — возражает Андре Маркович и обосновывает свое утверждение тем, что любой переводчик неизбежно навязывает читателю собственную интерпретацию текста. Кроме того, существуют теории о "переводчиках-невидимках" (чьи имена даже не указываются в книге), "переводчиках-клептоманах" и множество других. Не пришло ли время "просто переводчика", вполне отдающего себе отчет в том, что он предлагает читателю свое прочтение произведения, вместе со своими речевыми пристрастиями и погрешностями; переводчика, понимающего, что, по выражению Бланшо, "идеальный литературный перевод невозможен, так как невозможно полное сходство", и что в то же время

без него, при всем его несовершенстве, целые области мировой литературы были бы навсегда недоступны для миллионов читателей?

Переводчиков вообще хлебом не корми – дай поговорить о своем ремесле, а уж красиво говорить они умеют, профессия такая. Но самое любопытное, насколько сходны мысли русских и французских коллег. Видимо, профессиональное мышление у них, по крайней мере, не слабее национального. Всякий, кто знаком с выступлениями и интервью наших переводчиков, легко заметит эту близость, читая выдержки из каталогов премии.

"Сама профессия обрекает переводчика на смирение, ведь ему никогда не создать оригинала. <...> О переводе можно еще сказать, что он воплощение закона двойственности, присущего живой жизни, 'сходства несходного'", – пишет Анри Абриль, поэт, публицист, славист, автор перевода полного собрания стихов Мандельштама, поэзии и прозы Пастернака.

"Как не раз уже говорилось, перевод – занятие безнадежное, – считает Владимир Берелович, перу которого принадлежат переводы "Облака в штанах", "Дамы с собачкой", произведений Исаака Бабеля, мемуаров Андрея Сахарова и другого, – ибо любой литературный текст по существу уникален: мало того, что он плоть от плоти родного языка, он и сам представляет собой особый язык, поэтому передавать его средствами другого языка, как поступает медицина (трансплантация) или техника (трансляция), невозможно. Для любого переводчика высказанная сентенция – банальность, повторив ее про себя, он садится за стол и принимается переводить". Рассказывая о своей работе над "Зияющими высотами" (по-французски книга называется "Hauteurs béantes") Александра Зиновьева, В. Берелович выводит своеобразные правила перевода непереводимого, подобные тем, каким следуют и оказавшиеся в аналогичной ситуации русские переводчики:

Это произведение непереводимо по самой своей сути, в нем вместо привычных трудностей переводчика встретили неодолимые препятствия, заставив его рисковать, играть ва-банк, решать: все или ничего, пан или пропал. Непереводимость текста Зиновьева связана с тремя его специфическими чертами. Первая – автор постоянно играет словами. В обычной прозе игра слов встречается редко, и переводчик довольствуется передачей прямого значения слов, при необходимости снабжая фразу небольшим смысловым комментарием. Без прямого значения слов обойтись невозможно, так как фраза встроена в общий контекст, а высветить на другом языке ее второй смысл представляется невообразимым чудом. Ведь играют словами чаще всего в шутливых диалогах, тогда как попытка воспроизвести игру выглядит вымученно, натянуто и почти всегда проигрывает по сравнению с оригиналом, так что переводчики заведомо отказываются шутить именно так. В тексте Зиновьева сноски, разъясняющие его словесные игры, заняли бы целые страницы. Но дело не в объеме сносок, а в том, что автору нужно играть словами не ради шутливых каламбуров, а ради того, чтобы выявить в том бюрократически-канцелярском языке, на котором говорило советское государство, таящийся в нем абсурд – абсурд, который вызывает смех и страх одновременно.

Вторая – текст "Зияющих высот" непереводим из-за самого "канцелярита". И не только потому, что, существуя по-русски, подобный язык не существует по-французски. Не только потому, что сам по себе этот язык нелеп, неуклюж и абсурден, но еще и потому, что в России этот язык при всей своей бессмыслице был понятен и привычен всем, как привычен был городской пейзаж, состоящий из одинаковых серых бетонных домов-коробок. <...> Этот своеобразный жаргон для посвященных, теряющий всякий смысл для тех, кто находится вне среды, принимали как данность, понимали с полуслова. Текст Зиновьева и создан из "полуслов", он одновременно тяжел и воздушен, тяжел, потому что в основе его "бетон", воздушен, потому что весь состоит из намеков. Воздушный бетон для стороннего наблюдателя кажется туманом.

Третье – текст Зиновьева непереводим, потому что высмеиваемый и обыгрываемый "канцелярит" отсылает к реалиям – лучше было бы сказать к "нереалиям" – советского быта, которые теперь не понятны даже молодым россиянам.

Вчитываясь в книгу, вникая, я нашел – или ко мне пришло – единственно возможное решение: я свободен, и я передаю текст. Передавая словесную игру, я руководствовался следующими принципами: она должна была быть забавной и вместе с тем пугать; даже если не все было в ней понятно, должна была возникать иллюзия, что понятно все; я старался настолько приблизить читателя к целому, чтобы у него возникало разом два ощущения – близости и дистанции. В случае необходимости я жертвовал и каламбурами. В качестве примера приведу название: "зияющие высоты" по-русски сразу вызывают в памяти "сияющие высоты" (коммунизма), которыми пестрели газетные полосы. Я попробовал передать эту игру, взяв известное выражение писателя-коммуниста Поля Вайяна-Кутюрье "певучее завтра", превратив его в "вонючее завтра" *(то есть вместо "les lendemains qui chantent" – "les lendemains qui sentent". – Н. М.)*, но тут же ощутил, что исчезла метафизика русского названия, и отказался от игры слов. Передать официозный советский язык мне помогла левая пресса... Передавая жаргон и непереводимые грубые ругательства, впаянные в литературный контекст, я ориентировался на такого недосягаемого мастера этого жанра, как Селин...

Главная задача переводчика – передать авторскую интонацию; сначала уловить ее и, переводя, стараться передать читателю. Во имя верности тексту и правдивости его воспроизведения я дал себе полную свободу действий. Не обязательно переводить каламбур, можно его изменить, даже убрать и потом воскресить в другом месте, в другом виде, сохранив глубинный смысл и силу воздействия. Можно даже что-то прибавить, чтобы не потерять конечный эффект: текст Зиновьева кумулятивен, он – результат всех составляющих его элементов, поэтому верной должна быть фраза, а возможно, абзац, а возможно, страница или глава и уж во всяком случае – книга в целом. А как это достигается – дело техники.

Как видно из приведенного блестящего текста, перевод, особенно перевод прозы, это настоящая пересадка (или "переселение при помощи языка", как сказал Андрей Курков) литературного произведения из одной культурной почвы в другую. Чтобы саженец прижился, надо перенести с ним вместе целый ком земли. Это нелегкое, захватывающее занятие и настоящее искусство, мастера которого должны обладать интуицией, эрудицией, безупречным слухом.

Для знающих французский язык очень интересно сравнивать отрывки оригиналов и переводов, но даже знатоки не всегда способны оценить, удачно ли проведена пересадка, или понять, почему, например, "Картофельный Рафаэль" (название второй главы "На куличках" Замятина) превратился в "Картофельного Моцарта" ("Le mozart de la pomme de terre"). Видимо, для французов имя Рафаэля, в отличие от Моцарта, не бывает нарицательным, так что "Рафаэль=Моцарт" верно.

Обычному читателю и в голову не придет, сколько изобретательности должен проявить переводчик, чтобы передать рубленые русские фразы по-французски, где никак не обойтись без глагола-связки! Трудно узнать родную "мерзопакость" во французском "saloperie", невозможно понять, почему такой сложной для перевода кажется такая простая и нейтральная фраза, как "Чего ты глядишь?" (она приведена в избранных, вероятно, самых виртуозных образцах перевода "Случаев" Хармса). Между тем именно такие тонкие капилляры определяют жизнеспособность текста на новой почве.

Загребая землю для пересадки, переводчик подчас набирается неожиданного, оглушительного жизненного опыта. Лауреату 2008 года Жоэль Дюбланше, до этого переводившей гончаровского "Обломова", чтобы перевести "Патологии" Прилепина, пришлось освоить целый слой речи, с которым она никогда

не соприкасалась (герои Прилепина – далекие от благолепия омоновцы). "Перевод 'Патологии', – пишет она, – стал для меня, никогда в жизни не державшей оружия и в детстве даже не игравшей в 'казаков-разбойников', эпическим, незабываемым опытом". По словам члена жюри, крупного русиста Кристин Кайон, "Жоэль Дюбланше семь месяцев страдала, пила, сражалась и чистила оружие бок о бок с автором-близнецом, а мы благодаря этому получили замечательный перевод".

Андрей Курков, чьи произведения переведены на 32 языка, поделился взглядом на проблему с другой стороны, со стороны переводимого автора. Он знает, что "хороший переводчик всегда соавтор". А вот когда он начинает чувствовать себя автором, получается уже не так хорошо. Как в случае с его английским переводчиком, сократившим роман на 40 % (поскольку "английским читателям непонятны многие неизвестные им реалии"), так что английские критики написали: "Никогда еще Андрей Курков не был так лаконичен, жаль, что краткость не пошла на пользу логике романа!"

Две премии – это уже начало традиции. И начало это благодаря доброй воле, труду, профессиональному и любовному отношению к делу организаторов "Русофонии" сулит надежное продолжение.

# "Избранное" от избранных

Вислава Шимборская *Избранное* / Перевод с польского А. Эппеля. – М.: Текст, 2007

На обложке – капли дождя, ползущие по оконному стеклу, за стеклом – поток машин в пасмурном городском пейзаже. Эта небольшая, изящно оформленная книга – первая в России билингва Виславы Шимборской, польской поэтессы, лауреата Нобелевской премии по литературе 1996 года. Переводчик, составитель и автор послесловия – кавалер польского ордена "Офицерский крест Заслуги" писатель Асар Эппель. Первая публикация его переводов В. Шимборской состоялась еще в 1967 году. В 2003 году журнал "Октябрь", а в 2006-м "Иностранная литература" целиком напечатали переведенные им книги стихов "Chwila" ("Мгновение") и "Dwukropek" ("Двоеточие"). "Избранное" содержит в полном объеме упомянутые сборники, а также стихи из других книг – все переводы В. Шимборской, сделанные А. Эппелем на протяжении четырех десятилетий. Издание книги совпало с некруглым юбилеем поэтессы – в этом году ей исполнится 85 лет.

Вислава Шимборская начинала с рифмованной и реалистической поэзии, темы двух первых сборников: война, родина, любовные переживания. Ее афористично-ироническая строка "Наш военный трофей – познание мира" стала широко известна в послевоенной Польше. В 1957 году вышла третья книга "Призывы к йети", с которой началось движение к индивидуальному поэтическому стилю. Наряду с традиционными стихами появляются нерифмованные тексты со свободным "джазовым" ритмом и "подрифмованные" верлибры, где рифма то возникает, то исчезает (со временем рифмованные стихи у нее вытеснятся верлибрами). Изменяется тематика: философские мотивы, обогащенные культурными ассоциациями, начинают преобладать над тем, что принято называть любовной лирикой и гражданскими стихами. Верней сказать, ее лирика и гражданственность нагружаются новыми смыслами. Стихи все меньше напоминают дневник личных переживаний, от частного и сиюминутного они переходят к общему и вневременному. Но эта "надмирность" не отгораживала ее от злобы дня.

Стихи, озаглавленные "Вьетнам", написаны в шестидесятые годы, сегодня их можно было бы назвать "Война".

Женщина, как тебя звать?
– Не знаю.
Сколько тебе лет,
откуда ты родом? – Не знаю.
Для чего копала эту нору?
– Не знаю.
От кого прячешься? – Не знаю.
Почему кусаешь меня за палец?
– Не знаю.
Ты ведь знаешь, что мы тебя
не обидим? – Не знаю.
На чьей ты стороне? – Не знаю.
Война идет, должна бы знать.
– Не знаю.
Что твоя деревня? Цела?
– Не знаю.
Это твои дети? – Мои.

В стихах "Сфотографированное 11 сентября", рассказывая о прыгнувших с горящих этажей вниз, она напишет: *Всего-то две ве-*

*щи я могу для них сделать – / описать полет / и не ставить последней фразы.*

Все эпохи одновременно присутствуют в ее поэзии: *Какие-то люди бегут от каких-то людей. / В какой-то стране под солнцем / и некоторыми облаками. / В спешке побросав какое-то свое всё, / каких-то кур, собак, посевы / и зеркальца, куда огонь глядится.* Создается впечатление, что Шимборская обращается не столько к современнику, сколько к человеку вообще. Вот названия стихотворений из книги "Избранное": "Атлантида", "Монолог для Кассандры", "Платон, или Зачем", "Лотова жена", "Беседа с Атропой", "Греческая статуя", "Средневековая миниатюра", "Надгробная надпись", "Сношения с умершими", "Кое-что о душе" – они в полной мере дают представление о тематике и культурном контексте. Слог Шимборской лишен приемов, обычно маркирующих поэтический язык. У нее нет стилистической усложненности или избыточной барочной образности, когда по одному из признаков сравниваются предметы несхожие. Камлание, так называемое высокое косноязычие, абсолютно не свойственно ей. По жанру стихотворение приближается к эссе, становится похожим на короткое эмоциональное размышление. Этическое послание читателю сочетается у Шимборской с иронией и ясностью изложения. В ситуации, когда официальная идеология, транслируемая Польской объединенной рабочей партией, воспринималась большинством поляков как навязанная ложь, католические священники и независимые поэты обрели в обществе статус носителей истины: *Это я, Кассандра. / А это вот мой город под пеплом. / А это вот мой посох и ленты-провидицы. / А это вот моя голова, исполненная сомнений.* Многие ее стихотворения (отнюдь не перегруженные христианскими аллюзиями) по своему нравственному посылу напоминают проповедь. При этом она не утверждает, что последнее знание у нее в кармане или на кончике пера: *В ясные вечера наблюдаю небо. / Не устаю удивляться / сколько там точек зрения.*

Написанные после Второй мировой войны, после Освенцима и ГУЛАГа, вобравшие знание о войнах новейшего времени, эти стихи говорят о жизни как о священном и бесценном даре: *Дивна ты – твержу я жизни, – / невозможно быть чрезмерней, / лягушачей, соловьиней, / муравьиней и – семянней.* Повторяемые в разных вариантах, такие утверждения становятся лейтмотивом: *Жизнь – единственный способ / зашелестеть листвой, / <...> / Редкостная возможность / мгновение помнить, / о чем шепталось / при погашенной лампе; / разок споткнуться о камень, / вымокнуть на каком-то из дождиков, / посеять ключи в траве / и следить за летучей искрой; / беспрестанно не зная / чего-то важного.*

Рискнем предположить, что это беспрестанное незнание – синоним неразгаданности и многообразия. Случайность, непредсказуемость жизненных коллизий постоянно занимает поэтессу: *Я это я. / Непостижимый случай, / как и любой другой. / <...> / Я не выбирала, / но грех жаловаться.* Или, уже не о себе, в стихах, озаглавленных "Всякий случай": *...Случилось раньше. Позже. / Ближе. Дальше. / Случилось – но не с тобой. / Уцелел, ибо первый. / Уцелел. Ибо последний. / Ибо сам. Ибо люди. / <...> / К счастью, соломинка плавала на воде. / <...> / Итак, существуешь? Пощаженный покамест мгновением? / Сеть была одноячейной, и ты – в ту ячею? / Не могу надивиться, намолчаться этому.*

Большое количество стихов посвящено писательству как беспрестанному акту наблюдения над жизнью. Alter ego Шимборской не участник, а наблюдатель событий, "человек с биноклем". Но наблюдатель не пассивный, а

наделенный способностями демиурга: *Стоит вымолвить "тишина", / и я ее тотчас уничтожаю. / Молвлю "ничто" / и получается "нечто", не вместимое ни в какое небытие.* Описание, а по сути, сочинение мира и влияние его на мир реальный, взаимодействие слов и жизни — одна из постоянных тем поэтессы: *Зачем сочиненная серна бежит в придуманный лес? / Воды сочиненной напиться / и мордочкой в ней отразиться? / Зачем насторожилась? Неужто слышит что-то, / на занятых у правды стройных ножках / прядая ухом под моей рукой? / Тишь – это слово тоже на бумаге / шуршит, / раздвинув ветви слова "лес".* Это цитата из стихотворения "Радость писательства". В сочиненном мире, в отличие от реального, Шимборская — полновластная хозяйка, но простота и аристократизм ее слога подсказывают, что поэзия по-прежнему способна на прямое действие и что влияние данного автора простирается и за границы вымысла.

Как правило, признание коллег по цеху предшествует читательскому признанию. С середины шестидесятых годов польские критики пишут о Шимборской как о важнейшем явлении в современной польской поэзии. В одном из своих американских интервью много переводивший с польского Иосиф Бродский (задолго до присуждения поэтессе Нобелевской премии) назвал ее наряду с Чеславом Милошем в ряду крупнейших поэтов Европы. Асар Эппель в интервью "Русскому журналу" уже в новом тысячелетии сказал: "Шимборская — поэт изысканного дарования, и стихи ее исполнены глубоких оригинальнейших и парадоксальных мыслей. При этом она единственный мастер подобной стилистики, и в русской традиции аналога этой поэтике нет". Сегодня стихи В. Шимборской переведены на 36 языков и опубликованы в 18 странах, для Польши она — национальное достояние.

Глядя на строки, напечатанные на соседних страницах по-польски и по-русски, думаешь о том, как разошлись фонетически (шипящие и носовые звуки), интонационно (в польском — фиксированное ударение) и графически два родственных языка. Хотя русская светская поэзия начиналась в XVII веке с виршей, подражавших польскому силлабическому стиху (Симеон Полоцкий), довольно скоро в России появилась силлаботоника; с тех пор две поэтические ладьи, одна с латиницей, а другая — с кириллицей по борту, постепенно отдалялись друг от друга. Влияние новейшей западноевропейской литературы сказалось в Польше сильней, чем в России, и в XX веке стилевое различие двух поэзий увеличилось. Но поверх национальных, религиозных, политических и любых других различий существуют общие, объединяющие людей смыслы. Поэт Вислава Шимборская находит и формулирует их.

Алекс Рапопорт

# *У книжной витрины*



с Михаилом Визелем

Луиджи Гуарньери *Двойная жизнь Вермеера* / Пер. с ит. Льва Каца. — М.: КоЛибри, 2008. — 288 с. — 7000 экз.

В конце мая 1945 года два агента голландской спецслужбы переступили порог роскошного амстердамского дома известного коллекционера и художника-любителя Хана ван Меегерена, чтобы поинтересоваться у хозяина — каким образом к нему попала картина Вермеера "Христос и блудница", оказавшаяся потом через цепочку посредников в коллекции нацистского преступника Геринга? Агенты думали, что допрос окажется простой формальностью — подозревать уважаемого коллекционера и антиквара в коллаборационизме никаких оснований не было. Но тот вел себя как-то странно и отказывался отвечать на простейшие вопросы. И только через несколько недель после ареста (оставшись без морфия, без которого уже не мог обходиться), сделал ошеломляющее признание: эта и еще несколько прошедших через его руки "новообнаруженных" картин Вермеера и других голландцев XVII века... на самом деле созданы им самим, ван Меегереном. И не потому, что он хотел поживиться на доверчивых покупателях или натянуть нос самоуверенным экспертам, а потому, что он — современное воплощение Вермеера.

Подробно следя за перипетиями жизни гениального и явно сумасшедшего авантюриста, Гуарньери заставляет читателя задуматься над очень непростыми вопросами: в чем, собственно, состоит магия "старых мастеров"? Почему такой-то художник считается гением, а такой-то — нет? И чем в конце концов определяется стоимость произведения искусства в эпоху его воспроизводимости?

Жан Айон *Догадка Ферма* / Пер. с фр. Елены Мурашкинцевой. — М.: Иностранка, 2008. — 528 с. — 5000 экз.

На первый взгляд, это классический роман "плаща и шпаги". Только вот автор — историк-экономист по основной специальности — пытается наперекор жанру переубедить читателя и доказать ему, что историю Франции в XVII веке (как, впрочем, и во все времена) вершили не бравые молодцы со шпагами и усищами, а, наоборот, тихие неприметные чиновники и ученые мужи. Первых в книге представляет сквозной герой нескольких романов Айона — бывший нотариус Луи Фронзак, волею судеб и благодаря собственным талантам ставший "чиновником по особым поручениям" при кардинале Мазарини. Вторых — Блез Паскаль и Пьер Ферма собственной персоной; им Фронзак поручает создать шифровальную машину, которую невозможно будет взломать врагам короны. Словом, "Энигма" в декорациях "Трех мушкетеров". Впрочем, одному мушкетеру — господину Исааку де Порто по прозвищу Портос — в романе место тоже нашлось. Равно как и прекрасным интриганкам, скрупулезно выписанным интерьерам и острым шуткам. Ну и острым шпагам тоже, куда же без них.

Дэвид Ремник *Мухаммед Али. Американская мечта короля ринга* / Пер. с англ. Сергея Шульженко. — М.: КоЛибри, 2008. — 512 с. — 5000 экз.

Строго говоря, эта книга — не биография Али; она подробно описывает лишь короткий период с 60 года, когда восемнадцатилетний Кассиус Клей стал олимпийским

чемпионом, до 67 года, когда всемирно известный боксер, уже принявший мусульманское имя, отказался служить в армии и был лишен за это чемпионского титула.

Это и не удивительно. Дэвид Ремник — совсем не спортивный обозреватель; он — известный политический журналист, главный редактор влиятельнейшего журнала "Нью-Йоркер", лауреат Пулицеровской премии за книгу о распаде Советского Союза под названием "Могила Ленина" ("Lenin's Tomb"). Казалось бы — при чем здесь бокс? Но Ремник на то и политолог, чтобы суметь в истории восхождения молодого боксера к вершинам профессионального спорта разглядеть политическую коллизию. По мнению автора, противостояние трех сильнейших боксеров-тяжеловесов начала шестидесятых — Сонни Листона, Флойда Паттерсона и Али-Клея — это противостояние трех типов отношений афроамериканцев с белой Америкой: наследие прошлого — мрачный, неграмотный бывший громила Сонни, целиком находящийся под влиянием мафиозных кланов; вечно извиняющийся Флойд, больше всего боящийся лишиться расположения истеблишмента; и, наконец, противоположность им обоим — свободный человек Клей, твердо знающий, чего он хочет и как этого добиться.

В угоду своей концепции Ремник выпячивает одни подробности и затушевывает другие, но в целом получается выпуклая, яркая и неожиданная для русского читателя картина Америки шестидесятых: не только холодная война, рок-н-ролл и убийство Кеннеди, но и культ спорта, борьба за права меньшинств и, конечно же, "Черные мусульмане", одним из которых и стал Мухаммед Али.

Джон Ирвинг *Покуда я тебя не обрету* / Пер. с англ. Ильи Свердлова. — М.: Иностранка, 2008. — 880 с. — 10000 экз.

Представляя свою новую книгу в Москве, Ирвинг всячески подчеркивал ее автобиографический характер. Но это совсем не то повествование о едва прикрытом "альтер эго" автора, к которым приучил нас, например, Бегбедер. Во-первых, автора и героя отделяет огромная временная дистанция: автор, которому перевалило за шестьдесят, пишет о герое-подростке. Во-вторых — у этого героя, носящего имя Джек Бернс, совершенно отдельная от автора судьба. Выросши, Джек становится знаменитым голливудским актером, в то время как сам Ирвинг, долгое время разрываясь между актерством и писательством, выбрал всё-таки писательство. Роднит персонажа и автора одна, но фундаментальная черта: и тот, и другой не знали своего настоящего ("биологического", как сейчас принято говорить) отца, и тот и другой потратили много времени и мучительных усилий на его поиски. Усилий в первую очередь душевных, поэтому не случайно "Покуда я тебя не обрету" критики называют также "сеансом психоанализа". А при психоанализе чего только не выплывет — и неудовлетворенная подростковая сексуальность, и навязчивая идея татуировок, и путешествия по Северной Европе. Как раз на восемьсот с лишним страниц, и размазанным не кажется.

Жозе Сарамаго *Слепота*[1] / Пер. с порт. Александра Богдановского. — М.: Эксмо, 2008. — 368 с. — 4000 экз.

Жителей некоего города в некоей стране поражает загадочная болезнь, приводящая к слепоте. Болезнь, похоже, заразна, поэтому власти собирают всех пораженных вместе и запирают их в загородной больнице, окруженной армейскими подразделениями. Но это не помогает — город погружается в хаос темноты, не столько физической, сколько моральной...

Один из романов-"визитных карточек" португальского классика наконец-то (спустя 13 лет после публикации!) добрался до русского читателя. Почему только сейчас? Как это

1. См. фрагмент романа в "ИЛ", 2008, № 3.

ни грустно, но, похоже, решающим фактором оказался выход в прокат летом 2008 года голливудского крупнобюджетнго фильма по этому роману с Джулианной Мур и Гаэлем Гарсия Берналем в главных ролях. До этого момента российских издателей тоже одолевала какая-то странная слепота.

Митч Каллин *Пчелы мистера Холмса* / Пер. с англ. Дмитрия Харитонова. — М.: Иностранка, 2008. — 304 с. — 5000 экз.

Пересказ фабулы этой книги выглядит как злая шутка постмодерниста, заигрывающего с массовой культурой: Шерлок Холмс дожил (на своей пчелиной ферме в Суссексе, разумеется) до девяноста лет и отправился в Японию — в поисках некоего волшебного снадобья, продлевающего жизнь. Но Япония только что пережила атомную бомбардировку, ее жителям не до старинных легенд. Но личное прошлое попрежнему их беспокоит — и престарелому сыщику снова приходится браться за расследование преступления, совершенного полвека назад.

Митч Каллин наполняет этот гротескный комиксовый сюжет живым чувством и живой грустью. Его седовласый Холмс, передвигающийся теперь с помощью двух тростей, но сохранивший прямую спину, не был от рождения рациональной "мыслительной машиной", как показалось простодушному доктору Уотсону, — в его жизни были и сильные эмоции, и любовь. Но лишь сейчас, на пороге смерти, он позволяет себе вспоминать о них.

# *Информация к размышлению*
## *Non-fiction*

с Алексеем Михеевым

Даже если тему "Россия и Польша" нельзя назвать для российской интеллигенции столь же вечной и неразрешимой, как пресловутые вопросы "Что делать?" и "Кто виноват?", она тем не менее безусловно стоит в том же ряду. Тема эта была актуальной и в XIX веке (когда значительная часть современной Польши входила в состав Российской империи), и в веке XX (когда Польша после нескольких веков ненадолго получила независимость, а затем вновь попала в орбиту восточного — теперь уже советского влияния). Естественно, что в постсоветский период тема приобрела новые ракурсы, однако и спустя почти два десятилетия она все же остается недостаточно отрефлексированной. Хотя бы отчасти разобраться в сегодняшнем положении дел помогает специальный (сдвоенный) выпуск журнала "Историк и художник" (2008, № 1—2), так и озаглавленный: "Польша—Россия". В номер вошли публикации почти сорока авторов, сгруппированные в четыре раздела: "Во взаимных представлениях", "В соприкосновениях с Западом и Востоком", "На путях к свободе", "В отношениях с прошлым". Подобное деление, впрочем, можно считать достаточно условным, поскольку в любом частном вопросе этой темы неизбежно — в той или иной степени — присутствуют все перечисленные аспекты.

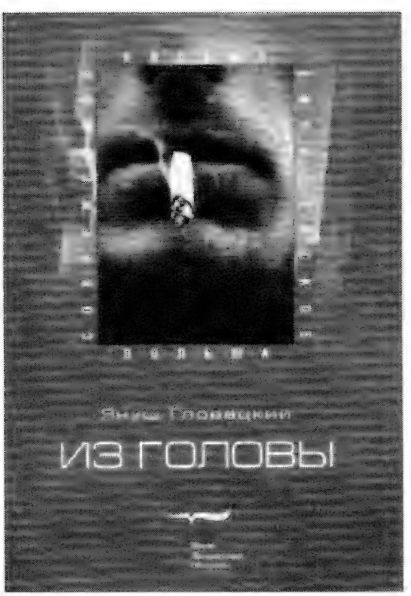
Несмотря на то, что проблема польско-российских отношений имеет глубокие исторические корни, далекой истории в номере посвящено не так уж много материалов (например, статья поляка **Ярослава Чубаты** "Политические шансы, национальные мифы и эмоции. О значении наполеоновской эпохи в истории Польши" или исследование **Натальи Филатовой** "Россия и русские в поэзии польского восстания 1830—1831 гг."). В большинстве публикаций речь идет о XX веке; причем если его вторая половина многим читателям более или менее знакома (среди прочего — и по собственному опыту), то история межвоенного двадцатилетия — это скорее белое (или уж во всяком случае довольно мутное) пятно. Прояснить его отчасти помогают прежде всего работы **Анджея Новака** ("Россия в польской политической мысли XX в.") и **Бориса Илизарова** ("Польша и поляки в оценках и представлениях Сталина. Между Польшей довоенной и Польшей послевоенной").

Однако самый интересный из посвященных этому периоду материал — статья **Анджея де Лазари** и **Олега Рябова** "Образы врага: поляки и русские в сатирической графике межвоенного периода (1918—1939 гг.)". Здесь характерные для массового сознания взаимные негативные стереотипы представлены наглядно, в работах политических карикатуристов тех лет. С одной стороны — ос-

калившийся бородатый мужик заносит кулак над Западом, обещая миру: *Скоро моя высокая культура воцарится не только в Европе, но и в Америке...*; с другой — пускающая слюну свинья в конфедератке с надписью *Ясновельможная Польша* лежит на плече у *Франции*, придерживая копытом листок с надписью *Границы 1772 года*. На рисунке из польской "Мухи" Ленин, Троцкий и Дзержинский в обличье "Трех богатырей" направляют взоры в сторону Варшавы, а в российском "Красноармейце" польский "пан" с огромными усами гордо провозглашает: *Россия для поляков!..* Но самое любопытное здесь — обложка журнала "Красный ворон" за октябрь 1923 года, на которой прозорливо отображен год 1939-й (пакт Молотова–Риббентропа и начало Второй мировой войны): стоящий справа российский солдат в буденовке пожимает руку шагающему ему навстречу немецкому пролетарию в кепке, а между их ладонями оказывается карликовый поляк: *Им-то хорошо протягивать руки друг другу, а мне вот протягивать ноги придется.*

Острота и оскорбительный характер этих рисунков не оставляют сомнений в том, что в довоенную эпоху из всех западных соседей именно Польша служила для России особым раздражителем. После войны ситуация изменилась: Польша стала всего лишь одним из "кирпичиков" монолитного восточного блока. Однако в середине 50-х, с наступлением послесталинской оттепели, Польша вновь заняла особое для России (тогда — для Советского Союза) место: но теперь уже как источник привлекательности, а не раздражения, и не для партийных властей, а для поднимающей голову интеллигенции. Хорошо известно, что многие выучили польский только за то, что на нем можно было читать относительно "нормальные" газеты, действительно интересные журналы и не переводившиеся на русский книги. Польша приняла на себя роль своего рода моста между Востоком и Западом, хотя бы отчасти восполняя то, чего не хватало в охваченной всепоглощающей цензурой советской реальности. И если говорить о межкультурных стереотипах той поры, то вспоминается, пожалуй, только один: "В социалистическом лагере Польша — самый веселый барак".

Этот период оказался достаточно продолжительным (около тридцати лет) и завершился с победой перестройки, обретением Польшей реальной независимости и крахом Советского Союза. С началом 90-х культурная связь с Польшей резко оборвалась: из киосков исчезла польская пресса, закрылся книжный магазин "Дружба", перестали выходить в прокат польские фильмы. Культурная привлекательность сменилась привлекательностью коммерческой, но уже не для интеллигенции, а для торговцев-челноков, хлынувших на варшавский рынок с целью выгодного товарообмена. Соответственным образом изменились и стереотипы. Для поляков на смену зловещему "Большому брату" пришел (не менее, впрочем, опасный) ловчила-мафиози; для россиян же Польша вновь превратилась в часть Запада, но уже не враждебную, как в 20—30-е, и не привлекательную, как в 60—80-е, а просто в периферийную.




Современный же вариант трансформации польских стереотипов о России можно наблюдать в мемуарной книге **Януша Гловацкого** "Из

головы" (М.: Новое литературное обозрение, 2008. Перевод **И. Подчищаевой;** фрагменты книги публиковались в "ИЛ", 2006, № 8). Вот как известный драматург описывает детали посещения московской премьеры своей пьесы "Антигона в Нью-Йорке":

По пути пришлось заглянуть в общественную уборную, грязную и густонаселенную. Ее облюбовали беспризорники, детишки лет семи, ну, может быть, десяти. Дети выглядели маленькими старичками, у многих не было зубов, зато они умели стрелять. По заказу мафии убивали людей, которых до этого в глаза не видели. Естественно, дети всего лишь дети, могут и ошибиться и пристрелить не того, кого надо. Тогда в наказание они не получат обещанной пачки "Мальборо". Ну и во время этих своих странствий по Москве я подумал, что следующая моя пьеса будет о России.

Перед театром яблоку негде было упасть от припаркованных "мерседесов" и "роллс-ройсов", по числу продаж которых Россия обошла чуть ли не все страны в мире. Из них высаживались дамы в норковых манто и господа в костюмах от Армани. Словом, съехалась вся новомосковская элита. Как мне объяснили, не совсем ради самого спектакля и даже не ради блестящего актерского состава, а потому что в названии фигурировал Нью-Йорк.

А тут нате вам, вместо Дональда Трампа и dolce vita, представление о трех бездомных, обитающих в нью-йоркском парке. И глядя на заполняющую театр шикарную публику, я подумал, что все это плохо кончится — очень скоро многие встанут и выйдут из зала.

Но не встали и не вышли. Это могло означать, что близкие и друзья Березовского, Гусинского и бедолаги Ходорковского еще помнят свою недавнюю нищету, обеды в столовках, а также не слишком уж уверены в своем будущем.

Конечно, отдельные фрагменты этой впечатляющей картинки узнаваемы: есть и беспризорники, и криминал, и бомжи, и гламур... Однако складывающаяся из них мозаика поражает: бандиты, нанимающие в качестве киллеров оборванных детей, или олигархи, шагнувшие в роскошь прямо-таки из грязной подворотни, — это сильно напоминает пресловутого медведя, пьющего водку из самовара. Я хорошо помню визит Гловацкого в конце 95-го: тогда он посетил редакцию "ИЛ" и стал членом Международного совета журнала. Однако об этом в книге ни слова: рамкам сложившегося заранее стереотипа такая Москва, похоже, не соответствовала.

Справедливости ради надо конечно сказать, что и Америку Гловацкий тоже не жалует: нью-йоркская жизнь (а особенно эмигрантская диаспора) выглядит у него далеко не раем (читатели "ИЛ" могут судить об этом по его гротескной повести "Последний сторож" — 2003, № 8). Проблема, однако, в том, что читатель порой не способен отделить вымысел и гротеск от документа и реальности...

Вот что на сходную тему сказал **Анджей Вайда** в своей речи (публикуемой "Историком и художником") в Американском университете (Вашингтон, октябрь 1981 года):

...я должен заявить, что глубоко верю в неразрывную связь искусства и истории. <...> ...всегда получалось так, что не только ученые создавали картину важных событий. Не только от них зависит, что обычный человек об этих событиях думает и как общество осознает свою историю. Это зависит также — а, возможно, прежде всего — от художников, от искусства, от культуры. Кем были Цезарь и Брут, мы знаем скорее от Шекспира, чем от Моммзена или Эдварда Гиббона. Чем была Французская революция, знаем не столько от Жюля Мишле, сколько от Давида, создавшего захватывающую картину событий и персонажей Революции. Чем была русская кампания Наполеона, знаем прежде всего от Толстого. Чем была викторианская Англия — от Диккенса. Чем было американское завоевание Запада, этот неслыханный процесс создания новой цивилизации на новых территориях, мир узнал прежде всего из американского вестерна... <...>

В течение 26 лет моей работы в кино я, не переставая, вторгался в механизмы

истории моей страны. Независимо от того, хотел я этого или не хотел, создавая свои простые истории о простых людях и их драмах, я подтверждал или ставил под сомнение определенный взгляд на историю, давал свидетельство времени. Я еще раз признаю: возможно, даже я не всегда этого хотел, возможно, не всегда отдавал себе в этом отчет. Но с того момента, когда мои фильмы выходили на экран, когда они отрывались от меня и становились публичной собственностью, наступала та самая "встреча с историей..."

Очень не хотелось бы уподобляться типичному советскому пропагандисту, который жалуется на то, что иностранцы предпочитают фотографировать помойки, а не заводские трубы. Однако пьесу "Четвертая сестра", написанную Гловацким под впечатлением описанных визитов в Москву, наш журнал печатать все-таки не стал (в отличие от "российской" пьесы Славомира Мрожека "Любовь в Крыму" — "ИЛ", 1994, № 10). Но ведь польский-то читатель наверняка воспринимает шарж Гловацкого как документальное свидетельство очевидца. Я и сам, например, в такую Москву из Польши ехать бы конечно же побоялся.

Впрочем, стереотипный взгляд на Другого — это феномен отчасти объективный, и от него никуда не деться. По собственному опыту знаю, что, находясь на территории Польши, начинаешь воспринимать геополитический расклад с определенным сдвигом: оттуда Россия (отчасти в силу несопоставимости масштабов) действительно ощущается как некая угроза местной культурной и политической свободе. Но понимаешь это, только становясь на позицию поляка, "влезая в его шкуру".

Проблема отчасти в том, что поляки и россияне несколько различаются между собой в том, что касается отношения к исторической памяти. Поляк ощущает историю мифологически: как единое целое, как протянутую из прошлого цепь событий, периодически воспроизводящихся в разное время, но по одной модели. Для поляка, например, слова *царь, восстание, Сибирь, Советы, Катынь* воспринимаются как единый ряд, объединяемый общим понятием "жертвы". И память об этих жертвах не стирается, а накапливается. Для россиянина же каждое поколение начинает жизнь "с чистого листа", чаще не продолжая, а отрицая предыдущую историю. Требование коллективной — сына за отца — ответственности не кажется ему поэтому естественным и корректным.

Корректировать русско-польские стереотипы конечно же можно и нужно. Но для этого следует, как минимум, не терять контакта с актуальной реальностью. А с этим бывают проблемы.

В начале 90-х на одной популярной московской радиостанции автор данного обзора вел обзор польской прессы, а Наталья Ворошильская (дочь известного читателям "ИЛ" — 1991, № 7; 1993, № 3; 1996, № 5 — поэта) — программу, посвященную польской песне. Однако в один "прекрасный" день руководство решило, что специальные польские программы станции не нужны. Безусловно, вопрос касался исключительно редакционной политики, однако попробуй объясни полякам, что здесь не было злого умысла.

А в апреле этого года в московском кинотеатре "Художественный" пять дней подряд шли новые польские фильмы — каждый только на одном сеансе. Несмотря на бесплатный вход, в не самом большом зале всегда были свободные места. Значит, в десятимиллионной столице осталось не более нескольких сотен интересующихся современной польской культурой. Что ж, равнодушие, наверное, лучше вражды, но все-таки были и иные времена...

1 См., например, И. Адельгейм. Неизбежность любви. Рецензия на книгу В. Британишского "Поэзия и Польша" (2008, № 8).

# По материалам зарубежной прессы



JORGE VOLPI *No será la Tierra.* – Madrid: Alfaguara, 2006, 540 p.

Романы мексиканского писателя новой волны 1990-х Хорхе Вольпи по широте охвата исторических событий сравнивают с толстовской эпопеей, по достоверности созданных характеров – со "стендалевским зеркалом". Его последняя книга "Земли не будет" вышла два года назад, но на русский язык ее до сих пор не перевели. Между тем к России эта книга имеет непосредственное отношение.

Одна из трех главных героинь романа, биолог Ирина Гранина, – русская. Она становится свидетелем последних съездов партии, чернобыльской трагедии, перестройки. Ее муж – диссидент Аркадий Гранин – жертва советской власти, а дочь Оксана – жертва власти новой, "продавшей душу дьяволу за костюм от Армани", – так характеризует героев нашего времени Вольпи. Второй женский персонаж – Дженнифер Мур, живет на другом, выигравшем холодную войну "полюсе" – в Америке. Амбициозная Дженнифер работает в Международном валютном фонде, помогая развивающимся странам, в том числе и России, интегрироваться в мировую экономику. Ее муж – преуспевающий делец – зарабатывает на жизнь продажей биотехнологий.

Страсть третьей героини, венгерки Евы Халац – геном человека. Она уезжает в Америку, где надеется выгодно продать результаты своих исследований.

Три женских судьбы сплетает в одну рассказчик – русский писатель, из ревности убивший свою любовницу (Еву Халац). В ожидании приговора он пишет исповедь, чтобы понять мотивы собственных действий, а заодно исследует природу человеческих страстей, анализирует мировую политику и экономику и обличает преступные режимы.

Если предыдущий роман Хорхе Вольпи "В поисках Клингзора" ("ИЛ", 2005 № 7–8) критики называли и шпионским романом, и детективом, и романом нравов, и даже научным триллером, то последний роман обозреватель французской литературно-критической газеты "Кензен литтерер" охарактеризовал как "детектив в лучших традициях жанра, причем с политическим прицелом".

ANNA GAVALDA *La Consolante.* – P.: Le Dilettante, 2008, 640 p.

Свою новую книгу "Утешительная" известная французская писательница Анна Гавальда не только сама написала, но даже нарисовала к ней обложку. Название книги отсылает к особенно популярной на юге Франции игре с шарами "петанк": согласно правилам, проигравшая команда может сыграть "утешительную" партию (кстати, в России в "петанк" тоже играют; http:// www. petanque.ru). Наверное, в поисках утешения, Гавальда и написала очередной многостраничный роман, придумав главному герою, Шарлю, фамилию Баланда.

Парижанину Шарлю сорок семь лет, жизнь его вполне состоялась: он преуспевающий архитектор, счастливый муж и отец. Но не зря Гавальда трудилась над произведением целых два года – ее герою (не даром же он архитектор) придется сначала все разрушить, а затем заново выстроить.

Поводом к критическому осмыслению действительности и деконструкции собственной личности становится письмо, в котором сообщается о смерти женщины, некой Анук: именно она убедила юного Шарля развивать художественные способности и стать архитектором. Обуреваемый чувством вины перед этой некогда жизнерадостной женщиной, окончившей свой век в нищете

и одиночестве, герой отправляется искать ответы на многочисленные вопросы...

Новый роман Гавальда мрачнее нашумевшего предыдущего "Просто вместе", но тем не менее эта книга — о возможности перерождения, о том, что каждому дается второй шанс. Конечно, экзистенциальные проблемы поднимались и решались в литературе с гораздо большей серьезностью и блеском, чем в романах Гавальда (достаточно вспомнить "Постороннего" Камю, объем которого, кстати, почти в 9 раз меньше), но поклонники современной французской романистки разочарованы не будут: новая "Утешительная" книга написана с той же искренностью и самоиронией, что и предыдущие.

PHILIPPE CLAUDEL *Le rapport de Brodeck.* — P.: Stock, 2007, 414 p.

Известный французский писатель Филипп Клодель в 2003 году стал лауреатом премии "Ренодо" за роман "Серые души" ("Les Ames grises"), захватывающий психологический детектив о судьбах простых людей во время Первой мировой войны. В 2005 году во Франции роман был экранизирован, а в России в том же году появился его перевод. Однако своего настоящего читателя книга, вопреки (или благодаря?) коммерческим инициативам "Олма-Пресс", скорее всего, не нашла, так как издали ее под неуместным названием "Молчание дневной красавицы", да еще и с Катрин Денев на обложке: единственная связь между "Серыми душами" и экранизированным в 1967 году романом Жозефа Кесселя "Дневная красавица" — имя героини. Причем у Клоделя — это маленькая девочка, вокруг убийства которой закручивается интрига, а у Кесселя — скучающая женщина с мазохистскими наклонностями.

Остается надеяться, что новому роману Филиппа Клоделя "Рапорт Бродека", отмеченному "студенческим Гонкуром", в России повезет больше. Главный герой романа Бродек случайно узнает о преступлении, совершенном в его маленьком городке. В одной из гостиниц убит приезжий, странный человек по имени Другой. Бродек вспоминает, что и сам когда-то приехал в этот город, откуда потом его забрали в концентрационный лагерь, и считает своим долгом начать расследование.

В "Рапорте Бродека" Клодель возвращается к теме "Серых душ": пытается выявить истоки ненависти к "другому". Ни место действия, ни время в романе не обозначены, потому что все, о чем повествует Клодель, встречается повсеместно: "Мы смотрим в роман, как в зеркало, с петлей на шее и сжав кулаки. Вслед за рассказчиком мы видим там другого: незнакомца, друга, любимого. И понимаем, что 'другое' может вызвать как любовь, так и ненависть...", — размышляет литературный критик Мелани Карпеньте, а обозреватель французской газеты "Экспресс" уверяет: "Произведения Клоделя настолько глубоки и виртуозны, что забыть их невозможно".

JOYCE CAROL OATES *Wild Nights! Stories About the Last Days of Poe, Dickinson, Twain, James and Hemingway.* — New York: Ecco, 2008, 238 p.

Новая книга американской писательницы Джойс Кэрол Оутс "Бурные ночи" — собрание новелл, описывающих последние дни (и ночи) пятерых классиков американской литературы. Оутс, впрочем, не ставит себе цель предложить читателю биографические подробности, а свободно сочетает действительность и вымысел. Так, в ее новеллах Хемингуэй перед смертью начинает говорить и думать слогом своих литературных героев, а По берется писать дневник, который, однако, его читатели воспримут как еще один рассказ, правда, незаконченный (этот текст существует в действительности и, конечно же, считается не более чем еще одним рассказом).

Однако самый оригинальный сюжет в сборнике — это научно-фантастическая новелла с остроумным названием "Э-Дикинсон, улучшенная версия". В ней состоятельная

американская семья покупает себе для развлечения робота – копию Эмили Дикинсон. Вскоре у "улучшенной версии", проданной со скидкой 20 %, обнаруживается характер. Она отвечает на вопросы хозяев невпопад и в рифму, и мало-помалу все они подпадают под ее обаяние, хотя не в силах понять смысл ее слов.

Джойс Кэрол Оутс высказывает мысли о власти одной личности над другими, о влечении, в том числе сексуальном (этому посвящены новеллы о Марке Твене и Г. Джеймсе). Однако центральная тема новой книги, по мнению, в частности, обозревателя "Нью-Йорк таймс" Бренды Уайнэпл, – существование творческой личности в момент угасания, противостояние художника страху смерти. Критик считает, что созданные Дж. К. Оутс портреты художников в их последние дни хорошо служат этой цели.

Chuck Palahniuk *Snuff.* – New York: Doubleday, 2008, 208 p.

Популярный американский прозаик и журналист Чак Паланик, автор ряда нашумевших книг, опубликовал в мае 2008 года новый роман "Мертвечинка". Перед нами вновь шокирующий гротеск вполне в духе Паланика, в свое время гордившегося тем, что во время публичного чтения им собственных книг слушатели сотнями падают в обморок. Роман повествует о съемке рекордного по числу участников порнофильма, в конце которого кто-то из снимающихся должен взаправду умереть перед камерой (отсюда и название книги). Насмешка автора чувствуется даже в именах героев, точнее, в их отсутствии: их зовут № 72, № 137 и № 600. Ожидая своей очереди на съемку, эти безымянные мужчины ведут разговоры о своем прошлом и о порноиндустрии, в ходе которых выясняются многочисленные и малоприятные подробности их жизни.

Многие американские критики, в том числе обозреватель "Лос-Анджелес таймс" Скотт Тимберг, восприняли роман как удачный выпад в адрес современного общества потребления и сексуальной эксплуатации людей ради прибыли. Однако не все читатели с этим согласятся. Так, Люси Эллман в своей рецензии в "Нью-Йорк таймс" делает акцент на том, что Паланик, по сути, протестует против массовой культуры ее же языком и ее же клише (можно добавить, что его "культовый" статус в чем-то напоминает положение тех же звезд "фильмов для взрослых"). "Он впустил в собственное сочинение изъяны той культуры, которую критикует", – отмечает Эллман. В ее глазах решающим просчетом Паланика оказывается "явный недостаток художественности", а также стремление шокировать читателя любым способом, хотя бы даже количеством сношений в одном выдуманном фильме. "Что же это творится! Страна Мелвилла, Твена и Джеймса стала обожать Кинга, Крайтона, Гришэма, Сиболд и Паланика", – в сердцах восклицает Люси Эллман.

David Lodge *Deaf Sentence.* – London: Harvill Secker, 2008, 320 p.

Вышедший весной 2008 года роман британца Дэвида Лоджа "Приговор глухоты" ознаменовал его возвращение к стилистике "университетской прозы". Однако, как отмечают британские литературные обозрения, в новой книге нет того боевитого радикализма, который характеризовал многие "университетские романы" прошлых лет. Герой "Приговора глухоты" – недавно вышедший на пенсию профессор лингвистики Десмонд Бейтс; ясно, что книга о таком человеке вряд ли может быть бодрой и энергичной. В самом деле, Бейтс тяготится всем: и собственной невостребованностью, и вынужденным бездельем после ухода с кафедры, и неожиданно обретшей вторую молодость женой, которая и без того значительно моложе его, и капризами девяностолетнего отца, и многим другим.

Более того, прогрессирующая глухота постепенно отгораживает Бейтса от мира, не только приводя к

комичным ситуациям, когда он путает, скажем, "Францию" с "танцами", но и повергая его в самое настоящее отчаяние. В своей рецензии на роман в "Индепендент" критик Питер Конради пишет: "Слепота трагична, глухота же — комична, утверждает Лодж", — и сравнивает профессора Бейтса с милновским осликом Иа, который, желая лучше слышать, наклонял свои длинные уши к собеседнику копытом и оттого все время терял равновесие. Смешная фигура становится трагикомической, и в этом, по мнению рецензента, и состоит пафос Лоджа.

Достоин отдельного упоминания и стиль романа. Как пишет другой обозреватель, Джейн Шиллинг, на страницах "Таймс", "Приговор глухоты" — книга в первую очередь "ученая", с множеством литературных аллюзий. Кроме того, герой-лингвист в книге автора-литературоведа представляет особую трудность с точки зрения речевой характеристики, и Джейн Шиллинг находит удачными стилистические приемы Лоджа, в том числе использование повествования от первого и от третьего лица.

FRIDO MANN *Achterbahn. Ein Lebensweg.* — Berlin: Rowohlt Verlag, 2008, 383 S.

"Хотя нас уже грозит захлестнуть с головой целый потоп биографических текстов, освещающих драматичные взаимоотношения отцов и детей, братьев и сестер, мужей и жен в литературной династии Маннов, пресыщение все же не наступает", — пишет в газете "Цайт" немецкий критик Вилли Яспер в связи с выходом в свет нового биографического сочинения, автором которого является один из ныне живущих внуков Томаса Манна — Фридо Манн.

Ф. Манн, по образованию психолог, успешно пробовал себя в музыке и в литературе: его перу принадлежит, например, довольно известный на родине автобиографический роман "Профессор Парцифаль". Ф. Манн не только пишет сам: в детстве он стал прототипом одного из героев "Доктора Фаустуса" — маленького Непомука. Исследователи творчества Томаса Манна успели сломать немало копий, пытаясь определить потаенные психологические мотивы, объясняющие, почему писатель заставил этого героя умереть в муках, хотя его четырехлетний внук был жив и здоров. Однако никаких разоблачений в новой книге нет: Ф. Манн и на страницах автобиографии, и в приуроченных к ее выходу интервью избегает громких заявлений о давно ушедшем деде.

Одно из центральных мест в книге занимает история отца Фридо — Михаэля Манна, младшего сына великого писателя. М. Манн рано ушел из жизни, совершив самоубийство. Спустя тридцать лет Фридо Манн пытается разобраться в причинах этого поступка, указывая в первую очередь на то, что его отцу было в тягость ощущать себя сыном гения и не оправдывать ожидания родителей. При этом мемуарист и в описании семейной трагедии не переходит границу, которую установил себе сам; в этом — немалая ценность книги, пишет в своем обзоре В. Яспер.

*Подготовили* А. ЛЕШНЕВСКАЯ, И. МОКИН

**Эльфрида Елинек**
**Elfride Jelinek**
Австрийский прозаик, драматург, эссеист. Лауреат многих австрийских и международных премий, в том числе премии имени Г. Бёлля [1986], Бременской литературной премии [1996], премии имени Г. Бюхнера [1998], Берлинской театральной премии [2002], премии имени Ф. Кафки [2004], Нобелевской премии по литературе [2004].

Автор романов *Любовницы* [*Die Liebhaberinnen*, 1975; рус. перев. 1996], *Перед закрытой дверью* [*Die Ausgesperrten*, 1980; рус. перев. 2004], *Пианистка* [*Die Klavierspielerin*, 1983; рус. перев. 2001], *Похоть* [*Lust*, 1989], *Дети мертвецов* [*Die Kinder der Toten*, 1995], *Алчность* [*Gier*, 1999] и др., драм *Клара Ш.* [*Clara S.*, 1981], *Спортивная пьеса* [*Ein Sportstück*, 1998], *он как не он* [*er nicht als er*, 2000] и др. В *ИЛ* публиковалось ее интервью [2003, № 2], нобелевская лекция *В стороне* и эссе *Досужими путями мышления* [2005, № 7].
Пьеса публикуется по изданию *Посох, палка, палач. Новые пьесы* [*Stechen, Stab und Stange. Neue Theaterstücke*. Goettingen: Steide Verlag, 1990].

**Татьяна Александровна Баскакова**
Переводчик с немецкого, французского и итальянского языков.

В ее переводе изданы книги А. Роке *Брейгель, или Мастерская сновидений*, И. Фрэн *Клеопатра, или Неподражаемая*, О. Ролена *Пейзажи детства*, Р. Сафрански *Хайдеггер. Гёрманский мастер и его время*, романы К. Крахта *Faserland* и *1979*, А. Шмидта *Каменное сердце*, А. Дёблина *Три прыжка Ван Луня*, повесть Т. Бернхарда *Холод: Изоляция*, текст Герта Йонке *Говорящий по часовой стрелке* и др. В *ИЛ* в ее переводе печатались рассказы А. Шмидта [1999, № 7] и И. фон Кизерицки [2002, № 5], повесть Т. Бернхарда *Племянник Витгенштейна* [2003, № 2], роман Ф. Йегги *Пролетарка* [2003, № 3], фрагменты книги Х. Х. Янна *Деревянный корабль* [2003, № 9], письма и афоризмы П. Целана [2005, № 4], повесть А. Шмидта *Черные зеркала* [2005, № 5] и др.

**Мюриэл Спарк**
**Muriel Spark**
[1918–2006]. Английская писательница и литературовед. Кавалер ордена Британской империи [1993].

Автор романов *Утешители* [*The Comforters*, 1957], *Memento mori* [1959; рус. перев. 1999], *Девушки со скромными средствами* [*The Girls of Slender Means*, 1963; рус. перев. 2004], *Теплица на берегу Ист-Ривер* [*The Hothouse by the East River*, 1973], *Территориальные права* [*Territorial Rights*, 1979], *Далекое эхо Кенсингтона* [*A Far Cry from Kensington*, 1988], *Реальность и мечты* [*Reality and Dreams*, 1996] и др., монографий *Джон Мейсфильд* [*John Masefield*, 1953], *Эмили Бронте, ее жизнь и творчество* [*Emily Bronte, Her Life and Work*, 1953], *Мэри Шелли, биография* [*Mary Shelley, A Biography*, 1987; рус. перев. 1991], повестей *Птичка-Уходи* [*Go-Away Bird*, 1958; рус. перев. 1994], *На публику* [*Voices at Play*, 1961; рус. перев. 1971], сборников *Избранные рассказы* [*Collected Stories*, 1968], *Рассказы Мюриэл Спарк* [*The Stories of Muriel Spark*, 1987], поэтического сборника *Избранные стихотворения* [*Collected Poems*, 1967], пьесы *Доктора философии* [*Doctors of Philosophy*, 1963] и др.
В *ИЛ* публиковались ее романы *Мисс Джин Броди в расцвете лет* [1980, № 7] и *Пир* [2005, № 12], автобиографические заметки *Curriculum vitae* [2007, № 4].
Публикуемый роман печатается по изданию *Not to Disturb* [Penguin Books, 1974].

**Тадеуш Боровский**
Tadeusz Borowski
[1922–1951]. Польский поэт и прозаик, узник нацистских концлагерей.

Автор сборников рассказов *Прощание с Марией* [*Pożegnanie z Marią, 1948*] и *Каменный мир* [*Kamienny świat*, 1948] и сборников стихов *Везде, где земля* [*Gdziekolwiek ziemia*, 1942], *Имена потока* [*Imiona nurtu*, 1945] и *Поиски* [*Poszukiwania*, 1945]. Русские переводы прозы Боровского собраны в книге *Прощание с Марией* [М.: Худож. лит., 1989].
В *ИЛ* напечатаны его рассказы [1955, № 2], стихи и рассказ *У нас в Аушвице...* [1988, № 10].
Публикуемые стихи взяты из разных сборников.

**Элиас Канетти**
Elias Canetti
[1905–1994]. Австрийский писатель, драматург, культуролог, лауреат Нобелевской премии по литературе [1981] и многих других литературных наград, в том числе Международного Парижского приза [1949], писательской премии г. Вены [1966], премии имени Г. Бюхнера [1972], Дортмундской премии имени Нелли Закс [1976] и премии имени Ф. Кафки [1981].

Автор пьесы *Свадьба* [*Hochzeit*, 1932], романа *Ослепление* [*Die Blendung*, 1935; рус. перев. 2000], философского исследования *Масса и власть* [*Masse und Macht*, 1962; рус. перев. 1997] и др. В *ИЛ* напечатаны его *Заметки для Мари-Луизы* [2007, № 4].
Публикуемый текст взят из книг *Факел в ухе* [*Die Fackel im Ohr*. Fischer Taschenbuch Verlag, 1980] и *Спасенный язык* [*Die gerettete Zunge*. Carl Hanser Verlag, 1977].

**Людвик Вацулик**
Ludvík Vaculík
[р. 1926]. Чешский писатель и публицист. Награжден орденом Т. Г. Масарика [1996]. Лауреат премии Чешского ПЕН-клуба [премия имени К. Чапека, 2002].

Автор книг *Топор* [*Sekyra*, 1966], *Морские свинки* [*Morčata*, 1973; рус. перев. 2001], *Чешский сонник* [*Český snář*, 1981], *Как делается мальчик* [*Jak se dělá chlapec*, 1993], *Дорога на Праден* [*Cesta na Praděd*, 2001], *На прощание – к девственнице* [*Loučení k panně*, 2002], *Уроки игры на фортепьяно* [*Hodiny klavíru*, 2007] и др., а также публицистических текстов, изданных в сборниках *Весна наступила* [*Jaro je tady*, 1987], *Августовский год* [*Srpnový rok*, 1990], *Старая дама развлекается* [*Stará dáma se baví*, 1991], *У озера паршиво играть* [*Nad jezerem škaredě hrát*, 1996] и *Последнее слово* [*Posledni slovo*, 2002]. В *ИЛ* были напечатаны его *Эссе разных лет* [2001, № 5].
Публикуемые эссе взяты из сборников *Августовский год* [*Srpnový rok*. Praha: Mladá fronta, 1990], *Старая дама развлекается* [*Stará dáma se baví*. Praha: Lidové noviny, 1991] и *У озера паршиво играть* [*Nad jezerem škaredé hrát*. Praha: Ivo Železný, 1996].

**Сергей Сергеевич Скорвид**
[р. 1958]. Филолог-славист, кандидат филологических наук, переводчик с чешского, словацкого и польского языков.

В его переводе издавались сочинения Я. А. Коменского в сборнике *Лабиринт света и Рай сердца* [2000], романы Б. Грабала *Слишком шумное одиночество* [2002] и Я. Дуриха *Маргаритка* [2006], а также стихи И. М. Ироуса в сборнике *Магор* [2007]. В *ИЛ* напечатаны переводы рассказов и эссе Б. Грабала [2004, № 5].

**Наталья Самойловна Мавлевич**
Переводчик с французского. Лауреат премии

В ее переводах издавались произведения М. Эме, Б. Виана, М. Юрсенар, Э. Ионеско, Лотреамона, Л. Арагона, М. Жакоба, М. Шагала, Б. Шагал, А. Жарри, Э. Чорана, Э. Ажара и др. В *ИЛ* печатались *Песни Мальдодора* Лотреамона [1993, № 1], романы А. Сарра-

*Инолитл* [1999] и премии имени Мориса Вакмахера [2001].

зен *Перелом* [1993, № 10, 11], Э. Ажара *Голубчик* [1995, № 7], А. Нотомб *Антихриста* [2004, № 10], Дай Сы-цзе *Комплекс Ди* [2005, № 8], миниатюры Ф. Делерма [2002, № 7], пьеса Э.-Э. Шмитта *Гость* [2004, № 6], фрагменты книги П. Брюкнера *Вечная эйфория* [2006, № 3], мини-рассказы Ф. Делерма [2006, № 9], фрагменты романа Р. де Са Морейры *Книжник* [2007, № 11] и др.

**Александр Моисеевич Рапопорт** [р. 1960]. Поэт, прозаик и журналист, член СП Москвы.

Автор поэтических книг *Образ жизни* [М., 2001], *Имя и Число* [М., 2004], ряда публикаций в отечественных и зарубежных изданиях. Его статьи о современной поэзии публиковались в журналах *Новый очевидец* и *Арион*.

**Михаил Яковлевич Визель** [р. 1970]. Книжный обозреватель, музыкальный критик, колумнист, издатель, переводчик с итальянского.

Создатель интернет-проекта *Невидимые города on-line* по роману Итало Кальвино [calvino.lib.ru]. В его переводе вышли два романа Дж. Куликкьи и сборник газетных заметок У. Эко.

**Алексей Васильевич Михеев** [р. 1953]. Кандидат филологических наук. Лауреат премии *Человек книги* в номинации *Редактор* [2004].

В его переводе с польского напечатаны пьеса С. Мрожека *Портной* [*Суфлер*, 1995, № 4] и повесть Г. Херлинга-Грудзинского *Белая ночь любви* [*ИЛ*, 2000, № 8]. В *ИЛ* также опубликованы его статьи *МакКультура* [1996, № 1], *Неотмеченные юбилеи...* [1997, № 5], *До последней капли алфавита* [1997, № 6], *Вокруг, около и вместо...* [1999, № 5].

**Александра Юрьевна Лешневская** Переводчик с французского и английского языков. Аспирант ИВГИ РГГУ.

В *ИЛ* опубликована ее статья *Три "Гранде"* [2008, № 4].

**Игорь Викторович Мокин** [р. 1986]. Переводчик с английского и скандинавских языков, преподаватель. Аспирант филологического факультета МГУ.

В *ИЛ* опубликован его перевод рассказа Р. О. Фримена *Послание со дна моря* [2008, № 1].

**Елена Суриц [Елена Александровна Богатырева]**
Переводчик с английского, немецкого, французского и скандинавских языков. Лауреат премии *Инолит* [1994], премии *Единорог и Лев* [2006], премии *Мастер* [2007].

В ее переводе издавались романы Дж. Остин, У. Голдинга, Дж. Стейнбека, С. Беллоу, Д. Томаса, Р. М. Рильке, К. Гамсуна, пьесы А. Стринберга, Э. Ионеско, сценарии И. Бергмана и др. В *ИЛ* в ее переводе печатались романы *Я в замке король* С. Хилл [1978, № 1—2], *Миссис Дэллоуэй* [1984, № 4], *Орландо. Биография* [1994, № 11], *Волны* [2001, № 10] и *Между актов* [2004, № 6] В. Вулф, *Мастер Джорджи* [2001, № 7] и *Согласно Куини* [2004, № 12] Б. Бейнбридж, *Пир* М. Спарк [2005, № 12], *Море* Дж. Бэнвилла [2006, № 10] и др.

**Анатолий Михайлович Гелескул**
[р. 1934]. Переводчик, лауреат премий *ИЛ* [1993], *Инолиттл* [1995], *ИЛлюминатор* [2001], *Мастер* [2007].

В его переводе публиковались стихи испанских поэтов Х. Р. Хименеса, А. Мачадо, Ф. Гарсиа Лорки и др.; польских — А. Мицкевича, Б. Лесьмяна, Л. Стаффа, К. К. Бачинского и др.; французских — П. Верлена, Г. Аполлинера и др. Его переводы неоднократно публиковались в *ИЛ*.

**Анна Евгеньевна Шибарова**
Филолог, преподаватель, переводчик с немецкого и английского языков. Лауреат премии В. А. Жуковского для молодых переводчиков [2006]. С 2002 г. живет в Берлине.

В ее переводе выходили романы *Тристан-аккорд* Х.-У. Трайхеля и *Временное пристанище* В. Хильбига, статья *Уроки истории* Ю. Хабермаса и др.
В *ИЛ* публикуется впервые.

**Нина Яковлевна Фальковская**
Переводчик с чешского и английского языков.

В ее переводе опубликованы сборники рассказов и эссе *Банщик* Р. Вайнера, *Мои опасные путешествия* Ивана Климы, стихи Вацлава Ренча, Ивана Мартина Иоруса и книги по искусству, в том числе *Музеи Берлина* Колин Эйслер.

**Юзеф Васильевич Пресняков**
[1935—2005]. Переводчик с немецкого, чешского, словацкого, английского, нидерландского языков. Лауреат премии имени Подъяворинского [1985].

Автор книги для детей *Древний Рим* [1996]. Переводил с чешского языка произведения Я. Гашека, В. Ржезача, Л. Вацулика.

RINET
Internet Service Provider
ИНТЕРНЕТ
ПО ВЫСОКОСКОРОСТНЫМ ВЫДЕЛЕННЫМ ЛИНИЯМ
в Центральном округе Москвы
объединенная волоконно-оптическая районная сеть RiNet в ЦАО:
• оптимальные условия подключения,
• бесплатный доступ к внутрисетевым ресурсам
В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ ← В ЦЕНТРЕ ГОРОДА → В ЦЕНТРЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
круглосуточно:
(095) 232-1730 238-3922 916-7009
адрес:
МОСКВА, 1-Й ХВОСТОВ пер., д. 11А.
подробности:
WWW.RINET.RU

В оформлении обложки использован фрагмент картины австрийского художника Густава Климта [1862–1918] *Юдифь II* [1909].

Художественное оформление и макет Андрей Бондаренко, Дмитрий Черногаев.

Старший корректор Анна Михлина.

Компьютерный набор Евгения Ушакова, Надежда Родина.
Компьютерная верстка Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор Мария Макарова.

119017, Москва, Пятницкая ул., 41.
тел. 953-51-47; факс 953-50-61;
http://www.inostranka.ru
e-mail inolit@rinet.ru

В INTERNET электронный дайджест журнала находится по адресу:
http://magazines.russ.ru/inostran

В Москве журнал можно приобрести: в редакции или в киоске "Новой газеты", расположенном по адресу: Страстной бульвар, дом 4; в книжной лавке ВГБИЛ им. М. И. Рудомино по адресу: Николоямская ул., д. 1.

Подписаться на журнал "Иностранная литература" можно во всех отделениях связи. Индекс 72261 — на год, 70394 — полугодие.

Можно оформить льготную подписку в редакции по адресу: ул. Пятницкая, 41 (м. "Третьяковская", "Новокузнецкая") Подписка оформляется в понедельник, вторник, среду, четверг с 12.00 до 17.30.

(Справки по тел. 953-51-47).

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Регистрационное свидетельство № 066632 выдано 23.08.1999 г. ГК РФ по печати

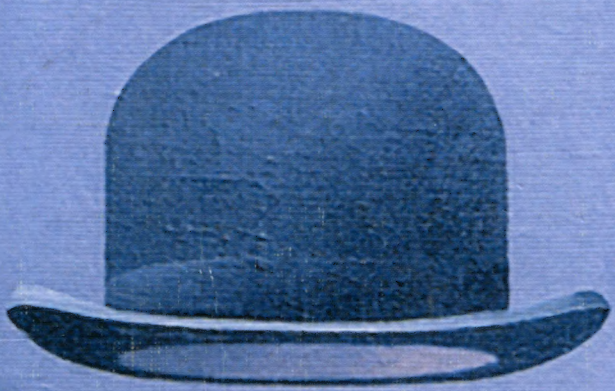
Подписано в печать 15.7.2008
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 26,78.
Усл. кр.-отт. 31,0.
Уч.-изд. л. 26,64.
Заказ № 1613.
Тираж 9200 экз.
Отпечатано с готовых диапозитивов
ОАО "Типография "Новости",
105005, Москва,
ул. Фр. Энгельса, 46.

**Информационная поддержка**

# [10] 2008

ПОЭМА В ПРОЗЕ ТОНИНО ГУЭРРЫ "ЛИСТИК ПРОТИВ МОЛНИЙ" / "ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ": "НЕИСТОВЫЙ ОРЛАНД" ЛУДОВИКО АРИОСТО / ЭССЕ КЛАУДИО МАГРИСА "ЛИТЕРАТУРА И ПРАВО: ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ ПОДХОДЫ КО ЗЛУ" / "ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА": "ГОМОРРА" РОБЕРТО САВЬЯНО / ФИЛИППО ТОММАЗО МАРИНЕТТИ, ФЕДЕРИГО ТОЦЦИ И ДР. В РУБРИКЕ "ИЗ КЛАССИКИ XX ВЕКА: ФУТУРИЗМ, ЭКСПРЕССИОНИЗМ, СЮРРЕАЛИЗМ"

ИНОСТРАННАЯ ИЛ ЛИТЕРАТУРА



# Узнай завтрашних классиков!

Подписка во всех отделениях связи России,
подписной индекс 70394

Адрес редакции журнала "Иностранная литература" :
г.Москва, ул.Пятницкая, д.41

ISSN 0130-6545 08009 9 770130 654770

ИНДЕКС 70394